

ПИСЬМА ПУШКИНА к Е. М. ХИТРОВО



Пушкин.

С оригинала акварелью, работы П. Ф. Соколова, принадлежавшего княгине
Е. Н. Мещерской, рожд. Карамзиной.

АКАДЕМИЯ НАУК
СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

ПИСЬМА ПУШКИНА
К
ЕЛИЗАВЕТЕ МИХАЙЛОВНЕ ХИТРОВО

1827—1832

ТРУДЫ ПУШКИНСКОГО ДОМА
ВЫПУСК XLVIII

ЛЕНИНГРАД
ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
1927

Напечатано по распоряжению Академии Наук СССР

Ноябрь 1927 г.

Непременный Секретарь академик *С. Ольденбург*

Редактор издания ак. *С. Ф. Платонов*

Начато набором в июне 1926 г. — Окончено печатанием в ноябре 1927 г.

Тит. л. + XII + 400 стр. + 10 отд. табл.

Ленинградский Гублит № 25192. — 25 печ. л. — Тираж 2000

Государственная Академическая Типография, В. О., 9 линия, 12

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | Стр. |
|---|---------|
| Предисловие | V—X |
| <i>Текст и комментарий</i> | |
| Письма Пушкина к Е. М. Хитрово. I—XXVII | 1—34 |
| Переводы писем Пушкина и примечания. М. Д. Бе- ляева, Н. В. Измайлова и Б. Л. Модзалев- ского | 35—140 |
| <i>Приложения</i> | |
| Пушкин и Е. М. Хитрово. Н. В. Измайлова | 143—204 |
| Французская литература в письмах Пушкина к Е. М. Хитрово. Б. В. Томашевского | 205—256 |
| Польское восстание по письмам Пушкина к Е. М. Хитрово. М. Д. Беляева | 257—300 |
| Французские дела 1830—1831 гг. в письмах Пушкина к Е. М. Хитрово. Б. В. Томашевского | 301—361 |
| Французская орфография Пушкина в письмах к Е. М. Хитрово. Б. В. Томашевского | 362—372 |
| Дополнения и поправки | 373—374 |
| Указатель | 375—400 |

ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

| | Стр. |
|--|---------|
| 1. Пушкин. С оригинала акварелью, работы П. Ф. Соколова, около 1835 года, принадлежащего Пушкинскому Дому | — |
| 2. Е. М. Хитрово. С литографии Шевалье (Chevalier), сделанной с акварельного портрета работы Гау (Hau) | — |
| 3. Письмо Пушкина (IV), к графине Е. Ф. Тизенгаузен, от 1 января 1830 г. | 4—5 |
| 4. Письмо Пушкина (VI), от конца марта—апреля 1830 г., 2-я страница | 6—7 |
| 5. Письмо Пушкина (XVII), от 25 (?) мая 1831 г., с припиской Н. Н. Пушкиной | 22—23 |
| 6. Письмо Пушкина (XXVI), 1828 (?) года | 32—33 |
| 7. Письмо Пушкина (VI) — адрес и гербовая печать на 4-й странице | 48—49 |
| 8. Автограф Е. М. Хитрово — письмо к Пушкину от ноября—декабря 1836 г., 2-я страница | 128—129 |
| 9. Титульный лист романа Бюра де Гюржи „La Prima donna et le Garçon boucher“ („Примадонна и подручный-мясник“) | 134—135 |
| 10. Е. М. Хитрово. По фотографии с бюста (biscuit) | 142—143 |

Снимки 1, 2, 3, 4, 6, 7 даны в уменьшенном виде.



Е. М. Хитрово.

С литографии Шевалье, сделанной по акварельному портрету работы Гау.

Предисловие

12 октября 1925 года при разборке библиотеки князей Юсуповых в их бывшем особняке, а тогда музее (на набережной Мойки, дом № 94), сотрудником Ленинградского Отделения Главнауки архитектором-художником П. А. Всеволожским был обнаружен пакет с письмами Пушкина к Е. М. Хитрово. О находке писем, подлинность которых была вне сомнений и не нуждалась в подтверждении, было тогда же сообщено в Пушкинский Дом, и последний немедленно возбудил ходатайство о передаче их ему, как учреждению, одною из задач которого является собирание и хранение всего, что относится к Пушкину, и прежде всего — его рукописей, еще рассеянных в частных руках или находящихся в случайных местах хранения. При горячем содействии заведующего Ленинградским Отделением Главнауки М. П. Кристи дело было быстро оформлено, — и уже 19 октября был подписан акт, по которому письма Пушкина поступили в Пушкинский Дом. Находка 27 неизданных, неизвестных писем Пушкина явилась событием, всколыхнувшим учено-литературный мир. Тотчас же встал вопрос об их научном издании, — и постановлением Общего Собрания Конференции Академии Наук СССР от 14 ноября 1925 г. было признано необходимым опубликовать письма в издании Академии Наук и „в достойном их значения виде“.

Для осуществления издания была образована в Пушкинском Доме комиссия, в составе Б. Л. Модзалевского, М. Д. Беляева, Н. В. Измайлова, Н. К. Козмина и Б. В. Томашевского. Члены комиссии распределили между собою материал; в ряде совещаний было решено: 1) дать текст новонайденных писем в возможно-точном, сохраняющем все особенности подлинника воспроизведении (о чем см. подробнее ниже), 2) снабдить их переводом и самым обстоятельным комментарием, 3) иллюстри-

ровать снимками с автографов и портретов Пушкина и Е. М. Хитрово, 4) для удобства изучения множества отдельных упоминаний, намеков и суждений, содержащихся в письмах, выделить в особые объединяющие статьи главные вопросы, затрагивающиеся в них: о современной западной литературе, об Июльской революции и последовавших за нею событиях во Франции, о Польском восстании; особую же статью посвятить биографии Е. М. Хитрово и ее отношениям к Пушкину; статьи эти построить так, чтобы они давали систематическое изложение целого вопроса,—преимущественно с точки зрения его восприятия Пушкиным,—и вместе с тем служили комментарием к отдельным письмам. Тем самым издание писем расширялось до размеров большого сборника статей о Пушкине и, следовательно, неизбежно задерживался выпуск книги в свет. Весною 1926 года работа по подготовке издания была, однако, уже закончена.

В первые же дни после находки явилась необходимость дать в печати выдержки из найденного собрания писем, хотя бы в переводах и с самыми краткими пояснениями. Таким образом, в газетах помещены были письма: III („Вечерняя Красная Газета“, 26 октября 1925, № 260), IV (там же, 23 октября 1925 г., № 258), XV („Новая Вечерняя Газета“, 3 ноября 1925 г., № 194), III и обложка, снимки („Красная Нива“, 1925 г., № 48).

Далее, в процессе подготовки к печати, письма послужили темою для нескольких докладов: 20 января 1926 г., в открытом научном собрании Пушкинского Дома, о них докладывали, с прочтением всего текста писем, Б. Л. Модзалевский и Н. В. Измайлов; более специального характера сообщения были сделаны Б. В. Томашевским и Н. В. Измайловым — в Исследовательском Институте Литературы и Языков Запада и Востока при Ленинградском Университете, М. Д. Беляевым — в Пушкинском Отделении Общества „Старый Петербург“ и в Пушкинском Доме; кроме того, М. А. Цявловский сообщил о них, по копиям с текста, полученным из Ленинграда от Б. В. Томашевского, в заседании Пушкинской Комиссии Общества Любителей Российской Слоvesности, в Москве; позднее (в 1927 г.) М. Д. Беляев сделал о них сообщение на собрании в Доме работников просвещения в г. Ульяновске.

По чисто-техническим причинам, в значительной части не зависевшим от Пушкинского Дома, печатание писем очень затя-

нулось. Этим обстоятельством нужно объяснить появление в нескольких изданиях выдержек из писем — иногда в неточных переводах и пересказах, о чем нельзя не пожалеть (см. ниже, стр. 60, 117, 139 и 373).

При выполнении работ по подготовке издания, Пушкинский Дом был озабочен отысканием портрета Е. М. Хитрово. Такой портрет — литография с неизвестно где находящегося акварельного оригинала работы Гау, нигде не воспроизводившаяся и до сих пор неизвестная, — нашелся, и даже в двух экземплярах: один — к сожалению, очень испорченный — в самом Пушкинском Доме, другой, хорошей сохранности, в Московском Музее Изысканных Искусств. Музей, при посредстве В. Я. Адарюкова, передал литографию (в обмен на некоторые другие литографированные портреты) в собственность Пушкинского Дома, за что последний считает долгом выразить Музею свою искреннюю признательность. Подлинный бюст Е. М. Хитрово, принадлежавший в 1899 г. гр. Д. И. Толстому в Петербурге и теперь известный лишь по воспроизведению в „Альбоме Пушкинской Юбилейной Выставки в Академии Наук в 1899 г.“ (С.-Пб. 1900, л. 26) и по сохранившейся у Б. Л. Модзалевского фотографии (1899 г.), не удалось найти, несмотря на все поиски; также не удалось найти портретов дочерей Е. М. Хитрово — графинь Е. Ф. Тизенгаузен и Д. Ф. Фикельмон. Титульный лист, с виньеткой, романа Бюра де Гюрги „La Prima donna et le Garçon boucher“ (по экземпляру, принадлежащему Б. В. Томашевскому) воспроизводится ввиду большой редкости книги, отсутствующей в государственных хранилищах Ленинграда и Москвы.

Для работы Н. В. Измайлова над биографическим очерком Е. М. Хитрово Ленинградским Отделением Централхива был открыт доступ к найденному в том же дворце Юсуповых архиву Е. М. Хитрово и гр. Е. Ф. Тизенгаузен. Архив дал некоторые небезынтересные материалы, использованные в издании, — но, к сожалению, их оказалось гораздо меньше, чем можно было предполагать (так, не нашлось ни одного письма князя П. А. Вяземского, кроме маленькой записки, напечатанной ниже, на стр. 123). Вероятно, многое было вывезено графиней Фикельмон за границу, а многое и пропало. Из других неизданных материалов в наше издание вошло одно письмо к Пушкину (единственное до сих пор известное) от графини Д. Ф. Фикельмон (стр. 57—58).

Ниже, на стр. 158—159, пояснены причины, по которым письма Пушкина к Е. М. Хитрово попали в архив князей Юсуповых графов Сумароковых-Эльстон. Совершенно непонятно, почему владельцы этих драгоценных документов так ревниво держали их под спудом. О том, что письма существуют и хранятся именно у Юсуповых, были давно подозрения, но самые письма оставались недоступны и неизвестны. В 1918 году Отделом Охраны Памятников Искусства и Старины было передано в Пушкинский Дом, из того же Юсуповского особняка, собрание автографов, принадлежавшее княгине Э. И. Юсуповой, в том числе автографы Пушкина — послание „К Вельможе“ (опубликован еще в 1907 г. Б. Л. Модзалевским в ж. „Художественные Сокровища России“, № 6) и набросок статьи о Дельвиге (опубликован Б. Л. Модзалевским в „Сборнике Пушкинского Дома на 1923 год“, Пгр. 1922, стр. 8—9); письма к Е. М. Хитрово не были, однако, тогда обнаружены и лишь через 7 лет стали собственностью Пушкинского Дома, а содержание их становится общим достоянием.

Письма к Е. М. Хитрово представляют собою сшитую тетрадку большого почтового формата, в синей обложке с надписью: „Собственноручныя письма А. С. Пушкина“; далее, на титульном листе, новым писарским почерком написано: „Тридцать собственноручныхъ писемъ А. С. Пушкина къ дочери Фельдмаршала Кутузова Е. М. Хитровой 1830 годовъ. Перешедшія въ собственность отъ Камеръ-Фрейлины графини Е. Э. Тизенгаузенъ графу Ф. Ф. Сумарокову-Эльстонъ“. К письмам приложена копия с них, довольно небрежная и упрощенная, сделанная сравнительно недавно; копия находится в тетрадке с надписями (тою же рукою, что и надпись на подлиннике): на обложке — „Неизданныя письма А. С. Пушкина“; на титуле — „30-ть неизданныхъ писемъ А. С. Пушкина къ г-жѣ Хитровой 1830 гг.“. Составитель собрания писем считает их, таким образом, 30; на самом же деле их 27; разница получается оттого, что отдельными №№ сочтены три копии со стихотворений Пушкина, подшитые к письмам, — хотя письма и стихотворения не имеют между собою прямой связи. Эти стихотворения: 1) „19 октября 1827 г.“ — „Богъ помощь вамъ, друзья мои...“, 2) эпиграмма на Булгарина 1830 г. — „Не то бѣда, что ты Полякъ“ — копия, интересная тем, что дает обе редакции окончания,

и 3) „Моя родословная“ — „Смѣясь жестоко надъ собратомъ...“, 1830 г. (со многими ошибками). Письма занимают 53 полулиста, копии стихотворений — 5 полу-листов, всего 58. Подшиты письма в величайшем хронологическом беспорядке, свидетельствующем о непонимании их со стороны того, кто их разобрал. Порядок тетради не имеет для нас никакого значения. Одно из писем адресовано не к Е. М. Хитрово, но к ее дочери, графине Е. Ф. Тизенгаузен; мы не выделяем его, дабы не нарушать общего хронологического порядка.

Следует еще упомянуть, что можно с большою долею вероятия отнести к той же Е. М. Хитрово черновой набросок письма, находящийся в тетради б. Румянцовского Музея № 2371 л. 7: „[très] certainement, Madame l'heure qui vous conviendrait sera toujours la mienne — A demain donc, & [puisse le 7-me chant d'Онѣгинъ] puisse [méri <ter>]...“ Письмо можно датировать приблизительно концом 1828 г. (не ранее — но, быть может, позднее). Мы его не включаем, дабы, во-первых, не нарушать цельности печатаемого собрания, а во-вторых, потому, что отнесение письма к Е. М. Хитрово, хотя и вероятное, всё же предположительно.¹

При издании текста писем были приложены все старания, чтобы передать точнее образом начертания подлинников, все особенности Пушкинской орфографии и пунктуации; не сохранены лишь некоторые случайные и при том явные опiski и такие начертания, как маленькая буква после точки, маленькая буква в собственных именах (напр., „france“), отсутствие точки там, где она по смыслу несомненна и означена большою буквою следующей фразы, и т. п., — получающие в печатном тексте иной характер, чем в рукописи, и лишь затрудняющие чтение. Особенности Пушкинской французской орфографии, представляющей своеобразные отклонения от современных ему норм, часто в сторону архаизмов, оговорены в особой заметке Б. В. Томашевского. Последняя тем более уместна, что в настоящем издании впервые сохранены все орфографические особенности французской речи Пушкина, без подведения ее под современные, обезличивающие грамматические нормы. В конце заметки перечислены и все отличия издания от оригиналов писем.

¹ Ср. Письма Пушкина, под ред. и с примечаниями Б. Л. Модзалевского, т. II, Лгр. 1927, стр. 45 и 269.

Укажем еще некоторые приемы издания: даты писем, воспроизведенные так, как их пишет Пушкин, вынесены, кроме того, в переводе в *заголовки* писем; при этом даты или части дат, установленные редакцией, заключены в прямые скобки. Исправления и зачеркнутые слова оговорены в подстрочных примечаниях. Переводы писем имеют целью дать текст, по возможности, буквально-точный и вместе с тем — в стиле эпохи вообще и Пушкинских писем в частности; в некоторых случаях, где найти вполне соответствующее русское выражение оказалось невозможным, — сохранены в прямых скобках и французские слова, напр., „по отношению к хозяину [*vis à vis le maître*]“ (письмо VIII); точно также даны в переводах французские письма и документы, приводимые в примечаниях и статьях; иногда же, где редакция находила уместным, к ним прибавлен и подлинный текст, заключенный в скобках; в таких случаях сохранена французская орфография подлинника, как бы она ни была своеобразна (напр., в письмах Е. М. Хитрово); сокращения подлинников, раскрытые в переводе, заключены также в прямые скобки, напр., „Б[енкендорф]“ (письмо XIV). Палеографическое описание каждого письма дано вслед за переводом; гербовая печать Пушкина, которою запечатаны письма VI, VII, IX, X и другие, воспроизведена (сколько известно, впервые) на рис. 7-м; к сожалению, она вышла недостаточно ясно. Сокращенное обозначение в ссылках: „Переписка“, в кавычках или без них, означает всегда Академическое издание Переписки Пушкина, под редакцией В. И. Саитова, томы I — III, С.-Пб. 1906 — 1911. Комментарии к отдельным письмам, подписанные буквами М. Б., принадлежат М. Д. Беляеву, Н. И. — Н. В. Измайлову и Б. М. — Б. Л. Модзалевскому. Неподписанные примечания принадлежат редакции.

Во всем остальном издание следует общепринятым правилам, не нуждающимся в особых оговорках.

ТЕКСТ и КОММЕНТАРИЙ

I.

18 июля [1827 г.? Петербург].

Madame,

Je ne sais comment Vous exprimer toute ma reconnaissance pour l'interêt que vous daignez prendre à ma santé; je suis presque confus de me porter si bien. Une circonstance bien importune me prive aujourd'hui du bonheur d'être chez vous. Vœillez recevoir mes regrets et mes excuses ainsi que l'hommage de ma haute considération.

Pouchkine.

18 juillet.

На обороте: A Madame Madame de Hitrof.

II.

Понедельник. [Начало (6-го?) февраля 1828 г. Петербург].

Que vous êtes aimable d'avoir songé à consoler de votre souvenir l'ennui de ma réclusion—Toute sorte d'embarras, de chagrins, de désagréments &c., m'avoient tenu plus que jamais éloigné du monde, et ce n'est que malade moi-même, que j'ai appris l'accident de M^{lle} la Comtesse. Arnt a eu la bonté de m'en donner des nouvelles et de me dire qu'elle alloit beaucoup mieux—Dès que mon état me le permettra, j'espère Madame, avoir le bonheur de venir de suite vous présenter mes respectueux hommages, en attendant je m'ennuie, sans avoir même la distraction d'une souffrance physique.

lundi.

Pouchkine.

Je prends la liberté, Madame, de vous envoyer la 4 et 5 partie d'Онѣгинъ, qui viennent de paraître: Je souhaite de bien bon cœur qu'elles vous fasse sourire—

На обороте: Madame Madame Hitrof.

III.

Пятница. [10-го (?) февраля 1828 г. Петербург].

Un aussi triste malade que moi ne mérite guère d'avoir une sœur grise aussi aimable que vous, Madame. Mais je suis¹ bien reconnaissant de cette charité toute chrétienne & toute charmante. Je suis charmé que vous protegiez mon ami Онѣгинъ; votre remarque critique est aussi juste que fine comme tout ce que vous dites; je me serois empressé d'en venir recueillir d'autres, si je ne boitois encore un peu, & si je ne craignois les escaliers. Jusqu'à present je ne me permets que le rez de chaussée.

Daignez recevoir Madame l'hommage de ma reconnaissance & de ma parfaite consideration.

vendredi.

Pouchkine.

На обороте: Madame Madame Hitrof.

¹ Слово suis переправлено из vous.

IV.

Графине Е. Ф. Тизенаузен.

1 января [1830 г. Петербург].

Языкъ и умъ теряя разомъ,
Гляжу на васъ единымъ глазомъ:
Единый глазъ въ главѣ моей.
Когда-бъ Судьбы того хотѣли,
Когда-бъ имѣлъ я сто очей,
То всѣ бы сто на васъ глядѣли.

Bien entendu, Comtesse, que vous serez un vrai Cyclope. Acceptez cette platitude comme une preuve de ma parfaite soumission à vos ordres. Si j'avois cent têtes et cent cœurs, ils seroient tous à votre service.

Agreez l'assurance de ma haute consideration

Pouchkine.

1 janvier.

На обороте: a Mademoiselle la Comtesse de Tiesenhausen.

Азъкъ и зымъ тьрлѣ расомѣ,
Тьскьдѣ кавакъ зымьнѣкъ гласомѣ:
Зымьнѣкъ гласъ тѣ гласът ѡсѣдъ,
Козга-дѣ Сьдѣдѣтѣ мого дѡмьнѣкъ,
Козга-дѣ ѡсѣдѣтъ ѣ ѡмо очѣдъ,
Мѡ бѣтъ дѣ ѡмо кавакъ зь гьдѣкъ.

Bien entendu, fantôme,
qui nous serez un vrai
Cyclope. Excepté cette flatte-
rieuse comme une preuve
de ma parfaite soumission
à vos ordres. Si j'avais
cent têtes et cent courages,
ils seraient tous à votre
service

Agreez l'assurance de ma
haute considération
! jamais
Pouchkine

IV письмо Пушкина — к графине Е. Ф. Тизенгаузен.

V.

[Начало января 1830 г. Петербург].

Vous devez me trouver bien ingrat bien mauvais sujet. Mais je vous conjure de ne pas juger sur l'apparence. Il m'est impossible aujourd'hui de me rendre à vos ordres — quoique sans parler¹ du bonheur d'être chez vous il suffiroit de la² curiosité pour m'y attirer. De vers d'un chretien, d'un évêque Russe en reponse a des couplets sceptiques! c'est vraiment une bonne fortune.

A. P.

На обороте: Madame Hitrof.

¹ Слова sans parler надписаны над зачеркнутым malgré. Следующее слово du переправлено из le.

² Исправлено из d'un.

VI.

[Конец марта — первая половина мая 1830 г. Москва].

Je vous demande Madame, un million d'excuses d'avoir été si éfrontement paresseux. Que voulez vous c'est plus fort que moi — la poste est pour moi une torture — Permettez moi de vous présenter mon frère & vœuillez lui accorder une partie de la bienveillance que vous daignez m'accorder.

Recevez Madame l'assurance de ma haute consideration

Pouchkine.

На обороте: Madame Hitrof.

Je vous les ai
accordés au fort
de la bruyère. Même
je n'en ai pas
m'accorder.

Revenez m'en
l'apporter dans
grande considération
Poussin

VI письмо Пушкина.
(2-я страница).

VII.

18-го мая [1830 г. Москва].

Je ne sais encore si je viendrois à Petersbourg—les chaperons que vous avez la bonté de me promettre sont bien brillants pour ma pauvre Natalie. Je suis bien à leurs pieds & aux vôtres, Madame.

18 mai.

На обороте: Ея Превосходительству Милостивой Государынѣ Елизаветѣ Михайловнѣ Хитровой &c. &c. &c. въ С.Петербургѣ на Маховой домѣ Межуевой.

VIII.

[Между 19 и 24 мая 1830 г. Москва].

D'abord permettez moi, Madame, de vous remercier pour *Hernani* — C'est un des ouvrages du tems que j'ai lu avec le plus de plaisir. Hugo & Sainte Beuve sont sans contredit les seuls poëtes françois de l'époque, surtout Sainte Beuve — & à ce propos, s'il est possible d'avoir à Petersbourg les *Consolations* de ce dernier faites une œuvre de charité, au nom du ciel envoyez les moi.

Quand à mon mariage vos reflexions la dessus seroient parfaitement juste si vous m'eussiez jugé moi-même moins poëtiquement. Le fait est que je suis bon homme & que je ne demande pas mieux que d'engraisser & d'être heureux — l'un est plus facile que l'autre. (pardon Madame: je m'aperçois que j'ai commencé ma lettre sur une feuille déchirée — je n'ai pas le courage de la recommencer)

Il est bien aimable à vous, Madame, de vous intéresser à ma situation vis à vis le maître. Mais quelle place voulez vous que j'occupe auprès de lui — je n'en vois aucune qui puisse me convenir. J'ai le dégoût des affaires & des *boumagui* comme le dit le C^{te} Langeron. Etre gentilhomme de la Chambre n'est plus de mon âge et puis que ferai-je à la cour? ni ma fortune ni mes occupations ne me le permettent. Les parents de ma femme se soucient fort peu d'elle et de moi — Je le leur rends de tout mon cœur — Ces relations sont fort agréables & je ne les changerai jamais —

IX.

21-го августа [1830 г. Москва].

Que je vous dois de reconnaissance, Madame, pour la bonté que vous avez eu de me mettre un peu au fait de ce qui se passe en Europe! Personne ici ne reçoit les journaux de France & en fait d'opinion politique sur tout ce qui vient de se passer, le Club anglois a décidé que le Prince Dmitri Galitzin a eu tort d'interdire l'écarté par ordonnance. Et c'est au milieu de ces ourang outans que je suis condamné à vivre au moment le plus intéressant de notre siècle. Pour surcroit de peine et d'embarras mon pauvre oncle Василий Львовичъ vient de mourir. Il faut avouer que jamais oncle n'est mort plus mal à propos. Voilà mon mariage retardé encore de 6 semaines et Dieu sait quand je pourrais revenir a Petersbourg.

La Parisienne ne vaut pas la Marseilloise. Ce sont des couplets de vaudeville. Je meurs d'envie de lire le discours de Chateaubriand en faveur du Duc de Bordeaux. Ça a étoit encore un beau moment pour lui. En tout cas le voilà donc encore dans l'opposition. Qu'est-ce que l'opposition du *Tems*? veut-il une république? Ceux qui l'ont voulu dernièrement ont hâté le couronnement de Louis-Philippe; il leur doit des plâces de chambellan & des pensions. Le mariage de M^{de} de Genlis avec Lafayette seroit tout-à-fait convenable. Et c'est l'evêque Talleyrand qui devoit les unir. C'est ainsi que la révolution seroit consommée.

Je vous supplie, Madame de me mettre aux pieds de¹ Mesdames les Comtesses vos filles et de vouloir bien accepter l'hommage de mon devouement & de ma haute consideration.

Pouchkine.

21 aout.

Moscou.

На обороте: Ея Превосходительству М. Г. Елисаветъ Михайловнѣ Хитровой. Въ С.-Петербурѣ на дачѣ, на черной рѣчкѣ.

¹ Исправлено из des.

X.

9-го декабря [1830 г. Москва].

En rentrant à Moscou, Madame, j'ai trouvé chez la P^{sse} Dolg. un paquet de votre part. C'étoit des gazettes de France & la tragedie de Dumas — tout étoit nouvelles pour moi, malheureux pestiferé de Нижній — Quelle année! quels événements! La nouvelle de l'insurrection de Pologne m'a tout à fait bouleversé. Nos vieux ennemis seront donc exterminés & c'est ainsi que rien de ce qu'a fait Alexandre ne pourra subsister car rien n'est basé sur les veritables interêts de la Russie, et ne pose que sur des considérations de vanité personnelles, d'effet théâtral &c ... Connaissez vous le mot sanglant du Maréchal votre Père? A son entrée à Vilna, les Polonais vinrent se jeter à ses pieds. Встаньте, leur dit-il, помните что вы Русскія. — Nous ne pouvons que plaindre les Polonais — Nous sommes trop puissants pour les haïr, la guerre qui va s'ouvrir sera une guerre d'extermination — ou du moins devoit l'être. L'amour de la patrie tel qu'il peut exister dans une âme polonnaise a toujours été un sentiment funèbre. Voyez leur poète Mickevicz. — Tout celà m'attriste beaucoup. La Russie a besoin de repos. Je viens de la parcourir. La sublime visite de l'Empereur a ranimé Moscou, mais il n'a pu être à la fois dans tous les 16 gouvernements empestés. Le peuple est abattu et irrité. L'année 1830 est une triste année pour nous — Esperons — c'est toujours bien fait. d'esperer.

9 decembre.

На обороте: Madame Hitrof à S^t Peters.

XI.

11-го декабря [1830 г. Москва].

Mon père vient de m'envoyer une lettre que vous m'avez adressée à la campagne. Vous devez être aussi assurée de ma reconnaissance, que je le suis de l'intérêt que vous daignez prendre à mon sort. Je ne vous en parlerai donc pas, Madame. Quant à la nouvelle de ma rupture, elle est fausse et n'est fondée que sur ma longue retraite et mon silence habituel avec mes amis — Ce qui m'intéresse pour le moment, c'est ce qui se passe en Europe. Les élections de la France sont, dites-vous, dans un bon esprit. Qu'appellez vous un bon esprit? Je tremble qu'ils ne mettent en tout cela la pétulance de la victoire, et que Louis-Philippe ne soit par trop roi-soliveau. La nouvelle loi des élections mettra au banc des députés une génération jeune, violente, peu effrayée des excès de la révolution républicaine qu'elle n'a connue que par les mémoires et qu'elle n'a pas traversée — Je ne lis pas encore les journaux, car je n'ai pas encore eu le tems de me reconnaître. Quant aux journaux Russes je vous avoue que la suppression de la Gazette littéraire m'a fort étonné. Sans doute l'éditeur a eu tort d'insérer le billet de Bonbon de C. la Vigne — mais ce journal est si inoffensif, si ennuyeux dans sa gravité qu'il n'est lu que des litterateurs et qu'il est tout à fait étranger même aux allusions de la politique. J'en suis fâché pour Delvig, homme tranquille, père de famille, tout à fait estimable et auquel cependant la sottise ou l'inadvertance d'un moment peuvent nuire auprès du gouvernement &

celà dans un moment où il sollicitoit pour sa mère, veuve du Général Delvig, une pension de Sa Majesté.

Veillez, Madame, me mettre aux pieds des Comtesses vos filles dont la bienveillance m'est plus que précieuse et souffrez que je reste aux vôtres.

11 dec.

XII.

21-го января [1831 г. Москва].

Vous avez bien raison, Madame, de me reprocher le séjour de Moscou. Il est impossible de n'y pas s'abrutir. Vous connaissez l'épigramme contre la société d'un ennuyeux:

On n'est pas seul on n'est pas deux.

C'est l'épigraphe de mon existence. Vos lettres sont le seul rayon qui me vienne de l'Europe.

Vous souvenez vous du bon tems où les gazettes étoient ennuyeuses? nous nous en plaignions. Certes si nous ne sommes pas contents aujourd'hui c'est que nous sommes difficiles.

La question de la Pologne est facile à décider. Rien ne peut la sauver qu'un miracle et il n'est point de miracle — Son salut est dans le desespoir *una salus nullam sperare salutem* ce qui est un non sens — Ce n'est qu'une exaltation convulsive et generale qui puisse offrir aux polonais une chance quelconque. Les jeunes gens ont donc raison, mais les moderés l'emporteront et nous aurons le gouvernement de Varsovie, ce qui devoit être fait depuis 33 ans. De tous les polonais il n'y a que Mickevicz qui m'interesse. Il étoit a Rome au comencement de la révolte, je crains qu'il ne soit venu à Varsovie, assister aux dernieres crises de sa patrie.

Je suis mécontent de nos articles officiels. Il y règne un ton d'ironie qui messied à la puissance. Ce qu'il y a de bon, c. à d. la franchise, vient de l'Empereur; ce qu'il y a de mauvais c. à d. la jactance et l'attitude pugilaire,

vient de son secrétaire. Il n'est pas besoin d'exalter les Russes contre la Pologne. Notre opinion est toute prononcée depuis 18 ans.

Les François ont presque fini de m'intéresser. La révolution devrait être finie et chaque jour on en jette de nouvelles semences. Leur roi, avec son parapluie sous le bras est par trop bourgeois — Il veut la république et ils l'auront — mais que dira l'Europe. Et où trouveront ils Napoleon?

La mort de Delvig me donne le spleen. Independemment de son beau talent, c'étoit une tête fortement organisée et une âme de la trempe non comune — C'étoit le meilleur d'entre nous.¹ Nos rangs commence à s'eclaircir.

Je vous salue bien tristement Madame.

21 Janvier.

¹ *Далее зачеркнуто* Mes; слово Nos надписано над строкой.

XIII.

[8-го или 9-го февраля 1831 г. Москва].

Il est bien heureux pour vous, Madame, d'avoir une âme capable de tout comprendre & de s'intéresser à tout. L'émotion que vous montrez en parlant de la mort d'un poète au milieu des convulsions de l'Europe, est une grande preuve de cette universalité de sentiment. Si la veuve de mon ami étoit dans un état de détresse croyez, Madame, que ce n'est qu'à vous que j'aurois eu recours. Mais Delvig laisse deux frères dont il étoit le seul soutien: ne pourroit on pas les faire entrer au corps des pages?.....

Nous sommes dans l'attente de ce que le sort va décider — La dernière proclamation de l'Empereur est admirable. Il paroît que l'Europe nous regardera faire. Un grand principe vient de surgir du sein des révolutions de 1830: le principe de la Non-intervention qui remplacera celui de la légitimité, violé d'un bout de l'Europe à l'autre. Tel n'étoit pas le système de Canning.

Voilà donc M^r de Mortemar à Petersbourg et un homme aimable et historique de plus dans votre société — Qu'il me tarde de m'y retrouver & que je suis soul de Moscou et de sa nullité tartare!

Vous me parlez du succès de Борисъ Годуновъ: en vérité je ne puis y croire. Le succès n'entroit en rien dans mes calculs — lorsque je l'écrivis. C'étoit en 1825 — et il a fallu la mort d'Alexandre, la faveur inespérée de l'Empereur actuel, sa générosité et sa manière de voir si large & si libérale — pour que ma tragédie put être

publiée. D'ailleurs ce qu'il y a de bon est si peu fait pour frapper le respectable public (c'est à dire la canaille qui nous juge)¹ et il est si facile de me¹ critiquer raisonnablement, que je croyois ne faire plaisir qu'aux sots, qui auroient eu de l'esprit à mes dépends. Mais il n'y a qu'heur et malheur dans ce bas monde et *delenda est Varsovia*.

На обороте: Е. П. Милостивой Государынѣ Елизаветѣ Михайловнѣ Хитровой. Въ С. Петербургѣ въ домѣ Австрійскаго посланника.

86376

¹ Слово те надписано над зачеркнутым: la.

XIV.

26-го марта [1831 г. Москва].

Le tumulte & les embarras de ce mois qu'on ne sauroit chez nous nommer le mois de miel, m'ont empêché jusqu'à present de vous écrire. Mes lettres pour vous n'auroient dues être plaines que d'excuses et de remerciements, mais vous êtes trop au dessus des uns et des autres pour que je me les permette. Mon frère va donc vous devoir toute sa carrière à venir; il est parti pénétré de reconnaissance. J'attends à tout moment la décision de B. pour la lui faire parvenir.

J'espère, Madame, être à vos pieds dans un ou deux mois tout au plus. Je m'en fais une véritable fête. Moscou est la ville du Neant. Il est écrit sur sa barrière: laissez toute intelligence, o vous qui entrez. Les nouvelles politiques nous parviennent tard ou défigurées. Depuis près de 2 semaines nous ne savons rien relativement à la Pologne— et l'angoisse de l'impatience n'est nulle part! Encore si nous étions bien dissipés, bien fous, bien frivoles— mais point du tout. Nous sommes gueux, nous sommes tristes et nous calculons bêtement le décroissement de nos revenus.

Vous me parlez de Mr de la Menais je sais bien que c'est Bossuet-Journaliste. Mais sa feuille ne parvient pas jusqu'à nous. Il a beau prophetiser; Je ne sais si Paris est sa Ninive mais c'est nous qui sommes les citrouilles.

Скорятинъ vient de me dire qu'il vous avez vue avant son départ, que vous avez eu la bonté de vous ressouvenir de moi, que vous vouliez même m'envoyer des livres—Il faut donc absolument vous remercier, dusse-je vous impatienter.

Veillez agreer mes respectueux hommages & les faire parvenir à Mesdames les Comtesses vos filles.

26 mars.

Mon adresse: *домъ Хитровой на арбатѣ.*

На обороте: Ея Превосходительству Милостивой Государынѣ Елисаветѣ Михайловнѣ Хитровой. Въ С. Петербургѣ у Симеоновскаго моста въ домѣ Межуевой.

XV.

8-го мая [1831 г. Москва].

Voici, Madame, le странникъ que vous m'avez demandé. Il y a du vrai talent dans ce bavardage un peu manieré. Ce qu'il y a de plus singulier c'est que l'auteur a déjà 35 ans & que c'est son premier ouvrage. Le roman de Zagoskine n'a pas encore paru. Il a été obligé d'en refondre quelques chapitres où il étoit questions des Polonais de 1812. Les Polonais de 1831 sont bien plus embarrassants, et leur roman n'est pas à sa fin. On débite ici la nouvelle d'une bataille qui a du avoir lieu le 20 avr. Ce doit être faux, du moins quant à la date.

Mon voyage est retardé de quelques jours à cause d'affaires qui ne me regardent pas. J'espère en être quitte vers la fin du mois.

Mon frère est un étourdi et un paresseux. Vous êtes bien bonne, bien aimable de vous intéresser à lui. Je lui ai déjà écrit une lettre d'Oncle, où je lui lave la tête sans trop savoir pourquoi. A l'heur qu'il est, il doit être en Georgie. Je ne sais si je dois lui envoyer votre lettre; j'aimerois mieux la garder.

Sans adieu, Madame, comme sans formule.

8 mai.

XVI.

[Вторая половина мая 1831 г. Петербург].

Voici vos livres, Madame, je vous supplie de m'envoyer le second volume de rouge & noir — J'en suis enchanté. Plock et Plick est miserable. C'est un tas¹ de contresens, d'absurdités qui n'ont pas même le mérite de l'originalité. Notre Dame est-elle déjà lisible? Au revoir, Madame.

A. Pouchkine.

На обороте: Madame Nitrof.

¹ Слово *tas* переправлено из *sans*.

XVII.

[Около 25-го мая 1831 г. Петербург].

Je pars à l'instant pour Sarsko-Selo avec le regret bien vrai de ne pas passer la soirée chez vous. Quant à l'amour propre de Sullivan il deviendra ce qu'il pourra — Vous qui avez tant d'esprit dites lui quelque chose qui puisse l'apaiser. Bonjour, Madame et surtout au revoir.

Приписка Натальи Николаевны Пушкиной:

Je suis au désespoir, Madame, de ne pouvoir profiter de votre aimable invitation, mon mari m'enlève à Tsarskoie-celo. Recevez l'expression de mes regrets et de ma parfaite considération.

Natalie Pouchkine.

На обороте рукою Пушкина: Madame Madame Hitrof.

Je pars à l'instant pour
Larino-Sele avec le regret
bien vrai de ne pas
passer la soirée chez vous.
Quant à l'amour propre
de Sullivan il deviendra
ce qu'il pourra — Vous
sûr avec tant d'esprit
dites lui quelque chose
qui puisse l'apaiser.
Bonne nuit, Madame et restez
au revoir.
Je suis au désespoir, Madame, de ne pas aller in

XVII письмо Пушкина, с припиской Н. Н. Пушкиной.
(1-я страница; 2-я — на обороте).

profite de votre aimable invitation, mon mari
m'invite à Starobor. etc. Recevez l'assurance
de mes regrets et de ma parfaite considération.

Natalie Soukhovina

XVIII.

Вторник. [Конец мая или начало июня 1831 г. Петербург].

Je suis bien fâché de ne pouvoir passer la soirée chez vous. Une chose bien triste, c. à d. un devoir m'oblige d'aller bailler je ne sais où. Voici, Madame, les livres que vous avez eu la bonté de me prêter. On conçoit fort bien votre admiration pour la Notre dame, Il y a bien de la grâce dans toute cette imagination. Mais, mais — — je n'ose dire tout ce que j'en pense. En tout cas la chûte du prêtre et belle de tout point, c'est à en donner des vertiges. Rouge & noir est un bon roman, malgré quelques fausses déclamations et quelques observations de mauvais goût.

Mardi.

На обороте: Madame Madame Hitrof.

XIX.

[Середина июня 1831 г. Царское-Село].

Svistounof m'a dit qu'il vous verroit ce soir, je prends cette occasion, Madame, pour vous demander une grâce: j'ai entrepris une étude de la révolution française; je vous supplie de m'envoyer Thiers & Mignet s'il est possible. Ces deux ouvrages sont défendus. Je n'ai ici que les *Mémoires relatifs à la révolution*. Ces jours-ci je compte venir à Petersbourg pour quelques heures. J'en profiterai pour me présenter à la Черная рѣчка.]

На обороте: Madame Madame Nitrof.

XX.

[19-го или 20-го июня 1831 г. Царское-Село].

Merci, Madame, pour la révolution de Mignet, je l'ai reçue par Novossiltzof. — Est-il vrai que Тургеневъ nous quitte & celà si brusquement?

Vous avez donc le Cholera; ne craignez rien au reste. C'est toujours l'histoire de la peste; les zens comme il faut n'en meurent zamais, comme le disoit la petite Grecque. Il faut esperer que l'épidemie ne sera pas forte, même parmi le peuple — Petersbourg est bien aéré et puis la mer...

J'ai rempli votre commission — c. à d. que je ne l'ai pas remplie — car quelle idée avez vous eue de me faire traduire des vers russes en prose françoise, moi qui ne connoit même pas l'Orthographe? D'ailleurs les vers sont médiocres — J'en ai fait sur le même sujet d'autres qui ne valent pas mieux & que je vous enverrai des que j'en trouverai l'occasion.

Portez-vous bien, Madame, c'est pour le moment ce que j'ai de plus pressé à vous dire.—

На обороте: Ея Превосходительству Милостивой Государынѣ Лизаветѣ Михайловнѣ Хитровой въ домѣ Австрійскаго посланника.

Другой рукой: Въ С.-Петербургѣ.

XXI.

[После 14-го сентября 1831 г. Царское-Село].

I

Передъ гробницею святой
Стою съ поникшею главою.
Все спить кругомъ. Однѣ лампы
Во мракѣ храма золотятъ
Столповъ гранитныя громады
И ихъ знаменъ нависшій рядъ

II

Подъ ними спить сей властелинъ,
Сей идолъ сѣверныхъ дружинъ,
Маститый стражъ страны державной
Смиритель всѣхъ Ея враговъ,
Сей остальной изъ стаи славной
Екатерининскихъ орловъ.

III

Въ твоёмъ гробу восторгъ живетъ:
Онъ русской звукъ намъ издаетъ,
Онъ намъ твердитъ о той годинѣ
Когда народной вѣры гласъ
Возвалъ къ святой твоей сѣдинѣ:
Иди, спасай! — Ты всталъ и спасъ.

IV

Внемли-жь и днесь нашъ вѣрный гласъ:
Возстань, спаси Царя и насъ!
О грозный старецъ! на мгновенье
Явись у двери гробовой,
Явись, вдохни восторгъ и рвенье
Полкамъ оставленнымъ тобой —

V

Явись и дланю своей
Намъ укажи въ толпѣ вождей
Кто твой наслѣдникъ, твой избранный...
Но храмъ въ молчанье погружень
И тихъ твоей гробницы бранный
Невозмутимый, вѣчной сонъ.

Ces vers ont été écrits dans un moment où il étoit permis d'être découragé — Grâce à Dieu, ce moment n'est plus — Nous avons repris l'attitude que nous n'aurions pas du perdre. Ce n'est plus celle que nous avez donnée le bras du Prince votre père, mais elle est encore assez belle. Nous n'avons pas de mot pour exprimer celui de *résignation*, quoique cet état d'âme, ou si vous l'aimez mieux cette vertu, soit tout à fait Russe. Le mot de *Столбнякъ* est encore ce qui le reproduit avec le plus de fidélité.

Quoique je ne vous aye pas importuné de mes lettres pendant ce tems de calamités, je n'ai pas manqué d'avoir de vos¹ nouvelles, je savois que vous vous portiez bien & que vous vous amusiez, ce qui très certainement

¹ Слово *vos* переправлено из *vous*.

est digne du décaméron. Vous avez lu en tems de peste, au lieu d'écouter des contes, c'est aussi tres philosophique.

Je suppose que mon frère c'est trouvé à l'assaut de Varsovie; je n'en ai pas de nouvelles — Mais qu'il étoit tems de prendre Varsovie! vous avez lu je suppose les vers de J. & les miens: pour Dieu, corrigez celui-ci

Святыню всѣхъ твоихъ *градовъ*

Mettez: *гробовъ*. Il s'agit des tombeaux de Ярославъ et de ceux des saints de Печора; celà est édifiant, et presente un sens.¹ *Градovъ* ne signifie rien.

J'espère me presenter chez vous vers la fin de ce mois. Sarsko-selo est étourdissant; Petersbourg est bien plus retraite.

На обороте: Madame Hitrof.

¹ *Далее зачеркнуто: quelquons.*

XXII.

[Конец сентября — начало октября 1831 г. Царское-Село].

Merci, Madame pour l'élégante traduction de l'ode — j'y ai remarqué deux inexactitudes¹ & une erreur de copiste. *Изсякнуть* veut dire *tarir*; * *скрижали* — tables, chroniques. *Измаилской штыкъ* la bayonnette d'Ismael — non d'Ismailof —

Il y a pour vous une lettre à Petersbourg; c'est une réponse à la première que je reçus de vous. Faites vous la donner — j'y ai joint l'ode à feu le Prince votre père. —

М^р Опочининъ m'a fait l'honneur de passer chez moi — c'est un jeune² bien distingué — Je vous remercie de sa connaissance —

Ces jours-ci je suis à vos pieds.

На обороте: Madame Hitrof.

¹ Первоначально: une inexactitude.

² Так в подлиннике.

XXIII.

[Октябрь—ноябрь 1831 г. Петербург].

Merci beaucoup pour le *garçon boucher*. Il y a du vrai talent dans tout celà—Mais Barnave ... Barnave; Voici Manzoni qui appartient au Comte Litta—Veillez le lui faire remettre & ne faites pas attention à mes propheties.

XXIV.

Воскресење. [Конец января 1832 г. Петербург].

Très certainement je n'oublierai pas le bal de M^{de} l'Ambassadrice & je vous demande la permission d'y presenter mon beau frère Gontcharof— Je suis charmé qu'Онѣгинѣ vous ait plu— Je tiens à votre suffrage— dimanche.

На обороте: Madame Hitrof.

XXV.

[Август — первая половина сентября или конец октября — декабрь 1832 г. Петербург].

Ma foi oui — Le joli frère est bien mal, hier je l'ai emmené chez moi — Il est entre la folie & la mort, dans une heure nous aurons la crise — & vous en aurez des nouvelles.

Comment n'avez vous pas honte d'avoir parlé si légèrement de *Karr*. Son Roman a du genie & vaut bien le marivaudage de votre Balzac — Adieu, belle et bonne.

Mon Dieu, Madame, en
disant des phrases en
l'air, je n'ai jamais
songé à des allusions
inconvenantes. Mais
voilà comme vous êtes
toutes & voilà pourquoi
les femmes comme il faut
& les grands sentiments
sont si rare au monde. Nive
les grisettes. C'est bien
plus court & bien plus
commode — Si je me
vieux je serais vous, c'est

XXVI.

[Перепбур].

Mon Dieu, Madame, en disant des phrases en l'air, je n'ai jamais songé à des allusions inconvenantes. Mais voilà comme vous êtes toutes & voilà pourquoi les femmes comme il faut & les grands sentiments sont ce que je crains le plus au monde. Vive les grisettes. C'est bien plus court & bien plus commode — Si je ne viens pas chez vous, c'est que je suis très occupé, que je ne puis m'absenter que tard, que j'ai mille personnes que je dois voir et que je ne vois pas —

Voulez vous que je vous parle bien franchement? Peut-être suis je élégant & comme il faut dans mes écrits; mais mon cœur et tout vulgaire et mes inclinations toutes tiers-état. Je suis soul d'intrigues, de sentiments, de correspondance, &c. &c. J'ai le malheur d'avoir une liaison avec une personne d'esprit, malade et passionnée — qui me fait enrager, quoique je l'aime de tout mon cœur — En voilà bien assez pour mes soucis & surtout pour mon temperament.

Ma franchise ne vous fchera pas? n'est-ce pas? Pardonnez moi donc des phrases qui n'avoient pas le sens commun et qui surtout ne vous regardoient en aucune manière.

Ha обопоме: Madame Hitrof.

XXVII.

Среда. [Петербург].

D'où diable prenez vous que je sois fâché? mais j'ai des embarras pardessus la tête — Pardonnez mon lacanisme & mon style de jacobin.
mercredi.

На обороте: Madame Hitrof.

Переводы писем Пушкина и примечания.

I.

18-го июля [1827 г. ? Петербург].

Не знаю, как выразить Вам свою благодарность за участие, которое Вам угодно проявлять к моему здоровью. Мне почти совестно чувствовать себя так хорошо. Одно крайне несносное обстоятельство лишает меня сегодня счастья быть у Вас. Соболаговолите принять мои сожаления и извинения, равно как и выражение моего глубокого почтения.

Пушкин.

18 июля.

На обороте: Г-же Хитровой.

Письмо на листе почтовой бумаги обыкновенного формата, без водяных знаков, сложено конвертом и запечатано перстне-талисманом. На обороте адрес (для передачи с нарочным) и помета карандашом, рукою Е. М. Хитрово: „de Poushkin l'Auteur“.

Датировка письма предположительная. Официально-светская форма обращения дает основание отнести его к ранним годам знакомства Пушкина с Е. М. Хитрово, т. е. к 1827-му или, самое позднее, — к 1828-му годам, так как 18 июля 1829 г. Пушкин был на Кавказе, 18 июля 1830 — на пути из Москвы в Петербург (см. у Н. О. Лернера: „Труды и дни Пушкина“, С.-Пб. 1910, стр. 215), 18 июля 1831 — в Царском Селе. Наиболее вероятен первый год знакомства — 1827-й; в таком случае письмо это — самое раннее из дошедших до нас писем поэта к Хитрово, почему и печатается первым.

II.

Понедельник. [Начало (6-го?) февраля 1828 г. Петербург].

Как Вы любезны, что надумали вспомнить обо мне и тем утешили скуку моего заточения. Всевозможные заботы, огорчения, неприятности и т. д. удерживали меня больше, чем когда либо, вдалеке от света, и я узнал о несчастном случае с графиней¹ только уже будучи сам болен.² Арнт³ был так добр, что осведомлял меня об ее здоровье и сказал, что ей гораздо лучше.

Как только мое собственное состояние мне позволит, я надеюсь иметь счастье тотчас же лично засвидетельствовать Вам свое почтение. В ожидании же этого я скучаю, не имея даже развлечения хотя бы в физической боли.

Понедельник.

Пушкин.

Беру на себя смелость послать Вам только что вышедшие 4 и 5 главы Онегина. От всего сердца желал бы, чтобы они вызвали у Вас улыбку.⁴

На обороте: Г-же Хитровой.

Письмо на листе почтовой бумаги большого формата, без водяных знаков, сложено конвертом и запечатано перстнем-талисманом; на обороте адрес и помета карандашом рукою Е. М. Хитрово: „de Poushkin“.

Дата письма определяется выходом в свет IV и V глав „Евгения Онегина“ (см. ниже).

1) Вероятно — с младшей дочерью Е. М. Хитрово, графиней Екатериной Федоровной Тизенгаузен.

2) Чем был болен в это время Пушкин, точно неизвестно; можно думать, что это был ревматизм, о котором упоминает П. А. Плетнев — правда, четырьмя годами позднее — в письме к Жуковскому („Сочинения Плетнева“, том III, стр. 521); быть может — припадок аневризма в ноге, которым Пушкин страдал еще в Михайловском.

3) Николай Федорович Арндт (род. 1785, ум. 14 октября 1859 г.) — знаменитый врач-практик, по специальности хирург, доктор медицины, в 1828 г. состоявший членом Медицинского Совета Министерства Внутренних Дел и главным доктором заведений С.-Петербургского Приказа Общественного Призрения, а в 1829 г., за успешное лечение Николая I назначенный

(22 апреля) придворным лейб-медиком; он всегда сопровождал императору во всех его путешествиях и поездках (1829—1839), наблюдал за его здоровьем и неоднократно спасал его от опасности при серьезных болезнях. С именем Арендта связана история апокрифического письма Николая I к умирающему Пушкину, к которому Арендт был призван после дуэли поэта с Дантесом; история эта рассказана в статье Ю. Г. Оксмана в сборнике Пушкинского Дома: „Новые материалы о дуэли и смерти Пушкина“, Б. Л. Модзалевского, Ю. Г. Оксмана и М. А. Цявловского, Пб. 1924, по указ.; см. также „Дневник Пушкина“, под ред. Б. Л. Модзалевского, Пгр. 1923, стр. 20 и др. Биографию Н. Ф. Арендта см. в „Русском Биографическом Словаре“ Русского Исторического Общества, т. II, стр. 277—279.

Б. М.

4) IV и V главы „Евгения Онегина“ вышли в свет, в одной книжке, между 31 января и 2 февраля 1828 года („Евгений Онегин“, роман в стихах, сочинение Александра Пушкина, С.-Пб. В типографии Департамента Народного Просвещения, 1828. С дозволения Правительства. 92 стр. в 12-ю д.; цена 10 р. асс.). Время выхода в свет определяется, с одной стороны, — разрешением на выпуск книги из типографии, данным III Отделением с. е. в. Канцелярии и помеченным 30 января 1828 г. („Дела III Отделения об А. С. Пушкине“, С.-Пб. 1906, изд. А. Балашова, стр. 64), с другой стороны — краткой рецензией „Северной Пчелы“ (1828 г., № 15, от 4 февраля) о книге, как только что уже вышедшей (см. у Н. Сиявского и М. Цявловского: „Пушкин в печати“, М. 1914, стр. 51, №№ 321, 323). Эти даты позволяют определить с достаточною точностью дату письма Пушкина — так же, как и следующего: об „Онегине“, как „только что вышедшем“, он мог написать лишь в первых числах февраля 1828 года, а если — в понедельник, как помечено письмо, то скорее всего 6 февраля.

Н. И.

III.

Пятница. [10-го (?) февраля 1828 г. Петербург].

Такой печальный больной, как я, не заслуживает вовсе такой любезной сиделки, как Вы, сударыня. Но я крайне признателен Вам за Ваше милосердие, столь христианское и столь прекрасное. Я в восторге от того, что Вы покровительствуете моему другу Онегину. Ваше критическое замечание одинаково спра-

ведливо и тонко, как и все, что Вы говорите;¹ я поспешил бы прийти, чтобы услышать и другие, если бы еще немного не хромал и не боялся лестниц, — до сих пор я не позволяю себе подниматься выше первого этажа.

Благоволите принять дань моей признательности и отличного уважения.

Пушкин.

Пятница.

На обороте: Г-же Хитровой.

Письмо на листе почтовой бумаги большого формата, без водяных знаков, сложено конвертом и запечатано перстнем-талismanом. На обороте — адрес и помета карандашом, рукою Е. М. Хитрово: „Poushkin“.

Датируется по связи с предыдущим письмом — т. е. по упоминаниям о болезни Пушкина и об „Онегине“. День написания, — пятница, — определяет дату — 10 февраля 1828 г., так же, как и в предыдущем письме.

1) Письмо Е. М. Хитрово к Пушкину с замечанием на IV и V главы „Онегина“ неизвестно.

Издание этих двух глав романа вызвало многочисленные отзывы в современных журналах. На него откликнулись почти все главные повременные издания того времени, за исключением „Московского Телеграфа“: „Сын Отечества“ (том CXVIII, № 7, стр. 242—261, без подписи), „Северная Пчела“ (№ 15, 4 февраля 1828, краткая рецензия), „С.-Петербургский Зритель“ (№ 1, статья издателя, Бор. Мих. Федорова), „Московский Вестник“ (в двух статьях: часть VII, № 3, стр. 461—469, за подписью NN, т. е. М. П. Погодин — см. „Пушкин и его современники“, вып. XIX—XX, стр. 90 — в виде „отрывков светских разговоров“ о романе Пушкина, и часть VIII, № 6, стр. 171—196, статья под заглавием „Нечто о характере поэзии Пушкина“, за подписью „9.11“, т. е. И. К. — И. В. Киреевский, где шла речь главным образом об „Онегине“), „Атеней“ (№ 4, Библиография и критика, стр. 76—89, за подписью „В“, т. е., повидимому, А. Ф. Воейков).

Придирчивая и мелочная критика „Атеней“ обратила на себя внимание Пушкина. Прочтя ее, он спрашивал С. А. Соболевского, хорошо знавшего Московский журнальный мир: „Кто этот Атенейский [зачеркнуто: дурак] Мудрец, который так хорошо разобрал IV и V главу? Зубарев? или Ив. Савельич?“ („Переписка“, изд. Академии Наук, т. II, стр. 60). Тогда же, повидимому, он набросал большую ответную статью, направленную против критики „Атеней“ (черновик ее — в „Майковском

собрании“ автографов Пушкина, приготовленном к печати Пушкинским Домом, но еще не изданном; ср. „Пушкин и его соврем.“, вып. IV, стр. 26, № 9); исполненная язвительности и сарказмов, эта статья метила и в литературных староверов, и в схоластических грамматиков, и в подражательную неглубокую молодежь. Но статья не явилась в печати — в сущности, ей и негде было бы появиться — и, оставшись в бумагах Пушкина, была осенью 1830 г. использована для другой, суммирующей статьи об „Евгении Онегине“, оставшейся также недописанной и ненапечатанной. В это время „Онегин“ был только что закончен. Нужно было подвести итоги тому, что о нем было сказано в критике. Оглядываясь назад и отмечая, что критики долго оставляли его в покое, что делает им честь так как он „был далеко и в обстоятельствах неблагоприятных“, поэт продолжал: „Первые неприязненные статьи, помнится, стали появляться по напечатании четвертой и пятой песни „Евгения Онегина“. Разбор сих глав, напечатанный в „Атенее“, удивил меня хорошим тоном, хорошим слогом и странностью привязок... и далее давал подробный разбор критики „Атеней“, отчасти „С.-Петербургского Зрителя“ и „Вестника Европы“, используя материалы наброска статьи 1828 г. Таким образом, взгляд Пушкина на выступление „Атеней“ несколько изменился и смягчился, но общее впечатление неприязненности и непонимания осталось. И непонимание было не только в присяжной журнальной критике: оно было и в широких читательских кругах, с недоумением встречавших необычное и незнакомое им литературное явление. Это отразилось и в беглых заметках „Московского Вестника“, собравшего несколько светских разговоров и мнений; это выразил и Е. А. Боратынский в письме к Пушкину, написанном вскоре после выхода двух глав романа: „Вышли у нас еще две песни Онегина; но большее число его не понимают. Ищут романтической завязки, ищут обыкновенного и, разумеется, не находят. Высокая простота создания кажется им бедностью вымысла; они не замечают, что старая и новая Россия, жизнь во всех ее изменениях, проходит пред их глазами, mais que le diable les emporte et que Dieu les benisse [но пусть черт их возьмет и бог благословит]! Я думаю, что у нас в России поэт только в первых незрелых своих опытах может надеяться на большой успех: за него все молодые люди, находящие в нем почти свои чувства, почти свои мысли, облеченные в блистательные краски. Поэт развивается, пишет с большею обдуманностью, с большим глубокомыслием: он скучен офицерам, а бригадиры с ним не мирятся, потому что стихи его все-таки не проза“... („Переписка“, т. II, стр. 54—55). Пушкин глубоко чувствовал свое постепенное расхождение с обществом и со своими читателями. Он дорожил каждым проявлением понимания или хотя бы сочувствия в тех, кто, подобно Е. М. Хитрово, был ему

душевно или умственно близок. И фразы настоящего письма — о „покровительстве“ ее его „другу Онегину“, о ее критическом замечании „столь же верном, как и тонком“, — были не только светскими любезностями, но и отдавали должное одной из немногих светских женщин, искренно старавшихся его понять и следивших за его работой.

Н. И.

IV.

Графине Е. Ф. Тизенгаузен.¹

1-го января [1830 г. Петербург].

Язык и ум теряя разом,
Гляжу на вас единым глазом:
Единый глаз в главе моей.
Когда-б Судьбы того хотели,
Когда-б имел я сто очей,
То все бы сто на вас глядели.

Само собою разумеется, графиня, что Вы будете настоящим Циклопом.² Примите эту плоскость, как доказательство моей полной покорности Вашим приказаниям. Если бы у меня было сто голов и сто сердец, они все были бы к Вашим услугам. Примите уверение в совершенном моем почтении.

Пушкин.

1 января.

На обороте: Графине Тизенгаузен.

Письмо на листе почтовой бумаги обыкновенного формата, без водяных знаков, сложено конвертом и запечатано сетчатой печатью. На обороте — адрес (для передачи с нарочным). Письмо разорвано пополам, так что стихотворение отделено от остального текста, и затем склеено.

Год написания определяется содержанием письма — см. ниже.

1) Это письмо — единственное в нашем собрании, относящееся не к Е. М. Хитрово, но к ее старшей дочери, графине Екатерине Федоровне Тизенгаузен (1803—1888). А так как письма Пушкина дошли до нас через посредство самой гр. Е. Ф. Тизенгаузен (передавшей их гр. Ф. Ф. Сумарокову-Эльстон, впоследствии — князю Юсупову), то можно предположить, что оно — вообще единственное, написанное к ней Пушкиным; это объясняется тем, что, по всем данным, отношения

их были далеки и незначительны. Сведения наши о гр. Тизенгаузен вообще скудны и отрывочны и почти исчерпываются теми, какие приведены ниже, в нашей статье: „Пушкин и Е. М. Хитрово“. И в юности, за границей, и позднее, в России, графиня Тизенгаузен в своей семье стояла всегда на втором плане, заслоняемая, видимо, общественным значением матери и блистательною красотою младшей сестры, графини Фикельмон. К тому же, в 1830-х годах она, в качестве фрейлины императрицы Александры Федоровны, жила большею частью во дворце и следовала за императрицей в ее путешествиях. Этим определяется круг, в котором она вращалась — замкнутый, интимно-придворный, несравненно более узкий, чем круг ее матери и сестры. Ее имя мелькает постоянно в мемуарах, касающихся придворного быта в эпоху Николая Павловича, и в переписке ближайших придворных чинов императора... В пользу ее говорил бы рассказ гр. В. А. Сологуба („Воспоминания“, С.-Пб. 1887, стр. 134) о том, как, по его просьбе, графиня Тизенгаузен, через посредство императрицы, выхлопотала заграничный паспорт для А. И. Герцена, — но он, повидимому, является только легендой. Очень резкий отзыв о ней, как о деятельнице благотворительных обществ 1840—1850-х годов и как о человеке вообще, дают „Записки“ В. А. Инсарского. Сохранившиеся в ее бумагах письма к ней Александры Федоровны — ее личного, близкого друга — показывают, что не всё в жизни гр. Тизенгаузен было спокойно и ясно; но разгадывание этих намеков не могло бы входить в нашу задачу.* С несомненною можно только сказать, что она не была для Пушкина сколько-нибудь близким человеком, и отношения их не выходили за пределы светского знакомства и встреч в салоне Е. М. Хитрово и гр. Фикельмон. Памятником их чисто-светских отношений является письмо с мадригалом, вызванным, быть может, просьбой Е. М. Хитрово, напечатанное выше. Самый мадригал и обстоятельства, при которых он был написан, требуют дополнительных пояснений.

Н. И.

2) Стихотворение „Циклоп“ (Язык и ум теряя разом...) до сих пор не было известно в автографе, и самая принадлежность его Пушкину не могла считаться твердо установленной. Оно было впервые напечатано в брошюре, изданной в Петербурге, в 1830-м году, без цензурного разрешения, без имени составителя или издателя, под кратким заглавием „Vers chantés et récités“, куда вошло, вместе с другими маскарадными мадригалами, куплетами и иными стихотворениями (в том числе одним стихотворением Крылова), — с пометой „Соч. Г-на Пушкина“ (о брошюре этой будет подробно сказано ниже).

* Выдержки из писем имп. Александры Федоровны к гр. Тизенгаузен, характерные для отношения дворцовых кругов к Пушкину и к Дантесу, см. ниже, в нашей статье.

Впервые на стихотворение Пушкина обратил внимание некий И. Добр-н, напечатавший в „Москвитяине“ 1841 года (ч. V, № 10, стр. 457) „Письмо к издателю об издании сочинений Пушкина (посмертно)“. Здесь указывается, что в издании, между прочим, „нет стихотворения Циклоп — [следует текст]. Оно напечатано вместе с другими французскими и немецкими стихами, сделанными на тот же случай, в немногих экземплярах. Я имел удовольствие видеть один из них и читал между ними русские стихи И. А. Крылова, которых к сожалению не могу припомнить“. Указание, сделанное на память, было неточно; но через несколько лет Д. Н. Бантыш-Каменский в своей биографии Крылова („Библиотека для Чтения“ 1845, том 69, март, отд. III, стр. 16—17) повторил его уже, повидимому, имея в руках самую брошюру: „Из скромного жилища, говорит он, Крылов переходил иногда в великолепные чертоги царские: в 1830 году любилец Муз, исполняя волю вел. княгини Елены Павловны, явился в очаровательном маскараде, данном их имп. высочествами, наряженный Талиею! Тогда произнес он государю императору и государыне императрице следующие прекрасные стихи:

Про девушку идет худая слава... [и т. д.]“.

К этому было сделано примечание: „В том же маскараде Пушкин, представлявший Циклопа, произнес следующие стихи:

Язык и ум теряя разом... [и т. д.]“.

Показание Бантыша-Каменского о Пушкине решительно отвергалось друзьями Пушкина и лицами, хорошо знавшими его творчество. Об этом свидетельствует переписка Плетнева с Я. К. Гротом (том II, стр. 437, 438, 441, 446).*

Но позднее В. Ф. Кеневич, в статье: „Маскарадные стихотворения Крылова“ („Русский Архив“ 1866 г., ст. 1335—1340), привел стихотворение Крылова „Талия“, помянул вновь и Пушкина, говоря: „Лица, певшие или читавшие свои стихотворения на этом маскараде, изображали Греческих богов, богинь и полу богов. Циклопом пришлось быть Пушкину, который и прочитал стихи, напечатанные г. И. Добр-ным в „Москвитяине“ 1841 г.“. Из „Москвитянина“ перепечатал „Циклопа“ Анненков („Материалы“, изд. 1855, стр. 354), а начиная с издания Исакова, под ред. Геннади (1859, т. I, стр. 580), стихотворение стало включаться в собрания сочинений Пушкина, но без полной уверенности в его подлинности. Таким образом, библиографический указатель Н. Синявского и М. Цявловского „Пушкин

* Относительно Крылова факт его личного участия в маскараде не возбуждает сомнений. См. примечания к стихотворению „Талия“ в IV томе Сочинений Крылова под редакцией В. В. Калаша (изд. „Просвещение“ 1905, и Наркомпроса, Пгр. 1918, стр. 351—352).

в печати“ не включил его в число произведений Пушкина, напечатанных при его жизни, даже в число сомнительных; последнее издание „Госиздата“ (Лгр. 1924 и 1926) совсем его не поместило.

Автограф, ныне публикуемый, устраняет всякое сомнение и устанавливает точную дату. Текст автографа в письме не отличается от текста, напечатанного в брошюре, кроме мелких особенностей орфографии и пунктуации. Разница лишь в том, что в печати мадригал имеет французское заглавие „Суслоре“, а в автографе не озаглавлен вовсе.

Костюмированный бал, для которого Пушкин и Крылов написали стихи, происходил 4 января 1830 г. в Аничковом дворце и был дан „нечаянно“ великою княгиней Еленю Павловною императрице Александре Федоровне (см. указанные примечания В. В. Калаша в „Сочинениях Крылова“, т. IV, Пгр. 1918, стр. 351—352). Следовательно, бал происходил в самом замкнутом придворном кругу, куда Крылов попал, как лично знакомый великой княгине и в силу ее литературных симпатий.

Ознакомимся теперь с брошюрой, где напечатаны стихи Пушкина, и с описанием бала, принадлежащим одному из его участников и до сих пор неизвестным комментаторам. Это даст возможность яснее определить как смысл письма к графине Тизенгаузен, при котором стихотворение послано Пушкиным, так и подробности его произнесения.

Брошюра тем более нуждается в подробном описании, что представляет большую библиографическую редкость.* Заглавный лист ее таков: „Vers, chantés et récités. Saint-Petersbourg, typographie de Pluchart. 1830“. Ни цензурного разрешения, ни имени составителя, ни пояснительного текста не имеется. В ней 16 страниц, в большую 16-ю долю, украшенных кое-где заставками. Вот ее содержание:

Стр. 1—2—шмутц-титул, переданный выше.

„ 3—4—стихотворение „Diane“, без подписи.

„ 4—стихи „Allocution au chien“, par M-r le Baron de Bourgoing.

Стр. 4—5—стих. „Nymphe (M-r le comte Matuszewic)“ composés et récités par la nymphe elle-même.

Стр. 6—стих. „La chevelure de Bérénice“, par M. O'Sullivan de Grasse.

Там же—стих. „Le verseau“, без подписи, на русском языке.

Стр. 6—7—стих. „Apollon. Marche d'Apollon“, par M. le Baron de Bourgoing.

Стр. 7—9—стих. „Couplets d'Apollon“ par M. le Baron de Bourgoing.

Стр. 9—стих. „Uranie“, par le même.

* Экземпляр ее пожертвован Пушкинскому Дому Б. А. Модзалевским.

Стр. 9—10—стих. „Thalie“, соч. Ивана Андреевича Крылова (на русском языке, см. выше).

Стр. 11—12—стих. „Euterpe“ и „Apollon“, par M. le Baron de Bourgoing.

Стр. 13—стих. „Jupiter“, par M. le Comte de Laval.

Там же — стих. „Junon“, par le même.

Там же — стих. „Hercule“, par M. le Baron de Bourgoing.

Стр. 14—стих. „Neptune“, par M. le Comte de Laval.

Там же — стих. „Cyclope“, соч. Г-на Пушкина.

Стр. 14—15—стих. „Pluton“, par M. le Baron de Bourgoing.

„ 15—стих. „Mars“, par le même.

„ 16—чистая, нумерованная.

Всего 17 стихотворений, из них 3 русских и 14 французских; два стихотворения принадлежат известным поэтам, два неподписаны, остальные принадлежат светским любителям и обличают в них стихотворцев весьма неумелых. Большая часть стихотворений принадлежит барону Полю де-Бургуэн, военному атташе при Французском посольстве, в 1828—1829 годах состоявшему при штабе русской Дунайской армии, где находился и император Николай. Отзвуки этого похода слышатся в одном из его стихотворений—„Euterpe“ и „Apollon“ (стр. 11—12), где Клио жалуется на то, что охрипла и потеряла голос, — столько подвигов пришлось ей воспевать за последние два года. Тот же Bourgoing оставил интереснейшие мемуары, где, описывая свое пребывание в России, касается и костюмированного бала, данного по окончании Турецкого похода и о котором у нас идет речь („Souvenirs d'histoire contemporaine. Episodes militaires et politiques“ par le Baron Paul de Bourgoing. Paris, 1864, 600 pp.; перевод, в извлечениях, был дан в „Военном Сборнике“ 1866 г., кн. 3, 5 и 6, под заглавием: „Воспоминания французского дипломата при С.-Петербургском дворе, 1828—1831 гг.“; оба эти издания указаны нам Б. Л. Модзалевским). Здесь, на стр. 466—467 французского издания (ср. стр. 210—211 мартовской, 3-й книги „Военного Сборника“), мы читаем: „Заклочение столь выгодного мира [Адрианопольского] дало повод к блестящим празднествам, устроенным в Петербурге зимою 1829—1830 года. Самым замечательным из них был бал при дворе, в котором явились боги и богини Олимпа, одни — облеченные в пышные и изящнейшие одеяния, другие — переодетые смешотворным образом. Русские и французские стихи были прочтены или пропеты этими аллегорическими лицами. Особенно одобрения заслужили переодевания молодых дам, выбранных нарочно для того, чтоб представлять привлекательную противоположность с теми божествами, чьи военные доспехи или грозные атрибуты они носили. Так, красавица графиня Строганова явилась в пурпуровой тунике, в золотой кирасе и

в пернатом шлеме бога Марса. Точно так же прелестная графиня София Апраксина, замечательная тонкостью и правильностью черт лица, вышла на середину зала, одетая Геркулесом; она имела на себе шкуру Немейского льва и держала огромную палицу, поразившую Лернейскую гидру. Остановясь перед императорскою фамилиею, графиня прочитала стихотворение, в котором Геркулес просил поручить ему одному работу, предпринятую тогда по приказанию государя, — именно обделать и принести в Петербург Александрийскую колонну, названную так в честь императора Александра I. Этот памятник должен был быть вытесан в скалистых горах Финляндии из одной глыбы розовато-серого гранита. Монолит, по своим размерам, был совершенно равен нашей колонне на Вандомской площади. Таков был камешек, который, по выражению этого Геркулеса, недозвольного, как он говорил, своими двенадцатью подвигами, должен был быть поставлен им одним на Дворцовой площади“...

Это описание, вводя нас в обстановку костюмированного бала, вполне поясняет смысл Пушкинского письма и стихотворения и смысл всех других стихов, подтверждая, в частности, рассказ о Крылове. Все стихотворения обращены были к императорской чете (кроме, может быть, стих. „Nymphé“); такова Крыловская „Талия“, таково стих. „Урания“, где говорится о „соединенном сиянии двух светил“, которые „заставляют собою восхищаться от заката до востока“ и которых „обожает могущественная империя“. Женские роли исполнялись мужчинами, мужские — женщинами. Стихотворение „Геркулес“, о котором говорит в записках его автор, Бургуэн, таково:

Hercule.

Je ne suis pas content de mes douzes travaux,
Et je traîne à regret une vie inutile.
Donnez-moi donc quelqu'ours, quelque rhinocéros,
Quelque bon éléphant, ou quelque crocodile,
Sur qui puisse tomber la vigueur de mon bras.
Ou, si pour le moment on ne m'en trouve pas,
Laissez moi remuer vos granits de Finlande.
Quand vient ce petit bloc qu'on doit placer debout?
Je m'en chargerai seul, tant ma vigueur est grande;
Mon bras, ce bras nerveux, en viendra bien à bout.

В стихотворении графа Матушевича „Nymphé“, последняя, поясняя зрелище, говорит:

Vous voyez, chose magique,
Des veneurs, ours devenus,
Et des astres en tunique,
Qui font de graves saluts.

Vous voyez, et de bien près,
Des hussards à quatre pattes,
Des blancs hôtes des forêts
Et des nymphes diplomates.

Намеки каждого из этих стихов требовали бы особых пояснений, но последний стих явно указывает на самого автора — гр. Матушевича, 40-летнего дипломата,* произносившего, в образе нимфы, свои собственные стихи. — О Крылове, произносившем в костюме Талии сочиненное им комически-нравоучительное стихотворение, говорит 3-я строфа стихотворения того же бар. Бургуэна „Couplets d'Apollon“, где читаем:

Sous la comique enveloppe
Un fabuliste est ici
Je croirais que c'est Esope
S'il était moins bien bâti.
Pourtant sans peine
Je penserais
Que j'ai revu Lafontaine,
S'il parlait en vers français . . .

Наконец, можно сказать с уверенностью, что сам Пушкин своих стихов не говорил и в костюме циклопа, как думают комментаторы, не выступал. Циклопа изображала молодая (27-милетняя) графиня Ек. Фед. Тизенгаузен. При этом условии понятна и шутка о том, что графиня „будет, разумеется, настоящим циклопом“, и вся обстановка письма: за три дня до бала, 1-го января, Пушкин послал мадригал графине Тизенгаузен; последняя взяла стихотворение с собою во дворец, и для этого оторвала его текст от письма. Брошюра, изданная, как можно думать, самим бар. Бургуэном, сохранила нам мадригал, продукт светской любезности, повинующейся дружескому заказу. Сам Пушкин, вероятно, на балу и не был и, во всяком случае, не мог, по своему скромному и полу-опальному положению, участвовать в интимно-придворном развлечении. На это указывает и то, что, судя по письму к нему Е. М. Хитрово от 18 марта того же года, он в это время не был лично знаком с вел. князем Михаилом Павловичем, мужем вел. княгини Елены Павловны, а с нею самую познакомился значительно позднее.

Н. И.

* Граф Адам Фадеевич Матушевич (р. 1791, ум. 1842), тайн. сов. и камергер, состоявший в Коллегии Иностранных Дел. См. „Остафьевский Архив“ т. I, стр. 477; „Месяцеслов“ на 1830 г. ч. I, стр. 280.

V.

[Начало января 1830 г. Петербург].

Вы должны счесть меня весьма неблагодарным, весьма дурным человеком, но заклинаю Вас, не судите по наружности. Я не смогу предоставить себя сегодняя в ваше распоряжение, хотя, не говоря уже о счастии быть у вас, одного любопытства было бы достаточно, чтобы привлечь меня к вам. Стихи христианина, русского архиерея, в ответ на скептические куплеты! Да ведь это в самом деле находка!¹

А. П.

На обороте: Госпоже Хитровой.

Письмо на листе почтовой бумаги большого формата, без знаков, сложено конвертом и запечатано облаткой. На обороте — адрес (для передачи с нарочным).

Дата определяется содержанием письма — см. ниже.

1) „Стихи христианина, русского архиерея, в ответ на скептические куплеты“ — под этими словами Пушкин понимает ответ митрополита Филарета на стансы Пушкина („26 мая 1828 г.“):

Дар напрасный, дар случайный...

„Скептические“ стансы Пушкина появились лишь через полтора года после написания их — в „Северных Цветах на 1830 год“ (стр. 98); альманах вышел в свет в самом конце 1829 года — после 20 декабря. В этой книжке, вероятно, и прочел их митрополит Филарет, который, по словам кн. Вяземского, нашел их у „общей их приятельницы, Елизы Хитровой“ (а по указанию П. И. Бартенева, со слов самого митрополита Филарета, Е. М. Хитрово привезла к нему стихи Пушкина), и написал на них ответ, напечатанный лишь много лет спустя в детском журнале Ишимовой „Звездочка“ 1848 г. (№ 10, стр. 16):

Не напрасно, не случайно

Жизнь от бога мне дана,

Не без воли бога тайной

И на казнь осуждена.

Сам я своенравной властью

Зло из темных бездн воззвал.

Сам наполнил душу страстью,


Ум сомнением взволновал.

Вспомнись мне, забвенный мною!
Просияй сквозь сумрак дум, —
И созиждется тобою
Сердце чисто, светел ум.

Прослушать эти стихи и звала Пушкина Е. М. Хитрово. Если чтение их не состоялось в тот вечер, о котором говорится в письме, то, во всяком случае, Пушкин узнал их вскоре и сейчас же написал ответ, помеченный „19 января 1830. С.-Петербург“, который он, под заглавием „Станцы“ (В часы забав или праздной скуки, Бывало, лире я моей...), поспешил напечатать в „Литературной Газете“ (1830, т. I, № 12, февраля 25, стр. 94). Такая, несвойственная Пушкину поспешность может быть объяснена только тем, что поэт был живо задет „христианскими стихами“, сурово осудившими его „скептические куплеты“. Сопоставление дат — выхода „Северных Цветов“ и написания „Станцов“ Пушкина — дает основание довольно точно датировать его записку к Е. М. Хитрово первоею половиною января 1830 года.

Митрополит Филарет, возражая Пушкину, воспользовался целиком его же стихами, взяв их построение, их рифмы, некоторые стихи повторяя целиком, а другие лишь слегка переделав. Несправедливость осуждения по существу и примитивно-пародическая форма стихов митрополита должны были раздражить Пушкина, очень чувствительного к личным, выходящим за пределы литературной критики нападениям. По крайней мере князь П. А. Вяземский, в письме к А. И. Тургеневу от 25 апреля 1830 г., в таких словах определял отношение Пушкина к стихам митрополита и характер последних, вместе с тем, не без иронии, очерчивая отношение к обоим этим лицам со стороны Е. М. Хитрово: „Ты удивляешься стихам Пушкина к Филарету [т. е. „Станцам“—В часы забав...]: он был задран стихами его преосвященства, который пародировал или, лучше сказать, палинодировал стихи П[ушкина] о жизни, которые нашел он у общей их приятельницы, Елизы Хитровой, пылающей к одному христианскою, а к другому—языческою любовью“ („Остафьевский Архив“, т. III, стр. 192—193). Ответ Пушкина был, конечно, непонятен для непосвященных в обстоятельства дела, но и для знавших о выступлении митрополита он не мог не казаться странным: так мало стансы Пушкина соответствовали и тому лицу, к кому они были обращены, и настроению поэта, если рассматривать последнее в плане биографических его отношений с митрополитом (ср. интересные замечания об этом у В. Вересаева в статье: „Об автобиографичности Пушкина“ — „Печать и Революция“ 1925, книга V—VI, стр. 42—43). О дальнейших попытках Е. М. Хитрово сблизить Пушкина с Филаретом — см. ниже, в нашей статье.

Н. И.



Мадонне Аитраф



VI письмо Пушкина.
(4-я страница).

VI.

[Конец марта — первая половина мая 1830 г. Москва].

Прошу у вас миллион извинений за то, что был так бесстыдно ленив. Но как быть, — это сильнее меня. Почта для меня просто пытка.

Позвольте мне представить Вам моего брата¹ и не откажите уделить ему часть того расположения, которым Вы удостоиваете меня.

Примите уверение в совершенном моем почтении.

Пушкин.

На обороте: Госпоже Хитровой.

Письмо на листе почтовой бумаги обыкновенного формата, без знаков, сложено конвертом и запечатано гербовой печатью Пушкиных. На обороте — адрес, указывающий, что письмо было передано с оказией, и помета рукою Е. М. Хитрово: „Пушкинъ“.

Датировка письма предположительная и основывается на следующих соображениях: письмо написано не в Петербурге, но из другого города, и вручено Льву Сергеевичу Пушкину для передачи Е. М. Хитрово в качестве рекомендательного при первом знакомстве. Последнее не могло состояться ранее возвращения Л. С. Пушкина с Кавказа, по окончании войны 1829 года, так как Л. С. Пушкин вступил на службу в Кавказские войска весною 1827 года (зачислен юнкером в Нижегородский Драгунский полк 14 марта). Вернулся он из армии не ранее середины декабря 1829 года, т. е. в то время, когда Пушкин, приехав с Кавказа, был уже в Петербурге: приказ об отпуске Льва Сергеевича на четыре месяца в Петербург был отдан Главнокомандующим Кавказским корпусом графом Паскевичем 14 декабря 1829 года (подлинный послужной список Л. С. Пушкина, хранящийся в Пушкинском Доме).

Время приезда Л. С. Пушкина в Петербург, к сожалению, невозможно определить: ни „С.-Петербургские“, ни „Московские Ведомости“ за 1830 год, в списках приехавших и выехавших, не сохранили его имени. В начале июня 1830 г. он, во всяком случае, уже был в Петербурге: князь П. А. Вяземский, 15 июня записывая в своем дневнике о том, как 4 июня он был вывален из коляски, отмечает, что во время болезни его посещали: „Хитрова каждый день, до отъезда на дачу... Лев Пушкин, Дельвиг...“ и др. (Сочинения, т. IX, стр. 119). В это же время

Л. С. Пушкин был уже знаком с Е. М. Хитрово: Надежда Осиповна Пушкина, в письме к О. С. Павлищевой от 22 июля 1830 года говоря об отъезде Л. С. Пушкина из Петербурга (в воскресенье, 20 июля), замечает: „*Ses adieux avec Herminie ont été très tendres*“ („Его прощание с Эрминией [т. е. с Е. М. Хитрово] было очень нежно“ — цитируем по автографу Пушкинского Дома).

Всего вероятнее предположить, что Л. С. Пушкин проживал зимою 1830 года в Москве и еще был там в то время, как приехал в Москву (12 марта) его старший брат, а затем вскоре выехал в Петербург, взяв с собою эту записку Пушкина. В таком случае понятна и первая фраза письма поэта к Хитрово — просьба о прощении за „бесстыдную“ леность, объясняющуюся тем, что „почта для него пытка“. Вспомним, что весной 1830 года Хитрово писала поэту ряд страстных и взволнованных писем, на которые он не отвечал (см. ниже, в статье Н. В. Измайлова): повидимому, его первое в настоящем смысле *ответное* письмо к Хитрово — записка от 18 мая (ниже, № VII), *раньше* которой, таким образом, написано наше письмо. Все это заставляет датировать письмо Пушкина именно весной 1830 года, между получением А. С. Пушкиным писем Е. М. Хитрово, написанных в Москву, т. е. концом марта и запискою его к ней от 18 мая; дата эта наиболее вероятна до тех пор, пока не найдется других показаний, уточняющих или меняющих ее.

1) Лев Сергеевич Пушкин (род. 17 апреля 1805 г. в Москве, ум. 19 июля 1852 г. в Одессе) первые двенадцать лет своей жизни провел в доме родителей, в обстановке шумной, веселой и в достаточной мере безалаберной. Как и старшими своими детьми, Пушкины мало занимались Львом Сергеевичем, так что первоначальное воспитание и образование его было весьма поверхностно и бессистемно, хотя он был любимцем и баловнем матери. В 1817 году Л. С. был определен в Благородный Пансион при Главном Педагогическом Институте. В Пансионе, где он пробыл до 1820 года, Льва Сергеевича окружали товарищи: М. И. Глинка, Н. А. Маркевич, Н. А. Мельгунов, С. Д. Полторацкий, С. А. Соболевский. Из преподавателей наибольшее влияние на воспитанников имел преподаватель русской словесности, сотоварищ А. С. Пушкина по Лицею В. К. Кюхельбекер, благодаря которому у Льва Сергеевича развился вкус к занятиям литературой, чему несомненно способствовал пример старшего брата, дяди и вообще весь круг интересов и знакомств семьи Пушкиных. В 1820 г. Л. С. за выходку против преподавателя Пенинского был исключен из Благородного Пансиона, не окончив в нем курса, и намеревался вступить в военную службу. Однако, отец решительно воспротивился этому плану, и время до конца 1824 года, когда Л. С. поступил в статскую службу, он провел в доме родителей, в Петербурге, не

имея каких-либо определенных занятий и выполняя различные поручения сосланного на юг, а затем в Михайловское старшего брата. В это время между братьями завязалась оживленная переписка. Из нее до нас дошло за эти годы девятнадцать писем поэта к брату и одно общее письмо к брату и сестре. Начинаются они с известного письма из Кишинева, где Пушкин описывает свои впечатления от поездки с Раевскими по Кавказу и Крыму, и в конце которого, благодаря брата за стихи, советует ему, однако, не увлекаться поэзией, а заняться лучше прозой. Затем следует ряд писем, в которых старший брат интересуется тем, как живет младший, с кем из его приятелей он водит дружбу, дает советы житейские и служебные, описывает свое собственное житье и свои занятия, делится впечатлениями о прочитанном, просит о присылке книг и дает многое множество поручений относительно проведения через цензуру, печатания и распространения своих произведений. „Руслан и Людмила“, „Кавказский Пленник“, „К Овидию“, „Бахчисарайский Фонтан“, „Евгений Онегин“ проходят через руки Льва Сергеевича. Он в курсе всех или почти всех дел брата-поэта. Поручения он выполняет со своеобразным усердием, присылаемые стихи, прежде напечатания их, повсюду распространяет путем устного чтения, а деньги, получаемые с издателей, нередко берет на свои нужды, так как отец скуп, а сам он любит пожить и покутить. Брата это сердит, но пока он по прежнему дружески обращается ко Льву Сергеевичу. Общий тон писем, а следовательно и отношений за этот период времени — любящий, заботливый и дружески-покровительственный; в письмах много шуток, проза кой-где перемежается стихами. Исполняя поручения брата, Л. С. быстро перезнакомился со всем литературным миром, бывал у Карамзина, Жуковского, Тургеневых, подружился с Дельвигом, Плетневым, Боратынским, спорил из-за брата с Воейковым, Гречем, Булгариным. Славой брата он гордился и по своему радел о ней.

В ноябре 1824 года Л. С. определился на службу в Департамент Духовных Дел. Канцелярская служба тяготила своей скукой и однообразием, так что уже в марте 1825 г. старший брат принужден был уговаривать его повременить с отставкой. За этот год до нас дошло 11 писем поэта к брату и одно, адресованное сообщая Льву Сергеевичу и Плетневу. Характер их тот же, как и предыдущих. Но недовольство небрежностью и безалаберностью Льва Сергеевича, как доверенного, всё нарастало и наконец разразилось в письме от 30 июля 1825 года, где поэт писал: „Упрекать не стану, а благодарить, ей-богу, не за что“. А несколько ранее, в начале июня, он писал Дельвигу, для передачи Плетневу, „чтобы он Льву давал из моих денег на орехи, а не на комиссии мои, потому что это напрасно: такого бессостного комиссионера нет и не будет“. В 1826 г. Лев Сергеевич вышел в отставку, а в 1827 г. определился юнкером в Нижегородский

драгунский полк. Побывав в том же году в походе, он был произведен в прапорщики. Таким образом, исполнилась давнишняя мечта Л. С., и его живая, деятельная натура нашла себе хорошее применение в военной, боевой обстановке. Как офицер, он выказал себя храбрым и находчивым, как товарищ — неистошимо веселым, простым, но без фамильярности и без задирчивости, хотя и был отъявленный гуляка. Самой подходящей для него обстановкой являлся поход, война. Военной службой в мирной обстановке он тяготился еще больше, чем статской. 1827—1828 годы он провел, участвуя в Персидской войне, 1828—1829 гг. — в Турецкой. Служа в этих кампаниях под начальством Паскевича, Л. С. неоднократно отличался, был награжден орденами и постепенно повышался в чинах, дойдя до поручика. С конца 1829 и до начала 1831 г. он был в отпуску в Москве и в Петербурге. К этому то времени, как пояснено выше, должно относиться письмо Пушкина с рекомендацией его Е. М. Хитрово. За эти годы писем к нему старшего брата почти не сохранилось, кроме одного, от 8 мая 1827 года, да еще двух строчек в общем семейном письме от 21 ноября того же года. Однако, повидимому, поэт всё же следил за братом, и когда последний, что-то набедокурив и запутавшись в мирной обстановке, попросил весной следующего, 1831 г. похлопотать о переводе его в войска, действовавшие против поляков, Пушкин тотчас же обратился с просьбою к Бенкендорфу и к той же Е. М. Хитрово. Бенкендорф ответил 7 апреля 1831 г. По приказанию Николая I был запрошен Паскевич, но как раз в это время Бенкендорф получил из Москвы о Льеve Сергеевиче неблагоприятное донесение („un rapport défavorable“), и дело, повидимому, могло бы рухнуть, если бы его не поддержала Е. М. Хитрово.* Единственное письмо поэта к брату за 1831 год, от 6 апреля (см. Переписку, т. II, стр. 232), — содержит упреки за плохое поведение и приказание ехать в полк и ждать своей участи. Это очевидно и есть та головомойка, о которой говорится в наших письмах (см. ниже, письмо XV-е, от 8 мая 1831 г.). 20 мая 1831 года Лев Сергеевич был переведен в Финляндский драгунский полк, о чем его брат писал П. В. Нащокину в таких выражениях: „Брат мой переведен в Польскую Армию. Им были недовольны, за его пианство и буянство; но это не будет иметь следствия никакого“. Как видно

* По этому поводу сестра Пушкина, О. С. Павлицева, писала своему мужу, Н. И. Павлицеву, 17 мая 1831 года: „Лев принужден был возвратиться в Тифлис, но г-жа Хитрова употребляет всё свое влияние (M-me Hittroff cabale de tout son pouvoir), чтобы скорее перевести его в действующую армию — эту дурацкую армию (cette sottie d'armée)“ — „Пушкин и его современники“, вып. XV, стр. 64—65. Отметим, что редакция „П. и его совр.“ прочитала в этом месте, крайне неразборчиво написанном Ольгой Сергеевной, „Monsieur Hittroff“; в подлиннике — сокращение, которое одинаково можно принять за „Мг“ и „Ме“. Но никакого „monsieur Hittroff“, кто бы мог хлопотать за Льва Сергеевича, мы не знаем, а роль „m-me Hittroff“, т. е. Ел. М-ны Хитрово — очевидна.

из формуляра Л. С.,* он с 25 августа по 23 сентября принял участие в стычке с поляками под Пултуском, в разбитии мятежников под местечком Несельским, в поиске г.-м. Дохтурова на Плонск, в стычке близ местечка Изучина и в преследовании остатка Польских войск к прусской границе, за что награжден чином штабс-капитана, а за бытность в сражении получил польский знак отличия военного достоинства 4 степени. В декабре 1832 года Лев Сергеевич был исключен из службы за неявку во-время из отпуска, и лишь после хлопот ему было разрешено подать в отставку. С апреля по конец июля 1834 г. он служил чиновником особых поручений Министерства Внутренних Дел, в июле 1836 года вновь поступил на военную службу по Отдельному Кавказскому корпусу и служил вплоть до мая 1842 г., участвуя в кампаниях против горцев и в устройении Черноморской береговой линии. В это время Л. С. состоял адъютантом при друге своего старшего брата генерале Н. Н. Раевском. Писем к Л. С. брата-поэта за время с 1831 по 1836 годы до нас дошло лишь всего три — все деловые, касающиеся расчетов по общему имению. Однако, заботы о судьбе Л. С., очевидно, продолжались, как это можно заключить из писем последнего к старшему брату от 21 февраля 1833 г. и 20 августа 1836 г. и по записям уплоченных долгов Л. С. в приходо-расходной тетради за 1834—1835 годы (еще не опубликованным). Л. С., видимо, продолжал видеть в брате своего постоянного заступника и ходатая как в служебных, так и в денежных делах.

Известие о трагической смерти брата настигло Л. С. во время похода и глубоко поразило его, как это видно из следующих строк, написанных им к отцу 19 марта 1837 года: „... Это ужасное известие сразило меня, я с тех пор, как безумный, не знаю, что делаю и говорю. Я прежде всего оставил отряд, так как не могу выносить службы. Вот уже два дня, как я в штаб-квартире. Если бы у меня было сто жизней, я все бы их отдал, чтобы выкупить жизнь моего брата. Вокруг меня в день его смерти свистали тысячи пуль, — почему не я был сражен ими, — я, существо одинокое, бесполезное, усталый от жизни и в течение 10 лет тратящий ее на что попало. Вы ничего не сообщаете мне об Геккерене, — где он? Это единственная вещь, которая меня еще интересует. Напишите мне обо всем, сообщите мне все печальные подробности, если у вас хватает сил. — Прощайте, мой дорогой, дорогой отец, я не могу вам больше писать, я совсем потрясен“...

В октябре 1843 года Л. С. определился чиновником для познания дел в Петербургскую Таможню, а вслед за тем был назначен членом Одесской Портовой Таможни. В Одессе он

* См. сборник Л. Н. Майкова „Пушкин“, С-Пб. 1899, стр. 37—40. Подлинный формулярный список хранится в Пушкинском Доме.

женился на Елизавете Александровне Загряжской, от которой имел единственного сына Анатолия. Умер он 19 июня 1852 года.

Выше мы уже указали несколько черт характера Л. С. — непоседливость, беспорядочность, храбрость, находчивость, веселость, остроумие, простоту без фамильярности, шутливость без задирчивости, любовь погулять, попить вина и поиграть в карты. Добавим еще, что его знание литературы вообще и поэзии своего брата в особенности делало из него незаменимого собеседника. Его литературный вкус, по словам П. А. Вяземского, был верен и строг. Он лучше, чем кто-либо, знал всё то, что написал, но почему-либо не напечатал его брат, как и вообще знал очень много о последнем. К сожалению, это исключительное знание брата-поэта не оставило следа, если не считать небольшого отрывка: „Биографическое известие об А. С. Пушкине до 26 года“. Это обстоятельство тем более странно и печально, что Л. С. всю жизнь любил и гордился славой брата и свято чтил его память. Причиной же являлась, очевидно, всё та же беспорядочность его характера. Сам он не был чужд литературным занятиям, памятником чего служат как юношеские его стихотворения, так и напечатанное в июльской книжке „Отечественных Записок“ 1842 года стихотворение „Петр Великий“, заслужившее, как известно, похвалу Белинского.

В письме от 28 июля 1831 года Ф. Н. Глинка писал Пушкину: „Ваше живое стереотипное издание — милый братец ваш, посетил меня“... В такой характеристике Льва Сергеевича несомненно была доля истины, — своего старшего брата напоминал он и наружностью, и многими чертами характера, но то, что у А. С. подымалось и освящалось гением, у Л. С. не выходило из ряда обычных людских способностей и слабостей.

М. Б.

VII.

. 18 мая [1830 г. Москва].

Не знаю еще, приеду ли я в Петербург. Покровительницы, которых Вы так любезно обещаете, слишком уж блестящи для моей бедной Натали. Я всегда у их ног, так же как и у Ваших.¹

18 мая.

На обороте: Ее Превосходительству Милостивой Государыне Елизавете Михайловне Хитровой etc. etc. etc. в С.-Петербурге, на Моховой, дом Межуевой.

Письмо на листе почтовой бумаги большого формата, без знаков, сложено конвертом и запечатано гербовою печатью Пушкина (фигуры утвержденного герба рода Пушкиных, в щите вольной формы и с негеральдической орнаментовкой, увенчанном 11-венцовой жемчужной короной). На обороте — почтовый адрес, штемпель: „Москва. 1830. Май. 19“, почтовые пометы и помета рукою Е. М. Хитрово: „Александръ Сергѣевичъ Пушкинъ“.

Год написания определяется как содержанием (см. ниже), так и датой почтового штемполя.

1) Письмо Пушкина служит ответом на следующее письмо к нему Е. М. Хитрово, помеченное 9-м числом [мая 1830 г.]: „Je trouve, qu'il est indispensable, que vous m'écriviez pour m'accuser cette lettre — dorenavant vous n'avez plus d'excuse — Je suis pour vous sans aucune conséquence — Parlez moi de votre mariage et de vos projets a venir — Tous le monde part et le beau tems n'avence pas. Doly et Catherine, vous prient de compter sur elles, pour chaponer votre Natalie. M-r Somoff donne leçons à l'Ambassadeur et sa femme — pour moi je traduis Mariage in High life en Russe je le venderai au profit des pauvres. Elise — 9 au soir.“ В переводе: „Я считаю необходимым, чтобы вы написали мне и известили меня о получении этого письма — на будущее время у вас нет более оправданий. Я не имею для вас никакого значения. Говорите мне о вашей свадьбе и о ваших планах на будущее. Все разъезжаются, а хорошая погода не наступает. Долли и Катрин просят вас рассчитывать на них, чтобы вывозить в свет (chaperon) вашу Натали. Г-н Сомов дает уроки посланнику и его жене, — что же касается меня, то я перевожу на русский язык „Светский брак“ и буду его продавать в пользу бедных. Элиза — 9-е вечером.“ (Переписка Пушкина, т. II, стр. 148—149).

„Долли и Катрин“ (Doly et Catherine) — „покровительницы“ (chaperons) Н. Н. Гончаровой-Пушкиной — дочери Е. М. Хитрово, графини Д. Ф. Фикельмон (см. о ней ниже) и Е. Ф. Тизенгаузен (см. о ней в примечаниях к письму IV-му). Первая фраза в письме Пушкина имеет в виду слухи о близком приезде его, уже объявленного тогда женихом Н. Н. Гончаровой, из Москвы в Петербург. Приехал он, однако, на самом деле гораздо позже — в субботу, 19 июля 1830 г., а выехал обратно в Москву 10 августа. По поводу его приезда баронесса С. М. Дельвиг сообщила А. П. Керн (даем перевод): „Александр Сергеевич приехал третьего дня. Говорят, он влюблен больше, чем когда-либо, а между тем почти вовсе о ней не говорит. Вчера он приводил одну фразу (кажется, г-жи де Виллуа), которая говорила своему сыну: „Говорите о себе только с королем, а о своей жене не говорите ни с кем, потому что всегда рискуете встретить собеседника, который знает ее лучше, чем вы“... Свадьба состоится в сентябре“. — „Действительно“, приба-

вляет к этому А. П. Керн: „в этот приезд Пушкин казался совсем другим человеком: он был серьезен, важен, как следовало человеку с душою, принимавшему на себя обязанность оспасти, влить другое существо“... („Пушкин и его современники“, вып. V, стр. 150).

Б. М.

Графиня Дарья Федоровна Фикельмон, рожд. графиня Тизенгаузен (род. 14 октября 1804 г., ум. в Вене в 1863 г.) — младшая дочь Е. М. Хитрово, жена австрийского посла в Петербурге, графа Карла-Людвига Фикельмона. обстоятельные сведения о ней и об ее муже см. в комментариях к Дневнику Пушкина (Б. Л. Модзалевского, Пгр. 1923, стр. 36—38, и В. Ф. Саводника, М. 1923, стр. 100—104; см. еще ниже в статье Н. В. Измайлова); подробный очерк ее отношений к Пушкину и характеристику ее личности дал М. А. Цявловский в статье: „Пушкин и гр. Д. Ф. Фикельмон“ („Голос Минувшего“ 1922, № 2, стр. 108—123; см. его же книгу: „Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартевым“, М. 1925, стр. 36—37 и 98—102; ср. еще статью Л. П. Гроссмана: „Устная новелла Пушкина“ в его же книге „Этюды о Пушкине“, М. 1923, стр. 79—113). По справедливому замечанию М. А. Цявловского, на основании имеющихся данных, „гр. Дарья Федоровна рисуется женщиной исключительной красоты, редкого ума и большого духовного изящества“. Вместе со своею матерью она составляла центр того выдающегося „европейско-русского“ салона, в котором любили бывать Пушкин, А. И. Тургенев, Вяземский и многие другие культурнейшие представители русского общества. Вне сомнений ее хорошее, дружеское отношение к Пушкину, ее удивительно-тонкое и глубокое понимание поэта и его жены, доходившее до прозрения будущей их судьбы, ее всегдашнее сочувствие его творчеству и его жизни.* Но, вместе с тем, нет пока никаких объективных и веских данных принимать, вместе с М. А. Цявловским, как совершенно доказанную истину, рассказ, записанный П. И. Бартевым, о романтическом эпизоде между графинею и Пушкиным. Здесь не место углубляться в биографические разыскания такого рода, — по существу, для понимания Пушкина, как литературного деятеля и как исторического лица, бесполезные; но, с точек зрения как историко-биографической, так и психологической, можно сомневаться в истинности всей истории, которую, во всяком случае, не следует вводить в биографию Пушкина, пока не представится новых данных. В особенности

* Единственные отрицательные показания — Л. Н. Павлицева — совершенно опровергаются подлинниками тех писем, какие он использовал. Ср. у М. А. Цявловского: „Рассказы о Пушкине“, стр. 101—102.

неприемлемо категорическое утверждение М. А. Цявловского относительно хронологии события, основанное на хронологии „Пиковой Дамы“: „зимой или 1832—1833 г., или 1831—1832 г.“.* Если романический эпизод этот был на самом деле, его нужно отнести к гораздо более ранней поре—к эпохе до женитьбы,— может быть, к зиме 1829—1830 года: Пушкин ни психологически, ни творчески не мог включить в повесть („Пиковую Даму“) определенно-автобиографический эпизод и повесть эту напечатать через год или два после самого происшествия.** Всё это заставляет отнести к рассказу Бартенева со всевозможным скептицизмом; единственно правильным использованием „новеллы“, приемлемым для историка литературы, является то, какое дал ей Л. П. Гроссман; биограф же должен пока воздержаться от всяких заключений.

Как лишний биографический штрих, дополняющий наши сведения об отношениях Пушкина к гр. Д. Ф. Фикельмон и к ее матери, приведем здесь письмо графини к Пушкину, до сих пор неизвестное в печати, подлинник которого хранился в Остафьевском архиве; печатаем его по копии, снятой в 1904 году Б. Л. Модзалевским. При находке письма Б. Л. Модзалевский предположил, что оно написано не к А. С. Пушкину, а к его брату Льву, почему оно и не было включено им в Академическое издание Переписки Пушкина. Однако, такое предположение мало вероятно: Лев Пушкин вряд ли был настолько близко знаком с „посланицей“ и с ее матерью, чтобы сопровождать графиню и, вероятно, ее ближайших друзей в маскарад; вряд ли также на его „светский ум“ могла надеяться графиня, чтобы оживить общество. Что касается хронологии, то о ней можно только гадать: тон записки показывает, что она обращена скорее к холостому и одинокому человеку, но не к Пушкину 1830-х годов, мужу красавицы Гончаровой. К тому же очевидно, что Д. Ф. Фикельмон жила в это время отдельно от матери, а это было именно в первые годы ее жизни в Петербурге: в 1830-х годах Е. М. Хитрово жила вместе с дочерью, в Австрийском посольстве.— В таком случае, зима 1829—1830 года является наиболее вероятным моментом.

Н. И.

Decidement nous ferons notre expédition masquée demain soir—nous nous rassemblerons à 9 h. chez Maman—Venez y avec un domino noir et avec masque noir—nous n'aurons pas besoin de votre voiture mais bien de votre domestique,—les

* Там же, стр. 100.

** „Пиковая Дама“ появилась в „Библиотеке для Чтения“ 1834 г., № 1, около марта.

notres seraient reconnus — Nous comptons sur votre esprit, cher M-r Pouschkine, pour animer tout cela. Vous souperez ensuite chez moi et alors je vous renouvellerai mes remerciemens.

D. Ficquelmont.

Ce Samedi.

Si vous voulez Maman vous fera préparer votre domino.

На обороте: M-r Pouschkine.

Перевод. Решено, что мы отправимся в нашу маскированную поездку завтра вечером. Мы соберемся в 9 часов у Матушки. Приезжайте туда с черным домино и с черной маской. Нам не потребуется ваш экипаж, но нужен будет ваш слуга — потому что наших могут узнать. Мы рассчитываем на ваше остроумие, дорогой Пушкин, чтобы все это оживить. Вы поужинаете затем у меня, и я еще раз вас поблагодарю. Д. Фикельмон.

Суббота.

Если вы хотите, Мама приготовит вам ваше домино.

На обороте: Господину Пушкину.

VIII.

[Между 19 и 24 мая 1830 г. Москва].

Прежде всего позвольте поблагодарить Вас за „Эрнани“.¹ Это одно из произведений современности, которое прочел я с наибольшим удовольствием. Гюго и Сент-Бёв бесспорно единственные французские поэты нашего времени. Особенно Сент-Бёв, и потому, если возможно достать в Петербурге его „Утешения“ [„Consolations“], сделайте, ради бога, доброе дело, — пришлите их мне.²

Что касается моего брака, то ваши размышления о нем были бы вполне справедливы, если бы Вы обо мне судили менее поэтически. На самом деле я просто добрый малый, который не хочет ничего иного, как заплыть жиром и быть счастливым. Первое легче второго.

(Простите: я замечаю, что начал свое письмо на разорванном листе — я не имею духа начать его вновь).

С Вашей стороны очень любезно, что Вы принимаете участие в моем положении по отношению к Хозяину [vis à vis le maître]. Но какое же место, по Вашему, я могу занять при нем? Я, по крайней мере, не вижу ни одного, которое могло бы мне подойти. У меня отвращение к делам и к „бумагам“ [„des bou-papagui“], как говорит граф Ланжерон.³ Быть камер-юнкером в моем возрасте уже поздно. Да и что бы я стал делать при дворе? Ни мои средства, ни мои занятия не позволяют мне этого.⁴

Родным моей будущей жены очень мало дела как до нее, так и до меня. Я от всего сердца плачу им тем-же. Такие отношения очень приятны, и я их никогда не изменю.

Письмо на полу-листе почтовой бумаги большого формата, без водяных знаков.

Дата письма определяется связью его с предыдущим письмом Пушкина, а также с письмами к нему Е. М. Хитрово. Оно служит ответом на письмо Хитрово, датируемое серединой мая 1830 г. (Переписка Пушкина, т. II, стр. 152—153; приводится в переводе в статье Н. В. Измайлова, стр. 177); последнее же, в свою очередь, датируется и его общим содержанием, и показанием кн. П. П. Вяземского, который, публикуя его впервые, отмечал, что оно написано вскоре после письма от 9 мая 1830 г. (Сочинения кн. П. П. Вяземского, С.-Пб. 1893, стр. 526; „Русский Архив“ 1884, т. II, стр. 414), и, наконец, тождеством бумаги обоих писем Е. М. Хитрово — 9 мая и следующего за ним, на которое отвечает Пушкин (на обоих, по указанию Б. Л. Модзалевского, видевшего подлинники в Остафьевском архиве, водяные знаки „1826 C. Ansell“).

Письмо Е. М. Хитрово, на которое отвечает Пушкин, написано, несомненно, до получения ею письма его от 18 мая, т. е. до 22—23 мая 1830 г., и, следовательно, пришло в Москву не позднее 25—26 мая. Но 27 мая Пушкин был уже в имении Гончаровых — Полотняном-Заводе. Он выехал туда из Москвы, следовательно, около 25-го, а вернулся в Москву к 29 мая (ср. „Пушкин и его современники“, вып. XXIII—XXIV, стр. 107, записи в дневнике М. П. Погодина и соображения о них М. А. Цявловского). А между тем П. А. Вяземский писал жене из Петербурга 30 мая, что „на-днях видел у нее (Е. М. Хитрово) письмо от него (Пушкина), не прочел, но прочел на лице ее, что она довольна“ („Голос Минувшего“ 1922 г., № 2, стр. 114). Несомненно, здесь речь идет не о короткой записке от 18 мая, но о длинном письме, написанном после нее и полученном

в Петербурге в последних числах мая, т. е. посланном из Москвы до отъезда Пушкина в Полотняный-Завод 25 мая. Поэтому всего вероятнее, для датировки письма, принять время между этими двумя датами — с 19 по 24 мая включительно.

1) Об „Эрнани“ („Hernani“) и В. Гюго см. ниже, в статье Б. В. Томашевского: „Французская литература“, стр. 205—206, 209—214.

2) О „Consolations“ и Сент-Бёве см. там же, стр. 206—208. Выдержки из этого письма, касающиеся Гюго и Сент-Бёва, приведены в статье Н. К. Козмина: „Пушкин и В. Гюго об Андрее Шенье“ — сборник „Язык и Литература“, том I, вып. 1—2, Лгр. 1926, стр. 351 и 352.

3) Граф Ланжерон — Александр Федорович (род. в Париже 2/13 января 1763; ум. в Петербурге 4 июля 1831). Пушкин хорошо знал его, познакомившись с ним или весной 1821 г., когда около месяца провел в Одессе (где Ланжерон с 1815 г. был военным губернатором и градоначальником), или, вернее, в начале лета 1823 г., когда переведен был в Одессу на службу. Приезд Пушкина сюда совпал с увольнением Ланжерона от должности Новороссийского генерал-губернатора, когда он проживал здесь уже не у дел, до отъезда своего во Францию в начале 1824 г. Обиженный отставкой, Ланжерон не скрывал своей досады перед Пушкиным; однажды он жаловался ему на императора Александра I и, показывая откровенные письма к себе Александра, писанные в бытность его еще цесаревичем, говорил молодому и опальному тогда поэту, намекая на удушение Павла I: „Вот как он мне писал. Он обращался со мной как с другом, доверял мне все, — и я тоже был ему предан. Но теперь, ей богу, я сам готов развязать мой собственный шарф“ (см. Дневник Пушкина, запись под 21 мая 1834 г.). Узнав Пушкина и ценя в нем литератора, Ланжерон, который смолоду сам чувствовал влечение к литературе и даже писал стихи и трагедии, давал их поэту на прочтение и на суд. М. М. Попов так рассказывает об этом: „Однажды, сработав трагедию, Ланжерон дал ее Пушкину, чтобы тот прочитал и сказал ему свое мнение. Александр Сергеевич продержал тетрадь несколько недель и, как не любитель галиматши, не читал ее. Через несколько времени, при встрече с поэтом, граф спросил: „Какова моя трагедия?“ — Пушкин был в большом затруднении и старался отделаться общими выражениями; но Ланжерон входил в подробности, требуя особенно сказать мнение о двух главных героях драмы. Поэт, разными изворотами, заставил добродушного генерала назвать по именам героев и наугад отвечал, что такой-то ему больше нравится. — „Так“, воскликнул восхищенный генерал: „я узнаю в тебе республиканца; я предчувствовал, что этот герой тебе больше понравится“ („Русская Старина“ 1874 г., № 8, стр. 687—688; ср. Полн. собр. соч. кн. Вяземского, т. VIII,

стр. 58. Об этом эпизоде и о драме Ланжерона „Mazaniello ou la Révolution de Naples. Tragédie en cinq actes et en vers“ (1819) см. в сборнике „Пушкин. Статьи и материалы“, под редакцией М. П. Алексеева, выпуск II, Одесса. 1926, статью А. М. Дерibasа: „Пушкин и Ланжерон - драматург“, стр. 32—40).

После смерти Александра I Ланжерон вернулся в Россию и вскоре был назначен Николаем I в число членов Верховного Уголовного Суда над декабристами, но активной роли здесь не играл; выйдя окончательно в отставку в 1829 г., он поселился в Одессе, а в начале 1831 г. приехал в Петербург. Граф В. А. Соллогуб, встречавший его в это время „в свете“, так характеризует его: „Это был еще необыкновенно моложавый и стройный старик, лет семидесяти, представлявший собой олицетворение щегольского, теперь бесследно исчезнувшего типа большого барина-француза восемнадцатого века. Всякий вечер его сухая, породистая, щегольская фигура появлялась то в Михайловском дворце, где он наперерыв острил с хозяином, то в салоне Елизаветы Михайловны Хитрово, то у Нарышкиных; везде он был свой человек, везде его любили за его утонченную вежливость, рыцарский характер и хотя неглубокий, но меткий и веселый ум“ („Воспоминания“, С.-Пб. 1887, стр. 148). Говорить по-русски он не научился, хотя пытался иногда изъясняться на смешанном и ломаном русско-французском языке, — что и отмечает Пушкин в письме своем к Хитрово, шутя изображая русское слово „бумаги“ французскими буквами.* Сам поэт всегда не любил официальную чиновничью переписку, что дважды и отметил в своих письмах (см. письма его к А. И. Казначееву от 25 мая 1824 г. и к А. Х. Бенкендорфу от 29 ноября 1826 г.).

Ланжерон умер от холеры, свирепствовавшей летом 1831 г. в Петербурге, и К. Я. Булгаков писал по этому поводу своему брату: „Граф Ланжерон третьяго дня умер. Сердечно мне его жаль. Был человек добрый и мне старый знакомый и приятель. В обществе я редко видел людей приятнее его. Ему было под 80, говорят; верю: ведь он был с Лафаетом в Америке, а это даже было не в наше время. Михаил Павлович [великий князь] будет очень о нем жалеть: он очень его жаловал“ („Русский Архив“ 1903 г., кн. III, стр. 423 и 565). С великим князем Ланжерон постоянно видался в Москве в июле и августе 1830 года, когда Михаил Павлович проходил курс лечения в Московском заведении искусственных минеральных вод („Русский Архив“ 1901 г., кн. III, стр. 485—506); в это время мог видеть в Москве Ланжерона и Пушкин.

* Подобно тому, как, напр., министр иностранных дел граф К. В. Нессельроде в одном своем французском письме к гр. М. С. Воронцову, 1829 г., писал: „si une бумага officielle et une отношение à Cancrine vous étaient nécessaires“ и т. д. („Архив князя Воронцова“, кн. 40, М. 1895, стр. 39).

О Ланжероне см. в комментариях к Петербургскому (стр. 182—183) и Московскому (стр. 441—443) изданиям Дневника Пушкина, 1923 г.

Б. М.

4) Упоминание в нашем письме о возможном пожаловании Пушкина в камер-юнкеры является едва ли не самым ранним из известных нам, если не считать упоминания П. В. Нащокина о том, что, по словам Пушкина, Бенкендорф еще в 1830 году предлагал ему звание камергера.* Крайне характерно, что уже и в эпоху написания нашего письма Пушкин считал для себя неуместным носить этот низший придворный чин по своему возрасту, состоянию и занятиям, т. е. как раз по тем же мотивам, по которым был недоволен своим пожалованием и позднее. Однако, при дворе не нашли нужным считаться с желаниями поэта, и 30—31 декабря 1833 года состоялось сначала словесное распоряжение Николая I, а вслед за тем и письменный указ о пожаловании Пушкина в звание камер-юнкера. Официальное извещение об этом было вручено Пушкину лишь 27 января 1834 года.

Трудно сказать, имело ли отрицательное отношение Пушкина к его новому званию какую-либо серьезную принципиальную подкладку. По крайней мере, ни высказывания по этому поводу его самого, ни свидетельства его друзей не дают нам для установления этого достаточно данных. Скорее всего, поэт был вполне искренен, говоря или, вернее, повторяя, что причинами его недовольства являются неподходящий возраст, неподходящие занятия и недостаток денежных средств. Немалую роль играл и страх показаться смешным в глазах света. На заявление его А. Н. Вульфу о том, „что он возвращается в оппозицию“, едва ли следует смотреть слишком серьезно, так как ни в чем мало-мальски существенном намерение это не выразилось. Как бы то ни было, Пушкин был обижен своим камер-юнкерством и настолько мало скрывал свою обиду, что слухи об этом проникли даже в дипломатические сферы. Длинный ряд мест из переписки и дневника Пушкина, а равно и из переписки и мемуаров его современников, — Е. А. Карамзиной, П. А. Вяземского, А. Н. Вульфа, Н. М. Смирнова, П. В. Нащокина и др. свидетельствуют об этом.

М. Б.

* Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартоновым; под ред. М. А. Цявловского, М. 1925, стр. 43.

IX.

21-го августа [1830 г.] Москва.

Как я вам признателен за ту доброту, с которою Вы посвящаете меня в Европейские события! ¹ Здесь никто не получает французских газет, и в области политических мнений оценка всего происшедшего сводится к мнению Английского клуба, решившего, что князь Дмитрий Голицын был неправ, запретив ордонансом экартэ. ² И среди этих то орангутангов я принужден жить в самое интересное время нашего века! К довершению всех бед и затруднений умер мой бедный дядя Василий Львович. ³ Надо признаться, что ни один дядя никогда не умирал более не кстати. Моя женитьба откладывается еще недель на шесть, и бог знает, когда я смогу вернуться в Петербург.

„Парижанка“ не стоит „Марсельезы“. Это водевильные куплеты. Мне смертельно хочется прочесть речь Шатобриана в защиту герцога Бордосского. Для него это был еще один прекрасный момент. Во всяком случае, вот он снова в оппозиции. В чем оппозиция „Temps“, — хочет ли он республики? Те, которые ее только что хотели, ускорили коронацию Луи-Филиппа; он обязан им дать места камергеров и пенсии. Брак г-жи Жанлис с Ла-Файетом был бы вполне уместен и венчать их должен бы был епископ Талейран. Так была бы исчерпана революция.

Прошу Вас повергнуть меня к ногам графинь, Ваших дочерей, и принять уверение в моей преданности и высоком уважении.

Пушкин.

21 августа.

Москва.

На обороте: Ее Превосходительству М. Г. Елисавете Михайловне Хитровой. В С.-Петербург на даче, на Черной речке.

Письмо на листе почтовой бумаги большого формата, без водяных знаков, сложено конвертом и запечатано гербовой печатью Пушкина (см. выше). На обороте почтовый адрес, штемпель: „Москва. 1830. Авг. 21“, почтовые пометы и помета рукою Е. М. Хитрово: „Pouchkin“

1) О „Европейских событиях“, т. е. об Июльской революции во Франции, отдельные факты которой упоминаются ниже, см. вообще статью Б. В. Томашевского „Французские дела 1830—1831 г.г.“.

2) О запрещении Московским генерал-губернатором князем Дмитрием Владимировичем Голицыным карточной азартной игры в экартэ в Московском Английском клубе нам не удалось найти никаких сообщений ни в „Московских Ведомостях“, ни в письмах такого осведомленного в подобного рода новостях человека, как Московский Почт-Директор А. Я. Булгаков („Русский Архив“ 1903 г., кн. III), ни в напечатанных в „Русском Архиве“ 1889 г. (кн. II, стр. 86—96) „Извлечениях из журналов гг. старшин Московского Английского Клуба со дня его открытия“. Возможно, что распоряжение Голицына было дано не в письменной форме, а изустно.

Английский Клуб издавна был средоточием всех Московских сановников и людей со средствами и с положением и при том консервативного направления, и еще Карамзин в известной своей „Записке о Московских достопримечательностях“ отмечал значение Клуба в жизни Москвы: „Надобно ехать в Английский Клуб, чтобы узнать общественное мнение, как судят Москвичи. У них есть какие то неизменные правила, но все в пользу самодержавия: якобинца выгнали бы из Английского Клуба“. Ко времени Пушкина обстановка несколько переменилась и в 1832 году, например, членами Клуба, наряду с бывшим министром И. И. Дмитриевым, были М. П. Погодин, кн. П. А. Вяземский, П. Я. Чаадаев, М. Ф. Орлов... При этом Клуб сохранял за собой свое как бы политическое значение, и про него Пушкин мог сказать то-же, что сказал про Петербургский в „Евгении Онегине“, выразившись, что „палата Английского клуба — народных заседаний проба“: соединяя по прежнему главных представителей Московской знати и образованного общества, Клуб служил местом обсуждения текущих событий внутренней и внешней политики, и сам Николай I, по свидетельству П. И. Баргенева, „иной раз справлялся, что говорят о той или другой правительственной мере в Московском Английском Клубе“ („Русский Архив“ 1889 г., кн. II, стр. 85).

Члены Клуба не долго гневались за запрещение экартэ на князя Д. В. Голицына, который, будучи почетным членом Клуба, в 1833 г. торжественно был избран почетным его старшиною (см. „Русский Архив“ 1889 г., кн. II, стр. 95; Н. П. Барсуков, „Жизнь и Труды М. П. Погодина“, кн. IV, 1892, стр. 183—184), а в 1836 г. был чествуем в Клубе по случаю возвращения из-за границы в Москву („Русский Архив“ 1889 г., кн. II, стр. 95—96; „Остафьевский Архив князей Вяземских“, т. III, стр. 361, 363).

Пушкин был избран членом Московского Английского Клуба в 1829 г., в один день с Боратынским („Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартеневым“, М. 1925 г., стр. 27), с чем П. А. Плетнев поздравлял поэта в письме к нему от 29 марта этого года (Переписка, Акад. изд., т. II, стр. 89), но гостем он бывал в нем и раньше, например, 28 марта 1827 г.— с И. И. Дмитриевым и кн. П. А. Вяземским („Русский Архив“ 1901 г., кн. III, стр. 27); был он в Клубе и 21 января 1831 г. (там-же, 1902 г., кн. I, стр. 48) и 9 декабря того-же 1831 г. (Переписка, Акад. изд., т. II, стр. 351), а 27 августа 1833 г. писал жене из Москвы: „В Клубе я не был, — чуть-ли я не исключен, ибо позабыл возобновить свой билет. Надобно будет заплатить 300 рублей штрафу, а я и весь Английский Клуб готов продать за 200“ (там-же, т. III, стр. 38). Упоминает он о Клубе и в письме к жене от 30 апреля 1834 г. (там-же, стр. 107).

Называя распоряжение кн. Д. В. Голицына „ордонансом“, Пушкин имеет в виду те знаменитые 6 ордонансов Карла X от 25 июля 1830 г., которые послужили ближайшим поводом к Июльской революции; этим пародическим названием поэт еще раз подчеркивает свое насмешливое отношение к „палате Английского Клуба“ (см. ниже, в статье Б. В. Томашевского „Французские дела 1830—1831 годов“, стр. 303).

Б. М.

3) Дядя Пушкина, Василий Львович Пушкин, умер в Москве 20 августа 1830 года, 60 лет от роду. Он был опасно болен еще весною этого года, о чем Жуковский шуточно сообщал Д. П. Северину: „Пушкин Александр гуляет по Москве. Пушкин Василий болен подагрой, а муза его — водяною“ („Русская Старина“ 1896 г., № 7, стр. 84); сам же поэт писал Вяземскому в Петербург, сообщая о своей помолвке и о том, что дядя Василий Львович плакал, узнав о предстоящей женитьбе племянника: „Он собирается на свадьбу подарить нам стихи. На днях он чуть не умер и чуть не ожил. Бог знает, чем и зачем он живет“ (письмо от 2 мая 1830 г.). Приехав затем недели на три в Петербург, поэт, вместе с Вяземским и Жуковским, сочинили „арзамасское“ послание к В. Л. Пушкину:

Любезнейший наш друг, о ты, Василий Львович,
Буянов встарину, а нынешний Храбров,
Меж проповедников Парнасса — Прокопович,
Пленительный толмачь и Граций, и скотов!
Что делаешь в Москве, первопрестольном граде?
А мы — печемся здесь о сочном винограде
И соком лоз его пьем здравие твое.

Но пожелания не помогли, и В. Л. Пушкин уже едва двигался от подагры, хотя и старался еще сохранять свою важную осанку, за которую скрывалось у него так много добродушия, смешанного с легковерием и беспечностью, и продолжал толковать о журналах и интересоваться литературою. „Самая смерть его“, говорит Анненков: „имела одинаковый характер с его жизнью. Нам рассказывал один из близких его знакомых, что раз, утром, больной старик поднялся с постели, добрался до шкапов огромной своей библиотеки, где книги стояли в три ряда, заслоня друг друга, отыскал там Беранже и с этой ношей перешел на диван залы. Тут принялся перечитывать любимого своего поэта, вздохнул тяжело и умер над французским песенником“ („Пушкин в Александровскую эпоху“, стр. 18). „Бедный дядя Василий“, писал Пушкин Плетневу 9 сентября, уже из Болдина: „Знаешь-ли его последние слова? Приезжаю к нему, нахожу его в забытьи; очнувшись, он узнал меня, погоревал, потом, помолчал: Как скучны статьи Катенина! и более ни слова. Каково? вот что значит умереть честным воином, на щите, *le cri de guerre à la bouche*“. — О том же писал и кн. П. А. Вяземский А. И. Тургеневу: „Бедный наш Василий Львович! Он умер при мне. Последними словами его племяннику Александру, накануне смерти, были: „Как скучен Катенин“, — которого он перед тем читал в „Литературной Газете“. Это славно: это значит умереть под ружьем“ („Русский Архив“ 1900 г., кн. I, стр. 356). Этот эпизод вспоминал Вяземский и впоследствии, в своей „Старой записной книжке“, говоря: „Это исповедь и лебединая песнь литератора старых времен, т. е. литератора присяжного, литератора прежде всего и выше всего“ („Русский Архив“ 1874 г., кн. II, стр. 199). „Нам передавали современники“, пишет П. И. Бартенева: „что, услышав эти слова от умирающего Василия Львовича, Пушкин направился на цыпочках к двери и шепнул собравшимся родным и друзьям его: „Господа, выйдемте; пусть это будут последние слова его“ („Русский Архив“ 1870 г., стр. 1369; ср. „Отечественные Записки“ 1853 г., № 11, в статье П. И. Бартенева: „Род и детство Пушкина“). „Пожалей о бедном В. Л. Пушкине“, — писал брату своему А. Я. Булгаков: „он скончался вчера у Вяземского и племянника-поэта на руках, после двухдневной болезни; паралич в мозгу. Однако-же он Вяземского узнал и подал ему руку. Добрый был человек! Что говорил о пеночках, горлицах и ручейках, умрет с ним; но его Сосед Буянов останется памятником дарований его стихотворных. Оставил он детей побочных, только не знаю, успел ли он что сделать для них“ („Русский Архив“ 1901 г., кн. III, стр. 505). Сам Вяземский внес в дневник свой еще некоторые подробности этого, опечалившего его события: „Бедный Василий Львович скончался 20-го числа (августа) в начале третьего часа пополудни. Я приехал к нему часов в одиннадцать. Смерть уже была на вытянутом лице и в тяжелом дыхании

его. Однако же он меня узнал, протянул мне уже холодеющую руку свою и на вопрос Анны Николаевны, рад-ли он меня видеть? (с приезда моего из Петербурга я не видел его), отвечал он слабо, но довольно внятно: „очень рад“. После того, кажется, раза два хотел он что-то сказать, но уже звуков не было. На лице его ничего не выражалось, кроме изнеможения. Испустил он дух спокойно и безболезненно, во время чтения молитвы при соборовании маслом. Обряда не кончили, помазали только два раза. Накануне был он уже совсем изнемогающий, но, увидя Александра, племянника, сказал ему: „Как скучен Катенин!“ Перед этим читал он его в „Литературной Газете“. Пушкин говорит, что он при этих словах и вышел из комнаты, чтобы дать дяде умереть исторически. Пушкин был, однако-же, очень тронут всем этим зрелищем и во все время вел себя как нельзя приличнее“ (Сочинения, т. IX, стр. 137—138). Поэт, по свидетельству П. И. Бартенева, „искренно любил доброго дядю своего и пешком проводил его тело с Басманной в Донской монастырь“ („Русский Архив“ 1870 г., стр. 1369). Ему пришлось взять на себя все хлопоты и расходы по погребению умершего, о чем свидетельствует пригласительный билет на похороны, составленный в следующих официальных выражениях: „Александр Сергеевич и Лев Сергеевич Пушкины с душевными прискорбием извещают о кончине дяди своего Василия Львовича Пушкина, последовавшей сего августа 20-го дня, в 2 часа по-полудни, и покорнейше просят пожаловать на вынос и отпевание тела сего августа 23-го дня, в приходе св. великомученика Никиты, что в Старой Басманной, в 9 часов утра, а погребение тела будет в Донском монастыре“ (Л. Майков, „Пушкин“, С.-Пб. 1899, стр. 80—81). На этом погребении, по свидетельству кн. Вяземского, „была депутация всей литературы, всех школ, всех партий: Полевые, Шаликов, Погодин, Языков, Дмитриев и Лже-Дмитриев, Снегирев. Никиты Мученика протопоп в надгробном слове упомянул о занятиях его по словесности и вообще говорил просто, но пристойно“ (Сочинения, т. IX, стр. 138). Погодин также записал в дневнике своем под 23-м августа: „На похоронах у Василия Львовича с Языковым и потом в карете с Данзасом в Донской монастырь. С Пушкиным на могиле Сумарокова“ („Пушкин и его современники“, вып. XXIII—XXIV, стр. 108). В „Литературной Газете“ Дельвига помещена была краткая, всего в 9 строк, безымянная „Некрология В. Л. Пушкина“: на призыв Дельвига к Вяземскому „сказать что-нибудь“ о Пушкине в „Литературной Газете“ князь не откликнулся („Старина и Новизна“, кн. V, С.-Пб. 1902, стр. 39). — Помимо осложнения, которое смерть дяди внесла в дело женитьбы поэта, заставив, по обычаю, налагаемому трауром по близком родственнике, отложить на довольно продолжительный срок возможность сыграть свадьбу, — она запутала и его денежные дела, о чем,

на другой день после похорон, он и писал деду своей невесты: „Смерть дяди моего, Василия Львовича Пушкина, и хлопоты по сему печальному случаю, расстроили опять мои обстоятельства. Не успел я вытти из долга, как опять принужден был задолжать. Наднях отправляюсь я в Нижегородскую деревню, дабы вступить во владение оной. Надежда моя на Вас одних. От Вас одних зависит решение судьбы моей“.

Друг В. Л. Пушкина, известный стихотворец и издатель „Дамского Журнала“ кн. П. И. Шаликов напечатал в „Московских Ведомостях“ (№ 69) следующий краткий, но „чувствительный“ некролог умершего:

„Едва Музы наши облеклись в печальный креп глубокого сетования о потере своего незабвенного питомца и любимца, Алексея Федоровича Мерзлякова, как мы лишились другого поэта, воскурившего им чистейший фимиам на алтаре души и сердца и делившего жертвоприношения свои между ними и подругами их, Грациями, — Василия Львовича Пушкина. Страдавши несколько лет от жестоких подагрических припадков, переносимых им с терпением, истинно христианским, он успокоился навеки 20-го августа — и смерть наилучшего из людей тем сильнее поразила привязанных к нему дружбою и любовью, что он в последнее время не казался близким к роковой минуте. — Василий Львович Пушкин был примерным родственником, постояннейшим другом, любезнейшим человеком, приятнейшим собеседником и господином, каких мало на свете! — Память усопшего будет конечно почтена искреннейшим сожалением всего нашего отечества, которому давно известны его пиитические творения, столь же неукоризненные, как душа и сердце Поэта! — Тело его, сопровождаемое родственниками, друзьями и многими литераторами, погребено в Донском монастыре“.

Спустя год, в письме к князю Вяземскому, Пушкин писал грустно-шутливо: „20 августа, день смерти Василия Львовича, здешние Арзамасцы поминали своего старосту вотрушками, в кои воткнуто было по лавровому листу. Светлана [Жуковский] произнесла надгробное слово, в коем с особенным чувством вспоминала она обряд принятия его в Арзамас“.

Б. М.

Х.

9-го декабря [1830 г. Москва].

По возвращении в Москву¹ я нашел у княгини Долг[орукowej]² посылку от Вас. Это были французские газеты и трагедия Дюма³ — все это было новостью для меня, несчастного зачумленного Нижегородца. Чтò за год, чтò за события! Известие

о Польском восстании меня совершенно перевернуло.⁴ Наши истонные враги, очевидно, будут в конце истреблены и, таким образом, ничто из того, что сделал Александр, не сохранится, потому что ничто не основано на действительных нуждах России, а лишь на соображениях личного тщеславия, театральном эффекте и т. д. Знаете ли Вы убийственные слова Фельдмаршала, Вашего отца? При его вступлении в Вильну поляки бросились было к его ногам. Встаньте, сказал он им, помните, что вы русские. Мы можем только жалеть поляков. Мы слишком сильны для того, чтобы их ненавидеть. Наступающая война будет войной до истребления — или по крайней мере должна быть такою. Любовь к отечеству, какую она бывает в душе поляка, всегда была мрачна, — почитайте их поэта Мицкевича. Все это меня очень печалит. Россия нуждается в покое. Я только что проехал по ней. Героическое (sublime) посещение императора воодушевило Москву, но он не мог быть сразу во всех 16 зараженных губерниях. Народ изнурен и раздражен.⁵ 1830-й год для нас печальный год. Будем надеяться — питать надежду всегда хорошо.

9 декабря.

На обороте: Г-же Хитровой в С.-Петербург.

Письмо на листе почтовой бумаги большого формата, с клеймом: „У Ф Нс П 1830“, сложено конвертом и запечатано гербовою печатью Пушкина. На обороте — адрес (для пересылки с оказией) и помета, рукою Е. М. Хитрово: „Пушкинъ“. Год написания определяется содержанием письма.

1) В Москву из Нижегородской деревни своей Пушкин вернулся, с большими задержками и препятствиями из-за холерных карантин, 5 декабря 1830 г.

2) Княгиня Долгорукова — Екатерина Алексеевна, рождаграфиня Васильева (род. 26 октября 1781, ум. 23 марта 1860 в Москве), дочь известного Министра Финансов гр. А. И. Васильева, вдова сподвижника Кутузова-Смоленского, генерал-от-инфантерии князя Сергея Николаевича Долгорукова (ум. в Париже 15 июня 1829), с которым была в разъезде с 1812 г., и мать князя Александра Сергеевича Долгорукова (род. 1809, ум. 1873), в то время жениха Ольги Александровны Булгаковой (дочери знакомого Пушкина, Московского Почт-Директора, — см. Дневник Пушкина, под ред. Б. Л. Модзалевского,

Пгр. 1923, стр. 212—214, и Московское издание Дневника, 1923 г., стр. 486—488), с которою он обвенчался в селе Шеметове, подмосковном имении бабушки невесты, графини В. С. Васильевой, 28 января 1831 г., за три недели до венчания Пушкина; последний бывал у молодых Долгоруких: напр., за два дня до свадьбы поэта А. Я. Булгаков писал брату (16 февраля): „Пушкин был на бале у наших [молодых], отличался, танцевал, после ужина скрылся. Где Пушкин? я спросил, а Гриша Корсаков серьезно отвечал: Il a été donc ici toute la soirée, et maintenant il est allé trouver sa promise. Хорош визит в 5 часов утра и к больной! Нечего ждать хорошего, кажется“, — прибавляя Булгаков по поводу слухов о том, что свадьба Пушкина раскожится. „Я думаю, что не для нее одной, но и для него лучше бы было, кабы свадьба разошлась“ („Русский Архив“ 1902 г., кн. II, стр. 52). Портрет кн. Е. А. Долгоруковой и заметку о ней см. в издании великого князя Николая Михайловича: „Русские портреты XVIII и XIX столетий“, т. I, С.-Пб. 1905, л. 57.

Б. М.

3) О трагедии Александра Дюма „Stockholm, Fontainebleau et Rome“ см. ниже, в статье Б. В. Томашевского: „Французская литература“, стр. 214.

4) О Польском восстании см. ниже, статью М. Д. Беляева, особенно стр. 263—269.

5) Приезд императора Николая I в Москву произошел 29 сентября 1830 года, в разгар холерной эпидемии. Приезд его был неожидан и вызывался не столько прямою необходимостью, сколько, повидимому, полною растерянностью Московского начальства, первое время скрывавшего опасность, в печатных бюллетенях преуменьшавшего число заболевших и умерших и не умевшего принять нужных мер. Эпидемия, достигшая Москвы в половине сентября, стала быстро развиваться. С 27 сентября в „Московских Ведомостях“ (№ 78) стали печататься ежедневные, начиная 23-м сентября, „Ведомости о состоянии города Москвы“, редактором которых был назначен адъютант Московского Университета М. П. Погодин, но в первые дни сообщения „Ведомостей“ были успокоительны и неопределенны. При появлении эпидемии Московский генерал-губернатор кн. Д. В. Голицын послал императору Николаю донесение о холере и о принятых мерах, — и Николай, сначала ответив ему предположительно, что „от ваших [дальнейших] известий будет зависеть мой отъезд“, — вслед за этим выехал в Москву, куда явился 29 сентября, в 10-м часу утра. Он подъехал прямо к дому Голицына, которому бросились было докладывать о приезде царя, но он, по словам Булгакова, „не велел никому трогаться с места, а только показать одному дорогу к князеву кабинету. Он, по своему обыкновению долго

нежиться и работать в постеле, недавно встал, был в калате своем перед зеркалом маленьким, чистил рот. Государь подошел тихонько к нему. Вообрази же себе удивление князя, увидевшего в зеркале лицо государя, за ним стоявшего: по приказанию, полученному им от государя, — уведомять его ежедневно о состоянии Москвы, могли князь Дмитрий Владимирович вообразить, что государь прибыл в Москву сам? Он вскочил со стула испуганный. Первые слова государя были: „Надеюсь, князь, что все в Москве так же здоровы, как вы?“ — после чего сел и расспрашивал князя обо всем. Потом его величество поехал к Иверской божьей матери, где молился, стоя на коленях. Несметная толпа сопровождала обожаемого царя до дворца, где е. в. изволил переодеться, принять Филарета и, надев ленту, пойти в собор. Тут встретил его митрополит со словами: „благословен грядый на спасение града сего“. Из собора вышедши, государь поехал объезжать город, а после кушаты изволил у кн. Дмитрия Владимировича и сказывал, что дорога не хороша, что ехать изволил 49 часов (поэтому, кажется, надобно бы заключить, что и дорога, и лошади были хороши, напротив). Государь здоров, кажется не устал с дороги, только красен и загорел“ („Русский Архив“ 1901 г., кн. III, стр. 514—515). Приезд Николая произвел эффект, на который он рассчитывал: „столица казалась пустою, мертвою, — вдруг оживилась; забыли о холере и самые трусы: все одним заняты — неожиданным прибытием государя“ — свидетельствует Булгаков (там-же, стр. 514) и прибавляет: „Государь-то какой ангел! Всем известно, как он любит императрицу и детей своих, — а он оставляет непринужденно всё, что сердцу его дорого, ценно, чтобы лететь в Москву, которую описали ему жертвою смертоносной лютой заразы! Это будет в истории его написано золотыми буквами“ (там-же, стр. 517).

О приезде царя в Москву было напечатано в № 79 „Московских Ведомостей“ от среды, 1 октября, в заголовке газеты, а также в „Ведомостях“, редактировавшихся Погодиным, в виде краткого сообщения в последнюю минуту (стр. 3518). Затем печатались сообщения в каждом номере (№ 80, суббота, 4 октября, стр. 3558—3561; № 81, среда, 8 октября, стр. 3592 и сл.; № 82, суббота, 11 октября, стр. 3625—3631), вплоть до его отъезда, 7 октября. За это время эпидемия всё усиливалась. Число заболевавших достигало (по официальным, преуменьшенным данным) 150—200 человек в день, а суровые карантинные меры кругом Москвы делали положение еще более тяжелым. Лишь в конце ноября 1830 г. эпидемия стала ослабевать, и были сняты заградительные караулы и карантинны.

Пушкин узнал о приезде Николая I в Москву, вероятно, из „Московских Ведомостей“, — по его словам „единственного журнала, доходившего до него“ в его Болдинское уединение.

Он писал по этому поводу 5 ноября князю П. А. Вяземскому: „Каков государь! Молодец! того и гляди, что наших каторжников простит—дай бог ему здоровья!“ (Переписка, т. II, стр. 188). Посещение царем зачумленной Москвы оживило надежду Пушкина, никогда его не покидавшую, на прощение „каторжников“, т. е. декабристов. А около того же времени он писал и другому своему Московскому знакомому, М. П. Погодину: „Посылаю вам из моего Паемоса Апокалипсическую песнь. Напечатайте, где хотите, хоть в Ведомостях, — но прошу вас и требую именем нашей дружбы не объявлять никому моего имени. Если Московская Цензура не пропустит ее, то перешлите Дельвигу, но также без моего имени и не моей рукою переписанную“ (Переписка, т. II, стр. 189). Этою „Апокалипсическою песнью“ было стихотворение „Герой“, где, в образе Наполеона, ободряющего больных в чумном госпитале в Яффе и бесстрашно пожимающего их зараженные руки, поэт намекал на Николая I, явившегося в Москву для ободрения зараженного и испуганного, волнующегося города. Поэт сознавал, что не всегда суровая действительность соответствует поэтическому вымыслу, что действительная фигура Наполеона не всегда похожа на созданный легендою образ „бранного пришлеца, венчанного вольностью“. Стихотворение оканчивается протестом против исторической прозы во имя поэтического вымысла и утверждением поэтической фикции, оправдывающей такие явления, как тиран-завоеватель, и делающей из него героя:

Тьмы низких истин мне дороже
Нас возвышающий обман.
Оставь герою сердце! Что же
Он будет без него? — Тиран!

Но краткий ответ „друга“ — „Утешься...“ и стоящая после этого многоточия знаменательная помета: „29 сентября 1830 г. Москва“ — дают стихотворению иное значение и совершенно определенный политический смысл: по позднейшему замечанию Погодина, „никому не нужно припоминать, что число, выставленное Пушкиным под стихотворением, после многозначительного: утешься! — есть день прибытия государя императора в Москву во время холеры“ („Современник“ 1837, т. V, стр. 143). Если о Наполеоне могут быть сомнения, если строгая история разрушает о нем легенду, то здесь, перед нами, говорит поэт, есть несомненный факт: Николай, в его глазах, является героем, и героем с сердцем, значит — не тираном; отсюда понятна и мысль, высказанная в письме к Вяземскому, приведенном выше: герой с сердцем, каким ему казался Николай, не мог не простить своих побежденных врагов-декабристов, — иначе он был бы только тираном.

Очень естественно, что Пушкин послал свое стихотворение в Москву, к Погодину — журналисту, по духу близкому к мысли стихотворения и принимавшему большое участие в борьбе с холерой и в связанных с нею событиях; он просил напечатать стихи в одном из Московских изданий (в „Московских Ведомостях“ или в „Ведомостях о состоянии г. Москвы“, редактируемых Погодиным) и лишь в крайнем случае — передать Дельвигу: Москва, пережившая холеру и приезд царя, должна была ясно почувствовать скрытый смысл стихотворения. Анонимность была нужна, во-первых, чтобы облегчить печатание стихотворения и не нарушать правил о высочайшей цензуре, установленных для поэта в 1826 г. самим Николаем, — т. е., чтобы не сталкиваться с Бенкендорфом, — а во-вторых, и для публики, уже обвинявшей Пушкина в „льстивости“ царю и не понимавшей его настроений. Погодин напечатал „Героя“ в „Теле-скопе“ 1831 года, № 1, стр. 46—48, без подписи и с пометою, бывшею и на рукописи (ныне хранящейся в Гос. Публичной Библиотеке): „29 сентября 1830 года. Москва“, — маскировавшею автора, ибо, как все знали, Пушкин этот день провел далеко от Москвы, но явно указывавшею на повод к написанию стихов. Тайна авторства Пушкина оставалась нераскрытою до его смерти, когда Погодин прислал копию стихотворения к одному из редакторов посмертного „Современника“, князю П. А. Вяземскому, вместе с письмом, в котором объяснял историю написания „Героя“ и давал выдержку из приведенного выше письма к нему Пушкина для помещения при стихотворении в виде предисловия (это письмо Погодина, от 11 марта 1837 г., напечатано полностью П. О. Морозовым в Сочинениях Пушкина, изд. „Просвещения“, т. II, стр. 497—500). Стихотворение, вместе с примечанием Погодина, и было помещено в первой посмертной книге „Современника“ (1837, т. V, стр. 143—146; опечатки исправлены в т. VI-м, ненум. лист в конце тома).

На событие откликнулся и друг и соратник Пушкина — Дельвиг. В № 58 своей „Литературной Газеты“ от 13 октября (стр. 175) он напечатал неподписанное стихотворение:

Утешитель.

Москва уныла: смерти страх
 Престольный град опустошает;
 Но кто в нее, взвивая прах,
 На встречу ужаса влетает?
 Петров потомок, царь, как он
 Бесстрашный духом, скорбный сердцем,
 Летит, услыша Русских стон,
 Венчаться душ их самодержцем.

Посылая это „прелестное стихотворение“, 14 октября, своему шефу, А. Х. Бенкендорфу, Управляющий III Отделением

М. Я. фон-Фок высказывал предположение, что оно „должно быть Пушкина или Боратынского“. „Что замечательно“, судовлетворением прибавляет он: „эти стихи являются первою похвалою, которую сие сообщество молодых людей напечатало в знак внимания к императору... Мысль великолепная, и публика разрывается на части, чтобы списывать эти стихи“; но они не принадлежали ни Пушкину, ни Боратынскому (см. Б. Л. Модзалевский, „Пушкин под тайным надзором“, изд. 3-е, Лгр. 1925, стр. 99—100); неизвестен и автор другого стихотворения, появившегося в № 60 „Литературной Газеты“, от 23 октября (с подписью Н. К-в и пометою: С.-Пбург, 16 октября): „Царь-Отец“, в котором, в последней строфе, также прославлялся поступок Николая:

„...Развился-ль язвы бичь над древнею Москвою,—
Кого встречает там с надеждою святою
Народ признательный и в умиленьи зрит?
Се Царь-Отец к нему отрадою спешит“.

Чтобы уяснить себе отношение к событиям со стороны современников, настроенных и более критически, нежели в то время Пушкин, можно привести отзыв о приезде в Москву Николая из дневника кн. П. А. Вяземского, записавшего под 6-м октября 1830 г. (отзыв этот совершенно повторяет рассуждение Пушкина о славе Наполеона, в начале его стихотворения): „Приезд государя в Москву есть точно прекраснейшая черта. Тут есть не только не боязнь смерти, но есть и вдохновение, и преданность, и какое то христианское и царское рыцарство, которое очень к лицу Владыке. Странное дело, мы встретились мыслями с Филаретом [митрополитом] в речи его государю [29 сентября, при встрече перед Успенским собором]. На днях в письме к Муханову, я говорил, что из этой мысли можно было бы написать прекрасную статью журнальную. Мы видали царей и в сражении. Моро был убит при Александре, это хорошо, но тут есть военная слава, есть point d'honneur, нося военный мундир и не скидывая его никогда, показать себя иногда военным лицом. Здесь нет никакого упоения, нет славолюбия, нет обязанности. Выезд Царя из города, объятого заразою, был бы, напротив, естествен и не подлежал бы осуждению; следовательно, приезд царя в таковой город есть точно подвиг героический. Тут уж не близь царя—близь смерти, а близь народа—близь смерти“ (Сочинения кн. П. А. Вяземского, т. IX, стр. 142, „Старая записная книжка“).

Другую сторону картины освещает иначе настроенный современник—18-тилетний А. И. Герцен. Но и он отмечает общий подъем—явившийся, можно думать, не без влияния приезда Николая в Москву. В письме к своей кузине Т. П. Пассек

(Кучиной), в конце октября или в ноябре 1830 года, он пишет: „Университет закрыт, весь медицинский факультет приглашен к участию в помощи несчастным заболевающим в 20-ти вновь учрежденных больницах на пожертвования купечества, с какой-то роскошью, с избытком удобства. Сверх медицинского факультета, юноши других отделений предложили себя в эти больницы, расстаются с мечтами о будущем, разрывают связи с обществом и семьями, дружатся с мыслью о смерти, прощаются с жизнью, и все это, чтобы помочь страждущим, чтобы помочь в бедствии. Вся Москва отзывается с горячим сочувствием. Москва всегда становится в уровень с обстоятельствами, когда над Россией гремит гроза, как в 1612 и в 1812 гг.; явилась холера,—и народный город снова явился полный энергии и любви“. („Воспоминания Т. П. Пассек“, т. I, стр. 315—316; А. И. Герцен, Полное собрание сочинений и писем, под ред. М. К. Лемке, т. I, Пгр. 1919, стр. 61).

О приезде Николая Павловича в Москву во время холеры Пушкин вспоминал и позднее. В статье о „Путешествии из Петербурга в Москву“ Радищева, известной в печати под заглавием „Мысли на дороге“ и написанной в 1833—1835 гг., говоря о современном упадке Москвы и об отношении к ней государей, он замечал: „Ныне царствующий император чаще других удостоивает Москву своим посещением. Неожиданный приезд его в конце 1830 года, во время заразы, принадлежит будущему историку“. Вся фраза, впрочем, зачеркнута (см. рук. б. Румянцовского Музея, № 2385-Б; „Русская Старина“ 1884 г., декабрь, стр. 530; Сочинения Пушкина, изд. „Просвещения“, т. VI, стр. 643).

В заметках, писанных летом 1831 года, Пушкин, вспоминая о холере 1830 года, о своей поездке в Болдино и о своих впечатлениях от виденных им зараженных местностей, так резюмировал письма к невесте и к друзьям: „...Шестнадцать губерний вдруг не могут быть оцеплены, а карантин, неподкрепленные достаточною цепью, военною силою, суть только средства к притеснению и причины к общему неудовольствию. Вспомним, что турки предпочитают чуму карантинам. В прошлом году [1830-м] карантинные остановили всю промышленность, заградили путь обозам, привели в нищету подрядчиков и извозчиков и чуть не взбунтовали 16 губерний. Злоупотребления неравны с карантинными постановлениями, которых не понимают ни употребляемые на то люди, ни народ...“ и т. д. (изд. „Просвещения“, т. VI, 531; Венг., т. V, 431—432). Эту мысль, возникшую под непосредственным впечатлением переезда из Болдина в Москву, Пушкин высказал, как видим, и в настоящем письме к Е. М. Хитрово.

Н. И. и Б. М.

XI.

11-го декабря [1830 г. Москва].

Мой отец только что переслал мне письмо,¹ которое Вы адресовали мне в деревню.

Будьте уверены в моей признательности, как я уверен в том участии, которое Вы принимаете в моей судьбе. Потому то я и не буду говорить Вам об этом. Известие о моем разрыве с невестой ложно и основано лишь на моем долгом отсутствии и на моем обычном молчании с моими друзьями.² Более всего интересует меня в настоящий момент то, что происходит в Европе. Вы говорите, что выборы во Франции идут в должном направлении. Но что называете Вы должным направлением? Я боюсь, как бы они не внесли во всё это стремительность победы, и как бы Луи-Филипп не оказался слишком царем-чурбаном. Новый избирательный закон посадил на скамьи депутатов молодое, необузданное поколение, горячее, мало уstraшенное эксцессами республиканской революции, которую оно знает только по мемуарам, и которую оно само не переживало.³

Я еще не читаю газет, так как у меня не было времени оглядеться. Что же касается до русских газет, то, признаюсь Вам, меня очень удивило запрещение Литературной Газеты. Конечно, издатель напрасно поместил конфетный билетец К. де Ла-Виня. Но эта газета так безобидна, так скучна в своей важности, что ее читают только писатели, и она совершенно чужда каких-либо политических намеков.⁴

Мне обидно за Дельвига, человека мирного, отца семейства, достойного всяческого уважения, и которому тем не менее глупость или минутная оплошность могут повредить в глазах Правительства,—и это как раз в то время, когда он ходатайствовал о Высочайшем пожаловании пенсии для своей матери, вдовы генерала Дельвига.⁵

Будьте добры повергнуть меня к ногам графинь, ваших дочерей, коих расположение мне более чем драгоценно, и позвольте пребывать и впредь у Ваших ног.

11 дек.

Письмо на листе почтовой бумаги большого формата, с клеймом „У Ф Нс П 1830“, проколото для дезинфекции, — из чего можно заключить, что оно шло по почте. На чистом обороте 2-го полу-листа помета рукою Е. М. Хитрово: „Пушкинь“.

Год написания определяется содержанием.

1) Пушкин в этот приезд в Москву жил в гостинице „Англия“, в Тверской части, отец-же его, С. Л. Пушкин, жил тогда в Петербурге.

2) Слухи о разрыве Пушкина с невестой, Н. Н. Гончаровой, имели под собою некоторое основание: уезжая в Болдино, поэт, в конце августа, поссорился со своей будущей тещей и выехал из Москвы „без уверенности в своей судьбе“, готовый к тому, что мать невесты „решилась расторгнуть их свадьбу“, а дочь „согласна повиноваться ей“. Говоря об этом в прощальном письме к Н. Н. Гончаровой, он писал в заключение: „Во всяком случае, вы совершенно свободны; что же до меня, то я даю вам честное слово принадлежать только вам, или никогда не жениться“ (Переписка, т. II, стр. 171). В то же время он писал княгине В. Ф. Вяземской, жившей в Петербурге: „Я уезжаю, расстроившись с г-жею Гончаровою [матерью]... Я не знаю еще, расстроено-ли мое сватовство, но повод к этому есть, и я оставил за собою дверь широко открытой. Я не хотел говорить об этом князю [П. А. Вяземскому, бывшему в то время в Остафьеве], но сообщите ему сами и сохраните мне оба всё это в тайне“ (там же; даем перевод). От княгини Вяземской, не съумевшей, повидимому, сохранить тайну, могла узнать о разрыве Е. М. Хитрово; эти то слухи, через друзей поэта проникшие в Петербург, он и опровергает в письме к ней. Насколько упорны были слухи, видно и из того, что и отец поэта, С. Л. Пушкин, писал в Болдино сыну о расстройстве помолвки, как о совершившемся факте, и Пушкин с возмущением и отчаянием передавал об этом своей невесте. В письмах его к ней из Болдина мы читаем: „9-го [октября] вы были еще в Москве! — мне пишет о том мой отец; он пишет мне еще, что моя свадьба расстроилась. Не достаточно-ли этого, чтоб повеситься?“ и т. д. (Переписка, т. II, стр. 184, письмо от 4 ноября), — „... Мой отец все мне пишет, что моя свадьба расстроилась. На днях он уведомит меня, может быть, что вы вышли замуж. Есть отчего потерять голову...“ (там же, стр. 191, письмо от 18 ноября). По приезде в Москву, Пушкин 9 декабря писал Плетневу, что „нашел тещу озлобленную на него и насилиу с нею сладил, — но слава богу — сладил“ (там же, стр. 200).

Н. И.

3) См. статью Б. В. Томашевского: „Французские дела“, стр. 314, 330, 332 и след.

4) Поводом к закрытию „Литературной Газеты“ послужило помещение в № 61 от 28 октября 1830 г. французского четверо-

стишия Казимира де ла Виня на памятник, покорый предпологали воздвигнуть в Париже жертвам Июльской революции. Текст этого четверостишия таков:

France, dis-moi leurs noms? Je n'en vois point paraître
Sur ce funèbre monument:
Ils ont vaincu si promptement
Que tu fus libre avant de les connaître.

Т. е.: „Франция, скажи мне их имена? Я их не вижу на этом могильном памятнике: они так быстро победили, что ты стала свободной раньше, чем успела их узнать“.

Если верить утверждению издателей, то на страницы „Литературной Газеты“ стихотворение это попало совершенно случайно, едва ли не для заполнения оставшегося в номере пустого места.* Но, как часто бывает, случайность эта оказалась роковой. Надо сказать, что в то время русские власти во главе с А. Х. Бенкендорфом были особенно на-стороже, зорко следя за тем, чтобы ничто из происходящего в Западной Европе не проникало в Россию иначе, как пройдя официальный фильтр. Особенно пугала Франция со своей Июльской революцией, а потому, по высочайшему повелению, всякие известия о ней могли быть заимствованы лишь из немецкой „Preussische Staats-Zeitung“, откуда все „нужные сведения“ должны были помещаться в официальном издании — „Journal de St.-Pétersbourg“. Из русских повременных изданий политические сведения могли печататься только в „Северной Пчеле“ и в „Сыне Отечества“.

Таким образом, помещение стихов К. де ла Виня в „Литературной Газете“, которая с первых же дней своего существования привлекла особое внимание цензуры, сразу вызвало письмо шефа жандармов Бенкендорфа на имя Министра Народного Просвещения кн. К. А. Ливена. В письме этом Бенкендорф просил уведомить его, для доклада Николаю I, „кто именно прислал сии стихи к напечатанию и какими правилами руководствовался цензор, позволив печатать в русской газете, на французском языке, стихи, коих содержание, мягко сказать, неприлично, и может служить поводом к различным толкам и суждениям“. Князь Ливен затребовал сведения от Попечителя Петербургского Учебного Округа К. М. Бороздина, а тот в свою очередь — от издателя „Литературной Газеты“ бар. А. А. Дельвига и цензора В. Н. Семенова. Дельвиг ответил, что стихи были доставлены ему неизвестным, „как произведение поэзии, имеющее достоинство новости“, и что именно в качестве литера-

* Некоторые исследователи высказывают вполне возможное предположение о том, что стихотворение это было просто перепечатано из „Moniteur“, где оно появилось 10 августа 1830 года при объявлении о медали, отчеканенной в честь Июльской революции (см. ниже, в статье Б. В. Томашевского „Французские дела 1830—1831 г.г.“, стр. 323—324).

турной новости они и были помещены в „Литературной Газете“. Цензор Семенов ответил, что „по чистой совести“ не нашел в стихах „ничего противного законам отечественным и правилам цензурным“, и что никак не мог предположить, „чтобы сии стихи могли сколько-нибудь быть применены к России, которая, блаженствуя под скипетром мудрого Монарха, находится в совершенно других отношениях, нежели Франция“, а еще далее говорил о том, что ни один параграф Цензурного Устава не запрещает печатать в русском журнале стихи на иностранных языках. Ответы эти были препровождены Бороздиным кн. Ливену, а последним Бенкендорфу. В то же время о происшедшем было сообщено в Главное Управление Цензуры и в Цензурный Комитет, с предложением усилить бдительность надзора за изданиями. Не удовлетворившись письменными объяснениями Дельвига, Бенкендорф вызвал его к себе в III Отделение. В кабинет Бенкендорфа Дельвиг был введен жандармами. Разговор с ним велся на „ты“ и вообще был исключительно груб и изобилывал обвинениями и угрозами против Дельвига, Пушкина и Вяземского, при чем в заключение было обещано „упрятать“ всех троих в Сибирь. Вслед за тем вновь последовал обмен письмами между Бенкендорфом и Ливеном, при чем на последнего был оказан некоторый нажим, — и он счел себя обязанным предложить воспретить издателю продолжать издание „Литературной Газеты“, так как, поместив упомянутое выше стихотворение, он тем самым преступил запрещение печатать что-либо о политике, „иначе, как по получении на то особого высочайшего соизволения“. Мера эта была доложена Бенкендорфом Николаю I и им одобрена. Вследствие сего Дельвиг был лишен своих издательских прав, „Литературная Газета“ приостановлена, а цензор Семенов получил строгий выговор.

Дельвиг крайне болезненно перенес это запрещение, а особенно — грубость Бенкендорфа. В письме к Пушкину от середины ноября 1830 года он горько жаловался на то, что вследствие происков Булгарина и разных „подлецов“ он слывет „карбонарием“, — он, „русской, воспитанный государем, отец семейства и ожидающий от царя помощи матери своей и сестрам и братьям“. Возмущался закрытием „Литературной Газеты“ и Пушкин. Так, в письме его к П. А. Плетневу от 9 декабря 1830 г. мы читаем: „Итак, Русская словесность головою выдана Булгарину и Гречу! Жаль, — но чего смотрел и Дельвиг? охота ему было печатать конфектной билетец этого несносного Лавина! Но все же Дельвиг должен оправдаться перед государем. Он может доказать, что никогда в его Газете не было и тени — не только мятежности, но и недоброжелательства к правительству. Поговори с ним об этом. А то шпионы-литераторы заедят его, как барана, а не как барона“. Самую „Литературную Газету“ Пушкин находил под конец очень вялой, оговариваясь, что „иначе

и быть нельзя: в ней отражается Русская литература. В ней говорили под конец об одном Булгарине; так и быть должно: в России пишет один Булгарин“ (письмо к Плетневу от 13 января 1831 г.). Сам Дельвиг хотел жаловаться на Бенкендорфа лично Николаю I, и его едва-едва отговорили от этого шага, заверив, что Бенкендорф извинится перед ним и разрешит возобновление „Литературной Газеты“. И то, и другое было наполовину выполнено: чиновник III Отделения явился от имени Бенкендорфа к Дельвигу с извинениями, а „Литературная Газета“ была разрешена с тем, чтобы издателем был не Дельвиг. Вследствие последнего требования, Дельвиг передал все права и обязательства по изданию О. М. Сомову, что и было утверждено Главным Управлением Цензуры 1 декабря 1830 г.

„Литературная Газета“, первый номер которой вышел в январе 1830 г., просуществовала всего лишь полтора года. Основанная Дельвигом, Вяземским и Пушкиным, издавна стремившимся к журналистике, она собрала ряд крупнейших литературных имен, но не сумела привлечь читателей. Ее враги — Булгарин и Гречь — прямо заявляли, что ее никто не читает. Очень скоро она стала необходимой „не столько для публики, сколько для некоторого числа писателей, не могущих, по разным отношениям, явиться под своим именем ни в одном из Петербургских или Московских журналов“. Пушкин хорошо сознавал ее недостатки, однако, тем не менее, поддерживал ее, напечатав там более десятка критических статей и заметок. После перехода издания к О. М. Сомову и смерти Дельвига „Литературная Газета“ все больше и больше хирела и на 37-м номере совсем прекратилась. Наиболее подробно история ее изложена в статье Н. К. Замкова: „К истории „Литературной Газеты“ бар. А. А. Дельвига“ — в „Русской Старине“ 1916 г. (отд. отт., С.-Пб. 1916).

М. Б.

5) Генерал Дельвиг — барон Антон Антонович, отец одноименного поэта, друга Пушкина; он служил в военной службе с 1790 года, при чем участвовал в первой войне с Наполеоном, после чего, будучи майором Астраханского гренадерского полка, был назначен Московским плац-адъютантом и, пробыв в этой должности короткое время, определен был Московским-же плац-майором — 16 января 1806 („С.-Петербур. Ведом.“ 1806 г., № 8); он жил в Кремле, в комендантском доме, и занимал должность плац-майора свыше 10 лет, числясь уже в 1813 г., в чине полковника, в л.-гв. Измайловском полку; произведенный затем, 30 августа 1816 г., в генерал-майоры, он вскоре назначен был окружным начальником или командиром сперва 1-го (в Нарве), а потом 2-го (в Витебске) Округа Отдельного корпуса внутренней стражи (1819; 1824), весной 1826 г. уволен

был в отпуск, а вскоре и совсем вышел в отставку; поселившись в имении жены, в Чернском уезде Тульской губернии, он умер там 8 июля 1828 г., 56 лет от роду, и погребен на кладбище с. Белина, того же уезда (В. И. Чернопятов, „Тульский Некрополь“, М. 1912, стр. 49, с неверной датой смерти). Скончался он в присутствии сына-поэта, который вместе со своею женою приехал навестить его в деревню. „Хлопочи, хлопочи обо мне, брат Пушкин, и пожалей меня. Добрый отец мой умер. Скажи о моей печали почтеннейшему Сергею Львовичу и Надежде Осиповне. Я уверен, они примут живое участие в горе моем“, — писал он своему другу из Чернской усадьбы. „Я лишился отца и отца редкого, которого никогда не перестану оплакивать“, — читаем в его неизданном письме от 13 июля 1828 г. к В. Д. Корнильеву (в Пушкинском Доме); в проекте же письма на имя Николая I поэт писал: „Покойный отец мой в продолжении сорокалетней службы своей известен был начальникам, подчиненным и посторонним свидетелям бескорыстием и точным исполнением на него возложенных должностей. Двадцать лет, любимый начальниками и всем городом, был он сперва плац-адъютантом, потом плац-майором в Москве. Мирные подвиги его до сих пор в ней помнятся. Значительнейшие вещи, занесенные в квартиру его французами во время достопамятного 1812 года, не смотря на высочайшее позволение считать их своими, были им возвращены прежним владельцам. Слишком полтораста тысяч рублей, за несколько дней до вторжения французов в Москву присланные неизвестно кем и без росписки отданные тетке моей по причине опасной болезни его, по выздоровлении представлены им начальству...“ (неизд.). Дельвиг писал это по поводу хлопот своих о пенсии вдове умершего — Любови Матвеевне, рожд. Красильниковой (ум. 1859), которая осталась после смерти мужа с ничтожным имением, но с огромною семьею: кроме сына-поэта, у нее были еще сыновья Дмитрий, Александр и Иван Антоновичи и кроме двух замужних дочерей — Марии Родзевич и Варвары Тейльс, — три незамужних — Анна, Глафира и Любовь Антоновны; из них к баронессе Марии Антоновне Пушкин-лицеист в 1815 и 1816 г. обратил стихотворения: „Вам восемь лет, а мне семнадцать было“ и „Вчера мне Маша приказала...“; в то время она была в Царском-Селе вместе с родителями, приезжавшими навестить сына в Лицее. „Дядя мой был добрейший человек, очень кроткий“, пишет барон А. И. Дельвиг в своих „Воспоминаниях“: „Его все любили, в особенности были к нему расположены дамы за его веселость и добродушие. Такой отзыв о нем я постоянно слышал в Москве, где его многие знали, так как он прослужил в ней двадцать лет... Говорили мне, что я очень похож на моего дядю, но только далеко не так красив собою...“ (ч. I, стр. 11). Что касается жены его, матери поэта, — то она, по словам Плетнева, была „дочь или внука астронома (не помню фамилию,

что-то в роде Красильниковы), жившего при Елизавете, товарища Ломоносова. Обсерватория тогда была в Москве, и императрица, наблюдая какое-то явление, стояла там, опираясь на руку деда Дельвига, о чем последний говаривал с гордостью“ („Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым“, т. III, стр. 414).*

Б. М.

XII.

21-го января [1831 г. Москва].

Вы совершенно правы, упрекая меня за мое пребывание в Москве. Не поглупеть в ней невозможно. Вы знаете эпиграмму на общество скучного человека:

Я не один и нас не двое...

Это эпиграф к моему существованию.¹ Ваши письма — единственный луч, проникающий ко мне из Европы.

Помните ли Вы то доброе время, когда газеты были скучны? Мы на это жаловались. Поистине, если мы и теперь недовольны, то трудно нам угодить.

Польский вопрос разрешить легко. Ничто не может спасти Польшу кроме чуда, а чудес не бывает. Ее спасение в отчаянии: *una salus nullam sperare salutem*,² а это бессмыслица. Только судорожный и всеобщий подъем мог бы дать полякам какую-либо надежду. Стало быть, молодежь права, но одержат верх умеренные, и мы получим Варшавскую губернию, что должно было случиться 33 года назад. Из всех поляков меня интересует только Мицкевич. Он был в Риме в начале восстания. Боюсь, как бы он не приехал в Варшаву, — присутствовать при последних судорогах своего отечества.

Я недоволен нашими официальными сообщениями. В них господствует иронический тон, который не приличествует силе. Всё, что хорошо, т. е. чистосердечие, — исходит от императора; всё, что плохо, т. е. хвастовство и грубый задор, — исходит от его секретаря. Нет нужды возбуждать русских против Польши. Наше мнение определилось вполне 18 лет тому назад.³

* Любовь Матвеевна Дельвиг, действительно, была внучкою известного геодезиста Академии Наук Андрея Дмитриевича Красильниковы, — дочерию его сына Матвея Андреевича (род. 1739), занимавшегося, между прочим, переводами. *Б. М.*

Французы почти совсем перестали меня интересовать. Революция должна бы быть уже окончена, а каждый день бросают новые ее семена. Их король с зонтиком под мышкой слишком уже мещанин. Они хотят республику — и они получают ее, но что скажет Европа, и где они найдут Наполеона? ⁴

Смерть Дельвига нагнала на меня тоску. Независимо от его прекрасного таланта, это была отлично устроенная голова и незаурядная душа. Он был лучший из нас. Наши ряды начинают редеть. ⁵

Грустно приветствую Вас.

21 января.

Письмо на листе почтовой бумаги большого формата, с клеймом „А Г 1829“, проколото при дезинфекции, что показывает, что оно шло по почте. Конверт отсутствует.

Год написания определяется содержанием письма.

1) Эпиграмму — см. ниже, в статье Б. В. Томашевского „Французская литература“, стр. 208.

2) Перевод латинской фразы: „Одно спасение — не надеяться ни на какое спасение“ — „Энеида“ Виргилия, песнь II, стих 354; в оригинале: *una salus victis nullam sperare salutem*. Пушкин опустил слово *victis* (побежденным).

3) См. ниже, в статье М. Д. Беляева „Польское восстание“, стр. 263, 270—272.

4) См. ниже, в статье Б. В. Томашевского „Французские дела 1830—1831 гг.“, стр. 313, 324—325, 335 и др.

5) Смерть Дельвига была полною неожиданностью для всех. Вот что пишет об этом его биограф В. П. Гаевский, рассказав о нравственном потрясении, которое вызвано было в Дельвиге внезапным запрещением ему издавать „Литературную Газету“: „Душевное расстройство Дельвига произвело в нем апатию и равнодушие ко всему... В первых числах 1831 года он занемог простудю. Нравственные беспокойства усиливали развитие болезни, которая скоро сделалась опасною; но Дельвиг перемогался и, не заботясь о себе, находил возможность заботиться о других. За несколько дней до смерти он узнал, что одна бедная дворянка, А. Б. Г., лишилась в короткое время мужа и троих детей и вместе с тем потеряла здоровье и средства к существованию. Дельвиг с М. Д. Деларю издали в пользу ее двести экземпляров стихотворения Деларю „Сон и смерть“, напечатанного в „Северных Цветах“ на 1831 год (стр. 12—16). В предисловии*

* Оно перепечатано М. Л. Гофманом в сборнике „Пушкин и его современники“, вып. XXI—XXII, стр. 287. Б. М.

брошюры сказано, что „издатели почтут себя вполне награжденными за труд свой, если соотечественники примут участие в доставлении дневного пропитания несчастной сироте; лучшую же награду за доброе дело всякий из них вероятно найдет в своей совести“. Эти строки были, как сказал Сомов в рецензии на эту книжку („Литературная Газета“ 1831 г., т. III, № 4, стр. 33), прощальным отголоском сердца поэта, последним произведением Дельвига, написанным уже в припадках жестокой болезни, за несколько дней до кончины. — Последним произведением Дельвига в „Литературной Газете“ был разбор „Бориса Годунова“ (т. III, №№ 1 и 2), прерванный мучительной болезнью поэта и писанный за несколько дней до его смерти. Сомов, уже по смерти Дельвига, объявил имя автора этих недописанных статей, оставленных без окончания, „как прекрасное здание, недостроенное по смерти искусного зодчего“ (т. III, № 4). Дельвиг скончался 14 января 1831 года, в среду, в 8 часов вечера, имея от роду 32 года 6 месяцев и 8 дней. После него осталась дочь, которой тогда еще не исполнился год... Неожиданная смерть Дельвига произвела тяжелое, грустное впечатление на всех окружающих поэта. Его родные особенно затруднялись уведомить об этом несчастье мать Дельвига, которая даже не подозревала о его болезни, и, с целью приготовить ее постепенно к этому удару, просили журналистов повременить извещением о его смерти. — Тело Дельвига погребено 17 января, в субботу, на Волковом кладбище (в Петербурге). Стечение народа на печальном обряде было довольно многочисленное. Грустное впечатление, которое произвела смерть Дельвига в литературном кругу вообще, высказалось во множестве стихотворений и прозаических статей, посвященных его памяти“ („Современник“ 1854 г., № 9, стр. 56—57).

Барон А. И. Дельвиг, почти член семьи поэта, так передает о последних днях его жизни: „Здоровье Дельвига в ноябре и декабре 1830 г. плохо поправлялось. Он не выходил из дома. Только 5 января 1831 г. я с ним был у Слёнина и в бывшем магазине бумажной фабрики, где Дельвиг имел счета. На этих прогулках он простудился и 11 января почувствовал себя нехорошо. Однако утром еще пел с аккомпаниментом на фортепиано, и последняя пропетая им песня была его сочинения, начинающаяся следующей строфою:

Дедушка, девицы
Раз мне говорили:
Нет-ли небылицы,
Иль старинной были?

„Когда в этот день Дельвигу сделалось хуже, послали за его доктором Соломоном, а я поехал за лейб-медиком Арендтом. Доктора эти приехали вечером, нашли Дельвига в гнилой

горячке и подающим мало надежды к выздоровлению... 14 января, придя, по обыкновению, в 8 часов вечера к Дельвигу, я узнал, что он за минуту перед тем скончался. Не буду описывать того, до какой степени был я поражен этою смертью,... равно страшной скорбью его жены и всех знавших его близко. 17 января, в день именин Дельвига, были его похороны. Встречавшиеся, узнав, кого хоронят, очень сожалели о потере сочинителя песен, которые были тогда очень распространены в публике“ („Мои воспоминания“, ч. I, стр. 117).

„Но более всех был поражен смертью Дельвига Пушкин“, — говорит В. П. Гаевский. Слух о смерти любимейшего из друзей его дошел до Пушкина 18 января (ровно за месяц до свадьбы), а на другой день он получил письмо от Плетнева, написанное в самый день кончины Дельвига — в среду, 14 января, в половине первого часа ночи; письмо это дает точный рассказ о печальном событии, которое сильно поразило и Плетнева, так как он сам нежнейшим образом любил Дельвига, ближайшего, после Пушкина, своего друга:

„Я не могу откладывать, хотя бы не хотел об этом писать к тебе. По себе чувствую, что должен перенести ты. Пока еще были со мною добрые друзья мои и его друзья, нам всем как то было легче чувствовать всю тяжесть положения своего. Теперь я остался один. Расскажу тебе всё, как это случилось. Знаешь ли ты, что я говорю о нашем добром Дельвиге, который уже не наш? Еще в нынешнее воскресенье он говорил мне, что теперь он по крайней мере совсем спокоен. Начало его болезни случилось во вторник, за неделю, т. е. 6 числа. Но эта болезнь, простуда, очень казалась обыкновенною. 9-го числа он говорил со мною обо всем, нисколько не подозревая себя опасным. В воскресенье показались на нем пятна. Его успокоили, уверив, что это лихорадочная сыпь, и потому то он принял меня так весело, сказав, что теперь он спокоен. Понедельник и вторник, т. е. 12 и 13 он был в беспамятстве горячки. В среду в 7-м часу вечера Петр Степанович [Молчанов], приехав ко мне, сказал, что он, по признанию докторов, в опасности. За ним вскоре приехал Гнедичь с Лобановым, которые заезжали туда и слышали, что он близок к разрушению. В 9-м часу я отправил туда человека, который возвратился с ужасною вестью, что ровно в 8-мь часов его не стало. И так в три дни явная болезнь его уничтожила. Милой мой, что же такое жизнь?“

„Вчера получили мы горестное известие из П. Б. — Дельвиг умер гнилою горячкою. Сегодня еду к Салтыкову, он вероятно уже всё знает,“ — сообщал Пушкин Вяземскому, а на другой день, отвечая Плетневу, писал: „Что скажу тебе, мой милый? Ужасное известие получил я в воскресенье. На другой день оно подтвердилось. Вчера ездил я к Салтыкову объявить ему всё — и не имел духу. Вечером получил твое письмо. Грустно, тоска.

Вот первая смерть, мною оплаканная. Карамзин под конец был мне чужд, я глубоко сожалел о нем, как Русский, но никто на свете не был мне ближе Дельвига. Изю всех связей детства он один оставался на виду, — около него собиралась наша бедная кучка. Без него мы точно осиротели. Щитай по пальцам: сколько нас? ты, я, Баратынский, вот и все "...* „Вчера провел я день с Нащокиным, который сильно поражен его смертью; говорили о нем, называя его „покойник Дельвиг“, и этот эпитет был столь же странен, как и страшен. Нечего делать! согласимся. „Покойник Дельвиг“. Быть так. Баратынский болен с огорчения. Меня не так то легко с ног свалить. Будь здоров, и постараемся быть живы“.

Через десять дней, в письме к тому же Плетневу, Пушкин снова говорил о своем усопшем друге: „Бедный Дельвиг! Помянем его Северными Цветами: но мне жаль, если это будет ущерб Сомову; он был искренно к нему привязан, и смерть нашего друга едва ли не ему всего тяжеле: чувства души слабеют и меняются, нужды жизненные не дремлют. — Баратынский собирается написать жизнь Дельвига. Мы все поможем ему нашими воспоминаниями. Не правда ли? Я знал его в Лицее, был свидетелем первого, незамеченного развития его поэтической души и таланта, которому еще не отдали мы должной справедливости; с ним читал я Державина и Жуковского, с ним толковал обо всем, *что душу волнует, что сердце томит*; я хорошо знаю, одним словом, его первую молодость; но ты и Баратынский знаете лучше его раннюю зрелость. Вы были свидетелями возмужалости его души. Напишем же втроем жизнь нашего друга, жизнь, богатую не романическими приключениями, но прекрасными чувствами, светлым, чистым разумом и надеждами. Отвечай мне на это“.

„Что ж ты мне не отвечал про жизнь Дельвига?“ — спрашивал Пушкин Плетнева за два — три дня до свадьбы своей: „Баратынский не в шутку думает об этом. Твоя статья о нем прекрасна. Чем более читаю ее, тем более она мне нравится. Но надобно подробностей — изложения его мнений, анекдотов, разбора его стихов etc“. Через неделю после женитьбы он писал Плетневу, что счастлив, и что память о Дельвиге есть „единственная тень“ его „светлого существования“. Из дальнейшей переписки поэта видно, что мысль о составлении биографии Дельвига не покидала ни его, ни Плетнева, ни Вяземского; Пушкин думал и об издании своей частной переписки с усопшим другом (Переписка, т. II, стр. 281), но ничего положительного из этих планов не вышло, — Пушкин не мог долго предаваться губящей душу тоске

* Ту же мысль выражал и Вяземский в письме к А. Я. Булгакову: „Я получил горестное известие о смерти нашего Дельвига. Это тяжелая потеря в кругу приятелей его и в малом кругу честных литераторов наших. И то нас немного было. Грустно!“ („Русский Архив“ 1879 г., кн. II, стр. 117).

и рвался к жизни. Отвечая на грустные фразы письма Плетнева, он писал ему 22 июля 1831 г.: „Письмо твое от 19 крепко меня печалило. Опять хандришь! Эй, смотри: хандра хуже холеры, одна убивает только тело, другая убивает душу. Дельвиг умер, Молчанов умер, погоди — умрет и Жуковский, умрем и мы. Но жизнь всё еще богата; мы встретим еще новых знакомцев, новые созреют нам друзья, дочь у тебя будет расти, вырастет невестой, мы будем старые хрычи, жены наши — старые хрычовки, а детки будут славные, молодые, веселые ребята, мальчишки станут повесничать, а девчонки — сентиментальничать, а нам то и любо. Вздор, душа моя; не хандри — холера на днях пройдет, были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы“. Но в минуты поэтического сосредоточения мысль его постоянно обращалась к памяти о друге и выливалась во вдохновенные строки; можно сказать, что „своего“ Дельвига Пушкин помнил всю жизнь. Так, в стихотворении на Лицейскую годовщину 1831 г., он, с грустью указывая на „шесть мест упраздненных“ в кругу товарищей по выпуску из Лицея, писал:

И мнится, очередь за мной...
Зовет меня мой Дельвиг милой,
Товарищ юности живой,
Товарищ юности унылой,
Товарищ песен молодых,
Пиров и гордых помышлений,
Туда, в толпу теней родных
Навек от нас ушедший гений...

А через пять лет он вспомнил друга-поэта в своем стихотворении „Художнику“, написанном после посещения мастерской С. И. Гальберга, исполнившего после смерти Дельвига его бюст:

... в толпе молчаливых кумиров
Грустен гуляю: со мной доброго Дельвига нет;
В темной могиле почил художников друг и советник.
Как бы он обнял тебя! Как бы гордился тобой!

Необходимо отметить, что Пушкин принимался и за статью о Дельвиге, — года через три после смерти своего друга, — о чем свидетельствует водяной знак 1833 года на листах бумаги, на которой эта, оставшаяся незаконченной статья была писана. Мы высказали однажды предположение, что статья эта предназначалась для помещения при сборнике стихотворений Дельвига, над которыми Пушкин работал, как редактор, подготавливавший рукописи друга-поэта к печати.*

* „Сборник Пушкинского Дома на 1923 год“, Пгр. 1922, стр. 9. И рукопись статьи Пушкина о Дельвиге, и рукописи стихотворений последнего, с пометками Пушкина, находятся в Пушкинском Доме.

Что касается Плетнева, то он, кроме вышеупомянутого небольшого некролога, написанного для „Литературной Газеты“ под свежим впечатлением понесенной утраты, также не собрался написать что-либо большее; * но память о друге была всегда дорога и близка ему, — что видно, напр., по длинному ряду сердечных упоминаний о Дельвиге в многолетней переписке Плетнева с Я. К. Гротом (т. I—III); в 1846 г. в своем „Современнике“ он поместил известный восторженный отзыв Пушкина об „Идиллиях“ Дельвига, предназначенный Пушкиным для помещения в „Северных Цветах на 1828 г.“, среди других „Отрывков из писем, мыслей и замечаний“, но пропущенный Дельвигом, редактором „Цветов“, из понятной скромности. Плетнев считал необходимым опубликовать эти строки, „драгоценные по имени Пушкина и замечательные по истине, в них заключающейся“.

Б. М.

ХIII.

[8-го или 9-го февраля 1831 г. Москва].

Большое счастье для Вас иметь душу, способную все понять и всем интересоваться. Волнение, которое Вы среди судорог Европы проявляете к смерти поэта, — явное доказательство этого всеобъемлющего чувства. Если бы вдова моего друга¹ была в бедственном положении, поверьте, что только к Вам обратился бы я за помощью. Но Дельвиг оставил двух братьев, для которых он был единственной поддержкой: нельзя ли устроить их в Пажеский Корпус?²

Мы ждем решения судьбы. Последний манифест императора действительно прекрасен. Повидимому, Европа останется только зрительницей наших действий. Великий принцип возникает из недр революций 1830 года: принцип невмешательства, который заместит принцип легитимизма, поруганный от одного конца Европы до другого; не такова была система Канинга.³

Итак, г-н Мортемар в Петербурге, а в Вашем обществе еще один любезный и исторический человек;⁴ как мне досадно, что я еще не там, и как я пресыщен Москвой и ее татарским ничтожеством.

* Отзыв самого Плетнева об этой статье своей см. в письме его к Пушкину, от 22 февраля 1831 г. (Переписка, Акад. изд., т. II, стр. 236).

Вы говорите мне об успехе „Бориса Годунова“; по правде, я не могу этому верить. Успех совершенно не входил в мои расчеты, когда я писал его. Это было в 1825 году — и понадобилась смерть Александра, неожиданное благоволение ко мне нынешнего императора, его великодушие, его широкий и свободный взгляд на вещи, чтобы моя трагедия могла выйти в свет. К тому же всё хорошее в ней так мало рассчитано на то, чтобы поражать почтеннейшую публику (то есть ту сволочь, которая нас судит), и раскритиковать меня вполне основательно так легко, что я думал доставить удовольствие только дуракам, которые могли бы выказать остроумие за мой счет.⁵

Но в этом мире есть только удача и неудача, и *delenda est Varsovia*.⁶

На обороте: Е. П. Милостивой Государыне Елизавете Михайловне Хитровой. В С.-Петербург в доме Австрийского Посланника.

Письмо на листе почтовой бумаги большого формата, с клеймом „А Г 1830“, сложено конвертом и запечатано гербовою печатью Пушкиных; бумага проколота при дезинфекции. На обороте — почтовый адрес, штемпель: „Москва 1831 февра. 9“ и почтовые пометы; помета карандашом рукою Е. М. Хитрово: „Пушкин“.

Дата определяется числом почтового штемпеля, поставленного, как обычно, в день написания или днем позже.

1) Вдова барона А. А. Дельвига — Софья Михайловна, рожд. Салтыкова (род. 20 октября 1806 г., ум. 4 марта 1888 г.), на которой он женился в Петербурге 30 октября 1825 г.; оставшись после смерти мужа 24-летней вдовою с младенцем-дочерью Елизаветой (род. 1830 г., ум. 1891 г.), она летом того же 1831 г. вышла вторично замуж за Сергея Абрамовича Боратынского, брата поэта и друга Дельвига — Е. А. Боратынского, с которым и уехала в его Тамбовское имение; здесь она прожила, почти безвыездно, около пятидесяти лет. О ней и о ее романтической любви к декабристу П. Г. Каховскому см. в книжке Б. Л. Модзалевского: „Роман декабриста Каховского, казненного 13 июля 1826 г.“ (Труды Пушкинского Дома, Лгр. 1926 г.). Ср. также „Письма барона А. А. Дельвига к невесте“, напечатанные М. Л. Гофманом в „Сборнике Пушкинского Дома на 1923 год“, Пгр. 1922, стр. 78—96 и его же статью „Страница из жизни Дельвига“ в сборнике „Феникс“, М. 1922, кн. 1-я.

Б. М.

2) Братья Дельвига — бароны Александр (род. 28 августа 1818 г., ум. 2 декабря 1882 г.) и Иван (род. 9 августа 1819 г., ум. 18..) Антоновичи. „Чтобы облегчить положение матери и дать образование своим братьям, которые слишком двадцатью годами были его моложе, Дельвиг привез их в Петербург“, — читаем в Воспоминаниях бар. А. И. Дельвига: „Братья эти — Александр и Иван Антоновичи жили у него и учились за его счет. Старший выказывал много способностей в учении и хороший характер; младший ни в том, ни в другом не походил на брата“ (ч. I, стр. 79). Часто бывавшая у Дельвига в это время А. П. Керн, говоря о доброте поэта, пишет: „Я помню, как ласкал он своих маленьких братьев, семи- и восьмилетних малюток, выписав их вскоре по возвращении своем из Харькова. Старшего, Александра, он звал классиком, а младшего, Ивана, — романтиком, и под этими именами представил их однажды Пушкину. Александр Сергеевич нежно ласкал их, и когда Дельвиг объявил, что меньшей уже сочинил стихи, он пожелал их услышать, и малютка-поэт, не конфузясь ни мало, медленно и внятно произнес, положив обе ручки в руки Пушкина:

Индияди, Индияди, Индия!
Индиянда, Индиянда, Индия!

Александр Сергеевич, погладив поэта по голове, поцеловал и сказал: „Он точно романтик“ (Л. Майков, „Пушкин“, С.-Пб. 1899, стр. 261).

После смерти барона А. А. Дельвига, вдова его, по недостатку средств, не могла более платить в пансион за маленьких братьев своего мужа, с которыми, поэтому, занимался у нее на дому их двоюродный 17-летний брат, автор цитированных „Воспоминаний“ бар. А. И. Дельвиг (ч. I, стр. 124—125). В Пажеский Корпус они не поступили и где учились, нам неизвестно. Впоследствии бар. Александр Антонович служил в гвардии, вышел в отставку штабс-капитаном, в 1859 г. служил Окружным Начальником ведомства Министерства Государственных имуществ в Зарайском уезде Рязанской губернии и умер в Туле; был женат на Хионии Александровне Чапкиной и оставил большое потомство в лице пяти сыновей и двух дочерей. Барон Иван Антонович женат был на графине Александре Петровне Толстой, но умер бездетным (В. И. Чернопяттов, „Родословец Тульской губ.“. Добавл., М. 1912, стр. 49).

Участие Пушкина в судьбе братьев Дельвига выразилось в ходатайстве его о них перед Е. М. Хитрово. „Я писал Хитровой о братьях Дельвига“, — сообщал он Плетневу, только что узнав о смерти друга, уже в первой половине февраля 1831 г. „Что же твой план Северных Цветов в пользу братьев Дельвига?“ — спрашивал он его же в июле месяце, из Царского Села: „я даю в них „Моцарта“ и несколько мелочей, Жуков-

ский дает свою гекзаметрическую сказку. Пиши Боратынскому; он пришлет нам сокровища". — „Между нами“, — писал он кн. Вяземскому уже в начале сентября: „У Дельвига осталось два брата без гроша денег, на руках у вдовы, потерявшей большую часть маленького своего имения. Нынешний год мы выдадим Северные Цветы в пользу двух сирот. Ты пришли мне стихов и прозы“. Наконец, когда дело с изданием уже налажилось, поэт писал Нащокину 22 октября: „Я издаю Северные Цветы для братьев нашего покойного Дельвига; заставь их разбирать — доброе дело сделаем“. — Через цензуру альманах прошел 9 октября и вышел в свет к Рождеству 1831 года (Н. Синявский и М. Цявловский, „Пушкин в печати. 1814—1837“, М. 1914, стр. 111); Пушкин дал в него обильный вклад, — а именно: „Моцарта и Сальери“, 4 „Анфологических эпиграммы“, „Дорожные жалобы“, „Эхо“, „Делибаш“, „Анчар, древо яда“ и „Бесы“; кроме того, снабдил редакторскую заметкою помещенную в альманахе, по сообщению А. В. Никитенко, повесть Батюшкова „Предслав и Добрыня“. Экземпляр книжки он подарил и Плетневу, сделав на ней надпись: „Плетневу от Пушкина. В память Дельвига. 1832, 15 Февраля, С.-П. Б.“; экземпляр этот был в 1915 г. у П. А. Плетнева-внука. *Б. М.*

3) См. ниже в статьях: Б. В. Томашевского „Французские дела“ стр. 327—330, 335, и М. Д. Беляева „Польское восстание“, стр. 272—276.

4) Мортемар — Casimir-Louis-Victournien de Rochecouart, duc de Mortemart (род. 20 марта 1787 г.), — французский генерал и дипломат, сын генерала и поэта, в 1791 г. эмигрировавшего в Англию вместе с семьей, — в том числе и с 4-летним сыном Казимиром. Последний воспитывался в Англии и лишь в 1801 г. мог вернуться на родину, в Париж, поступил в 1803 г. на военную службу и сделал Прусскую и Польскую кампании 1806—1807 гг., участвовал в сражениях с русскими при Пултуске и Голымыне, в котором был ранен, и за мужество, проявленное в сражении с русскими под Фридландом 2 июня 1807 г., награжден был орденом Почетного Легиона. С отличием участвуя в дальнейших кампаниях Наполеона, Мортемар 12 февраля 1811 г. был взят императором в ординарцы и с успехом исполнил много важных его поручений, — между прочим, — обозрение берегов Голландии и Дании. Присоединившись к великой армии Наполеона в Познани, он совершил поход в Россию и получил за это баронский титул. Возвратившись из похода с сильно расстроенным здоровьем, он мог вернуться на службу лишь к концу кампании 1813 года, участвовал, однако, в сражении при Лейпциге и Ганау и награжден был офицерским орденом Почетного Легиона (30 ноября 1813 г.). Во время кампании 1814 г. ему было поручено представить имп. Марии-Луизе зна-

мена, взятые у союзников при Шампобере и в других боях; 31 марта он вернулся в Париж. Одним из первых приветствовал он реставрацию Бурбонов, — и Людовик XVIII не замедлил назначить его паром Франции (4 июня 1814 г.) и капитан-полковником Сотни швейцарцев своей гвардии, — должность, которую до Революции занимал герцог Бриссак, родной дед Мортемара с материнской стороны. Во время Ста дней он последовал за Людовиком XVIII в Гент, где и оставался до падения Наполеона. Благодаря своим познаниям в военном деле, он преобразовал на новых основаниях отряд пеших гвардейских ординарцев короля и стоял во главе его до 1818 г., сделал из него поистине отборную часть. Его услуги и преданность королю были последовательно вознаграждены чином генерал-майора национальной Парижской гвардии (14 октября 1815 г.) и званием маршала (10 октября 1815 г.), а затем он был пожалован кавалером королевских орденов (30 мая 1825 г.) и, наконец, назначен был посланником в Россию (в марте 1828 г.) — на место Лафетрона. В апреле 1828 г. Мортемар из Парижа направился прямо на театр начавшейся Русско-Турецкой войны, так как был приглашен, вместе с некоторыми другими дипломатами, сопровождать Николая I в его поездке в действующую армию. По окончании первой части кампании Мортемар съездил в Париж, откуда прибыл в Петербург лишь в феврале 1829 г., проехав через Вену. При самом въезде в Петербург он был встречен флигель-адъютантом Николая, вручившим ему, при рескрипте от 27 февраля, орден Андрея Первозванного, — как знак особого благоволения императора к Французскому посланнику за его расположение к России и за дружественные в ее пользу выступления проездом в Вене. Вообще, по свидетельству барона Бургуэна, Николай I с первой же встречи восчувствовал дружбу к Мортемару, — между прочим, как к бывшему ординарцу Наполеона; его опытность в военном деле и его военное образование придавали большой интерес беседам его с государем, который и сам был большим знатоком военных наук (Baron Paul de Bourgoing, „Episodes militaires et politiques“, Paris. 1864, p. 436, 465—466). В мае 1830 г. Мортемар отправился во Францию, где политическое настроение было уже весьма напряженное. Отпуская Мортемара, Николай I поручил ему передать королю Карлу X советы быть умеренным и уважать конституцию, во избежание революции (Ор. с., p. 469; ср. „Военный Сборник“ 1866 г., т. LXIX, отд. II, стр. 139). Приехав во Францию в июне, Мортемар собирался было ехать на воды, когда узнал о революции, вспыхнувшей в Париже 27 июля. Он поспешил в Сен-Клу, к Карлу X, чтобы умолять его принять быстрые и решительные меры против волнений. Король, после долгих возражений, решился сделать уступку революции, по его мнению достаточную, поручив Мортемару (29 июля) образовать новое министерство,

в которое должны были войти Казимир Перье, ген. Жерар и др., с Мортемаром во главе. Мортемар сперва отказывался, говоря, что подобное бремя ему не под силу, но, победенный настояниями короля, согласился и получил обещание короля немедленно созвать Палату Депутатов. Между тем, колебания Карла задержали Мортемара в Сен-Клу, — и он уже не мог пробраться оттуда в Париж (где собрались депутаты под председательством Лафита), так как и командовавший войсками сын Карла — герцог Ангулемский, не сочувствовавший назначению Мортемара, не выпускал его из Сен-Клу. Когда, наконец, 30 июля, Мортемар достиг Парижа, он встретил здесь депутата Берара, который сказал ему фразу, ставшую исторической: „Слишком поздно!“ („Il est trop tard!“). Поместившись, тем не менее, в Люксембургском дворце, Мортемар заготовил проекты нескольких законов, направленных к закреплению создавшегося положения, имел свидание с герцогом Орлеанским, который заверял его в неизменной преданности старшему члену фамилии; но уже 31 июля, видя, что ни официальная печать, ни Палата Депутатов не признают его, Мортемар сознал свое бессилие и вернулся в Сен-Клу, а 9 августа обе Палаты превозгласили королем герцога Орлеанского, под именем Людовика-Филиппа I. Затем Мортемар, который еще раньше заявил себя в Палате Пэров сторонником либеральных мероприятий, предложил свои услуги новой династии и попрежнему занял место в Палате Пэров. 5 января 1831 г. он вновь, как человек, лично известный Николаю I и сумевший заслужить его расположение и уважение, был назначен чрезвычайным посланником в Россию, с поручением ему специальной миссии к Николаю I. Об этом назначении в „*Moniteur Universel*“ от 7 января 1831 г. появилось такое официозное сообщение: „*Le Roi a nommé le duc de Mortemart son ambassadeur près S. M. l'Empereur de toutes les Russies et l'a chargé d'une mission spéciale. Cette nomination n'infirmé point celle du maréchal duc de Trévise*“. 8 января он получил большой крест ордена Почетного Легиона, а затем отправился в Россию; 26 января проехал через Берлин, где представлялся королю, и вскоре прибыл в Петербург через Курляндию. „Проезжая, посреди снежных сугробов, чрез обширные и мрачные леса Курляндии“, пишет барон П. Бургуэн: „он вдруг был остановлен группою всадников, которые окружили его экипаж, но с первых же слов отнеслись к нему почтительно. Выдав себя за депутатов Варшавского временного правления, они сочли своим долгом расположить герцога Мортемара в пользу своего дела и, кроме того, пожелали узнать, какой помощи могут поляки ожидать от французов. Посланник наш отвечал, что Франция, при всем искреннем сочувствии к Польше, не желает из-за нее начинать войны. Он прибавил, что поляки должны сообразить, достаточны ли их силы для успеха, что, в противном случае, он

постарается исходатайствовать для них у императора выгодные условия примирения. После нескольких возражений, так называемые депутаты приняли это предложение. Когда посланник приехал в Петербург, государь знал уже о встрече его с польскими делегатами "... Несколько иные подробности об этой встрече Мортемара с польским дипломатическим агентом Козмяном передает Денис В. Давыдов в „Воспоминаниях о Польской войне 1831 года“ (Сочинения, изд. „Севера“, С.-Пбг. 1893, т. II, стр. 241, примеч.).

Личное положение Мортемара во время вторичного пребывания его в Петербурге, по словам Бургуэна, осталось то же, что и раньше, но обстоятельства изменились значительно. Франция, вместо того, чтобы быть, в глазах Николая I, союзницею, пользовавшеюся всеми его симпатиями, стала предметом недоверия и даже неприязни, и это новое чувство сильно развилось под влиянием Польской войны. Ходатайства и убеждения Мортемара служили иногда поводом к разномыслию, а иногда и к столкновениям. По мнению Николая I, правительство Людовика-Филиппа позволяло себе увлекаться демократическим потоком, который, — говорил он, — приведет Францию к войне и к новым революциям (Bar. P. Bourgoing, о. с., р. 539—540 и „Военный Сборник“ 1866 г., № 6, стр. 282—284). В октябре того же 1831 года Мортемар окончательно заместил собою герцога Тревизского в качестве Французского посланника в Петербурге.

В июле 1831 г. Мортемар получил отпуск в Париж, будучи временно замещен бароном Бургуэном, получившим звание полномочного министра (о. с., р. 542). Так сообщает сам Бургуэн, между тем как С. С. Татищев передает, что Мортемар вынужден был уехать из Петербурга вследствие гнева на него Николая за ходатайство в пользу поляков (С. С. Татищев, „Император Николай и иностранные дворы“, С.-Пб. 1889 г., стр. 160, 170). Об его отъезде из Петербурга в № 185 „Северной Пчелы“ от 20 августа 1831 г. было перепечатано следующее официальное сообщение „Journal de St-Petersbourg“: „Французский Посол, Герцог де Мортемар, отправился в Париж в Субботу, 15-го числа. До Любека едет он на пароходе Николай I-й. Он давно уже получил отпуск, но не хотел оным воспользоваться во время свирепствования эпидемии в С.-Петербурге. Вероятно, что он не может воротиться сюда ранее исхода Декабря месяца. Здесь остается Барон де Бургуэн, в звании Полномочного Министра“. Вернувшись в Петербург, он оставался здесь до 1833 года. Сойдя на некоторое время с политической сцены после Февральской революции, он 31 августа 1849 г. был снова принят на службу в Генеральный Штаб, примкнул к Наполеоновской партии, командовал затем одним из военных округов, а 27 марта 1852 г. сделан был сенатором. Революция 4 сентября 1870 г. заставила его удалиться от дел; он умер 1 января 1875 г.

в своем замке Neauphle-le-Vieux, в департаменте Сены и Уазы. Кроме нескольких речей, произнесенных в Палате Пэров, ему принадлежит „Notice sur le Château de Meillant sous Louis XIII“ (1851). (Nouvelle Biographie Générale... publiée par Mm. Firmin Didot Frères, t. XXXVI, 1861, p. 668—669; Biographie nouvelle des contemporains, t. XIV, 1824; Biographie Universelle et Portative des contemporains, t. III, 1834, и др. источники).

Биография Мортемара, вкратце здесь изложенная, показывает, что Пушкин имел полное основание назвать его историческим лицом. Его хорошо знали кн. П. А. Вяземский и А. И. Тургенев, который в 1835 г. встречался с ним уже в Париже, при чем и герцог, и жена последнего (Virginie, рожд. Comtesse de Sainte-Aldegonde, р. 1792 г., ум. 1878 г.), известная красавица, звали его к себе в деревню на берег моря („Остафьевский архив князей Вяземских“, т. III, стр. 265, 271 и др.); с герцогиней Вяземский состоял в переписке (ibid., стр. 267 и др.), а Тургенев упоминает о ней и в своей „Хронике русского в Париже“, напечатанной во 2-й книге Пушкинского „Современника“ 1836 г. Сам Пушкин мог встречаться с Мортемаром у А. О. Смирновой, в „Записках“ которой упоминается о нем (ч. I, стр. 36). О Мортемаре см. еще ниже, стр. 309—310 и 337.

Б. М.

5) „Борис Годунов“ вышел в Петербурге в самом конце 1831 года, около 22—23 декабря (см. у Н. Синявского и М. Цвяловского, „Пушкин в печати“, М. 1914, стр. 93, № 713). В среде Петербургских читателей он имел видимый громадный успех: по словам заметки в „Литературной Газете“ (1 января 1831 г., № 1, стр. 9, смесь) в первое же утро продажи было раскуплено до 400 экземпляров. Пушкин, живший в это время в Москве, был удивлен успехом трагедии. Уведомленный о нем друзьями сразу после выхода книги, он писал П. А. Плетневу (7 января 1831 г. — Переписка, т. II, стр. 211): „Пишут мне, что Борис мой имеет большой успех: странная вещь, непонятная вещь! По крайней мере я того никак не ожидал. Что тому причиною? Чтение Вальт[ера] Скотта? Голос знатоков, коих избранных так мало? крик друзей моих? мнение двора? Как бы то ни было, я успеха трагедии моей у вас не понимаю. В Москве то ли дело?...“ И в письме к Погдину, около того же времени, читаем: „Мне пишут из П[етербурга], что Годунов имел успех. Вот еще для меня диковинка“ (там же, т. II, стр. 217).

Этот наружный успех, вызвавший недоумение поэта, хорошо знавшего ему цену, вместе с отзывом его в письме к Е. М. Хитрово, представляют последнее звено в той длинной и трудной дороге, которую прошла трагедия Пушкина от момента своего зарождения — весною 1825 года, в Михайловском, — до выхода в свет почти шесть лет спустя.

Ни одно из произведений Пушкина не было задумано и выполнено с такою творческою сознательностью, с такою ясно поставленною целью; ни к одному не готовился он так много, основательно и специально (исключая, быть может, „Капитанской дочки“, — но в ней действовали совершенно иные мотивы и иные условия); ни одно, наконец, не было окружено, подкреплено и оправдано — и до, и после ее написания — таким множеством теоретических рассуждений, слагающихся в целую систему идей о драматической поэзии вообще и о судьбах русской „народной трагедии“ в частности.

В годы ссылки, в Одессе и в Михайловском, в период образования литературных убеждений, предшествовавших созданию „Бориса Годунова“, Пушкин упорно повторял одну свою мысль о французской литературе: „Романтизма нет еще во Франции, а он-то и возродит умершую поэзию“ (черновое письмо к кн. П. А. Вяземскому, 4 ноября 1823 г., — Переписка, т. I, стр. 83); „первый Гений в Отечестве Расина и Буало — ударится в такую бешеную свободу, в такой литературный Карбонаризм — что твои немцы“ (т. е., будет романтиком; письмо к нему же, 5 июля 1824 г., черновое, там же, I, 123); „первый гений там [во Франции] будет романтик и увлечет французские головы бог ведает куда“ (к нему же, 25 мая 1825 г., там же, I, 218), — понимая под романтизмом, более всего, отрицание правил классической поэзии Расина, Буало и Вольтера, — как направления, исчерпанного и пережитого, по крайней мере, в трагедии. Ту же мысль он прилагал к русской поэзии, видя в себе того, кто мог почти один предпринять „литературный подвиг“ — создание „романтической трагедии“ (там же, I, 237). „Романтическою трагедиею“ называл он неизменно „Бориса Годунова“ (там же, I, 237, 301, 308; II, 17 и др.) и в ее „романтичности“ — в свободе от законов классицизма, в следовании подлинным историческим источникам, в „вольном составлении характеров“ — полагал всё значение своего труда, — значение не только реформаторское, но революционное; его глубоким убеждением было, что „нашему театру приличны народные законы драмы Шекспировой, а не придворный обычай трагедии Расина“ (заметки или проект предисловия, 1830 года — Сочинения Пушкина, изд. Акад. Наук, т. IV, стр. 142), а такая смена театральных направлений была, разумеется, не реформой, а прямой литературной революцией (ср. особенно в так называемых письмах к Н. Н. Раевскому, представляющих в значительной мере первоначальные наброски критических статей в форме дружеских писем, частью, в 1825 году, писанные действительно к Н. Н. Раевскому, — Переписка, I, 247, 249; II, 15—22 и 86—89).

Написание трагедии было, в сознании самого поэта, кульминацией его творческих сил в этот период: „Je sens que mon âme

s'est tout-à-fait développée, je puis créer" („Я чувствую, что душа моя развилась вполне: я могу творить“) — писал он Н. Н. Раевскому в горделивом сознании своего гения; а позднее отмечал в заметках для предисловия к „Годунову“: „Писанная мною в строгом уединении, вдали охлаждающего света, плод постоянного труда, добросовестных изучений — трагедия сия доставила мне всё, чем писателю насладиться дозволено: живое вдохновенное занятие, внутреннее убеждение, что мною употреблены были все усилия, наконец, одобрение малого числа тех, коих мнением привык я дорожить“ (Сочинения Пушкина, изд. Акад. Наук, т. IV, стр. 140).

Но, уже тогда, при самом ее окончании, у него явились сомнения в возможности и целесообразности напечатания своего труда. Сомнения были двоякого рода: об одном он писал П. А. Вяземскому (указав сначала на цензурные трудности общего порядка): „Жуковский говорит, что царь [т. е. Александр I] меня простит за Трагедию — на вряд, мой милый. Хоть она и в хорошем духе писана, да никак не мог упрятать всех моих ушей под колпак юродивого. Торчат!“ (Переписка, т. I, стр. 301); трагедия, основанная на убийстве Дмитрия Борисом, вступившим вместо него на престол, не могла быть приемлемой для Александра, сына Павла I, — на что он намекает и в письме к Е. М. Хитрово. Другого рода сомнение — чисто-литературного порядка: „Я написал трагедию и ею очень доволен, но страшно в свет выдать — робкий вкус наш не стерпит истинного романтизма“, писал он А. А. Бестужеву (там же, I, 308) — и это сомнение в нужности и своевременности трагедии, в том, поймут ли ее читатели (а тем более — зрители), с течением времени всё усиливалось.

Как известно, напечатать трагедию не удалось и тогда, когда вступил на престол Николай Павлович и Пушкин был возвращен из ссылки в Москву. По мнению Николая, подсказанному официальным рецензентом из III Отделения, помимо отдельных мест, тривиальных и неудобных к печати, вся трагедия была неудачна, и автору давался совет — переделать ее в исторический роман в духе Вальтер-Скотта: это было равносильно запрещению, так как терялся самый смысл и цель создания трагедии.

Появление в журналах отдельных сцен „Годунова“ прошло почти незамеченным или вызвало бессодержательно-хвалебные отзывы. Восторженный прием, сделанный трагедии в тесном кругу Московских, а позже и Петербургских друзей — только укреплял поэта в мысли, что создание его „для немногих“.

Всё же мысль о напечатании трагедии его не покидала. С весны 1829 года он возобновил о нем хлопоты. Летом, когда он был на Кавказе, рукопись была представлена в III Отделение, последнее вновь потребовало исключения некоторых мест

и лишь после новых долгих хлопот, после письма к Бенкендорфу (16 апреля 1830 г.), было высочайше разрешено поэту печатать ее „под его личною ответственностью“ (Переписка, т. II, стр. 133 и 140). Пушкин ожидал со стороны правительства боязни, что в обществе увидят в трагедии намеки на недавнюю „смуту“ — события 14-го декабря. Но в 1830 году такие сближения оказались неопасны — трагедия была пропущена — и в этом смысле, в письме к близкой ко двору женщине, Е. М. Хитрово, поэт говорит о великодушии, широте взглядов и либерализме императора Николая.

Во все эти годы, с 1827 и по осень 1830, Пушкин думал о теоретическом предисловии к трагедии, которое бы объясняло читателям ее смысл, значение и намерения автора. Наброски такого предисловия, или статьи, писанные в разное время (они напечатаны в Академическом издании Сочинений Пушкина, т. IV, примечания, стр. 139—146) характерны своим общим тоном: они подчеркивают, с одной стороны, сознаваемую автором важность задач трагедии, с другой — его нежелание издавать ее в свет и ее вероятный неуспех: „С величайшим отвращением решаюсь я выдать в свет Бориса Годунова. Успех или неудача моей трагедии будет иметь влияние на преобразование драматической нашей системы. Боюсь, чтоб собственные ее недостатки не были бы отнесены к романтизму и чтобы она тем самым не замедлила хода...“ (б. Румянц. Музей, тетр. № 2382, л. 11; дата: 19 июля [1829 г. Арзрум]). Эти мысли, в иных словах, повторяются и в других набросках, частью опирающихся на указанные выше наброски „писем к Раевскому“, частью продолжающих их. „Признаюсь“, пишет он в варианте к предыдущему отрывку (рук. Майковского собрания), „неудача Бориса Годунова будет мне чувствительна, а я в ней почти уверен“... А далее, повидимому, уже по выходе „Годунова“ в свет, он пишет о нем, разочарованно суммируя результаты своего выступления: „Когда я писал эту трагедию, я был один в деревне, никого не видя, читая только журналы и т. д. ...тем охотнее, что я всегда верил тому, что один романтизм подходит для нашей сцены: я увидел, что я ошибался. Я испытывал большое отвращение от выдачи в свет моей трагедии — я хотел по крайней мере снабдить ее предисловием и примечаниями. Но я нахожу все это совершенно бесполезным“ (б. Румянцовский Музей, тетр. № 2373, л. 2; даем текст в переводе; вся тетрадь, по содержанию, относится к 1832—1833 гг.)* К этому нужно присоединить и статью

* В конце 1831 года, думая о втором издании „Бориса Годунова“, Пушкин хотел написать к нему предисловие в виде дружеского письма на имя барона Е. Ф. Розена „и в нем изложить свои мысли и правила, коими руководствовался“, сочиняя трагедию (журн. „Культура театра“ 1921, № 5; М. Цявловский, „Письма Пушкина и к Пушкину, не вошедшие в изд. Академии Наук“, М. 1925, стр. 16). По мнению Б. В. Томашевского, наброском этого предисло-

о драме, набросанную в Болдине осенью 1830 года, по поводу „Марфы Посадницы“ Погодина, но, конечно, с мыслями о „Годунове“; здесь, выясняя различие трагедий Шекспира и Расина и историю жанра в России, Пушкин замечает: „Отчего же нет у нас трагедии? Не худо было бы решить: может ли она и быть?.. Трагедия наша, образованная по примеру трагедии Расина, может ли отвыкнуть от аристократических своих привычек?.. Как ей перейти к грубой откровенности народных страстей, к вольности суждений площади?.. где, у кого выучиться наречию, понятному народу? Какие суть страсти сего народа, какие струны его сердца, где найдет она себе созвучие,—словом, где зрители, где публика?—Вместо публики встретит она тот же ограниченный круг — и оскорбит надменные его привычки; вместо созвучия, отголоска и рукоплесканий услышит она мелочную, привязчивую критику журналов. Перед ней восстанут непреодолимые преграды — для того, чтоб она могла расставить свои подмостки, надобно было бы переменить обычаи, нравы и понятия целых столетий“... (б. Румянцовский Музей, тетр. № 2387-Б; Соч., изд. Брокгауза-Ефрона, т. V, стр. 14).

Всё это достаточно мотивирует удивление Пушкина успеху своей трагедии в Петербурге. Правда, успех этот, выразившийся в количестве проданных экземпляров, был скорее внешний. Не мало способствовало ему и одобрение двора — неожиданно-сочувственное отношение императора Николая. Получив об этом уведомление от Бенкендорфа, Пушкин ответил ему в выражениях, почти совпадающих с выражениями письма к Хитрово: „С чувством глубочайшей благодарности удостоился я получить благосклонный отзыв государя императора о моей исторической драме. Писанный в минувшее царствование, Борис Годунов обязан своим появлением не только частному покровительству, которым удостоил меня государь, но и свободе, смело дарованной монархом писателям русским в такое время и в таких обстоятельствах, когда всякое другое правительство старалось бы стеснить и оковать книгопечатание“ (Переписка, т. II, стр. 218; имеется в виду современная эпоха Польского восстания и внутренних волнений, которые могли бы быть сопоставлены с изображенной в трагедии смутой). Петербургский успех Годунова тем более удивлял Пушкина, что в Москве, уже в первые дни, он видел совершенно обратное: „В Москве то ли дело?“ (пи-

вия может быть так наз. письмо к Н. Н. Раевскому, датируемое весной 1827 г. (Переписка, т. II, стр. 15—22). Содержащиеся в нем намеки, ложно указывающие на раннюю дату написания, употреблены с целью показать, что теоретические воззрения автора, так же, как и самая трагедия, сложились до появления теоретических статей о драме французских романтиков и независимо от них. Однако, некоторые данные (бумага, почерк) заставляют скорее соглашаться с принятой ныне датировкой наброска — 1827 годом. „Письмом к Е. Ф. Розену“ мог быть какой-нибудь другой набросок.

сал он Плетневу в письме, частью приведенном выше): „здесь жалуют о том, что я совсем, совсем упал; что моя трагедия — подражание Кромвелю Виктора Гюго; что стихи без рифм — не стихи, что Самозванец не должен был так неосторожно открыть тайну свою Марине, что это с его стороны очень ветрено и неблаго-разумно, и тому подобные глубокие критические замечания. Жду переводов и суда Немцев, а о Французах не забочусь. Они будут искать в Борисе политических применений к Варшавскому бунту... Любопытно будет видеть отзыв наших Шлегелей, из коих один Катенин знает свое дело. Прочие — попугаи или сороки Инзовские“ ... (Переписка, т. II, стр. 211).

Упрек в подражании „Кромвелю“ Виктора Гюго означал бесповоротно и безнадежно неудачу Пушкина. Трагедия его пролежала пять лет в рукописи — по обстоятельствам, вне его лежавшим; и при самом своем появлении оказалась уже устарелой и ненужной, лишь простым подражанием в глазах той „сволочи“, по выражению Пушкина, которая, по его глубокому убеждению, далеко не доросла до ее понимания.

„Суда Немцев“ Пушкин не дождался, но „отзыв наших Шлегелей“ предугадал верно: лишь немногие, избранные, друзья и единомышленники, отнеслись к трагедии с пониманием и восторгом. Опытный драматург и театральный критик, Катенин, воспитанный в правилах французского классицизма, в печати не выступил, но в письмах своих отзывался о „Годунове“ резко отрицательно. Многочисленные отзывы критики были разноречивы, растеряны, не знали, как отнестись к произведению Пушкина: считать ли его трагедией, или поэмой, подражанием, или самостоятельным творчеством. — Большая часть отнеслась к нему отрицательно, и даже статьи хвалебные (напр., Полевого) видели в нем подражание, всецело зависимое от Карамзина... Уже через год после выхода трагедии, в начале 1832 года, Ив. Киреевский так суммировал отношение к ней публики и критики: „Такого рода трагедия, где главная пружина не страсть, а мысль, по сущности своей не может быть понята большинством нашей публики... Таково состояние нашей литературной образованности. Я говорю это не как упрек публике, но как факт, а более всего как упрек поэту, который не понял своих читателей. Конечно, в Годунове Пушкин выше своей публики; но он был бы еще выше, если бы был общепонятнее. Своевременность столько же достоинство, сколько красота“ („Европеец“ 1832 г., № 1, стр. 113—115).

Н. И.

б) Латинская фраза — „Варшава должна быть разрушена“ — перефразировка известных слов Катона Старшего, который всякую свою речь, чего бы она ни касалась, оканчивал словами о необходимости борьбы с Карфагеном до конца: „Caeterum

senseo Carthaginem delendam esse“. В раннем письме своем к Н. И. Гнедичу от 13 мая 1823 г. Пушкин сделал то же применение этой фразы Катона к необходимости уничтожения цензуры: „Vale, sed delenda est censura“.

XIV.

26-го марта [1831 г. Москва].

Хлопоты и затруднения этого месяца, который у нас не мог бы быть назван медовым, до сих пор мешали мне написать Вам.¹

Мои письма к Вам должны бы состоять исключительно из извинений и благодарностей, но Вы стоите слишком высоко над тем и другим, чтобы я это себе позволил. Однако же, мой брат будет обязан Вам всей своей будущей карьерой; он уехал, проникнутый благодарностью. Каждую минуту я жду решения Б[енкендорфа], чтобы сразу же его уведомить.²

Я надеюсь быть у Ваших ног самое большое через месяц или два. Думаю об этом, как о настоящем празднике.³ Москва — это город ничтожества. На ее заставе написано: Оставьте всякое разумение, о вы, сюда входящие.⁴ Политические новости доходят до нас поздно или искаженными. Около двух недель мы не знаем ничего определенного о Польше и ни у кого нет никакого беспокойства и нетерпения.⁵ Если бы еще мы вели рассеянный образ жизни, безумствовали, веселились, но ничего подобного. Мы жалки, мы печальны и тупо подсчитываем, насколько сократились наши доходы.

Вы говорите мне о де Ламенэ. Я хорошо знаю, что это Боссюэт журналистики, но его листок не доходит до нас. Пускай его пророчит; я не знаю, Ниневия ли для него Париж, но что касается до нас, то уж мы-то — тыквы.⁶

Скарятин⁷ только что сказал мне, что перед отъездом он видел Вас, что Вы были так добры, что вспомнили вновь обо мне и даже хотите послать мне книги. Положительно придется благодарить Вас, хотя бы я и вывел Вас тем из терпения.

Примите уверение в моем почтительном уважении и передайте его графиням Вашим дочерям.

26 марта.

Мой адрес: дом Хитровой на Арбате.

На обороте: Ее Превосходительству Милостивой Государыне Елисавете Михайловне Хитровой. В С.-Петербурге у Симеоновского моста в доме Межуевой.

Письмо на листе почтовой бумаги большого формата с клеймом „А. Г. 1830“, сложено конвертом и запечатано гербовой печатью Пушкиных; бумага проколота для дезинфекции. На обороте — почтовый адрес, штемпель: „Москва 1831. Март 27“, почтовые пометы и помета карандашом, рукою Е. М. Хитрово: „Пушкин“.

1) Свадьба Пушкина и Н. Н. Гончаровой состоялась в Москве 18 февраля 1831 г.

2) О Лье Сергеевиче Пушкине и о хлопотах за него Е. М. Хитрово и поэта перед Бенкендорфом см. выше, стр. 52, в примечаниях к письму VI-му. Решение Бенкендорфа сообщено было Пушкину в письме шефа жандармов от 7 апреля 1831 г. (Переписка, т. II, стр. 233).

3) Действительно, Пушкин покинул Москву в середине мая 1831 г.; приехав в Петербург, он провел здесь, остановившись в гостинице Демута, около недели и затем переехал в Царское Село. См. письмо № XVII.

4) Надписью на Московской заставе Пушкин пародирует заключительный стих надписи на вратах ада в поэме Данта: „Lasciate ogni speranza voi ch'entrate“ — „Оставьте всякую надежду, сюда входящие“ („Inferno“, Canto terzo, v. 9). Этот же стих, и тоже в пародическом применении, Пушкин цитировал в третьей главе „Евгения Онегина“ (строфа XXII).

5) См. ниже, стр. 277, в статье М. Д. Беляева „Польское восстание“.

6) См. ниже, стр. 346—349, в статье Б. В. Томашевского „Французские дела“.

7) Скарятин — Федор Яковлевич (род. 3 апреля 1806), старший из пяти сыновей известного по участию в убийстве Павла I Якова Федоровича Скарятина (ум. 1850), женатого на кн. Наталии Григорьевне Щербатовой и лично знакомого с Пушкиным (который в Дневнике своем неоднократно о нем упоминает, — см. издание под ред. Б. Л. Модзалевского, Лгр. 1923, стр. 7, 8, 9, 10); будучи фанен-юнкером Нарвского драгунского полка, Ф. Я. Скарятин был привлечен к следствию по делу декабристов, но признан был невиновным и, по выдержании под арестом, был освобожден 20 апреля 1826 г. и отправлен в полк, под надзор своего дяди, командира 4 пехотного корпуса князя А. Г. Щербатова, а 23 июня переведен юнкером в Кавалергардский полк и определен в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров („Алфавит декабристов“, под редак-

цией Б. Л. Модзалевского и А. А. Сиверса. Лгр. 1925, стр. 178, 182, 396) и в 1828 г. выпущен корнетом в С.-Петербургский уланский полк (Е. С. Каменский, „История 2-го драгунского С.-Петербургского полка“, т. II, М. 1900, прил., стр. 47). В 1829 г. он уволился в резерв и совершил путешествие на ближний Восток (Ф. П. Фонтон, „Воспоминания“, т. II, Лейпциг. 1862, стр. 143), по возвращении откуда поступил адъютантом к Московскому генерал-губернатору князю Д. В. Голицыну. Из Прибавления к № 67 „С.-Петербургских Ведомостей“ от 20 марта 1831 г. видно (стр. 632), что какой-то отставной штабс-капитан Скарятин выехал из Петербурга в Москву 17 марта 1831 г.

Одаренный недюжинным талантом к живописи, он в 1832 г., вместе с Е. И. Маковским и несколькими другими любителями художеств, основал Московский Художественный класс (из которого впоследствии, в октябре 1843 г., образовалось Училище Живописи, Ваяния и Зодчества) и был душою и одним из Директоров его, вместе с известным М. Ф. Орловым и другими знатоками искусства („Русский Архив“ 1890 г., кн. II, стр. 354, 355; „Каталог Третьяковской галереи“, стр. 46). Скарятин женился 22 мая 1832 г. на Екатерине Петровне Озеровой, но она умерла уже через год, 13 июня 1833 г., от чахотки („Русский Архив“, 1902 г., кн. I, стр. 581, 631; „Остафьевский Архив кн. Вяземских“, т. III, стр. 241, 618), а вскоре и сам он умер — 11 апреля 1835 г. — за границей. В своем Отчете о Художественном Классе за 1834—1835 г. М. Ф. Орлов выразился о Скарятине, что это был „первый и пылкий учредитель нашего Общества, тот, кому мы обязаны нашим существованием и который был и останется навсегда началом всего добра, нами сделанного, всей пользы, от нас ожидаемой“, что он был „артист зрелостью дарования и Поэт силою воображения“ и „умел чертою выражать мысль и воображением одушевлять черты“.

Должно, однако, сказать, что Пушкин, может быть, упоминает в письме своем не Ф. Я. Скарятину, а младшего брата его Григория Яковлевича (род. 1808), поручика Кавалергардского полка, который, выехав из Петербурга „в разные губернии“ 18 марта 1831 г. (Прибавление к № 68 „С.-Петербургских Ведомостей“ от 21 марта 1831 г., стр. 644), вернулся в Петербург из Москвы 2 мая 1831 г. (Прибавление к № 104 „С.-Петербургских Ведомостей“, стр. 988). О Г. Я. Скарятине, убитом в Венгерскую войну 9 июля 1849 г., см. в „Сборнике биографий кавалергардов“, т. IV, стр. 37.

Б. М.

XV.

8-го мая [1831 г. Москва].

Вот „Странник“, которого Вы просили у меня. В этой немного манерной болтовне чувствуется истинный талант. Самое замечательное то, что автору уже 35 лет, а между тем это его первое произведение. Роман Загоскина еще не вышел. Он был вынужден переделать несколько глав, где говорилось о поляках 1812 года.¹ Поляки 1831 года причиняют гораздо более хлопот, и их роман еще не кончен. Здесь передается известие о сражении, яко бы происшедшем около 20 апреля. Это должно быть ложно, — по крайней мере в отношении числа.²

Мое путешествие отложено на несколько дней из за дел, не имеющих ко мне отношения. Надеюсь справиться с ними к концу месяца.

Мой брат ветрогон и лентяй. Вы слишком добры, слишком любезны, принимая в нем участие. Я ему уже написал „дядюшкино“ письмо, в котором намылил ему голову, сам не зная хорошенько, за что. В настоящее время он должен быть в Грузии. Я не знаю, следует ли мне переслать ему Ваше письмо; я предпочел бы сохранить его у себя.³

Без прощания, как и без принятых фраз.

8 мая.

Письмо на листе почтовой бумаги большого формата, без водяных знаков, с неразборчивым овальным тисненным клеймом в верхнем левом углу. Второй полу-лист—чистый. На обороте—помета карандашом, рукою Е. М. Хитрово: „Poushkin“.

Год написания определяется содержанием.

1) „Странник“, роман А. Ф. Вельтмана, и роман М. Н. Загоскина „Рославлев“, о которых идет речь в этом письме, — почти единственные произведения русской художественной литературы, упоминаемые в письмах Пушкина к Е. М. Хитрово, кроме его собственных стихотворений. И это неудивительно: Е. М. Хитрово, по собственному ее признанию плохо писавшая по русски, вряд ли и читала много русских книг. Из них она знала, прежде всего, стихотворные произведения, как знала и самих поэтов; внимательно следила за всем, что писал Пушкин, и стара-

лась о распространении и поддержании его славы; знала Боратынского (ср. упоминания о „Бале“ и о „Наложнице“ в письме к кн. Вяземскому от 21 мая 1831 г.), Козлова, Вяземского, Дельвига, — вероятно, и других поэтов из окружения Пушкина. Но русская проза, еще мало разработанная, насчитывавшая лишь немногих авторов и немногие произведения, не могла ей быть очень знакома. Пушкин сам, в „Отрывке из неизданных записок дамы“, писанном по поводу романа Загоскина и, повидимому, летом 1831 года (о чем придется еще говорить), отмечает и мотивирует, от имени своей рассказчицы, положение русских читательниц: „Вот уже, слава богу, лет тридцать, как бранят нас бедных за то, что мы по-русски не читаем и не умеем (будто бы) изъясняться на Отечественном языке (NB. Автору „Юрия Милославского“ грех повторять пошлые обвинения. Мы все прочли его и, кажется, одной из нас обязан он и переводом своего романа на Французский язык). Дело в том, что мы и рады бы читать по-русски; но словесность наша кажется не старше Ломоносова и чрезвычайно еще ограничена. Она, конечно, представляет нам несколько отличных поэтов, но нельзя же от всех читателей требовать исключительной охоты к стихам. В прозе имеем мы только „Историю Карамзина“; первые два или три романа появились два или три года назад, между тем как во Франции, Англии и Германии книги одна другой замечательнее следуют одна за другой. Мы не видим даже и переводов; а если и видим, то, воля ваша, я все-таки предпочитаю оригиналы. Журналы наши занимательны для наших литераторов. Мы принуждены всё, известия и понятия, черпать из книг иностранных; таким образом и мыслим мы на языке иностранном... В этом признавались мне самые известные наши литераторы. Вечные жалобы наших писателей на пренебрежение, в коем оставляем мы Русские книги, похожи на жалобы Русских торговцев, негодующих на то, что мы шляпки наши покупаем у Сихлера и не довольствуемся произведениями Костромских модисток“... („Современник“ 1836, г., т. III, стр. 199, 200).

„Юрий Милославский“ вышел в конце 1829 года, и Е. М. Хитрово, конечно, его читала; понятен отсюда ее интерес к следующему, ожидавшемуся роману Загоскина. Вельтмановский „Странник“ был новинкой, принадлежал новому автору и представлял явление яркое и замечательное, заставившее говорить о себе еще до выхода отдельным изданием, по отрывкам, помещенным в „Московском Телеграфе“. О других крупных явлениях современной прозы — напр., о романах Булгарина „Петр Ив. Выжигин“ и „Дмитрий Самозванец“ — Пушкин не мог и не хотел говорить со своей корреспонденткой; Марлинский только что появился и был не очень еще заметен; и, таким образом, оба упоминались, хотя единичные — отнюдь не случайны.

Говоря о „Страннике“, что он — первое произведение 35-ти летнего автора, Пушкин был не совсем точен: Александр Фомич Вельтман был годом моложе поэта (род. 1800, ум. 1870), а в литературе выступил в 1828 году с quasi-ученым исследованием об „Истории Бессарабии“; в том же 1831 году он напечатал две „повести в стихах“ — „Муромские леса“ и „Беглец“; но в роли повествователя-прозаика выступал, действительно, впервые в „Страннике“.

Книга эта (первая часть ее вышла весной 1831 года и о ней только идет речь у Пушкина) написана в своеобразной манере: * в виде „путешествия по географической карте“, где путешествие служит автору лишь предлогом для лирических отступлений и для высказываний на всевозможные темы и рамкой для самых причудливых стилистических и композиционных узоров; сюжетом своим автор „играет“, несколько этого не скрывая, иногда забывает его намеренно и обращает повествование в ряд отрывков, ничем, кроме авторской личности и авторских намерений не связанных. Такая форма, хотя и довольно известная по западным и русским образцам, в особенности по романам Стерна, вызвавшим и в России множество подражаний (на что указывали рецензенты книги Вельтмана), вместе с тем была и нова — в силу особенностей дарования, ума и темперамента автора; пленял его неподдельный легкий юмор, с налетом сентиментальности, его умение разворачивать, не утомляя читателей (по крайней мере в первой части книги) неожиданными, откровенно показанные приемы повествования, с переходами от спокойного рассказа к лирике, к разговору с самим собою и с читателем, от прозы к стиху, от серьезного, почти этнографического описания к юмористическим замечкам вроде наводнения в Испании от пролитого на карту стакана воды...

Рамкою, избранною автором для первой части книги, служит поездка по Бессарабии, с подробным описанием отдельных ее мест и, в особенности, Кишинева. Уже это одно должно было привлечь сочувственное внимание Пушкина. Вельтман был его старым Кишиневским знакомым; они много встречались в Кишиневе в 1821—1823 годах, хотя и не были близки (см. „Бессарабские воспоминания А. Ф. Вельтмана и его знакомство с Пушкиным“ в сборнике Л. Н. Майкова „Пушкин“, С-Пб. 1899); мелькающие описания знакомых мест, знакомые имена и лица, образы и нравы Кишиневских жителей — всё это будило в поэте старые воспоминания. Оригинальные приемы повествования Вельтмана, хотя и чуждые духу и приемам Пушкинской прозы, интересовали его, как свежее явление среди скудной пока рус-

* О „Страннике“, его художественной манере и литературном значении см. в статьях Т. Робол „Литература путешествий“ и Б. Бухштаба „Первые романы Вельтмана“ — „Русская проза“, сборник под ред. Б. М. Эйхенбаума и Ю. Н. Тынянова, Лгр. 1926, стр. 66—72 и 194—203.

ской прозаической литературы. По всему этому поэт, всегда сочувственно относившийся ко всему новому и молодому в словесности, не мог не отметить роман Вельтмана и увидал в этой — по его краткому, но чрезвычайно меткому определению, „немного манерной болтовне“ — признаки истинного таланта. Встречаясь с автором в Москве, он обещал ему „непрерывно написать о Страннике“ и не раз подтверждал это свое намерение, хотя и не успел осуществить его (см. у Л. Н. Майкова: „Пушкин“, стр. 131; Переписка Пушкина, т. II, стр. 244).

Журнальные отзывы о романе Вельтмана резко разошлись. Критик „Московского Телеграфа“ превозносил книгу, как одно из самых замечательных литературных явлений современности, свежее, яркое, вполне оригинальное, проникнутое воображением и поэзией, и особенно высоко ставил драматическую поэму „Искандер“, вставленную в роман.— „Телескоп“ отнесся к нему сдержанно-отрицательно, отмечая многочисленные его недочеты и неудачные приемы. А „Литературная Газета“ напечатала (в № 30, от 26 мая, вышедшем в момент переезда Пушкина из Петербурга в Царское Село) совершенно уничтожающую рецензию: в ней указывалось на несамостоятельность Вельтмана, на его подражание Стерну и другим авторам, надуманность и натяжки его шуток и каламбуров, посредственность и ненужность вставных стихов, пустоту всего замысла. Попутно „Газета“ полемизировала и с „Московским Телеграфом“, упрекая его в дружеском пристрастии, в невежественности и в непонимании стихосложения — и, таким образом, через голову Вельтмана сводились счеты со старым противником — Полевым. Рецензия вызвала недовольство Пушкина, который 1 июня, уже из Царского Села, писал в Москву П. В. Нащокину — для передачи самому автору „Странника“: „Я сейчас увидел в Литер. Газ. разбор Вельтмана очень неблагоприятный и несправедливый. Чтоб не подумал он, что я тут как нибудь вмешался. Дело в том, что и я виноват: поленился исполнить обещанное, не написал сам разбора, но и некогда было“... (Переписка, т. II, стр. 244).

Роман М. Н. Загоскина — „Рославлев“ — вышел через месяц после письма Пушкина к Хитрово: в начале июня 1831 года. После громадного, безусловного успеха „Юрия Милославского“, встреченного с восторгом, как первый русский исторический и истинно-народный роман, и вызвавшего очень сочувственную рецензию Пушкина в „Литературной Газете“, — в литературных и светских кругах с нетерпением ждали второго романа Загоскина, посвященного другой великой эпохе Русской истории — войне 1812 года, — эпохе близкой, всем известной и почти всем лично-памятной. Е. М. Хитрово роман должен был интересоваться особо, как изображение событий, прославивших ее отца, фельдмаршала Кутузова-Смоленского. Кроме того, и совре-

менные события — Польское восстание, корни которого были заложены, отчасти, в эпоху Наполеоновских войн, — должны были вызывать к роману особый интерес. Биограф Загоскина, С. Т. Аксаков, сохранил данные о том, насколько ожидался роман, „слух о котором прошел по всей России“, и насколько уверены были в его успехе, — данные книгопродавческие, коммерческого и читательского характера, т. е. наиболее объективные и убедительные: 4800 экземпляров романа были оплачены еще до его выхода в свет издателем, типографщиком Степановым, с помощью Московских книгопродавцев заплатившим автору огромную по тому времени сумму в 40.000 руб. (Сочинения С. Т. Аксакова, т. III, С-Пб. 1886, стр. 277—279).

Естественно, что Пушкин, живя в Москве и встречаясь с Загоскиным, должен был много слышать о „Рославле“ и о ходе работ автора над ним. Об этой то авторской работе он и сообщает Е. М. Хитрово. Однако же, слухи о „переплавке“ глав, где речь идет о „поляках 1812 года“, были, видимо, неточны, или касались неизвестных для нас перипетий цензурной истории романа. В романе, каким он был напечатан, о поляках говорится лишь в двух главах (часть III, глава VI, и часть IV, глава V): в одной изображается польский генерал из свиты Наполеона, в момент переезда императора из Кремля через горящую Москву в Петровский замок; этот поляк — лицо бледное и эпизодическое, не характеризующее отношения автора к полякам вообще. В другой — рассказ офицера о приключениях при переезде через Польшу, когда он догонял свой полк зимою 1813 г. Он попадает сначала к одному поляку-помещику, который, вместо гостеприимства, издевается над ним и коварно его обманывает и дразнит, потом к другому, где, после комического недоразумения, вполне традиционного в литературе (мнимый разбойничий притон, подслушанный разговор якобы о плане убийства путешественника, на самом деле оказывающийся разговором об убитом медведе), — находит самое радушное гостеприимство. Впечатление от двух последних эпизодов получается двойственное, но, во всяком случае, оба они имеют в романе побочное значение. Поляки не интересовали Загоскина — интересовался же ими Пушкин, всецело поглощенный событиями на берегах Вислы.

Несмотря на большие ожидания, роман не имел успеха ни в журналистике, ни в публике, и вызвал скорее разочарование в таланте Загоскина. В Петербурге его даже разошлось немного — впрочем, вероятно, из-за холеры, затруднявшей пересылку книг. Во всяком случае, успех в читательской массе был больше, чем успех у журналистов и в кругу избранных, в глазах которых, помимо литературных недостатков романа, вредила ему и одновременность выхода с одинаковым по теме романом Булгарина „Петр Иванович Выжигин“: в журналах оба они сопо-

ставлялись, и такое сближение было невыгодно для Загоскина тем, что его роман рассматривался не изолированно, а как явление определенного жанра, уже распространенного и начинающего падать, не успев развернуться. Наиболее благосклонный отзыв дала „Литературная Газета“ (№ 36, 25 июня 1831 г.), но отзыв бледный и сдержанный: рецензент — О. М. Сомов — определял задание романа, как изображение настроения разных слоев народа в 1812 году, и признавал задание выполненным. Большие статьи посвятил ему „Московский Телеграф“ (1831 г., № 8, стр. 534—545) и особенно „Телескоп“ (1831 г., т. III, стр. 353—373). В них вопрос об историческом романе был поставлен во всю ширину, и роман Загоскина оказался неудовлетворяющим требованиям этого жанра: народная психология не схвачена, народ — настоящий герой исторического романа — отсутствует, интрига и история не связаны, почему нарушается единство романа, положения фальшивы, совпадения и случайности неправдоподобны и выдуманы, рассказ вял и скучен, фабула кончается во втором томе и остальные два излишни, так как развязка угадывается сама собой... Пушкин, получив книгу от самого Загоскина через посредство О. М. Сомова около 20 июня, когда жил в Царском Селе (см. письмо Сомова Загоскину, от 15 июня 1831 г., — „Русская Старина“ 1902 г., сентябрь, стр. 620), тотчас же прочитал роман и, не высказываясь сначала по существу, 3 июля спрашивал П. А. Вяземского: „Очень желаю знать, каким образом ты бранишь его“ [т. е. Рославлева], уверенный, что его друг будет недоволен романом (Переписка, т. II, стр. 267), — и не ошибся, как видно по отзыву Вяземского, купившего право „по совести бранить“ роман „потом лица и скукою внимания“ (там же, стр. 311) и считавшего, что „в Рославлеве нет истины ни в одной мысли, ни в одном чувстве, ни в одном положении“, с чем Пушкин и согласился, говоря, однако, что к отзыву Вяземского можно бы „прибавить еще три строчки: что положения, хотя и натянутые, занимательны; что разговоры, хотя и ложные, живы, и что всё можно прочесть с удовольствием“: он, как видно, не отнесся к роману серьезно, и ему было „смешно читать рецензии наших журналов: кто начинает с Гомера, кто с Мойсея, а кто с Вальтер Скотта“ (намека на статьи „Московского Телеграфа“ и „Телескопа“; там же, стр. 318).

Пушкин не отозвался на „Рославлева“ никакой журнальной статьей — зато начал писать ответ на него в повествовательной форме, часть которого напечатал в „Современнике“ 1836 г., как „Отрывок из неизданных записок дамы (с французского)“, и который позднее печатался под названием „Рославлев“. Отрывок этот писан летом 1831 года, под свежим впечатлением прочитанного романа; первый набросок его помечен датой, которую В. Е. Якушкин читает, неопределенно, как 22 июня или июля 1831 г. („Русская Старина“ 1884 г., ноябрь, стр. 370; б. Румянц.

Музей, тетр. № 2382, лист 57₂); позднейшие комментаторы принимают „июнь“; не видав рукописи, не можем сказать утвердительно, но из сопоставлений писем Сомова к Загоскину и Пушкина к Вяземскому, приведенных выше, нужно скорее предположить „22 июля“ — ближе к концу лета и к концу кампании в Польше, что имеет свое значение. Литературная сторона „Рославлева“ не представляла для Пушкина первенствующего интереса. Тенденциозное и неверное изображение Полины, данное у Загоскина, и желание исправить эту несправедливость — объясняет побуждения самой рассказчицы отрывка, но никак не автора. В этом отношении указание Нащокина, данное им Бартеневу со слов самого Пушкина, явно-недостаточно, так как не разрешает вопроса во всем его объеме.* Нет сомнения, что не только образ Полины занимал Пушкина, но и более общего значения психологические и общественно-идеологические элементы романа сильно его волновали и требовали ответа. Рассказ оборван, в сущности, на пороге центральной части; сохранившийся набросок плана обнимает лишь начало его; нет возможности судить о дальнейшем ходе повествования и о композиции целого; но некоторые наблюдения можно сделать. Давая свое, „согласное истине“ изложение происшествия, якобы легшего в основу романа Загоскина, Пушкин вовсе не следовал его построению, в корне изменив ситуации действующих лиц, фоны, аксессуары и детали сюжета. Выпал из романа главный герой — сам Рославлев, патриот и соперник пленного француза, — ибо выведенный у Пушкина брат рассказчицы, жених Полины, наделен чертами не Загоскинского Рославлева, но скорее его друга — Зарецкого. Осталось одно основное положение: пленный французский офицер в усадьбе героини романа, да две женские фигуры в центре повествования. Можно думать также, что известие о смерти жениха Полины при Бородине должно было оказаться ложным, и мотив соперничества мог позднее выступить. Все эти перемещения позволили Пушкину выделить на первый план вместо личной интриги и анекдотических деталей — общественно-идеологическую сторону романа, как изображения исторической эпохи. Пушкин выдвинул два момента: 1) изображение русского — точнее Московского — общества перед войною с Наполеоном и 2) восприятие войны и отношения ко врагу у разных представителей этого общества и у народа в целом, в связи с общей проблемой о сущности патриотизма. В том и в другом случае он с одной стороны отвечал Загоскину, противопоставляя его роману — свое понимание вопроса и свои приемы изображения, с другой же стороны — отзывался

* „Рославлев, как говорил сам Пушкин, был написан для того, что Пушкину не нравился характер Полины в романе Загоскина: она казалась ему слишком оплодненной; ему хотелось представить, как он изобразил бы ее“... („Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартеневым“, под редакцией М. А. Цявловского, М. 1925, стр. 39).

на современные ему события и на те явления, каких сам был свидетелем.

Несмотря на то, что общественный круг, изображенный Пушкиным гораздо уже, чем круг Загоскина (Пушкин берет лишь Московское барство, лишь среду „Грибоедовской Москвы“, тогда как у Загоскина являются представители всех классов, от Петербургских аристократов до ямщиков и крестьян), общественный тон в отрывке Пушкина слышен гораздо сильнее, чем в „Рославле“. Действующие лица романа Загоскина представляют собою, в сущности, ходячие олицетворения „типов“, унаследованных романом от драматических канонов XVIII века: безусловные патриоты и националисты (князь Радугин), непримиримые ненавистники врагов родины (молчаливый офицер), добрые и рассудительные помещики-Стародумы (Ижорский), здравомыслящие, патриотические русские мужички — с одной стороны; легкомысленные, хвастливые, пустые французы и их русские поклонники — с другой. Между ними — герои, благородные, но безличные и бледные, как сам Рославлев, или неопределенные и в сознании самого автора колеблющиеся, как Полина.

Пушкин употребил иной прием: при однородности среды, выведенной в отрывке и составляющей его фон и его основу, он дал в ней ряд разнородных оттенков и настроений, не в виде застывших формул, но в движении и в переходах, от тупого равнодушия к общественным вопросам, от легкомысленного поклонения всему французскому и презрения к „своему“ — через поверхностную вражду к французам в начале войны к „восторгу патриотизма“, пробужденного грозной опасностью. „Дама“, от имени которой ведется рассказ, служит лишь свидетельницей и передатчицей этих настроений — а истолковательницей их и идеологическим центром повести является Полина. Изображая ее, Пушкин мало заботился об исторической правде — но вложил в нее, в ее речи и мысли много своего, личного, продуманного и пережитого за время Польского восстания. При сопоставлении повествовательного отрывка („Рославлева“) с письмами его — особенно с письмами к Е. М. Хитрово — эпохи восстания, становятся ясными и связь повести с современностью, и тот актуальный материал, на котором Пушкин строил свое повествование и образ своей героини. То же самое можно сказать и об изображении Московского общества начала Отечественной войны — изображении, в своей сатирической заостренности совпадающем с отзывами о Москве и москвичах 1830—1831 года. Роман Загоскина, вызывая невольно и настойчиво сближения и сопоставления Наполеоновского нашествия с положением России в 1831 году, послужил Пушкину предлогом и материалом для отталкивания — идеологического и литературного. В ответ на него он начал свой роман, своего „Рославлева“; но этот Пушкинский „Рославлев“ был не только литературным

произведением: он был и политическим трактатом, и образным выражением определенной идеологии, и, в известной мере, общественной сатирой. И если остановиться на таком толковании, то станет понятным, почему не закончил его поэт: бурные дни восстания миновали, волнения утихли — время для политических трактатов прошло. Но для исторического романа срок не наступил — и Пушкин, чувствуя это, не кончил своего наброска, не печатал его много лет — и никогда не печатал всего целиком.

Н. И.

2) См. в статье М. Д. Беляева „Польское восстание“, стр. 277—279.

3) Письмо Е. М. Хитрово к А. С. Пушкину до нас не дошло. „Дядюшкино письмо“ (une lettre d'oncle) брата-поэта к нему же, о котором говорит Пушкин — от 6 апреля 1831 г. (Переписка, т. II, стр. 232—233). Ср. выше, в примечаниях к письмам VI и XIV.

XVI.

[Вторая половина мая 1831 г. Петербург].

Вот Ваши книги, умоляю Вас прислать мне второй том *Rouge et noir*.¹ Я от него в восторге. *Plock et Plick*² жалок, это куча противоестественной чепухи, пошлостей, лишенных даже оригинальности. Свободна ли уже *Notre Dame*?³ До свиданья.

А. Пушкин.

На обороте: Госпоже Хитровой.

Письмо на листе почтовой бумаги большого формата, с водяным знаком „А. Г. 1830“, сложено конвертом. На обороте адрес, показывающий, что оно послано было с нарочным.

Датировка письма представляет некоторые затруднения. По содержанию его видно, что оно написано в Петербурге, а не послано из другого города — Царского Села или, тем более, Москвы. В Петербург же Пушкин приехал из Москвы, со своею женою, около 18 мая 1831 года,* прожил там неделю

* 17 мая Пушкины еще не приезжали — см. в письмах О. С. Павлищевой к Н. И. Павлищеву („Пушкин и его современники“, вып. XV, стр. 64). В числе же приехавших в „столичный город С.-Петербург“ 18 мая („С.-Петербургские Ведомости“ 1831 г., № 117, прибавление, стр. 1136) значится некий „из Москвы, отставной 7-го класса Пушкин“, — который, очень вероятно, является именно А. С. Пушкиным: поэт, как известно, был „отставной 10-го класса“, а такая неточность полицейского сообщения вполне допустима. См. в статье Ф. А. Витберга: „К вопросу о времени знакомства Гоголя с Пушкиным и А. О. Россет“ („Русская Старина“ 1895 г., июнь, стр. 612—613). Все эти данные, однако, недостаточно определены.

и около 25 мая переехал в Царское Село. Из Царского Села в Петербург Пушкины переселились в половине октября 1831 г. (число неизвестно), а 3 декабря поэт выехал в Москву, где пребыл до 22 декабря. К какому из этих периодов отнести письма Пушкина — это и тесно связанное с ним по содержанию письмо XVIII-е? Оба они говорят о трех французских романах, литературных новинках зимы 1830—1831 года: „Le Rouge et le Noir“ вышел в свет в ноябре (между 6-м и 13-м) 1830 г., „Plik et Plok“ — между 15 и 29 января 1831, „Notre-Dame“ — 15 марта 1831 года (см. ниже, в статье Б. В. Томашевского). Все они к маю должны были быть в Петербурге, и, следовательно, уже в мае, в краткое прибытие там, мог их читать Пушкин. На большую спешку, на стесненность во времени указывает настойчивый тон обоих писем: Пушкин спешит получать и отдавать книги; психологически естественно, что он хотел знакомиться с новинками именно в майский приезд, не дожидаясь осени или okazji в Царское Село. Наиболее же веским аргументом в пользу датировки *маем* является письмо Е. М. Хитрово к кн. П. А. Вяземскому от 21 мая 1831 года, где она, помянув о том, что „была очень счастлива свидеться с нашим общим другом“, т. е. с Пушкиным, пишет далее: „Нет, я не могу восхищаться „Наложницею“ [Боратынского] и я в том покаюсь Пушкину. Впрочем, я прочла ее в два часа утра и с головой, наполненной Эсмеральдой — милейшей, прелестнейшей и очаровательнейшей из всех цыганок — этим созданием Виктора Гюго и украшением Notre-Dame de Paris“... (Сочинения кн. П. П. Вяземского, С-Пб.: 1893, стр. 531; „Русский Архив“ 1884 г., т. II, стр. 418). Именно экземпляра, принадлежавшего Е. М. Хитрово, ждал Пушкин, желая поскорее прочесть „Notre-Dame“. А если Е. М. Хитрово прочла роман к 21 мая (или несколько раньше), то в эти дни читал его и Пушкин, торопясь окончить чтение перед отъездом в Царское Село. Всё это заставляет отнести настоящее письмо ко второй половине мая 1831 года.

1) О романе Стендаля „Le Rouge et le Noir“ („Красное и Черное“) см. в статье Б. В. Томашевского „Французская литература“, стр. 217—220.

2) О романе Евгения Сю „Plik et Plok“ („Плик и Плок“) см. там же, стр. 221—222.

3) О романе Виктора Гюго „Notre-Dame de Paris“ („Собор Парижской Богоматери“) см. там же, стр. 222—223.

XVII.

[Около 25-го мая 1831 г. Петербург].

Сейчас я уезжаю в Царское Село, с искренним сожалением, что не могу провести вечер у Вас. Что касается самолюбия Сюлливана,¹ то будь, что будет. Вы, обладающая таким умом, скажите ему что-нибудь, что могло бы его успокоить. Всего лучшего, а главное — до свиданья.

Приписка Натальи Николаевны Пушкиной.

Я в отчаянии, что не могу воспользоваться Вашим любезным приглашением, — мой муж увозит меня в Царское Село. Прямите выражение моего сожаления и совершенного уважения.

Наталья Пушкина.²

На обороте рукою Пушкина: Госпоже Хитровой.

Письмо на листе почтовой бумаги малого формата, с частью клейма в виде растительного орнамента, золотообрезной и окаймленной тиснением — вероятно, это бумага Н. Н. Пушкиной; сложено конвертом, на обороте адрес — для передачи с нарочным.

Датировка письма приблизительная и основана на том, что Пушкины около 25 мая переехали из Петербурга в Царское Село, а письмо написано в самый день их отъезда. Дата же „25 мая“ извлекается из письма Пушкина к Нащокину, от 1 июня, где он пишет: „Вот уже неделя, как я в Царском Селе“ (Переписка, т. II, стр. 243), — что не может быть признано совершенно точным, хотя дата и принимается Я. К. Гротом (Хронологическая канва для биографии Пушкина, „Труды Я. К. Грота“ т. III, стр. 207) и Н. О. Лернером („Труды и дни Пушкина“, 1910, стр. 241), как достоверная.

1) Сюлливан — секретарь Нидерландского Посольства в Петербурге O'Sullivan de Grass, значащийся в этой должности при чрезвычайном посланнике и полномочном министре бароне Геккерене в „Готском Альманахе“ на 1831 и 1832 гг. („Gothaischer genealogischer Hof-Kalender auf das Jahr 1831“, р. 248, и 1832, р. 246); в Альманахе на 1828 г. его еще нет, а в Альманахе на 1836 г. при посланнике Геккерене секретарем посольства значится уже J. C. Gevers. О'Сюлливан был в числе участников того маскарада у вел. княгини Елены Павловны, 4 января 1830 г.,

на котором графиня Е. Ф. Тизенгаузен произнесла стихотворение „Циклоп“, сочиненное для нее Пушкиным (см. выше, примечание к письму IV). В изданной по поводу маскарада брошюре „Vers chantés et récités“ (St. Pétersbourg. 1830) находится на стр. 6-й и шутовское стихотворение за подписью Сюлливана, произнесенное, вероятно, им самим в женском костюме:

La chevelure de Bérénice.

Vous voyez devant vous la triste Bérénice,
Qui jadis, à sa gloire, offrit en sacrifice
Ce Titus, dont à Rome on chanta les vertus.
C'était très-beau! mais moi, depuis cette injustice,
Je ne me suis jamais coiffée à la Titus.

Par M. O'Sullivan de Grasse.

Б. В. Томашевский, просматривая „Moniteur Universel“ за 1830 г., в № от 11 октября нашел корреспонденцию из Антверпена, от 5 октября, в которой сообщалось, по поводу известий с театра войны между Голландиею и Бельгиею, что кронпринц Вильгельм Оранский (зять Николая I), главнокомандующий Голландскою армиею, прибыл туда и манифестом от 4 числа назначил, для сопровождения своего сына (племянника Николая I) Вильгельма в Антверпен, пятерых государственных советников (Conseillers d'état), — в том числе O'Sullivan de Grasse; то-же ли это лицо, что и вышеуказанный секретарь Нидерландского Посольства в Петербурге, сказать не можем.

Б. М.

2) В тот же день, 25 мая 1831 г., дочь Е. М. Хитрово, графиня Д. Ф. Фикельмон, писала в Москву кн. П. А. Вяземскому следующие пророческие строки, обнаруживающие большую ее наблюдательность и ум: „Пушкин к нам приехал, к нашей большой радости. Я нахожу, что он в этот раз еще любезнее. Мне кажется, что я в уме его отмечаю серьезный оттенок, который ему и подходящ. Жена его — прекрасное создание; но это меланхолическое и тихое выражение похоже на предчувствие несчастья. Физиономии мужа и жены не предсказывают ни спокойствия, ни тихой радости в будущем: у Пушкина видны все порывы страстей, у жены — вся меланхолия отречения от себя. Впрочем, я видела эту красивую женщину всего только один раз“ (Сборник П. И. Бартенева: „Пушкин“, вып. II, М. 1885, стр. 50).

XVIII.

Вторник [Конец мая или начало июня 1831 г. Петербург].

Мне крайне досадно, что я не могу провести вечер у Вас. Одно очень скучное обстоятельство, то есть обязанность, заставляет меня итти зевать, сам не знаю куда.

Вот книги, которые Вы были добры мне одолжить. Ваше восхищение Notre Dame вполне понятно. Во всем этом вымысле много изящества. Но, но... я не смею сказать всего, что об нем думаю. Во всяком случае, падение священника великолепно со всех точек зрения; от него просто кружится голова. Rouge et noir хороший роман, несмотря на фальшивую риторику, встречающуюся в некоторых местах, и на несколько замечаний дурного вкуса.¹

Вторник.

На обороте: Госпоже Хитровой.

Письмо на листе почтовой бумаги большого формата, с клеймом: „А. Г. 1830“, сложено конвертом и запечатано гербовой печатью Пушкиных. На обороте — адрес, для передачи письма с нарочным.

Письмо по содержанию тесно связано с письмом XVI-м и написано через несколько дней после него, т. е. не ранее конца мая 1831 года. Письмо помечено „вторник“; вторник же в 1831 году приходился на 19 и 26 мая, 2 и 9 июня. Эти числа затрудняют датировку: 19 мая Пушкин еще только что приехал, не только не читал „Notre Dame“, но не мог бы послать и письма такого содержания, как XVI-е; 26 мая он был в Царском Селе, по имеющимся сведениям — только что переехав туда. Если даже предположить, что дата переезда „25 мая“ не верна, что настоящее письмо написано 26-го — пришлось бы предыдущее, XVII-е письмо отнестись, по крайней мере, к 27-му мая, что мало-вероятно. Остается думать, что письмо написано в один из кратких приездов Пушкина из Царского Села в Петербург, в начале июня. О таком приезде можно заключить из того, что Пушкин, между 1 и 11 июня, виделся в Петербурге с только что приехавшим из-за границы А. И. Тургеневым (см. ниже, в примечаниях к письму XX). На поездку в Петербург в эти дни указывают и „Воспоминания“ Павлищева (М. 1890, стр. 243, 245), но их данные не соответствуют подлинному

содержанию писем О. С. Павлищевой, на которых „Воспоминания“ основываются (ср. „Пушкин и его современники“, вып. XV, стр. 66 и сл.). Вопрос о дате нашего письма, таким образом, остается неопределенным, но наиболее вероятно дата — 9 июня, так как в этот день Пушкин мог видеть Тургенева скорее, чем 2-го — в самый день или на другой день приезда последнего. Во всяком случае, оба письма, и XVI-е, и XVIII-е, относятся ко времени до того, как в Петербурге появилась холера и установленные карантинные прервали сношения между Царским Селом и столицей, т. е. до конца июня 1831 года. Необходимо отметить еще, что Л. Н. Павлищев, в своих „Воспоминаниях об А. С. Пушкине“, приводит письмо О. С. Павлищевой к мужу, от середины августа 1831 г., в котором сестра поэта пишет: „Сегодня Александр подарил мне вышедший недавно роман В. Гюго „Notre Dame de Paris“... и т. д. (стр. 257). Это сообщение, занесенное и Н. О. Лернером в „Труды и дни“ под 19-м августа (стр. 249), могло бы заставить изменить датировку нашего письма, отодвинув его на более поздний срок, — но в подлинном письме О. С. Павлищевой („Пушкин и его современники“, вып. XV, стр. 85—86) ни о каком подарке Пушкиным романа В. Гюго не говорится. — Выдержка из настоящего письма Пушкина к Е. М. Хитрово приведена в статье Н. К. Козмина: „Пушкин и В. Гюго об А. Шенье“ (сборник „Язык и Литература“, т. I, Лгр. 1926, стр. 352).

1) О романах „Notre-Dame“ и „Le Rouge et le Noir“ см. ниже, в статье Б. В. Томашевского.

XIX.

[Середина июня 1831 г. Царское Село].

Свистунов ¹ мне сказал, что увидит Вас сегодня вечером. Пользуюсь случаем, чтобы попросить Вас об одной милости. Я предпринял исследование о Французской революции и умоляю Вас прислать мне Тьера и Минье, если возможно. Оба эти труда запрещены. У меня здесь имеются лишь „Мемуары, относящиеся к революции“.²

На этих днях я рассчитываю на несколько часов приехать в Петербург. Я воспользуюсь этим, чтобы явиться на Черную речку.

На обороте: Госпоже Хитровой.

Письмо на листе почтовой бумаги большого формата, с клеймом „А. Г. 1829“, сложено конвертом и запечатано гербовой печатью Пушкиных. На обороте — адрес, для личной передачи (через Свистунова — см. ниже).

Датируется приблизительно, по связи содержания со следующим, XX-м письмом, относящимся к 19 или 20 июня 1831 г. Указание Л. Н. Павлищева („Воспоминания об А. С. Пушкине“, М. 1890, стр. 251—252), что Пушкин приезжал в Петербург 17 июня, могло бы служить для уточнения даты, так как Пушкин пишет, что „на этих днях рассчитывает на несколько часов приехать в Петербург“; но указание это опровергается подлинниками писем, которыми пользовался Павлищев и которые рваны в Пушкинском Доме (ср. „Пушкин и его современники“, вып. XV, стр. 69 и сл.).

1) Свистунов — Алексей Николаевич (род. 1808, ум. 8 апреля 1872 г.), поручик л.-гв. Конного полка, старший товарищ племянника Е. М. Хитрово — К. Ф. Опочинина, также конно-гвардейца (см. ниже, стр. 133). Младший брат кавалергарда-декабриста П. Н. Свистунова, в 1826 г. осужденного на 20-летнюю каторжную работу и с марта 1827 г. находившегося в Чите, а с сентября 1830 г. — в Петровском Заводе, он получил образование в Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, из которой был выпущен в Конный полк корнетом 25 марта 1828 г.* Прослужив в полку до 25 января 1835 г., он вышел в отставку с чином штабс-ротмистра („Полный список шефов, полковых командиров и офицеров л.-гв. Конного полка“, С.-Пб. 1886, стр. 306); вскоре затем, находясь за границей, он женился на известной красавице (Вяземский называет ее „Резедой“), фрейлине графине Надежде Львовне Соллогуб (ум. 13 января 1903), родной племяннице Лицейского товарища Пушкина — князя А. М. Горчакова, впоследствии канцлера. Пушкин довольно открыто за нею ухаживал в 1834—1835 гг. (см. „Дневник Пушкина“, Московское издание, 1923 г., стр. 363—364). Свадьба Свистунова состоялась в Штутгарте 9 октября 1836 г. („Сборник старинных бумаг П. И. Щукина“, ч. VIII, стр. 347; „Остафьевский Архив кн. Вяземских“, т. III, стр. 348 и др.; „Архив братьев Тургеневых“, т. VI, по указ.). Вернувшись в Россию, А. Н. Свистунов определился на службу в ведомство Министерства Финансов, будучи причислен к Особой Канцелярии по кредитной части („Месяцеслов на 1838 г.“, ч. I, стр. 693), 31 декабря 1838 г. пожалован в камер-юнкеры („С.-Петербургские Ведомости“ 1839 г., № 15), затем был камергером и в 1840-х гг. служил в Провиантском Департаменте Военного Министерства, а в 1850 г., при содействии дяди жены,

* По Школе он был товарищем по выпуску Ф. Я. Скарятина (см. выше, стр. 102—103).

князя А. М. Горчакова, перешел в ведомство Министерства Иностранных Дел, занимал здесь должности члена Совета Министерства и Директора Департамента личного состава и, дослужившись до чина действительного тайного советника, умер 8 апреля 1872 г.

Б. М.

2) См. ниже, в статье Б. В. Томашевского „Французская литература“, стр. 253—256.

XX.

[19-го или 20-го июня 1831 г. Царское Село].

Благодарю Вас за Революцию Минье. Я получил ее через Новосильцова.¹ Правда-ли, что Тургенев нас покидает и притом так внезапно?²

Итак, у вас холера, но, впрочем, не беспокойтесь.³ Это все та же история, что и с чумой: порядочные люди никогда от нее не умирают, как говорила маленькая гречанка.⁴ Надо надеяться, что эпидемия не будет слишком сильна, даже и среди простого народа. В Петербурге много воздуха и к тому же море...

Я исполнил Ваше поручение, т. е. я не исполнил его, так как что за мысль пришла Вам — заставить меня переводить русские стихи французской прозой, меня, который не знает даже правописания? Кроме того, стихи посредственны.⁵ Я написал на ту же тему другие, стоящие немногим больше, и которые я Вам пришлю при первой возможности. —

Будьте здоровы, — в настоящий момент это то, что я больше всего спешу Вам пожелать.

На обороте: Ее Превосходительству Милостивой Государыне Лизавете Михайловне Хитровой в доме Австрийского посланника. *Другой рукой:* В С.-Петербург.

Письмо на листе почтовой бумаги большого формата, без знаков, сложено конвертом и запечатано гербовою печатью Пушкиных. На обороте — почтовый адрес, штемпель: „Софія или Царское Село. 20 июня 1831 г.“, почтовые пометы и приписки.

Письмо датируется на основании числа почтового штемпеля, как написанное в день отправления или накануне. Кроме того,

для соображений о датировке может служить то, что П. П. Новосильцов привез Пушкину книгу Минье, повидимому, 18-го июня (см. ниже).

1) Новосильцов — Петр Петрович (род. 9 декабря 1797, ум. в Москве 27 сентября 1869), офицер л.-гв. Кирасирского (с 1820) и Кавалергардского (с 1823 г.) полков, адъютант (1821—1838) Московского генерал-губернатора кн. Д. В. Голицына (как и упоминавшийся выше Ф. Я. Скарятин). Из Прибавления к № 144 „С.-Петербургских Ведомостей“ от 21 июня 1831 г. (стр. 1372) видно, что адъютант генерала-от-кавалерии князя Голицына, Кавалергардского полка штабс-ротмистр Новосильцов выехал из Петербурга в Москву 18 июня; по дороге туда он, вероятно, проезжая через Царское Село, и заезжал к Пушкину. — Впоследствии П. П. Новосильцов был, в 1838—1851 гг., Московским вице-губернатором и камергером (с марта 1842 г.), в 1851—1858 гг. Рязанским гражданским губернатором и, наконец, до 1866 г. состоял при Министерстве Внутренних Дел. В молодости он был масоном („Русская Старина“ 1907 г., № 9, стр. 643), но подозревался едва ли не в шпионстве. Хорошо знавший Новосильцова гр. М. Д. Бутурлин рисует его, как человека светски-образованного, деликатного, добродушного, но без твердых убеждений и крайне легкомысленного, который никому не делал зла, но имел много врагов. Москвичи, судя по отзывам того же Бутурлина, а также А. С. Хомякова и К. Н. Лебедева, не любили Новосильцова и дали ему прозвище *Casse-noisette* за безобразное лицо, с сильно выдающимся подбородком, на подобие орангутанга. Хотя он сам не занимался литературою, но, говоря словами Гоголя, „был знаком всем нашим литераторам и вращался в их кругу“ („Остафьевский Архив кн. Вяземских“, т. III, стр. 104 и 467—468), был в дружеских отношениях с Погодиным, восхищался Карамзиным, с которым лично познакомился в 1825 г.; гр. В. А. Соллогуб написал к нему стихи („Москвитянин“ 1844 г., ч. V); Московский А. Я. Булгаков находил удовольствие в беседе с ним и любил его, — между прочим за любовь его к Петербургскому К. Я. Булгакову („Русский Архив“ 1902 г., кн. I, стр. 70); в мае 1833 г., сообщая брату, что Новосильцов „идет в отставку и собирается к вам скоро“, А. Я. Булгаков писал по этому поводу: „Князь [Д. В. Голицын] лишится умного, расторопного и делового адъютанта. Этого всюду можно употребить. Жаль, что не так идет его служба, как бы следовало. У него есть что-то резкого и самохвального в обхождении, и это вооружило против него всех тех, которые не коротко его знают“ (там же, кн. I, стр. 530). Подробнее о П. П. Новосильцове см. статью А. А. Голомбиевского в „Сборнике биографий кавалергардов“, под ред. С. А. Панчулидзева, т. III, стр. 387—390.

Б. М.

3) Александр Иванович Тургенев (род. 27 марта 1784, ум. 3 декабря 1845), памятный в биографии Пушкина, между прочим, тем, что привез его в Лицей в 1811 г., а в 1837 г. проводил до места вечного упокоения в Святогорский монастырь, — приехал в Петербург, после нескольких лет пребывания за границею, 1 или 2 июня 1831 г., о чем К. Я. Булгаков извещал своего брата 2 числа: „Александр Тургенев приехал с пароходом и сейчас был у меня“. На следующий день он же писал: „Приехал Тургенев, с коим много болтали; накормил я его ряпушкой и завез в Демутов трактир, где он остановился. Собирается в Москву, а попадет может быть в Неаполь“ („Русский Архив“ 1903 г., кн. III, стр. 558); через две недели, 18 июня, снова подшучивая над свойственною Тургеневу непоседливостью и торопливостью, Булгаков сообщал брату: „Я тебе говорил, что Тургенев к вам едет, а может очутиться в Италии; хоть не в Италию, но он отправляется на пароходе в Любек. Теперь скорее поверю, что будет у вас, хотя записался на пароходе“ (там же, стр. 560); наконец, на другой день, 19 июня: „Тургенев не решился ехать в Любек. Его испугал карантин. Теперь хочет ехать к вам, но также не знает, как проехать“ (там же, стр. 561), — ибо в это время в Петербурге появилась и начала быстро развиваться страшная холера, — первая тогда в столице; она вырывала много жертв во всех классах населения, и повсюду были устроены поэтому заставы и очистительные карантинны, — такие же, какие, в конце предыдущего года, доставили так много огорчений и волнений Пушкину во время его пребывания в Болдине и попытки выехать в Москву.

Пушкин повидался со своим верным старшим другом, после многолетней разлуки, вскоре же после его приезда в Петербург и 11 июня так сообщал Вяземскому о своем впечатлении от свидания: „Видел я Тургенева и нашел в нем мало перемен: кой где седина, впрочем та же живость, по крайней мере при первом свидании. Жду его в Сарское село. Он едет к тебе, если карантин его не удержит. Постарайся порастрепать его porte-feuille, полный Европейскими сокровищами. Это нам пригодится“; а после отъезда Тургенева из Петербурга писал тому же Вяземскому (3 июля): „По газетам видел я, что Тургенев к тебе отправился в Москву; не приедешь-ли с ним назад? Это было бы славно. Мы бы что нибудь и затеяли в роде Альманаха, и Тургенева порастрепали-бы“. Тургенев выехал из Петербурга 19 июня, что видно из № 145 „С.-Петербургских Ведомостей“ за 1831 г. В Москве он был уже дня через четыре. 26 июня А. Я. Булгаков писал брату в Петербург: „Вчера является к нам вдруг Александр Тургенев. Чрезвычайно я ему обрадовался. Всё тот-же: те-же дистракции, та-же доброта, мало переменился, нахожу, а шесть лет куда много времени в наши годы! Катеньке начал тотчас куры строить, т. е. руки

целовать, не дал на себя хорошенько налюбоваться и исчез. Зовет меня с собою к Вяземскому на именины... а потом вспомнил, что зван в тот же день в Рождество к кн. Дмитрию Владимировичу [Голицыну], у коего был вчера на парадном обеде. Большой чудак, боится холеры и признается, что от страха уехал бы в Любек, но испугался карантина. Не мог я добиться, где живет: то у Жихарева, то у тетки, то где-то под Москвою "... („Русский Архив“ 1902 г., кн. I, стр. 69—70). Жуковский пенял Тургеневу за неожиданность его отъезда: „Хорош ты! Уехал из Петербурга, не дав знать о себе ни строчкою! Я писал к Булгакову, — тот не отвечает! Наконец, Козлов уже вывел меня из недоумения насчет твоего маршрута. И я рад, что ты не уехал в Лондон. Москва место безопасное (если только не будешь обещаться и не протушишься); прилипчивости холеры бояться нечего“ („Письма В. А. Жуковского к А. И. Тургеневу“, М. 1895, стр. 256). Жуковский, в письме своем к императору Николаю I, написанном 22 июля 1831 г. с целью оправдания Тургенева от подозрений в либерализме и от обвинений в излишней привязанности к осужденному заочно брату-декабристу Н. И. Тургеневу, так объяснял приезд Тургенева в Россию и показавшуюся Николаю I подозрительной спешность отъезда его в Москву: „Причина приезда А. Тургенева есть устройство его хозяйственных дел... Для этого нужно было ему... увидеться с Жихаревым в Москве; он изготавился к отъезду, но остановился, услышав, что в Москве возобновилась холера. Вдруг открылась она и в Петербурге, и Тургенев собрался было немедленно возвратиться в Англию: но ему не удалось найти места на пароходе, и он, избрав из двух опасных мест менее опасное, уехал в Москву“ („Декабристы. Неизданные материалы и статьи“. Под ред. Б. Л. Модзалевского и Ю. Г. Оксмана. Труды Пушкинского Дома, М. 1925, стр. 153). В конце письма Жуковский писал еще, что, по его убеждению в полной лояльности Тургенева, последний „не был бы вреден теперь и Пушкину, ибо в прежнее время, когда пылкая молодость сводила Пушкина с прямого пути, никто более Тургенева не старался его укрощать и наводить на прямую дорогу. Служба его была беспорочна“ и т. д.

Оставшись в Москве на неопределенное время, Тургенев 14 июля писал оттуда Пушкину, приписывая ему в письме кн. П. А. Вяземского (Переписка, Акад. изд., т. II, стр. 272); Пушкин благодарил его за эту „религиозно-философическую приписку“ 3 августа (там же, стр. 297), а 29 октября Тургенев снова писал Пушкину из Москвы, посылая ему стихи Н. Д. Иванчина-Писарева для „Северных Цветов“, предпринятых Пушкиным в пользу братьев Дельвига (там же, стр. 340—341). В декабре месяце, в свою кратковременную поездку в Москву, Пушкин снова видался с Тургеневым (там же, стр. 350), кото-

рый прожил в Москве до июля 1832 г.,* когда опять надолго отправился за границу, сперва в Германию, а затем в Италию...

Б. М.

4) Холера появилась в Петербурге в середине июня 1831 г. Официальные сведения об эпидемии, крайне неопределенные и успокоительные, были помещены впервые в правительственном сообщении от 17 июня 1831 г.; 20 июня был напечатан первый бюллетень о числе заболевших: „со дня появления болезни по 18 июня — 48 чел.“, из коих умерло 24. Из объявления от С.-Петербургского Военного генерал-губернатора от 21 июня „о числе больных холерою“ за 19—20 июня видно, что „от 19 числа оставалось больных 61 человек. В течении суток 20 числа: заболело — 99, выздоровел — 1, умерло — 57. За тем осталось больных к 21 числу — 102“. 23 июня уже произошли известные холерные волнения на Сенной площади и в те же дни были учреждены кругом Петербурга, а особенно по дороге в Царское Село, где болезни еще не было, строжайшие карантинны.

Б. М.

5) Об этой же гречанке Пушкин упоминает еще в письме к Н. Н. Гончаровой, из Болдина, от 11 октября 1830 года (Переписка, т. II, стр. 179): „Добровольно подвергать себя опасности среди холеры было бы непростительно. Я хорошо знаю, что всегда преувеличивают картину ее опустошений и число жертв; молодая женщина из Константинополя говорила мне когда-то, что только чернь (la canaille) умирает от холеры, — всё это прекрасно и превосходно; но всё же нужно, чтобы порядочные люди принимали меры предосторожности, так как именно это спасает их, а вовсе не их эlegantность и не их хороший тон“. Кто эта гречанка — определить не удалось; вероятно, одна из знакомых Пушкина по Кишиневу или по Одессе, — может быть, та самая „маленькая Гречанка“ Родоса Сафианос, о которой Пушкин просил похлопотать В. А. Жуковского в 1824 году (см. Письма Пушкина, под редакцией Б. Л. Модзалевского, т. I, Лгр. 1926, стр. 93, 101, 330, 354); но

* Впрочем, повидимому, в апреле этого года он приезжал в Петербург; об этом свидетельствует записка кн. П. А. Вяземского к Е. М. Хитрово, сохранившаяся в бумагах последней: „J'aurai l'honneur de vous les apporter aujourd'hui. Tourgueneff qui vient d'arriver vous présente ses hommages et demande la faveur d'être admis à vos matinées. V.“, т. е.: „Буду иметь честь принести их вам сегодня [речь идет, вероятно, о книгах]. Тургенев, только что приехавший, приветствует вас и просит вашего соизволения быть допущенным на ваши утра. В[яземский]“. Записка не датирована, но на ней стоит помета рукою Е. М. Хитрово: „1832, 8 avril, du P. Viasemsky“, т. е.: „1832, 8 апреля, от кн. Вяземского“.

о ней нет достаточных сведений, а письмо к Н. Н. Гончаровой плохо вяжется с таким предположением. Н. И.

б) Русские стихи, перевести которые на французский язык просила Пушкина Е. М. Хитрово — вероятно, стихотворение Трилуного (т. е., Дмитрия Юрьевича Струйского, род. 1806 г., ум. 1856 г.) — „Гробница Кутузова“, напечатанное в „Литературной Газете“ от 11 мая 1831 г., № 27, стр. 218—219. На то, что речь идет именно об этих стихах, указывает замечание Пушкина, что он сам написал другие, на ту же тему, — т. е. стихотворение, так называемое „К гробу полководца“ — „Перед гробницею святой...“ Дочери Кутузова, свято чтившей память своего отца, естественно было желать, чтобы Пушкин хотя бы переводом коснулся темы о фельдмаршале.

Начало стихотворения Трилуного совпадает, и в тематике, и в образности, со стихотворением Пушкина:

Великолепен Руской храм
Где по сияющим столбам
Висят отбитые знамена,
И на орлах Наполеона
Видна заржавленная кровь...
(Сильна к Отечеству любовь!).

Я подхожу к ограде мирной
Где спит великий человек...
.....
Я испытал восторгов пламень,
Молчаньем гроба поражен;
Едва взглянул на грустный камень
И был святыней утрашен...
.....

Далее идет канонически построенная ода Кутузову. В его восхвалении нет ничего, относящегося к современности, — ни намеков, ни сопоставлений: славословие совершенно отвлеченно, отягчено многочисленными славянизмами, а в конце переходит в оправдание певца перед самим собою, в уверениях себя в искренности хвалы, в отсутствии лицемерия и лести и в том, что Кутузов хвалы достоин. Это окончание звучит диссонансом, которого Пушкин не мог не почувствовать; к целому же стихотворению он должен был отнести только иронически, как к чему-то давно отжившему и забытому.

Замечание Пушкинского письма, вместе с тем, что говорится в следующем письме по поводу стихотворения „Перед гробницею святой“ — позволяет датировать последнее с большою долею вероятия, точнее, чем это мог сделать Н. О. Лернер в „Трудах и днях Пушкина“ (изд. 2-е, 1910, стр. 248: летом, между июлем и августом) и в примечаниях к стихотворению

в издании С. А. Венгерова (том VI, стр. 408: „июнь — июль“): настоящее письмо, датирующееся, судя по почтовому штемпелю, 19-м или 20-м июня 1831 г., устанавливает *terminus ante quem*. Приезд Пушкина из Москвы в Петербург, около 18 мая, определяет другой предел, раньше которого оно не могло быть написано: при всем справедливо-критическом отношении к автобиографическим элементам в творчестве Пушкина, нельзя отрицать необходимости реальных впечатлений для построения очень многих его стихотворений — в особенности таких, содержащих определенные общественно-политические высказывания, как стихотворение к гробу Кутузова. Чтобы написать его, Пушкин должен был пережить подобный момент у гробницы в Казанском соборе — а это могло быть лишь в майский приезд его в Петербург, в 1831 году. Ни компановать, ни пользоваться впечатлениями предыдущего пребывания в Петербурге (до 10 августа 1830 года, когда о Польском восстании и вообще об опасности для русской государственности не было еще и речи) он, разумеется, не мог. Краткое и, конечно, очень занятое пребывание в Петербурге не было благоприятно для творческих раздумий поэта: правильнее предположить, что стихотворение написано уже в Царском Селе. Замечание следующего письма о том, что оно написано в такой момент, „когда позволено было отчаяться“, в связи с пессимистическими сообщениями о „нынешних горьких обстоятельствах“ в письмах к Вяземскому и к Нащокину от 11 июня (Переписка, т. II, стр. 250 и 251) — указывает на эти дни, как на время, наиболее подходящее по своему настроению для написания стихотворения. Около половины июня Пушкин должен был уже узнать о прибытии гр. Паскевича к армии, означавшем некий поворот кампании и возможность новых надежд. Таким образом, три недели между концом мая и серединой июня — представляют наиболее вероятную, при настоящих данных, датировку Пушкинского стихотворения.

Н. И.

XXI.

[После 14 сентября 1831 г. Царское Село].

I.

Перед гробницею святой
Стою с поникшею главой.
Всё спит кругом. Одни лампы
Во мраке храма золотят
Столпов гранитные громады
И их знамен нависший ряд.

II.

Под ними спит сей властелин,
Сей идол северных дружин,
Мастистый страж страны державной
Смиритель всех Ее врагов
Сей остальной из стаи славной
Екатерининских орлов.

III.

В твоём гробу восторг живет:
Он русской звук нам издает,
Он нам твердит о той године
Когда народной веры глас
Возвал к святой твоей седине:
Иди, спасай! — Ты встал и спас.

IV.

Внемли-ж и днесь наш верный глас:
Восстань, спаси Царя и нас!
О грозный старец! на мгновенье
Явись у двери гробовой,
Явись, вдохни восторг и рвенье
Полкам оставленным тобой —

V.

Явись и дланию своей
Нам укажи в толпе вождей
Кто твой наследник, твой избранный...
Но храм в молчанье погружен
И тих твоей гробницы бранный
Невозмутимый, вечной сон.

Эти стихи были написаны в такой момент, когда можно было утратить бодрость.¹ Слава Богу, этот момент миновал. Мы снова вернули себе то положение, которое не должны были терять. Конечно, оно уже не то, каким мы были обязаны князю, Вашему отцу, но все же достаточно хорошо.

У нас нет слова, которое выражало бы французское *résignation*, хотя это душевное состояние или, если хотите, качество,

вполне русское. Слово *столбняк*, пожалуй, передает его с наибольшей верностью.

Хотя я и не смел докучать Вам своими письмами в это бедственное время, я не переставал получать о Вас известия и знал, что Вы были здоровы и развлекались, — что, разумеется, вполне достойно Декамерона. Вы читали во время чумы, вместо того, чтобы слушать сказки, — это тоже вполне философично.

Полагаю, что мой брат участвовал в штурме Варшавы; я не имею о нем известий. Но как пора было взять Варшаву!² Вы читали, я думаю, стихи Жуковского и мои:³ ради Бога, исправьте стих: Святыню всех твоих *градов*, поставьте *гробов*. Дело идет о могилах Ярослава и Печерских угодников — это назидательно и имеет смысл. *Градov* не значит ничего.

Я надеюсь явиться к Вам в конце этого месяца. Царское Село оглушительно; Петербург гораздо более замкнут.

На обороте: Госпоже Хитровой.

Письмо на листе почтовой бумаги большого формата, без знаков, сложено конвертом и запечатано гербовой печатью Пушкиных. На обороте — адрес, для передачи по оказии.

Дата письма определяется тем, что брошюра со стихотворениями Пушкина и Жуковского „На взятие Варшавы“, о которой Пушкин пишет, как об уже напечатанной, вышла в свет около 14 сентября 1831 г., письмо же написано вскоре после ее выхода.

1) Ода к гробнице Кутузова („К тени полководца“) — не имеющая ни в рукописи, ни в печати никакого заглавия и получившая его лишь от позднейших издателей — написана была, как указано выше, в самом конце мая или в начале июня 1831 года. Она была создана в момент затяжных неудач в Царстве Польском, как выражение охватившего Пушкина тяжелого, пессимистического, почти отчаянного настроения, и как разрешение того состояния, которое сам он называет „résignation“ или „столбняком“. Упомянув о написании оды в письме к Е. М. Хитрово он, однако, никому другому о ней не писал, и самой дочери Кутузова текста ее не сообщал, считая оду, быть может, слишком откровенно-пессимистической и потому нежелая ее распространения. Он хранил ее до того момента, когда Варшава была взята, восстание, в главном, подавлено, и когда только что изданы были патриотические стихотворения его и Жуковского, посвященные этому событию. Тогда ода к Кутузову стала прошлым, злободневность ее обратилась в историю, хвала пол-

ководцу, так часто поминавшемуся поэтом в связи с восстанием, заслонила пессимизм последних строф — и явилась возможность сообщить оду Хитрово. Но и после того стихотворение еще пять лет оставалось неизвестным не только читателям, но и друзьям поэта — по крайней мере, мы нигде не встречаем о нем упоминаний. В 1836 году, в III томе „Современника“, появилось другое стихотворение Пушкина, обращенное к другому герою Отечественной войны — к Барклаю-де-Толли, — „Полководец“. Стихотворение, как известно, вызвало резкие нападки некоторых почитателей Кутузова, выражавших возмущение „неприличным вымыслом“ Пушкина и сочувствие дочери фельдмаршала Е. М. Хитрово, якобы оскорбленной этим. Написана была и специальная брошюра, посвященная опровержению стихотворения Пушкина (Л. И. Голенищевым-Кутузовым, С.-Пб. 1836 г.; перепечатана в Сочинениях Пушкина, изд. Ефремова-Суворина, т. VIII, стр. 361—367). Сама Е. М. Хитрово, понимавшая побуждения и настроения поэта, стала на его сторону и по поводу статьи Голенищева-Кутузова написала ему письмо — свидетельство нежной дружбы и тонкого понимания поэта, не изменившихся за многие годы: „Je viens d'apprendre que la Censure a laissé passer une Article de réfutation sur vos vers cher ami. La Personne qui les a écrit, est furieuse contre moi — n'a jamais voulu ni me les montrer — ni les retirer. — On ne cesse de me tourmenter pour votre Elégie — je suis comme les martirs chér Poushchine je vous en aime d'avantage et je crois a votre admiration pour notre Héros et à votre simpatie pour moi!...“ („Я только что узнала, дорогой друг, что цензура пропустила статью, опровергающую ваши стихи. Лицо, написавшее ее, в ярости на меня и не пожелало ни за что ни показать мне ее, ни взять обратно [из цензуры]. Меня не перестают тревожить из за вашей элегии — я словно мученица, милый Пушкин, но люблю вас оттого еще больше и верю вашему преклонению перед Героем и вашему хорошему отношению ко мне...“) и подписалась полным именем — словно чтобы подчеркнуть, кто она: „Elise Nitroff née Pr. Kout. Smol.“ — „Елизавета Хитрова, рожденная княжна Кутузова-Смоленская“ (Переписка, т. III, стр. 377).

Пушкин оценил ее отношение, понял и заключающийся в письме намек — и в следующей книге „Современника“ (т. IV, стр. 295—298), вышедшей в конце ноября или в декабре 1836 г., напечатал объяснение, где, в доказательство своего уважения к Кутузову и признания его заслуг, поместил три первые строфы оды к гробнице Кутузова — те строфы, где воздавалась хвала покойному вождю и не было пессимистического сопоставления с современностью, в 1836 году уже непонятного, но всё же недопустимого с точки зрения цензуры. Но, чтобы показать, что какое-то продолжение было, он заключил строфы ремаркой

En suite J'admire
et je suis à votre
admiration pour
votre héros et à
votre Empire pour
moi!

Parce que vous êtes
un bon Malhonnête
Je ne veux pas
de flaine et pour
la première
saison.

Elle est
un malhonnête.

cc Remède

Письмо Е. М. Хитрово к Пушкину от ноября — декабря 1836 г.
(2-я страница).

„и проч“: Е. М. Хитрово, та, для которой предназначалось объяснение, и ее друзья сами могли вспомнить окончание стихотворения.

Эти последние две строфы были напечатаны лишь Анненковым (Сочинения Пушкина, том VII, стр. 44), как отдельный отрывок, по рукописи, ныне находящейся в Майковском собрании автографов Пушкина, в Библиотеке Академии Наук. Рукопись—беловой автограф, заключающий лишь две строфы, с датой „1831“. Первые три стиха перечеркнуты; весь клочок бумаги оторван от большого листа, и по отрыву видны следы—быть может, предыдущих строф. Очень возможно, что Пушкин сделал список для включения всего стихотворения целиком в „Объяснение“ (или просто взял старую рукопись 1831 года), потом раздумал—хотел зачеркнуть—и наконец оторвал обе строфы, вместе с датой, в печати уже не указанной (см. „Пушкин и его современники“, вып. IV, стр. 15, № 58).

По этим двум контаминированным частям текста, печатной и рукописной, печаталось до сих пор стихотворение в изданиях Пушкина. Текст его в письме к Е. М. Хитрово—первый *полный* автограф, известный нам,—тем более важен, что черновых не сохранилось. Он дает некоторые разночтения и позволяет исправить одну ошибку, сделанную Анненковым и повторяемую почти всеми изданиями, вплоть до издания Государственного Издательства (Лгр. 1925², стр. 86—87).

Разночтения с текстом „Современника“ касаются пунктуации во 2-м и 3-м стихах I-й строфы, 1-м, 2-м, 3-м, 6-м стихах III-й строфы.

В стихе 5-м I-й строфы рукопись дает чтение „столповъ“—конечно, более правильное, чем „столбовъ“ печатного текста (корректорская опечатка?)

Ст. 4-й II-й строфы—в рукописи „Ея“ вм. „ея“ печатного текста.

Ст. 2-й III-й строфы в автографе читается: „Онъ русской звукъ“...,—в печати же: „Онъ Русскій гласъ“...; последнее должно считаться окончательным чтением.

Автограф IV и V-й строф, в Библиотеке Академии Наук, представляет уже более значительные варианты. Разночтения пунктуации имеются во всех стихах IV-й строфы и в 3-м и 4-м стихах V-й (нужно заметить, что знаки препинания в рукописи Библиотеки Академии Наук частью просто не проставлены).

Варианты же этой рукописи сравнительно с автографом нашего письма (ср. текст издания Госиздата, стр. 87) таковы:

Строфа IV, стих 2-й в автографе Майковского собрания:

Встань и спасай Царя и насъ

(при чем „Встань“ переправлено из „Востань“); стих 3-й:

О старецъ грозный, на мгновенье.

Строфа V, стих 4-й в Майковском автографе читается:

Но храмъ — въ молчаньи погружень,

что почти совпадает с текстом письма:

Но храмъ въ молчанье погружень.

Однако, вследствие неясности автографа, неправильно прочитанного Анненковым, до сих пор в большинстве изданий печаталось „в моленьи“, что нарушало смысл стиха.

Строфа V, стих 5-й:

И тихъ твоей могилы бранной.

Текст IV-й и V-й строф, по нашему мнению, должен быть принят в печати в редакции письма к Е. М. Хитрово, так как автограф письма более законченный и отделанный, сравнительно со спешно написанной рукописью Майковского собрания.

Н. И.

2) О взятии Варшавы см. в статье М. Д. Беляева, стр. 283 и сл. Л. С. Пушкин, как это видно из его послужного списка, в штурме ее не участвовал: накануне приступа, 25 августа, он был в бою под Пултуском.

3) Слова Пушкина о том, что Е. М. Хитрово „вероятно, прочла стихи Жуковского и его“, и просьба исправить в них опечатки — определяют в известной степени дату письма. Речь идет о брошюре под заглавием: „На взятие Варшавы. Три стихотворения В. Жуковского и А. Пушкина“. С.-Пб. 1831, куда вошли стихотворения: Жуковского — „Старая песня на новый лад“ и Пушкина — „Клеветникам России“ и „Бородинская Годовщина“.

Обстоятельства, вызвавшие эти стихотворения и самую брошюру, а также вызванные ею суждения друзей и знакомых Пушкина, рассказаны ниже, в статье М. Д. Беляева (стр. 286—296). Здесь напомним лишь некоторые хронологические даты.

Автограф „Клеветникам России“ — перебеленный, с помарками, почти окончательный текст — помечен „2 авг. С. Ц.“, т. е. „2 августа 1831 г. Село Царское“; это — время первой отделки набросанного ранее стихотворения. Печатный текст оды в брошюре носит помету „16 августа“ — день окончательной, вероятно, отделки стихотворения. Второй автограф — белой, с поправками, внесенными Жуковским, вошедшими в печатный текст и, видимо, принятыми Пушкиным, внесшим их в издание „Стихотворений“ 1832 года — помечен рукою его тогдашнего владельца, С. А. Юрьевича: „5 сентября 1831. Царское Село. От В. А. Жуковского“. Вероятно, это тот текст, с которого — по нарочно сделанной копии — печаталась брошюра: по снятию

копии, Жуковский подарил рукопись генералу С. А. Юрьевичу, воспитателю цесаревича Александра Николаевича (оба автографа теперь в Пушкинском Доме; см. о втором из них в сборнике „Пушкин и его современники“, вып. XVII—XVIII, стр. 1—2).

„Бородинская годовщина“ помечена в печати „5 сентября“ — т. е. днем написания стихотворения — вернее, отделки, так как написано оно было, повидимому, 4 сентября, в самый день прибытия в Царское Село из армии князя А. А. Суворова с известием о взятии Варшавы. В тот же день, 4 сентября, написал свое стихотворение и Жуковский. 5-го все три стихотворения были представлены Николаю I, 7-го подписано официальное цензурное разрешение на издание брошюры, а 14-го брошюра уже вышла и поступила в продажу (что видно из объявления в № 206 „Северной Пчелы“ от 14 сентября; см. Н. Сиявский и М. Цявловский: „Пушкин в печати“, № 793, стр. 106); такая молниеносная быстрота объясняется, конечно, патриотическим содержанием брошюры и волею Николая I: стихотворения, как гимн злободневности, нужны были сейчас же, без промедления.

Время выхода в свет брошюры определяет и дату письма: оно написано несколько дней спустя, около 15—20 сентября. В это же время и Е. М. Хитрово послала Пушкину спешно-набросанную записочку, быть может, скрестившуюся с его письмом: „Я только что прочла ваши прекрасные стихи — и заявляю вам, что если вы не пришлете мне экземпляр (а говорят, что их нельзя найти), я вам этого никогда не прощу“ (Переписка, т. II, стр. 324).

При издании брошюры последний стих шестой строфы „Бородинской годовщины“ был напечатан с ошибкой, обесмысливающей его. На эту то ошибку и указывает Пушкин своей читательнице, прося исправить ее.

Н. И.

XXII.

[Конец сентября — начало октября 1831 г. Царское Село].

Благодарю Вас за изящный перевод оды; я отметил в нем две неточности и одну опisku переписчика: „иссякнуть“ значит „tarir“; „скрижали“ — „tables, chroniques“. „Измаильский штык“ — „la bayonnette d'Ismael“, а не „d'Ismaïlof“.¹

В Петербурге ждет Вас письмо: это ответ на первое, полученное мною от Вас, — прикажите его Вам доставить. Я приложил к нему оду в честь покойного князя, Вашего отца.²

9*

Г-н Опочинин оказал мне честь посетить меня. Это очень достойный молодой человек. Благодарю Вас за это знакомство.⁸

На днях я буду у Ваших ног.

На обороте: Госпоже Хитровой.

Письмо на листе почтовой бумаги большого формата, с клеймом: „J. Whatman 1829“, сложено конвертом и запечатано черного сургуча гербовою печатью Пушкиных.

Дата письма определяется содержанием и связью с предыдущими. Пушкин вернулся из Царского Села в Петербург в середине октября (до 21-го — см. у Н. О. Лернера, „Труды и Дни Пушкина“, С.-Пб. 1910, стр. 254); письмо же написано не задолго до переезда — на что указывает последняя фраза его.

1) Ода „Клеветникам России“ до сих пор известна была в четырех прижизненных Пушкину переводах на иностранные языки: одним немецком и трех французских. Немецкий перевод бар. Анстета (о котором см. статью П. Е. Щеголева в VII вып. сборника „Пушкин и его современники“) не может нас занимать: в письме к Е. М. Хитрово речь идет о переводе *французском*. Также не относятся к настоящему случаю переводы на французский язык барона П. А. Вревского, сделанный, повидимому, не ранее конца 1834 года (он напечатан в сборн. „Пушкин и его современники“, вып. XXI—XXII, стр. 386—388), и князя Н. Б. Голицына, исполненный уже в 1836 году, и за который Пушкин благодарил переводчика письмом от 10 ноября 1836 года (Переписка, т. III, стр. 406). Другой перевод, исполненный С. С. Уваровым в Москве, вскоре после напечатания стихотворения, был прислан переводчиком Пушкину при письме от 8 октября 1831 г. (Переписка, т. II, стр. 333). Но и не о нем идет речь в письме Пушкина: в благодарственном ответном письме Уварову, от 21 октября 1831 г. (*ibid.*, стр. 338), холодно-вежливым и скрыто-ироническим, Пушкин называет князя Дундукова (М. А. Дундукова-Корсакова), как лицо, доставившее ему стихи, и ни словом не упоминает о Е. М. Хитрово; кроме того, в переводе Уварова нет тех ошибок, которые отмечает настоящее письмо. Еще один современный рукописный французский перевод, точнее — подражание („Aux détracteurs de la Russie. Imitation libre de Pouchkine“) — сохранился в Тургеневском архиве; в Библиотеке Академии Наук; но точную дату его трудно определить и притом он так далек от подлинника, что поправки Пушкина к нему не могут относиться; автор этого подражания нам неизвестен. Прибавим еще, что О. С. Павлицева, в письме к мужу от 6 октября 1831 года, говорит о нескольких, даже, повидимому, многих плохих переводах стихотворений на взятие

Варшавы, на французский и немецкий языки, называя в числе переводчиков „искалечивших“ стихи, некоего Бакунина („Пушкин и его совр.“, вып. XV, стр. 96; см. ниже, в статье М. Д. Беляева, стр. 288). — В указанном выше письме к кн. Н. Б. Голицыну Пушкин писал о переводах своего стихотворения: „Я видел их уже *три*, один из них принадлежал вельможе из моих друзей [un puissant personnage de mes amis — т. е. С. С. Уварову]“. Одним из двух других переводов должен быть именно тот, который послала поэту Е. М. Хитрово. Автор его нам неизвестен, как неизвестен и текст; предположение, невольно возникающее при первом взгляде — что переводчиком была сама Е. М. Хитрово — мало вероятно: слишком краток, небрежен и сух отзыв Пушкина о переводе. Но очень возможно, что Е. М. Хитрово сообщила его Пушкину, как анонимный — и тогда не исключается предположение об ее авторстве. Если она могла заниматься переводом с английского на русский, то могла перевести и стихотворение с русского на французский язык — конечно, прозою.

Н. И.

2) См. предыдущее письмо.

3) Опочинин — Константин Федорович, родной племянник Е. М. Хитрово, сын ее сестры Дарьи Михайловны Голенищевой-Кутузовой (род. 1788, ум. 1854 г.) от брака ее (14 января 1807 г.) с Федором Петровичем Опочининым (род. 1778, ум. 20 декабря 1852 г.), в 1831 г. бывшим шталмейстером, а впоследствии — членом Государственного Совета. Единственный сын своих родителей и их первенец, К. Ф. Опочинин родился 14 ноября 1808 г., службу начал в л.-гв. Кирасирском полку, но из него 3 декабря 1831 г. перешел в л.-гв. Конный полк (в котором некогда служил его отец); 6 декабря 1840 г. назначен был флигель-адъютантом „с состоянием при особе его императорского величества“, вскоре произведен (в 1841 г.) в ротмистры, 6 декабря 1844 г. получил чин полковника за отличие и назначен в Свиту его величества, но уже 18 января 1848 г. скончался. Был женат, с 11 ноября 1840 г., на фрейлине Вере Ивановне Скобелевой (род. 28 мая 1825, ум. 3 января 1898 г.), дочери известного инвалида-писателя генерала И. Н. Скобелева, по отзыву А. В. Никитенко, — прелестной и умной женщины. Младшая дочь их Дарья Константиновна впоследствии была за герцогом Е. М. Лейхтенбергским и носила фамилию графини Богарне, а сын Федор — был известным библиофилом, коллекционером и членом Археологического Общества.

Б. М.

XXIII.

[Октябрь—ноябрь 1831 г. Петербург].

Большое спасибо за *Garçon boucher*.¹ В нем есть подлинный талант. Но *Barnave, Barnave...*² Посылаю Манцони,³ который принадлежит графу Литте.⁴ Не откажите его возвратить и не обращайтесь на мои проорочества.

Письмо на листе почтовой бумаги обыкновенного формата, без знаков; половина второго полу-листа (без текста) оторвана.

Письмо датируется предположительно, по упоминаниям о читавшихся Пушкиным, через посредство Е. М. Хитрово, французских романах. Роман Бюрá-де-Гюрги „*La Primadonna et le Garçon boucher*“ („Примадонна и подручный-мясник“) вышел в свет в начале мая, а роман Жюля Жанена „*Barnave*“ („Барнав“) — в сентябре (до 17-го) 1831 г. Таким образом, Пушкин мог их читать не раньше осени этого года, когда, с половины октября до начала декабря, он жил в Петербурге. 3 декабря Пушкин уехал в Москву и вернулся 22. Гораздо менее вероятно, чтобы он читал эти романы после поездки, зимою 1831—1832 г.г.

1) О романе „*La Primadonna et le Garçon boucher*“ см. ниже, в статье Б. В. Томашевского „Французская литература“, стр. 223—240.

2) О романе „*Barnave*“ см. там же, стр. 240—243.

3) О романе Манцони „*I promessi sposi*“ („Обрученные“) см. там же, стр. 250—251.

4) Сношения Пушкина с графом Юлием Помпеевичем Литтой носили, повидимому, эпизодический, случайный характер и не оставили в биографии поэта сколько нибудь значительного следа. В эпоху написания настоящего письма граф Ю. П. Литта (род. 1763, ум. 1839) являлся одною из крупнейших фигур официального и светского Петербурга. Мальтийский рыцарь, вызванный на службу еще при Екатерине II, Литта особенно возвысился при Павле, когда был сделан Наместником Великого Магистра Мальтийского Ордена. По русской службе Литта был адмиралом и георгиевским кавалером, шефом кавалергардского корпуса, обер-гофмейстером и членом Государственного Совета

LA PRIMA DONNA

ET

LE GARÇON BOUCHER.



Paris,

HIPPOLYTE SOUVERAIN, ÉDITEUR.

1831.

Титульный лист романа Бюра де Гюржи
„La Prima donna et le Garçon-boucher“.

(с 1811 г.). Николай I назначил его обер-камергером и пожаловал орден Андрея Первозванного, в 1830 г. назначил Председателем Департамента Экономии Государственного Совета и в 1831 г. — Председателем Комиссии по постройке Исаакиевского собора. В Государственном Совете Литта являлся обычно сторонником наиболее передовых его членов — Мордвинова, Сперанского, Кочубея.

Граф Литта был человек громадного роста, представительный и сановитый, и обладал голосом исключительной силы. В 1798 г. он женился на одной из самых обворожительных и богатых дам тогдашнего придворного круга, племяннице светлейшего Потемкина, — вдове Екатерине Васильевне Скавронской, рожд. Энгельгардт, получив за нею огромное состояние. Враг безумной роскоши, Литта тем не менее вел широкий образ жизни в своем доме на Английской набережной, следил за иностранными модами, был страстным театралом и любил до обжорства хорошо поесть, что, говорят, и послужило причиной его смерти.

Пушкин, несомненно, неоднократно должен был встречаться с Литтой и в свете, и при дворе. Кроме того, с момента назначения своего камер-юнкером он стал в прямую зависимость от графа Литты, как обер-камергера. Отсюда то столкновение, которое произошло у них ввиду неаккуратного выполнения Пушкиным своих придворных обязанностей, и о котором упоминается в Дневнике Пушкина и в письме к жене от 17 апреля 1834 года.

Быть может, однако, речь здесь идет не о самом графе Ю. П. Литта, но о его побочном сыне, известном под фамилией-анаграммой Аттил, через которого Пушкин мог получить роман Манцони; ср. ниже, стр. 251.

М. Б.

XXIV.

Воскресенье. [Конец января 1832 г. Петербург].

Конечно, я не забуду про бал у посланницы¹ и прошу разрешения представить на нем моего шурина Гончарова.²

Я очень рад, что Онегин Вам понравился: я дорожу Вашим мнением.³

Воскресенье.

На обороте: Госпоже Хитровой.

Письмо на листке, оторванном от листа почтовой бумаги большого формата, без знаков, сложено конвертом. На обороте адрес, для передачи с нарочным.

Датируется на основании упоминаний о Гончарове и об „Онегине“ — см. ниже.

1) Т. е. у графини Д. Ф. Фикельмон, жены Австрийского посла.

2) У Пушкина было трое шурьев — братьев его жены, Натальи Николаевны: Дмитрий (род. 1 мая 1808, ум. 1859 г.), Иван (род. 22 мая 1810, ум. 19 ноября 1881 г.) и Сергей (род. 11 февраля 1815, ум. 28 ноября 1865 г.) Гончаровы. Здесь имеется в виду не старший из братьев, Дмитрий Николаевич, служивший в Коллегии Иностранных Дел, состоявший в звании камер-юнкера и, по всему вероятно, уже знакомый с Е. М. Хитрово по придворным балам и встречам в высшем обществе Петербурга, — а Иван Николаевич, только что перед тем вернувшийся с театра войны в Польше (где он участвовал в кампании, как корнет л.-гв. Уланского полка, в котором служил с января 1829 г.) и переведенный (13 ноября 1831 г.) в л.-гв. Гусарский полк, стоявший в Царском Селе; в Петербург он приехал из Якобштадта 4 или 5 января 1832 г. („С.-Петербургские Ведомости“, Прибавление к № 5 и 6, от 8 января 1832 г., стр. 35). Он, очевидно, входил тогда в Петербургский свет, почему Пушкин и считал полезным познакомиться своего шурина с Е. М. Хитрово. Имя И. Н. Гончарова нераз упоминается в письмах Пушкина.* В сентябре 1833 г. поэт сообщал жене своей о какой-то неудачной матримониальной истории с Иваном Гончаровым и высказывал надежду, что свадьба его расстроится. В ноябре 1836 г. Гончаров принял участие в улажении первой ссоры Пушкина с Дантесом, а в январе 1837 г. был свидетелем на бракосочетании последнего со старшею сестрою своею Екатериною Николаевною. 27 апреля 1837 г., будучи поручиком того же л.-гв. Гусарского полка, он женился на княжне Марии Ивановне Мещерской, брат коей, князь Петр Иванович, женат был на Екатерине Николаевне Карамзиной, дочери историографа, коюрой Пушкин в 1828 г. написал известный „Акафист“. В апреле 1840 г. Гончаров вышел в отставку гвардии ротмистром (К. Н. Манзей, „История л.-гв. Гусарского полка“, ч. III, С.-Пб. 1859 г., стр. 130), с января 1850 по октябрь 1852 г. был Волоколамским (Московской губернии) Уездным Предводителем дворянства и жил в своем знаменитом имении Яропольце, в котором еще в 1833 г. бывал Пушкин; затем он вновь поступил в военную службу и 6 декабря 1854 г., во время Крымской войны, произведен

* Переписка, Акад. изд., т. II, стр. 126, 165, 166; т. III, стр. 43, 116, 122, 141, 161, 162, 163, 312, 314.

был в полковники, а в 1858 г. был избран кандидатом в Члены от Волоколамского уезда в Московский Комитет для составления проекта положения об устройстве и улучшении быта помещичьих крестьян („Московские Ведомости“ 1858 г., № 58). В 1860 г. Гончаров состоял для особых поручений при Рижском военном, Лифляндском, Эстляндском и Курляндском генерал-губернаторе. Овдовев 31 июля 1859 г., он в 1861 г. вторично женился на дочери генерал-майора Екатерине Николаевне Васильчиковой, затем произведен был в генерал-майоры и в 1862—1863, 1872—1875 и 1878—1881 г.г. был избираем Волоколамским Уездным Предводителем дворянства. В 1834—1837 г.г. Гончаров был сослуживцем Лермонтова по л.-гв. Гусарскому полку. По словам хорошо знавшего его в это время писателя Андрея Николаевича Муравьева, написавшего для него свои „Письма о богослужении“, Гончаров был „весьма блистательный“, светски образованный лейб-гусарский офицер („Русское Обозрение“ 1896 г., т. XXXVII, стр. 513). Его портрет — в Пушкинском Доме, среди портретов гусаров, товарищей Лермонтова. О своих отношениях к зятю-поэту он, к сожалению, не оставил никаких воспоминаний.

Б. М.

3) Упоминание о „Евгении Онегине“, в связи с предыдущим замечанием, позволяет довольно точно датировать письмо: VIII глава „Евгения Онегина“ — „Последняя глава“ романа — вышла в свет, подобно предыдущим отдельной брошюрой, в конце января 1832 г. (в объявлении „Московских Ведомостей“ от 30 января, № 9, говорится о продаже ее в Москве, как „полученной с последней почтой“ — следовательно, в Петербурге она должна была выйти не позднее 25—26 января; ср. Н. Синявского и М. Цявловского „Пушкин в печати“ стр. 112). Предшествующая же, VII глава, вышла еще в марте 1830 г., когда, во-первых, Пушкин был в Москве и, во вторых, не мог назвать Гончарова своим шурином. Об участии Е. М. Хитрово в судьбе „Онегина“ и в успехах любимого ею поэта — см. выше.

Н. И.

XXV.

[Август — первая половина сентября, или конец октября — декабрь 1832 г. Петербург].

Да, по совести, милый братец [le joli frère] положительно плох, вчера я его привез к себе. Он между сумашествием и смертью, через час будет кризис, и Вы получите известия.¹

Как Вам не совестно было так легко отозваться о Карре:² в его романе есть дарование, и он стоит изысканности Вашего Бальзака.³

Прощайте, прекрасная и добрая.

Письмо написано карандашом, на листе бумаги обыкновенного почтового формата, без знаков. На обороте — помета карандашом рукою Е. М. Хитрово: „Pouschkin“.

Датировка письма основывается на том, что роман Альфонса Карра „Sous les tilleuls“ („Под липами“), о котором, повидимому, в письме идет речь, вышел в свет в первой половине июля 1832 г. Следовательно, он мог быть в Петербурге и читаться Пушкиным, как новинка, уже в августе того же года или позднее. Конец 1832 г. Пушкин проводил в Петербурге, кроме одного месяца, между 16 сентября и 19 октября, когда ездил в Москву (Н. О. Лернер, „Труды и Дни Пушкина“, С-Пб. 1910, стр. 271—272).

1) Кого имеет здесь ввиду Пушкин, не знаем: вряд ли дело идет о Л. С. Пушкине, который весь 1832 г., до выхода своего в отставку 17 декабря, провел в Варшаве (Л. Майков, „Пушкин“, С-Пб. 1899, стр. 39 и др.). Вероятнее всего, дело идет об одном из Гончаровых, и скорее всего о среднем, Иване; младший, Сергей, был еще слишком молод, а на среднего указывает, быть может, наименование „joli frère“ — повидимому, непереводимый по-русски каламбур в сопоставлении с названием зятя — „beau frère“. Всё сообщение Пушкина имеет каламбурный смысл, понятный для Е. М. Хитрово, но ускользающий от нас.

2) О романе А. Карра см. ниже, в статье Б. В. Томашевского: „Французская литература“, стр. 244—245.

3) О Бальзаке см. там же, стр. 245—249.

XXVI.

[Петербург].

Боже мой, бросая слова на ветер, я никогда и не помышляя о неуместных намеках. Но вот каковы все вы, и вот почему я больше всего на свете боюсь порядочных женщин и возвышенных чувств. Да здравствуют гризетки, — это и гораздо короче, и гораздо удобнее. Если я не прихожу к Вам, так это оттого, что я очень занят и могу выходить из дому лишь весьма поздно. Мне нужно было бы видеть тысячу людей, а между тем я их не вижу.

Хотите ли вы, чтобы я говорил с Вами откровенно? Быть может, я изыщен и вполне порядочен в моих писаниях, но мое сердце совсем вульгарно, и все наклонности у меня вполне мешанские. Я пресытился интригами, чувствами, перепиской и т. д. и т. д. Я имею несчастье быть в связи с особой умной, болезненной и страстной, которая доводит меня до бешенства, хотя я и люблю ее всем сердцем. Этого более, чем достаточно для моих забот и особенно для моего темперамента. Вас ведь не рассердит моя откровенность? не так ли?

Простите же мне слова, которые не имели никакого значения и никоим образом не относились к Вам.

На обороте: Госпоже Хитровой.

Письмо на листе почтовой бумаги обыкновенного формата без знаков, сложено конвертом и запечатано печатью-облаткой.

На обороте — адрес (для передачи с нарочным) и помета карандашом рукою Е. М. Хитрово: „Пушкинъ“.

Письмо не поддается точной датировке. Можно лишь предполагать, что оно скорее всего принадлежит ранней поре знакомства, до женитьбы Пушкина, к переходному и бурному году 1828-му. См. об этом в статье Н. В. Измайлова, стр. 184—185. Выдержка из этого письма приведена (в переводе и в не вполне точной редакции) Д. Благим в статье: „Миф Пушкина о декабристах (Социологическая интерпретация „Медного Всадника“)“ — „Печать и Революция“ 1926 г., кн. 4-я, стр. 16, и в его же книжке: „Классовое самосознание Пушкина“, М. 1927, стр. 53. В изложении пользуется этим письмом и В. В. Вересаев, в „Заметках о Пушкине“ — „Новый Мир“ 1927 г., кн. 1-я, стр. 196. — См. также ниже, в дополнениях, стр. 374.

XXVII.

Среда. [Петербург].

Откуда, чорт возьми, Вы взяли, что я рассердился? Но у меня хлопот выше головы. Простите мой лаконизм и мой яковинский слог.

Среда.

На обороте: Госпоже Хитровой.

Письмо на листе почтовой бумаги обыкновенного формата, без знаков, сложено конвертом и запечатано печатью-облаткой. На обороте — адрес, для передачи с нарочным.

Письмо не поддается датировке, даже приблизительной. Судя по одинаковости бумаги и печаток, оно, вероятно, принадлежит той же эпохе, что и предыдущее и, может быть, непосредственно с ним связано.

ПРИЛОЖЕНИЯ.



Е. М. Хитрово.
По фотографии с бюста (бисквит).

Пушкин и Е. М. Хитрова.¹

Вереница женских образов сопровождает жизненный путь Пушкина. Они порою вспыхивают ярким и продолжительным пламенем, порою мелькают едва заметно; иные окутаны тайной, непроницаемой ни для современников поэта, ни для нас, исследователей его биографии, другие вырисовываются ясными и твердыми линиями, входят в его жизнь просто и прозаически, не преображенные творческим порывом, поэтизирующим чувство. Любовными переживаниями вызваны многие поэтические создания Пушкина, эти же личные переживания отражаются, часто неопределенно и едва понятно, в других его произведениях. Список имен женщин, бывших предметом его увлечений, — произвольно названный „Дон-Жуанским списком“, — может служить не только материалом для биографии поэта, но и заманчивым реальным комментарием ко многим его произведениям. И литературная историография старого типа, донныне живущая, часто, слишком даже часто обращалась к этому материалу — то в целях биографических, то ради построения „психологии творчества“, и всегда — сознательно или бессознательно — отвечая читательской потребности — дать биографию поэта в плане „человеческой“ истории, психологически или анекдотически разработанной. Отсюда многочисленные исследования и статьи о „Дон-Жуанском списке“, об „утаенной любви“, работы типа „Пушкин и — та или иная женщина“: Голицына-Суворова, Рязнич, Воронцова, Оленина, Мария Раевская, Наталия Кочубей,

¹ В настоящем биографическом очерке мы принимаем везде начертание „Хитрова“, „Хитров“ (или даже, как кажется, „Хитрова“ — см. „Русский Архив“ 1897, кн. I, стр. 588), а не „Хитровъ“; в такой, замешанной по родам и падежам старинной форме писалась и производилась эта фамилия в первой половине XIX века; такую же сохранил ее и один из ближайших преемников традиций этого времени — кн. Пав. П. Вяземский в своей работе о Пушкине.

гр. Фикельмон... работы, в большинстве, „перевернутого“ построения, где творчество Пушкина служит лишь комментарием к любовной истории, где Пушкин-поэт — лишь случайное дополнение к Пушкину-человеку, в психологическом отношении воссозданному подбором косвенных данных, истолкованием самопризнаний, а больше всего — интуитивным постижением авторов.

Не отрицая значения лирических моментов биографии поэта, как важного побочного материала при изучении творческой истории и тематики многих произведений Пушкина, мы должны решительно отказаться, как от полного сведения лирических мотивов его поэзии к определенным биографическим субстратам, так и от интерпретации биографии, как самодовлеющего предмета изучения, помощью поэзии.

Есть, однако, другой ряд женских имен, не включенных в „Дон-Жуанский список“ — или, по крайней мере, до сих пор не приводившихся с ним в связь, — которые в биографии Пушкина, при объективном и историческом ее построении, должны занять места, более значительные, чем большая часть имен пресловутого „списка“: это — имена женщин-друзей, которым Пушкин был многим обязан, с кем связывали его иногда очень долгие и тесные отношения. Таковы, прежде всего, Ек. Андр. Карамзина, — та, о которой вспомнил раненый поэт и призвал к своему смертному ложу, — и, в меньшей степени, ее две дочери, т. е. хозяйки салона, игравшего значительную роль в умственной жизни Пушкина; такова княгиня Вера Фед. Вяземская — близкий друг со времени жизни в Одессе, знавший интимные, грустные переживания поэта и чутко отзывавшийся на них; Тригорская соседка П. А. Осипова, много облегчившая ему долгие месяцы ссылки в Михайловском, дружеская близость с которой сохранилась у него навсегда (конечно, не в плоскости умственных интересов, в которой П. А. Осипова вряд ли могла что-либо дать поэту); блестящая, умная и образованная царскосельская фрейлина — А. О. Россет-Смирнова — центр литературно-светского кружка и постоянная участница литературных бесед Пушкина, Жуковского, позднее Гоголя, Лермонтова и других, лично, однако, вряд ли очень близкий друг Пушкину... К этим именам мы можем присоединить и еще одно — имя Елизаветы Михайловны Хитровой, рожденной Голенищевой-Кутузовой.

Об ее отношении к Пушкину было известно давно — по упоминаниям в его переписке, по письмам и отзывам его друзей. И обзор отношений, и сводка всех, сюда относящихся материалов делались не раз.¹ Но большинство биографов Пушкина, касавшихся этой темы, в недоумении останавливалось перед противоречивыми показаниями источников и, в конце концов, приходило к заключению о несущественности отношений с Хитровой для истории жизни Пушкина. Правда, в положительном смысле о ней отзывался П. Е. Щеголев, — но сделал это слишком кратко и мимоходом, не давая никакой мотивировки.² В комментариях к дневнику Пушкина Б. Л. Модзалевский дает сочувственную ее характеристику, но воздерживается от выводов в вопросе об отношении Пушкина к ней. Так же положительно характеризует ее Н. О. Лернер, указывающий, более всех других биографов (уже по открытии писем Пушкина к Хитровой), на значительную роль дружбы с нею в истории жизни Пушкина. С другой же стороны, нужно вспомнить сурово-отрицательную формулировку, данную одним из последних исследователей, касавшихся этой темы, — В. Ф. Саводником: „Пушкин не оценил в должной мере трогательной привязанности к нему этой доброй женщины, говорит он, а сама г-жа Хитрово не сумела завоевать себе его уважение; поэтому дружба их не сыграла никакой роли в личной жизни поэта и не оставила

¹ См. особенно: „Архив Раевских“, т. III, С.-Пб. 1910, стр. 9—13, комментарии Б. Л. Модзалевского (эта статья перепечатана, с добавлениями П. И. Бартенева, в „Русском Архиве“ 1911 г., кн. III, стр. 218—224); „Дневник Пушкина“ — оба издания 1923 года: Ленинградское — комментарий Б. Л. Модзалевского, стр. 195—199, Московское — комментарий В. Ф. Саводника, стр. 151—158, и по указателям; см. также статью М. А. Цявловского: „Пушкин и графиня Д. Ф. Фикельмон“ — „Голос Минувшего“ 1922, № 2, стр. 108—123; последняя по времени — статья Н. О. Лернера: „Пушкин и Е. М. Хитрово“ в „Вечерней Красной Газете“ 1926 г., 9 января, № 8 (1012). Один из самых ранних отзывов о Е. М. Хитровой — статья В. П. Буревина („Новое Время“, 18 июля 1880 г.), по поводу издания кн. П. П. Вяземским писем ее к Пушкину.

² В исследовании о „Дуэли и смерти Пушкина“ (Пгр. 1916) П. Е. Щеголев, характеризуя Нат. Ник. Пушкину и ее участие в жизни мужа, говорит: „О своей творческой, художественной деятельности Пушкин мог говорить со своими друзьями — князем Вяземским, Жуковским, с А. О. Смирновой, с Е. М. Хитрово, — с дипломатами, но с женою ему нечего было говорить об этой важнейшей стороне его жизни“... (стр. 038; ср. далее 039).

заметного следа в его биографии“ („Дневник Пушкина“. Москва. 1923, стр. 157—158; курсив наш).

Неизбежности такого заключения способствовали и характер имевшихся в распоряжении биографа материалов, и, главным образом, та окраска, которую сам поэт придавал этим отношениям. Важнейший источник — переписка Пушкина — давала не многое и — скорее отрицательного свойства: ее письма к нему показывали экзальтированное, страстное, даже болезненное чувство стареющей женщины к поэту и человеку; ответных писем его мы до сих пор не имели. Отзывы о ней в переписке Пушкина с друзьями — почти все с оттенком иронии, иногда даже неожиданно — грубой; а именно они — и совпадающие с ними по тону анекдотические отзывы в переписке других лиц и в некоторых мемуарах — заставляли до сих пор сомневаться в содержательности и серьезности этой странной дружбы, в ценности и значительности отношений к Хитровой для биографии поэта, — несмотря на то, что другие документы — посмертная характеристика ее, данная кн. Вяземским, и фрагменты ее переписки с ним — представляли с первыми явное противоречие и заставляли подозревать иную, для нас неясную сторону в характеристике этой женщины и относиться с осторожностью к оценке ее роли в Пушкинском кругу. находка публикуемых писем Пушкина разрешает противоречия и дает возможность правильнее оценить отношение к ней поэта: по прочтении их, Е. М. Хитрова из случайной тени светских гостиных Петербурга, мимолетно попавшей в литературский круг Пушкина, становится в наших глазах деятельною участницею его жизни, его работы, его чтения и „учения“. Она вступает в число друзей Пушкина — не пассивных и чуждых ему поклонников, каких было много, но друзей действенных, близких, общение с которыми было для него важно и дорого. Его письма к ней наполнены отражениями деятельного умственного общения, и этим объясняется тот значительный комментарий общего исторического и историко-литературного характера, которым издатели настоящей книги сочли необходимым их снабдить.

В противоречивом и дробном характере фактического материала, каким располагает исследователь, и в невыясненности отношения поэта к этой женщине для современных биографов Пушкина лежит и необходимость, для полного понимания

вопроса, в подробной, обнимающей по возможности весь материал, биографии Е. М. Хитровой и в подробной же характеристике ее отношений к Пушкину.

Ее жизненный путь не совсем обычен; на нем встречается несколько моментов ярких, печальных и героических, встречаются целые полосы красочные и своеобразные. Они наложили на ее душевный и умственный склад неизгладимый отпечаток. Первая половина ее зрелой жизни — приблизительно до 1826 года, протекла в разъездах по России и в жизни за границей, большую часть в далекой, желанной для русских Италии; вторая половина — с 1827 года до кончины — тесно связана с Петербургом, с его светом и двором и овеяна чувством пламенной любви к Пушкину.

Елизавета Михайловна родилась в 1783 году (месяц и число неизвестны) в семье будущего фельдмаршала и светлейшего князя Смоленского, а в то время — армейского бригадира Михаила Илларионовича Голенищева-Кутузова и его жены, Екатерины Ильиничны, рожд. Бибиковой, и была третьей из их пяти дочерей. Возвышение Кутузова, его боевая, административная и придворная карьера начались уже позднее, а национальная слава и почести пришли, когда Елизавета Михайловна была уже давно замужем. Но она, его любимая дочь, всегда считала себя наследницей всей его позднейшей славы, и на письмах своих зачастую — не совсем по праву — подписывалась „*пée princesse Koutousoff-Smolensky*“; так же всегда называли ее и за границей, и в Петербургском свете.

О ее детстве и воспитании мы ничего не знаем; можно думать, однако, что, по своему времени, она получила достаточное образование: отец ее принадлежал к числу образованных людей своего времени, мать происходила из культурной семьи Бибиковых; позднее Е. М., кроме обязательного французского языка, владела, повидимому, немецким, английским и итальянским. В царствование императора Павла, во время быстрого возвышения Кутузова и его придворных успехов, она была пожалована во фрейлины, а в начале правления Александра, 6 июня 1802 года, 19-ти лет от роду, вышла замуж за флигель-адъютанта, штабс-капитана инженерных войск, графа Фердинанда

(Федора Ивановича) Тизенгаузена. Свадьба совершилась торжественно, в придворной церкви в Павловске, в присутствии императрицы Марии Федоровны, великих князей и княжен и всего их двора.¹ Брак был заключен по любви, — но был непродолжителен. От него родились две дочери: графини Екатерина (род. ок. 1803 г.) и Дарья (род. 14 октября 1804 г.), последняя — позднее графиня Фикельмон.

Письма фельдмаршала Кутузова к Елизавете Михайловне, а также несколько трогательных записочек его на французском и немецком языках, написанных старательно крупным почерком к ее маленьким дочерям, — остались почти единственным памятником ее жизни за последующее десятилетие (1803—1813): они сохранились в бумагах старшей дочери, гр. Е. Ф. Тизенгаузен, и напечатаны почти полностью в „Русской Старине“ 1874 года (том X, июнь, стр. 337—378). Очень личные, даже интимно-семейные по содержанию, они далеки от великих событий тех лет, в которых принимал участие Кутузов; но в каждом слове сквозит его нежность к любимой дочери, а также — расположение к зятю, в котором Кутузов, отец пяти дочерей, видел себе сына; в самом раннем из дошедших до нас писем, вероятно, связанном с рождением ее старшей дочери, Екатерины, в 1803 году, он писал Елизавете Михайловне: „Итак, ты — мать, дорогая Лиза; люби своих детей, как я люблю моих — этого довольно. Благослови боже тебя и твою малютку. Темные у нее волосы или белокурые? Умница ли она? и главное, послушная ли? (Vous voilà mère, ma chère Lise. Aimez vos enfants, comme j'aime les miens, et cela suffit. Dieu vous bénisse et votre petite. Est-elle brune ou blonde? Est-elle spirituelle? Mais surtout est-elle sage?). . . . Любезного Фердинанда благодарю за приписку или, лучше сказать, за большое письмо. Благодарю за комплименты, которые он Лизаньке делает. . . . Ежели бы быть у меня сыну, то не хотел бы иметь другого, как Фердинанда. . . .“

Осенью 1805 года граф Ф. И. Тизенгаузен принял участие в первой войне императора Александра с Наполеоном. Его жена, оставив в России двух маленьких дочерей, отправилась в Австрию и издала следовала за армией. 20 ноября (2 декабря) произошло Аустерлицкое сражение. В нем гр. Тизенгаузен нахо-

¹ „Камер-фурьерский журнал“ за 1802 год, С.-Пб. 1902, стр. 331 и 660.

дился при своем тесте, на Праценских высотах, бывших ключем позиций союзников и избранных Наполеоном центральным пунктом атаки. Русские войска отступали; Кутузов был ранен, Милорадович тщетно пытался собрать расстроженные полки; еще державшиеся части вели отчаянный бой за обладание высотами: в этот момент (по рассказу первого, официозного историка войны) „любимый зять Кутузова — флигель-адъютант граф Тизенгаузен со знаменем в руках повел вперед один расстроженный батальон—и пал, пронзенный насквозь пулей“.¹ Нам неизвестны подробности подвига и гибели гр. Тизенгаузена: неясно даже, был ли он убит на месте, или умер позднее от полученных ран. Праценская гора, на которой он пал, была тотчас вслед за этим занята французами и, раненый или мертвый, он остался у неприятеля. О месте его могилы и о том, знала ли его Елизавета Михайловна, — нет также никаких данных.

Любопытно отметить, что этот эпизод Аустерлицкого боя послужил впоследствии материалом Л. Н. Толстому для создания сцены ранения князя Андрея Болконского, в I-ом томе „Войны и Мира“.²

Смерть Ф. И. Тизенгаузена отразилась в нескольких письмах Кутузова к своей жене и к дочери-вдове, к сожалению, очень кратких и не заключающих фактических данных. Елизавета Михайловна была в это время в Тешене, в близком тылу отступавшей русской армии. Кутузов послал к ней другого своего зятя — Опочинина, „чтобы ее отвезти в Россию“, и писал жене через месяц после боя: „Не знаю, мой друг, как тыладишь с бедной Лизанькой. Ей здесь не сказали об кончине Фердинанда. Дай бог ей и тебе силу“.³ А самой Елизавете Михайловне,

¹ А. И. Михайловский-Данилевский, „Описание первой войны императора Александра с Наполеоном, в 1805 году“, С.-Пб. 1844, стр. 184.

² На это указывает и автор статьи „Источники романа Война и Мир“— К. Покровский: „Из русских писателей, говорит он [которыми пользовался Толстой], можно указать: Михайловского-Данилевского „Описание первой войны“... заимствовано:... Милорадович; князь Болконский со знаменем; атака кавалергардов. .“ и т. д. („Война и Мир“, сборник под ред. В. П. Обнинского и Т. И. Полнера. Изд-во „Задруга“, М. 1912, стр. 117—118). За указание статьи К. Покровского приносим искреннюю благодарность А. Е. Грузинскому. Были ли при этом у Толстого какие-либо другие источники, кроме Михайловского-Данилевского, — нам неизвестно.

³ „Русская Старина“ 1871 г., т. III, стр. 54—55.

не говоря прямо о смерти мужа, писал (быть может, эта записка послана именно с Опочининым): „Лизанька, мой друг сердечный, у тебя детки маленькие, я лучший твой друг и матушка; побереги себя для нас. Жаль очень, что я не могу с тобою сейчас видаться. Я пойду с армией по другой дороге через Венгрию, куда тебе никак в теперешнее время доехать нельзя. Поезжай поскорее к своим деткам и к матушке, и я скоро к вам приеду. Боже тебя благослови и подкрепи“. И в другом письме, несколько позднейшем (15 января 1806 г., из Бродов): „Милый друг Лизанька, я еду по твоим следам. . . Слышу, что ты поехала в Ревель. Жаль, душенька, что там будешь много плакать. Сделаем лучше так: без меня не плакать никогда, а со мною вместе. . .“¹

Годы вдовства Елизаветы Михайловны известны нам лишь по письмам М. И. Кутузова к ней и к другим членам семьи. В них улавливается ее постоянная неудовлетворенность, тяжелое душевное настроение, болезненная нервность, тоска и слезы. „Всего мне тяжелее, что так грустишь“, — пишет Кутузов дочери в 1806 году, из Киева; „скажите моей Лизаньке, читаем в письме к другим дочерям из Вильны, 1810 года, — что я ей не пишу, боясь ее расстроить; и, по правде сказать, письмо мое может придти в такой момент, когда ей нужно спокойствие, а если она захочет его прочесть, — ей захочется плакать“. . .² — Она

¹ О гибели Ф. И. Тизенгаузена говорят и писания первых биографов Кутузова и собирателей преданий о нем, в виде иллюстрации „чувствительности“ и вместе с тем твердости духа фельдмаршала: в „Русских анекдотах военных и гражданских. . . изданных С. Глилкою“ (часть V, М. 1822, стр. 96) приводится, под заглавием „Чувствительность Кутузова“, рассказ о том, как „в сражении под Аустерлицом ранен смертельно Кутузова зять Тизенгаузен, прекрасный молодой человек. Движимый духом мужества, он стремился в самые опасные места; пуля пробила ему грудь — он упал с лошади“. . . Кутузов, занятый командованием, не выказал никакого впечатления и сохранил спокойствие; но „на-завтра приближенные застали (его) в безмерной скорби; слезы текли ручьями; он рыдал неутешно“. И, на удивление их такой перемене настроения, он ответил: „Вчера я был начальник, — сегодня — отец“. Тот же рассказ, с тем же заглавием, но в несколько иной редакции, еще ранее был помещен в анонимной книге: „Анекдоты или достопамятные сказания о его светлости ген.-фельдм. князе М. А. Голенищеве-Кутузове-Смоленском, начиная с первых лет его службы до кончины, с приобщением некоторых его писем, достопамятных речей и приказов“. Часть I, С.-Пб. 1814, стр. 76.

² „Русская Старина“ 1874, июнь, стр. 339 и 350.

ездила то на морские купания в Ревель, то в Крым, то к отцу, командовавшему армиею на Дунае: в мае 1811 года она жила в Бухаресте, в его главной квартире.¹ Там встретил ее А. Я. Булгаков и писал брату: „У нас здесь несколько дней находится г-жа Тизенгаузен, дочь генерала. Я был немного с нею знаком в 1805 г. в Тешене, когда она потеряла своего мужа. Это — очень любезная женщина. Она настроена романтически, только что совершила путешествие в Крым и очарована этою странюю“.² „Романтическое“ настроение нужно понимать, конечно, как меланхолическое прежде всего.

Летом того же 1811 года Е. М. вышла вторично замуж — за генерал-майора Николая Федоровича Хитрова. Этот брак не был, кажется, ни таким блестящим, ни таким близким по сердцу Кутузову, как первый. Сведения о Н. Ф. Хитрове скудны и неопределенны и скорее говорят не в его пользу. Сама Елизавета Михайловна перед свадьбою опасалась противодействия своего отца, и Кутузову пришлось уверять ее в противном: „С каких пор, дорогое мое дитя, считаешь ты меня тираном своих детей?“ — писал он ей 13 августа 1811 г., из Бухареста: „Как ты могла считать меня способным сказать: не делай этого и оставь себя несчастной? и что мог бы я возразить против брака с г. Хитровым? Я долго соображал, кто же мой зять, и наконец разыскал его в своей памяти: молодой человек, статный, немножко хилый, очень умный и очень порядочный человек, впрочем насмешник. Я хорошо представляю себе г. Хитрова, и если когда-нибудь вернусь к вам, то отлично уживусь с ним. Если у тебя есть обычай его целовать, сделай это от меня. Да почему он мне не напишет? — Итак, теперь ты замужем. . . . (Depuis quand, ma chère enfant, me croyez vous le tyran de mes enfans? Comment m'avez vous cru capable de dire: ne faites pas telle chose et restez malheureuse? et qu'est ce que j'ai à dire contre un mariage avec monsieur Хитровъ? . . . J'ai longtemps cherché qui est mon beau-fils, et enfin je l'ai trouvé dans ma mémoire: un garçon bien tourné, un peu grêle, beaucoup d'esprit et fort honnête homme, railleur à part. Je connais beaucoup monsieur Хитровъ et si jamais je retourne parmi vous, je vivrai beau-

¹ „Русская Старина“ 1872, т. X, стр. 263.

² „Русский Архив“ 1905, кн. 3, стр. 222.

coup avec lui. Si vous êtes dans l'habitude de l'embrasser, faites le de ma part. Et pourquoi ne m'écrit-il pas? — A présent vous êtes mariée...).

Так — осторожно и сдержанно — писал о нем Кутузов. Другие данные не более его характеризуют: составитель „Родословной книги рода Хитрово“ (С-Пб. 1866, стр. 208) знает о нем почти только то, что в последние годы XVIII века против него было возбуждено дело по обвинению в жестоком обращении с крепостными; чем оно кончилось — неизвестно, но самое возбуждение такого дела по тем временам — факт довольно редкий.¹ Князь П. А. Вяземский² помнил о нем, что он был „что то вроде Дон-Джовани“ и „на проделки в этом роде был не очень совестлив“; что, в конце XVIII века, он принадлежал к „вовсе не тайному, а дружескому и несколько разгульному обществу под именем „Галера“, но „впрочем, был умен, блистателен и любезен; товарищи и молодежь очень любили его. Он был образован и в своем роде литературен“, дружил с Василием Львовичем и Алексеем Михайловичем Пушкиными, был любим вел. князем Константином Павловичем, „который умел ценить ум и светскую любезность“ его и пользовался благоволением Александра I. — В войне 1812 года он не принимал участия — по слабости здоровья: „Что поделявает Хитров со своим несчастным здоровьем (Que fait X. avec sa pauvre santé)?“ спрашивал, не без скрытой иронии, Кутузов у Елизаветы Михайловны 2 октября 1812 г. Вслед за окончанием Наполеоновских войн, в 1815 году, он был назначен русским поверенным в делах во Флоренции, занимал этот пост около двух лет и скоро (19 мая 1819 г.) там же и умер (погребен он в русской церкви в Ливурно), „оставив жену в прежалком положении, с долгами и без копейки. Смерть его была очень мучительна“.³

¹ Относящееся к этому делу письмо Екатерины II к Н. П. Архарову от 11 мая 1794 года, о производстве следствия над помещиком, поручиком Преображенского полка Н. Ф. Хитровым, по злоупотреблениям своими крепостными, — см. в „Русском Архиве“ 1864 г., стр. 908—909.

² „Старая записная книжка“ — „Русский Архив“ 1877, кн. I, стр. 512—513; Сочинения, т. VIII, стр. 492—493.

³ Письмо А. Я. Булгакова к брату — „Русский Архив“ 1900, кн. III, стр. 206. По замечанию П. И. Бартенева („Русский Архив“ 1911, кн. III, сентябрь, 1-ая обложка), Ник. Фед. Хитров — „тот самый (кажется) который был

Жизнь с Н. Ф. Хитровым, вероятно, не была очень счастлива для Елизаветы Михайловны. Но его дипломатическая служба в Италии имела для нее важные последствия: она определила ее дальнейшую жизнь на много лет, создала ей связи и круг знакомств, повлияла и на судьбу младшей дочери и способствовала усвоению того европейского духа, который отличал и позднее ее кружок в Петербурге.

После смерти мужа Е. М. Хитрова, вместе с дочерьми, осталась жить за границей, большею частью в Италии, иногда

несколько замешан по делу Сперанского и потерпел непродолжительную ссылку (в 1812 г.)". С этим согласуются, как будто, данные Записок Е. Ф. фон-Брадке („Русский Архив“ 1875, кн. I, стр. 22—24), по которым в Вятке, около 1811 года, находились генерал Хитров и его жена, рожд. Кутузова, — что заставило и Б. Л. Модзалевского отнести довольно отрицательную характеристику г-жи Хитрово, даваемую фон-Брадке, к Елизавете Михайловне („Дневник Пушкина“, Пгр. 1923, стр. 195). Здесь, однако, кроется недоразумение: ссылку в Вятку, в 1811 году, потерпел не Н. Ф. Хитров, муж Елиз. М-ны, но Ник. Зах. Хитров, муж другой сестры — Анны Мих. Кутузовой. В марте 1811 года М. Ил. Кутузов писал Елиз. Мих-не (перевод): „Поговорим об Аннушке. Я тебе скажу, что я совсем не огорчаюсь тем, что случилось с Х[итровым], и к счастью, что Аннушка не из строгих, Х[итров] недостойный человек: с ним давно это должно было случиться. Если я теперь ничего не в состоянии для него сделать, то, может быть, удастся впоследствии“ („Русская Старина“ 1874, т. X, стр. 359). Неизвестный же автор „Заметок и воспоминаний по поводу труда Д. Н. Бантыша-Каменского «Словарь достопамятных людей»... 1847 г. и некоторых других изданий“, изданных по рукописи из собрания С. Д. Полторацкого в „Русской Старине“ 1892 г. (т. XXIV, май, стр. 234) рассказывает о том, что Н. З. Хитров, муж Анны М. Кутузовой, перед началом Отечественной войны был внезапно удален из Петербурга в Вятку, где пробыл около года. „Носились слухи, что им передана была французскому послу Коленкуру не даром, — а я думаю скорее из болтливости, к чему он был склонен, — важная тайна, до приготавливающейся войны касающаяся“. В начале 1812 г. он был переведен, по просьбе его, в свое имение Калужской губ., под надзор полиции, где жил до 1822 г.; затем переехал в Москву и умер там в 1826 году. В Калуге, позднее, автор заметок знал и его вдову, А. М. Хитрову - Кутузову. Таким образом, неслетная характеристика, данная г-же Хитровой фон-Брадке, к Елиз. М-не никак не относится. Кстати будет здесь исправить и ошибку, допущенную редактором Академического издания Сочинений Лермонтова, в биографии поэта (т. V, стр. LXXI): основываясь на воспоминаниях В. П. Бурнашева („Русский Архив“ 1872 г., кн. III, стр. 1832—1833), биограф указывает на Е. М. Хитрову, как на виновницу ссылки Лермонтова из-за стихов на смерть Пушкина. Не говоря уже о сомнительности сведений Бурнашева, речь у него идет, конечно, не о Елизавете, а об Анне Михайловне Хитровой, ее сестре и однофамилице (ср. у П. А. Висковатова, „М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество“, М. 1891, стр. 224).

в Вене или в Германии, вплоть до 1826 или 1827 года, лишь однажды за это время побывав не надолго в России. В 1821 году, 3 июня, младшая дочь ее, Дарья Федоровна, или Долли, вышла замуж за австрийского генерала графа Карла-Людвига Фикельмона, вскоре после того назначенного посланником во Флоренцию, а затем в Неаполь.¹ Этот брак еще упрочил светское положение Елизаветы Михайловны и вместе с тем заставил ее избрать Неаполь почти постоянным местом пребывания. Сохранившаяся в архиве ее дочери, гр. Е. Ф. Тизенгаузен, часть ее заграничной переписки — переплетенный томик писем к ней и к ее дочерям за 1821—1825 годы, — при всей ограниченности материала, достаточно рисует ее жизнь, ее отношения и отношение к ней в эти годы.² Письма эти в большинстве от членов королевских и владетельных домов Германии, Австрии и Италии. Почтительный и дружественный их тон, нежный и даже восторженный у женщин-корреспонденток и всюду — титулование „Madame la Comtesse de Nitroff“ — дают представление об отношениях, создавшихся вокруг этих трех женщин, привлекательных и незаурядных — даже на высокую европейскую мерку. Привлекала, прежде всего, красота обеих графинь — „les Infantes“, „Donna Catherina et la Contesse Dolline“, как называл их в письмах герцог Леопольд Саксен-Кобургский (впоследствии король Бельгийский). Ослепительную красоту графини Долли отмечают все, кто с нею встречался. Ее вспоминал много лет спустя один русский путешественник, пораженный ею, когда, десятилетним мальчиком, видел ее в 1817 году во Флоренции.³ О ней писал и другой молодой русский дипломат, князь Долгоруков, проез-

¹ Подробные сведения о нем см. в примечаниях к „Дневнику Пушкина“ — Б. Л. Модзалевского (Пгр. 1923, стр. 36—38) и В. Ф. Саводника (М. 1923, стр. 100—104), а также в указанной статье М. А. Цявловского („Голос Минувшего“ 1922, № 2).

² Ныне этот том писем находится в Ленинградском Отд. Централрхива, в б. I Отделении Экономической Секции, вместе с некоторыми другими бумагами и с перепиской Е. М. Хитровой и Е. Ф. Тизенгаузен; архив последней входит в состав архива кн. Юсуповых гр. Сумароковых-Эльстон. Там же письма Кутузова к Е. М. Хитровой и др. документы, здесь упоминаемые.

³ Записки графа М. Д. Бутурлина — „Русский Архив“ 1897, кн. I, апрель, стр. 588. Записки эти представляют ценный материал для характеристики русской колонии в Италии, около 1820 года.

жавший через Неаполь в 1822 году.¹ Многие в эти годы искали руки обеих сестер; Долли вышла замуж, как сказано, в 1821 году, 17-ти лет, за человека умного и достойного, но на 27 лет старше ее и на шесть лет старше ее матери: это был, вероятно, брак по рассудку, а не по любви с ее стороны, и, быть может, расстроенные денежные обстоятельства играли в нем не последнюю роль... Ум и чувство графа Фикельмона сумели сделать этот брак, насколько возможно, прочным и даже, повидимому, счастливым. Как раз около времени свадьбы Долли — летом того же года — в письмах мелькает след какого то романа старшей дочери — Екатерины Федоровны: у нее был жених — граф Август Брауншвейгский (вероятно один из двух братьев, позднее герцогов), но дело кончилось разрывом и почин в разрыве исходил всецело с ее стороны. Прощальное письмо его к матери бывшей невесты, Е. М. Хитровой, от 17 августа 1821 г., — нежно и сдержанно-грустно. Позднее, в 1824 году, в Вене, граф М. Д. Бутурлин считал вероятным женихом графини Тизенгаузен одного из членов русского посольства — Обрезкова.² Наконец, и передаваемый А. О. Смирновой слух о том, что за графиню Е. Ф. Тизенгаузен „будто сватался Прусский король“,³ получает в этой связке писем некоторое — впрочем не вполне определенное — подтверждение. По крайней мере, сохранившиеся два-три письма

¹ Письма князя Д. И. Долгорукова к отцу — „Русский Архив“ 1914, кн. II, стр. 22 и 26: „В Неаполе, пишет он, мало русских. Первое место занимает Хитрова, рожденная Кутузова-Смоленская“. И дальше: „Антонина [сестра Долгорукова?] с фонарем в руках изучающая все закоулки моего сердца, должна знать, что оно совершенно свободно, что г-жа Фикельмон прекрасна, ее сестра очень хороша собой и... я совсем не влюблен“. — Интересную характеристику Д. Ф. Фикельмон (тогда еще Тизенгаузен), оставил французский путешественник L. Simond, в ноябре 1817 года бывший во Флоренции: он любовался на одном балу ее красотой, ее скромностью, ее послушанием матери, выделявшими ее из ряда других бывших там девиц, итальянок и англичанок (L. Simond, „Voyage en Italie et en Sicile“, Paris. 1828, t. I, p. 122—123). Этот отзыв сообщает А. И. Тургенев в письме к П. А. Вяземскому из Флоренции от 14 ноября 1832 г. („Архив братьев Тургеневых“, вып. 6, Пгр. 1921, стр. 119 и 123). — Упоминания о жизни Е. М. Хитровой и ее семьи во Флоренции в 1817 году находим также в письмах Н. В. Давыдовой к отцу, графу В. Г. Орлову („Биографический очерк графа В. Г. Орлова, сост. гр. В. Орловым-Давыдовым“, С.-Пб. 1878, т. II, стр. 222, 227—228).

² „Русский Архив“ 1897, кн. II, стр. 6.

³ Из записок А. О. Смирновой — „Русский Архив“ 1895, кн. II, стр. 190.

короля Фридриха-Вильгельма к Ек. Фед. Тизенгаузен отличаются очень лирическим тоном, а в последнем из них, от 17 декабря 1824 г., и в написанном одновременно другом письме к самой Е. М. Хитровой, Фридрих-Вильгельм, как бы прося прощения, дает объяснения о своем браке с гр. Августой Гаррах (о котором он объявлял в другом, не дошедшем до нас письме) и выражает надежду, что свадьба не порвет отношений между ними. Так писать мог только очень близкий человек, брак которого с другой женщиной являлся как бы изменою. . Романическая сторона занимает, однако, в этих письмах далеко не первое место. Семья Е. М. Хитровой — мать, умевшая, по словам своего позднейшего биографа, сделаться „скорее сотоварищем и другом своих дочерей, чем матерью“¹, и эти две дочери — являлась в Неаполе видным общественным центром, светским и, вероятно, также политическим. Елизавета Михайловна занимала первое место среди русских, живших в то время в Неаполе — по отзыву одного молодого русского путешественника, кн. Долгорукова, цитированному выше. Приезжавшие туда русские собирались у нее; покровительствовала она и русским художникам, жившим в Неаполе.²

Дипломатическое родство способствовало знакомству ее с разными дворами Европы, и каждый, кто бывал в Неаполе, бывал в ее салоне и долго потом вспоминал общество Е. М. Хитровой и ее дочерей. Примечательны письма к ним русского посла в Вене, известного дипломата Д. П. Татищева. Они содержат не только светские сообщения, но и литературные суждения: одно из писем посвящено „Дон-Карлосу“ Шиллера, — вопросу о сопоставлении героя, созданного творческим воображением поэта, с историческим лицом, далеким от всякой поэтичности, — несомненный отголосок ведшихся в салоне Хитровой разговоров.

¹ „Devenue pour ainsi dire la compagne, l'amie de ses filles plutôt que leur mère“ — некролог Ел. Мих. Хитровой в „Journal de St. Pétersbourg“, 9/21 Mai 1839, № 55.

² Так, А. П. Брюллов писал родителям, из Неаполя, 19 апреля 1825 г.: „Одна русская, г-жа Хитрова, быв у королевы, случайным образом разговорилась о моих портретах: ее величество пожелала их видеть, — и мне предложили сделать портреты королевской фамилии“, что создало Брюллову в Неаполе славу портретиста и заставило прожить в нем дольше, чем он предполагал („Русская Старина“ 1900, июнь, приложение, стр. 74).

Интересны и письма помянутого герцога Леопольда, будущего короля Бельгийского, который, проведя с ними несколько месяцев в Неаполе и уезжая оттуда на родину в июне 1822 года, описывал подробно свое путешествие, свое пребывание при разных европейских дворах — и постоянно возвращался мыслью к оставленным им в Неаполе друзьям, как к людям душевно близким, дорогим и нужным; и тон, и самые размеры этих писем не позволяют сомневаться в их искренности. . .

В июне 1823 года Е. М. Хитрова, вместе с обеими дочерьми, выехала из Италии, через Берлин, в Россию. Причиной поездки было не только желание увидеть родину, где они не были, как кажется, около 8-ми лет; она вызывалась и вполне реальными соображениями: необходимо было поправить имущественные дела, сильно расстроенные еще с тех пор, как был жив Н. Ф. Хитров, и возобновить связи со двором и с Петербургским светом.¹ Поездка, длившаяся несколько месяцев, обратилась в ряд успехов обеих красавиц-графинь. В Берлине их — „по заслугам и много“ — чествовал Прусский король, „и — писал им по этому поводу Леопольд — я мог очень легко представить себе, даже на таком большом расстоянии, как держала себя, в этих обстоятельствах, каждая из моих милых приятельниц (J'ai ouï dire... que vous avez été dument et beaucoup fetées de sa Majesté Prussienne et j'ai très facilement pu me figurer même à cette grande distance les manières individuelles de mes aimables amies, dans ces circonstances)“. В России их появление произвело в обществе сильное впечатление, в особенности блистательная красота графини Фикельмон. Есть данные, говорящие о некотором увлечении ею императора Александра, который оказывал 20-летней графине большое внимание... Случайный наблюдатель, едва вступавший в тот высший круг, где вращалась Е. М. Хитрова и ее дочери, — адъютант герцога Виртембергского и литератор, впоследствии декабрист и ссыльный, — Александр Бестужев писал своим родным: „Брат описывал вам Петергофский праздник, — я прибавлю только, что он был весьма скупен, что там на рейде

¹ Старшая дочь, гр. Е. Ф. Тизенгаузен, была фрейлиной имп. Елизаветы Алексеевны еще с февраля 1813 года: ей не исполнилось и 10 лет, когда ее пожаловал в это звание имп. Александр в награду Кутузову за заключение союза с Пруссией, зная, что она — его любимая внучка.

был Англинской фрегат, и что нас забавили много заморские моряки, что там первая красавица была графиня Фикельмон, дочь Хитровой и внучка Кутузовой — в самом деле прекрасная женщина“.¹ Тонкий ценитель ума и изящества, князь П. А. Вяземский писал из Москвы А. И. Тургеневу, 1 октября 1823 г.: „И нашу старушку [Москву] вскружила Фикельмон; все бегают за ней; в саду дамы и мужчины толпятся вокруг нее; [кн. Д. В.] Голицын празднует. Впрочем она в обращении очень мила“...² — и тут же прибавляет колкий анекдот о матери красавицы, Елизавете Михайловне.

Менее полугода пробыв в России и с помощью императора Александра поправив несколько свои денежные дела, Е. М. Хитрова в начале 1824 года была уже снова за границей, в Вене, и лишь через два или три года вернулась окончательно на родину, со старшей своей дочерью, графиней Е. Ф. Тизенгаузен.³

¹ „Памяти декабристов“ сборник, изд. Академии Наук СССР, вып. I, 1926, стр. 40 (письмо от 3 сент. 1823 г.).

² „Остафьевский Архив“, т. II, стр. 355.

³ Вместе с собою Е. М. Хитрова привезла в Россию воспитанника, семилетнего мальчика, Феликса Николаевича Эльстона, — будущего графа Сумарокова. Мальчик взят был ею на воспитание в Вене, в 1825 году, а родился в Венгрии, в 1820; мать его была графиня Форгач, рожденная гр. Андраши. Она давно не жила с мужем; по весьма вероятному преданию, которого мы не могли проверить, отцом ребенка был принц Вильгельм Прусский, будущий император Вильгельм I Германский. Чем вызвана была передача мальчика от матери к Е. М. Хитровой — расстроеными ли материальными обстоятельствами графини Форгач, требованиями ее родных или чем иным — мы не знаем. Но очень вероятно, что выбор Е. М. Хитровой в качестве воспитательницы был подсказан отцом принца Вильгельма — королем Фридрихом-Вильгельмом Прусским, близким, как выше указывалось, к семейству Хитровой. Ф. Н. Эльстон жил у Е. М. Хитровой до самой ее смерти и, повидимому, очень к ней привязался; с матерью он не видался ни разу. По смерти Елиз. М. — ны заботы о нем перешли к ее дочери, гр. Е. Ф. Тизенгаузен, которая сохранила близость с ним и его семьей до своей кончины в 1888 году. В 1856 году, путем брака с гр. Е. С. Сумароковой, Ф. Н. Эльстон приобрел ее титул и фамилию. Сын же его, гр. Феликс Феликсович, женившись в 1888 году на последней в роде княжне Э. Н. Юсуповой, стал князем Юсуповым графом Сумароковым-Эльстон. Отсюда понятно, почему в Юсуповский архив попали бумаги Е. М. Хитровой и Е. Ф. Тизенгаузен, — в том числе издаваемые ныне письма Пушкина, переданные гр. Ф. Ф. Сумарокову-Эльстон графиней Тизенгаузен. Среди этих бумаг находятся письма гр. Форгач к своему сыну (1848—1849 гг.) и письма его к гр. Е. Ф. Тизенгаузен (с 1840 по 1860-е годы). Эти документы совершенно

Трудно точно определить время их приезда и поселения в Петербурге. Возможно, что он был вызван коронацией императора Николая, в августе 1826 года; осторожнее его отнести к 1827 году.¹ Как бы то ни было, скоро по приезде установилась та Петербургская жизнь Елизаветы Михайловны, о которой мы знаем по многим рассказам ее современников. С конца 1820-х годов она заняла весьма определенное место в кругу Петербургского света. Место это приобрело еще большее значение, когда в январе 1829 года граф Фикельмон был назначен Австрийским послом в Петербурге. В первые годы Е. М. Хитрова и гр. Тизенгаузен жили отдельно, что видно, хотя бы, по адресам на Пушкинских письмах; позднее Елизавета Михайловна поселилась в Австрийском посольстве, на Английской набережной, вместе с „посланицей“ (l'ambassadrice), — как друзья обычно называли Долли,² и салон их окончательно приобрел славу светского, политического и литературного центра, европейского par excellence; другом семьи Хитровой-Фикельмон и постоянным гостем их салона сделался Пушкин.

Хронология их знакомства опять-таки не ясна. Во всяком случае, оно не могло состояться раньше первого приезда поэта в Петербург, после возвращения из Михайловской ссылки, т. е.

разрушают существовавшую легенду о том, что гр. Е. Ф. Тизенгаузен была матерью Ф. Н. Эльстона, а отцом его был вел. кн. Михаил Павлович. В Пушкинском Доме имеется (в копии, сообщенной Маргаритой Ивановной Соловьевой) отрывок неизданных мемуаров гр. Ф. Ф. Сумарокова-Эльстон (подлинник хранился в Крымском имении Юсуповых — Коренизе), где он рассказывает о своем происхождении и детстве. Рассказ вполне подтверждает изложенные выше факты, но не раскрывает имени отца.

¹ А. О. Смирнова, в отрывке из Записок, напечатанном, как кажется, без редакторского участия ее дочери („Русский Архив“ 1895, кн. II, стр. 190—191), описывая Петербург после смерти императрицы Марии Федоровны (12 ноября 1828), говорит: „К концу года Петербург проснулся: начали давать маленькие вечера. Первый танцевальный был у Элизы Хитровой. Она приехала из-за границы с дочерью графиней Тизенгаузен“ и т. д. Этой фразой как бы указывается на недавний приезд Е. М. Хитровой; но письма Пушкина показывают, что уже в январе этого, 1828 года, они были коротко знакомы — и, следовательно, приезд Хитровой из-за границы приходится отнести к гораздо более раннему времени.

² В 1830-х годах гр. Е. Ф. Тизенгаузен, по должности фрейлины имп. Александры Федоровны, жила в Зимнем дворце или в других резиденциях.

раньше конца мая 1827 года,¹ — если только Е. М. Хитрова не присутствовала на коронации в Москве и не познакомилась с Пушкиным тогда же, — что мало вероятно. Первое, известное до сих пор в литературе упоминание о знакомстве Пушкина с Хитровой относилось к концу 1828 года: в описании „танцевального вечера у Элизы Хитровой“ А. О. Смирнова упоминает и Пушкина, который „был на этом вечере и стоял в уголке за другими кавалерами“; но Пушкин, проведя лето и осень в Петербурге, уехал оттуда 19 октября и не возвращался до января следующего года: вечер у Хитровой тем самым, относится уже к началу 1829 года. Это, конечно, не начало знакомства. Самую раннюю, точно устанавливаемую дату дает письмо к ней Пушкина (II): конец января — начало февраля 1828 г. Но не будет произвольным сказать, что они познакомились в начале лета 1827 года.

Прежде, однако, чем перейти к очерку их знакомства и дружбы, необходимо напомнить те подробности Петербургской жизни Елизаветы Михайловны Хитровой, какие сохранились в описаниях ее современников. Они много раз уже цитировались, но незаменимы по своей выпуклости и яркости. Из них видно, что ее жизнь, ее круг и интересы, характер и привычки ее, как хозяйки салона, носили особый колорит, установившийся рано и потом, особенно с приезда Долли Фикельмон, не менявшийся вплоть до кончины Елизаветы Михайловны.

Исключительно-ценное по сжатости, яркости и полноте описание оставил в своей „Старой Записной Книжке“ князь П. А. Вяземский. Со свойственной ему живостью и острою характеристике, он сумел уловить основные черты салона Хитровой-Фикельмон: привлекательную мягкость, живость и разнообразие интересов обеих хозяек и высокую культурность, подлинный европеизм всего их окружения, — европеизм, вынесенный из долгого пребывания за границей, в самых культурных кругах высшего европейского общества; он отметил и душевные свойства Елизаветы Михайловны, для большинства мало заметные, но ближайшим друзьям хорошо известные.

Перебирая круги и типы старого Петербурга, Вяземский говорит о Елизавете Михайловне Хитровой: „Вот еще любезная

¹ Пушкин впервые выехал в Петербург из Москвы в ночь с 19 на 20 мая 1827 г. (Н. О. Лернер, „Труды и дни Пушкина“, С.-Пб. 1910, стр. 156).

личность, которой миновать не может сочувственное воспоминание. В летописях Петербургского общества имя ее осталось так же незаменимо, как оно было привлекательно в течение многих лет. Утра ее (впрочем продолжавшиеся от часу до четырех пополудни) и вечера дочери ее, графини Фикельмон, неизгладимо врезаны в памяти тех, которые имели счастье в них участвовать. Вся животрепещущая жизнь Европейская и Русская, политическая, литературная и общественная, имела верные отголоски в этих двух родственных салонах. Не нужно было читать газеты, как у Афинян, которые также не нуждались в газетах, а жили, учились, мудрствовали и умственно наслаждались в портиках и на площади. Так и в этих двух салонах можно было запастись сведениями о всех вопросах дня, начиная от политической брошюры и парламентской речи французского или английского оратора и кончая романом или драматическим творением одного из любимцев той литературной эпохи. Было тут обозрение и текущих событий; был и premier Pétersbourg (передовая статья) с суждениями своими, а иногда и осуждениями, был и легкий фелетон, нравоописательный и живописный. А что всего лучше, эта всемирная, изустная, разговорная газета издавалась по направлению и под редакцией двух любезных и милых женщин. Подобных издателей не скоро найдешь! А какая была непринужденность, терпимость, вежливая, и себя, и других уважающая свобода в этих разнообразных и разноречивых разговорах. Даже при выражении спорных мнений не было и слишком кипучих прений; это был мирный обмен мыслей, воззрений, оценок, — система: free trade, приложенная к разговору¹.

Сходится с Вяземским и гр. В. А. Соллогуб в общей оценке значения „салона“ Елизаветы Михайловны, хотя его характеристика, в соответствии с общим тоном Записок, гораздо более поверхностна и потому менее интересна: „Самой оживленной, самой „эклектической“, чтобы выразиться модным словом, Петербургской гостиной была гостиная Елизаветы Михайловны Хитрово, рожденной Кутузовой... Е. М. даже не отличалась особенным умом, но обладала в высшей степени светскостью, приветливостью самой изысканной и той особенной, всепрощаю-

¹ „Русский Архив“ 1877, кв. I, стр. 513; Собрание сочинений, т. VIII, стр. 493.

щей добротой, которая только встречается в настоящих больших барынях. В ее салоне, кроме представителей большого света, ежедневно можно было встретить Жуковского, Пушкина, Гоголя, Нелединского-Мелецкого и двух-трех других тогдашних модных литераторов“...¹ Словом „эклектизм“ Соллогуб выражает то же, что, гораздо точнее, в другом месте говорит П. А. Вяземский о салоне графини Фикельмон, — не отличавшемся от салона Е. М. Хитровой, — называя его „европейско-русским“ и говоря, что „в нем и дипломаты, и Пушкин были дома“.² Не малую роль в образовании такого рода салона играл сам посланник — граф Фикельмон; большое значение имела и красота и обаятельность его жены; но все же центром дружеского круга была, по справедливости, Елизавета Михайловна.

Портрет ее, с ныне неизвестно где находящегося акварельного оригинала работы Гау, приложенный к нашему изданию, относится, вероятно, к концу 20-х — началу 30-х годов и дает верное представление о ее наружности. „Она никогда не была красавицей“ говорит о ней гр. В. А. Соллогуб; „госпожа Хитрова была очень похожа на фельдмаршала Кутузова (*Madame Hytloff ressemblait beaucoup au maréchal Koutousoff*)“, замечает автор ее некролога;³ то же подтверждает П. И. Бартенев, видевший у гр. Е. Ф. Тизенгаузен портрет Елизаветы Михайловны:⁴ женщина „собою невзрачная, полная, жирная и походившая лицом на отца-фельдмаршала“.⁵ А. О. Смирнова-Россет так описывает ее на балу: „Элиза гнусила, была в белом платье, очень декольтэ; ее пухленькие плечи вылезали из платья; на указательном пальце она носила Георгиевскую ленту и часы

¹ „Воспоминания графа В. А. Соллогуба“, С.-Пб. 1887, стр. 132. Упоминание имен Гоголя и Нелединского-Мелецкого заставляет сомневаться вообще в точности рассказа гр. Соллогуба: Ю. А. Нелединский-Мелецкий умер в 1828 г., прожив последние годы в Калуге; Гоголь же, по своему характеру и положению, вряд ли мог чувствовать себя свободно и быть частым гостем в салоне Хитровой — придворно-дипломатическом прежде всего, гораздо более аристократическом, чем, напр., кружки Смирновой, Жуковского или Одоевского.

² Собрание сочинений, т. VII, стр. 226.

³ „Journal de St.-Petersbourg“ 1839, № 55, 9—21 мая.

⁴ Затрудняемся сказать, тот ли самый, с которого репродукция дана в этой книге; последний вряд-ли подходит под характеристику, даваемую Бартечевым.

⁵ „Русский Архив“ 1911, кн. III, стр. 220.

фельдмаршала Кутузова и говорила: „Il a porté cela à Borodino (Он носил их при Бородине)“.¹ Георгиевская лента на руке ясно видна на нашем портрете. Что же касается до полных, сильно открытых плеч, которые были или, скорее, считались ею самою очень красивыми, то это была одна из черт ее наружности и характера, которая давала повод друзьям, вроде Вяземского, Соллогуба, Смирновой, самого Пушкина, над нею подсмеиваться, а людям, к ней нерасположенным, — как Н. М. Смирнов, — строго ее осуждать. Со всем тем, тот же Соллогуб отмечает, что, хотя она „имела сонмище поклонников“, но „молва никогда и никого не могла назвать избранником, что в те времена была большая редкость“.

Было что-то другое — не наружное, но душевное, что к ней привлекало. „Всепрощающую ее доброту“ отмечал гр. В. А. Соллогуб в своих „Воспоминаниях“, а в посвященном ей стихотворении; напечатанном уже после ее смерти, он-же говорил о вечной юности, теплоте и живости ее души, о ее непосредственности и „неопытности“, о жажде впечатлений и о любви к жизни;² автор ее некролога особенно вспоминал о ее доброте, о потребности любить и делать добро, о действенной и разумной помощи, которую она многим оказывала, сама не будучи вовсе богатой; о том же говорила в стихотворении на смерть Е. М. Хитровой гр. Е. П. Растопчина; кн. П. А. Вяземский, продолжая приведенную выше характеристику, писал: „В числе сердечных качеств, отличавших Е. М. Хитрову, едва ли не первое место

¹ „Русский Архив“ 1895, кн. II, стр. 190.

² Вам холод света не знаком, Для вас так много обольщений,
И странно кажется, не скрою, Так много жизни на земле,
Что, в заблуждении святом, Так много сердцу наслаждений, —
Вы так неопытны душою, А на юнеющем челе
Хотя так опытны умом! Так много грустных впечатлений.

Ужели времени крыло
Шути вас только осенило,
И, злым завистницам на зло, —
Вам только много подарило
И ничего не унесло?

Напечатано впервые в „Отечественных Записках“ 1841 г., февраль, стр. 251.

должно занять, что она была неизменный, твердый, безусловный друг друзей своих. Друзей своих любить немудрено; но в ней дружба возвышалась до степени доблести. Где и когда нужно было, она за них ратовала, отстаивала, не жалея себя, не опасаясь за себя неблагоприятных последствий, личных жертвований от этой битвы не за себя, а за другого "... И не только за своих друзей хлопотала она: к ней обращались всегда, если нужно было выступить на защиту или на помощь даже людям, ей вовсе не знакомым и далеким. Одно из писем к ней кн. П. А. Вяземского сохранило нам такое обращение. Дело касалось известного писателя и цензора С. Н. Глинки, уволенного от должности в августе 1830 года за пропуск в № 10 приложенного к „Московскому Телеграфу“ „Нового Живописца общества и литературы“ статьи, в виде сцены под заглавием „Утро в кабинете знатного барина“. Поводом к статье явилось Пушкинское послание „К вельможе“; сцена представляла грубый сатирический выпад и против Юсупова, и против Пушкина. Глинка, таким образом, пострадал за „Телеграф“ и, косвенно, за Пушкина и остался с большою семьею и без всяких средств. Вяземский писал Е. М. Хитровой (даем письмо в переводе): „Когда нуждаешься в адвокате, который бы выступил на защиту потерпевшего немилость и несчастье, то это к вам, вседобрейшая и вселюбезнейшая госпожа Хитрова, обращается невольно мысль ваших друзей, т. е. всех тех, кто вас знает и умеет вас ценить ...“; и далее, подробно изложив всё дело и пути, по которым можно было бы вести хлопоты в пользу Глинки, добавлял: „Но мне нет нужды стараться уменьшать для вас трудности: достаточно указать вам благородную и великодушную цель, чтобы можно было вполне положиться на ваше вдохновение для достижения ее“... И, повидимому, Елиз. М. на деятельно взялась за хлопоты, и старания ее увенчались успехом: С. Н. Глинка получил пенсию.¹ К этим же ее свойствам — к душевной чуткости, великодушию и доброте, к способности постигать чувством то, что не понимается разумом, — апеллировал Вяземский в другом письме, по поводу стихотворений Пушкина

¹ Отчет Публичной Библиотеки за 1895 г. Приложение, стр. 56—61, — письмо от 2 сентября 1830 г. То же — „Русский Архив“ 1899 г., кн. II стр. 83—90.

на взятие Варшавы; об этом письме, замечательном памятнике их взаимных отношений, придется еще говорить в своем месте.¹

Живая душа Е. М. Хитровой влеклась ко многим и разнообразным предметам: литература, политика, общественность — всё ее занимало — недаром в ее салоне „и дипломаты, и Пушкин были дома“. К интересам политико-общественным побуждали ее, прежде всего, „семейные традиции“ — воспоминание об отце и сознание как бы личной причастности через него к великим национальным событиям начала века. Эту черту в ней признавали и ценили ее современники. Любимая из пяти дочерей фельдмаршала, похожая на него наружностью, она считала себя по преимуществу его наследницей. „Она страстно любила отца и его славу“ — говорится в ее некрологе: „Любовь, которую она питала к России, была тем более живою, что проистекала одновременно из ее сердца и из ее разума; она понимала свою родину, она гордилась историею ее последнего времени и умела надеяться на нее (Elle aimait son père et sa gloire avec passion. L'amour qu'elle avait pour la Russie était d'autant plus vif, qu'il sortait à la fois de son cœur et de son intelligence; elle comprenait sa patrie, elle était fière de sa nouvelle histoire et savait espérer pour elle)“. „Доблестные Кутузовские традиции, большое уважение к проявлениям общественной деятельности и горячую любовь ко всему, что составляет славу русского имени“ отмечает в ней кн. П. П. Вяземский (Сочинения, изд. 1893 г., стр. 521). Отсюда ее горячее участие к современной политической жизни России и Европы, ее взволнованное, чисто-эмоциональное отношение к Польскому восстанию 1831 года, известное из писем к ней Пушкина и из других отзывов, ее интерес к июльским событиям и дальнейшей судьбе Франции. Насколько горячо и эмоционально воспринимала она события в Польше, показывает письмо ее к кн. П. А. Вяземскому, датированное 21 мая 1831 года, — т. е. моментом, очень неблагоприятным для русского правительства: „Можно ли писать — усталой страдать?“ готорит она, оправдываясь в долгом молчании. — „А крови сколько пролито, сколько интересов в застое! С расстроеными нервами можно

¹ „Русский Архив“ 1895, кн. II, стр. 111—112; перепечатано ошибочно и без обозначения адресата, там же, 1909, кн. III, стр. 464—467. Ср. ниже, в статье М. Д. Беляева: „Польское восстание“.

разговаривать, двигаться, но писать — убийственно, это приводит слишком в движение сердце и душу“...¹

Составить себе полное и сколько-нибудь систематическое суждение о ее политических взглядах трудно, да и бесполезно; вряд ли у нее была какая-нибудь система и вряд ли она чем-нибудь в этом отношении выделялась: националистка и преданный друг династии (уже в силу одной семейной близости к царскому двору) — в отношении внутреннем; умеренная легитимистка во внешней политике — и только. Но важно то, что она, больше чем кто-либо в ее кругу и, конечно, единственная в своем роде из светских женщин, сознательно интересовалась вопросами международной и национальной политики, могла о них судить (хотя-бы и очень наивно), иметь свое мнение и свое отношение и побуждала других (прежде всего — Пушкина) рассуждать с нею на политические темы. В этом нельзя не видеть влияния заграничных путешествий и общения с государственными деятелями Европы.

Патриотическим направлением и преданностью „русской славе“, в каких бы формах она ни проявлялась, объясняется отчасти и любовь ее к русской литературе. Нам известно о дружбе ее или личном знакомстве с Пушкиным, Вяземским, Жуковским, Козловым,² А. И. Тургеневым, Сомовым, Соллогубом, Ростопчиной, Лермонтовым, вероятно — Дельвигом, Братыньским и, быть может, — Гоголем. Это, конечно, далеко не все имена — лишь очень случайный список, сохраненный нам документами. И не только присутствием в гостиной нескольких модных литераторов определялся ее интерес к литературе. Несомненно, Е. М. Хитрова интересовалась ею и по существу. Здесь, как и в политике, нет возможности полно и точно очертить круг ее интересов, characterize ее вкусы и взгляды: слиш-

¹ „Русский Архив“ 1884, кн. II, стр. 417; Сочинения кн. П. П. Вяземского, стр. 531. Следует заметить, что переписка Е. М. Хитровой и ее близких, опубликованная П. П. Вяземским, известна нам лишь в русских переводах (кроме писем ее к Пушкину, напечатанных с подлинников в Академическом издании). Французские подлинники нам не были доступны, — а переводы издания П. П. Вяземского очень не точны, а иногда и неверны, — как видно по письмам Хитровой к Пушкину.

² Дочери ее, графине Д. Ф. Фикельмон, И. И. Козлов посвятил, как известно, стихи на итальянском и английском языках, с переводом их на русский.

ком мало материала дошло до нас в напечатанных отрывках ее переписки. Можно уловить лишь отдельные отзывы, касающиеся двух виднейших поэтов современности — Пушкина и Боратынского; при этом мнения ее о творчестве Пушкина воспринимаются лишь отраженно — преимущественно в ответных письмах его к ней. Отзыв о Боратынском находим в одном из ее писем (21 мая 1831 г.) к кн. П. А. Вяземскому: „Нет, я не могу восхищаться „Наложницей“, пишет она, „и я в том покаялась Пушкину [который в тот момент был в Петербурге]... Я даже вовсе не нашла в ней автора „Бала“. Все это бесцветно, холодно, без энергии и особенно без всякого воображения. Герой — дурак, никогда не покидавший Москвы. Я не могу его себе иначе представить, как в дрянном экипаже или в грязной передней. Впрочем, в то время, в которое нам приходится жить, и среди той драмы, которая разыгрывается около нас [речь идет о Польском восстании] можно выносить только одну порочную французскую литературу“.¹ Последнюю, т. е. новейшую, современную словесность — В. Гюго, Ж. Жанена, Бальзака, Дюма, Еж. Сю — Е. М. Хитрова хорошо знала и если не всё в ней любила, то очень ею интересовалась. Собственно и „Наложница“ — этот ранний опыт натуралистической повести в стихах, намеренно-сниженной и лишенной романтически-ярких тонов, — не понравилась ей потому, что она, по ее собственным словам, „прочла ее в два часа утра и с головой, наполненной Эсмеральдой — милейшей, прелестнейшей и очаровательнейшей из всех цыганок — этим созданием Виктора Гюго и украшением „Notre-Dame de Paris“.“² Кроме этого отзыва о В. Гюго, мы имеем ряд упоминаний о современных французских авторах — перечисленных выше и еще других — в письмах к ней Пушкина. Список книг, которые здесь упоминаются, показывает широкий круг ее чтения и то внимание, с каким она следила за текущей литературой. И она не просто читала романы: Пушкин делился с ней мнениями, сообщал свои отзывы и возражения на ее мысли. Всё это свидетельствует о том, что литературные интересы были для нее живою и подлинною потребностью, составляли необходимый элемент ее

¹ „Русский Архив“ 1884, кн. II, стр. 418; Сочинения кн. П. П. Вяземского, С.-Пб. 1893, стр. 531.

² Там же. Ср. в примечаниях к письму XVI, стр. 113.

существования.¹ Прибавим еще, что и кн. П. А. Вяземский, посылая ей осенью 1831 года свой только что вышедший перевод „Адольфа“ Бенжамена Констана, отмечал, что книга должна быть поднесена ей по многим основаниям: „Вы любите этот роман, вы будете довольны тем, что я посвятил его имени, для вас дорогому [т. е., имени Пушкина], и это ваш французский экземпляр послужил мне образцом при сличении русского издания. (Je prends la liberté de vous présenter mon „Adolphe“. Il vous revient à tant de titres. Vous aimez ce roman, vous me saurez gré de l'avoir dédié à un nom qui vous est cher, et c'est votre exemplaire français qui a servi de modèle consultatif à l'édition russe)“.²

Наконец, у нас есть известие, что сама Е. М. Хитрова занималась переводом на русский язык малоризвестного английского романа Caroline Lucy Scott — „Marriage in High life“³ и собиралась продавать его „в пользу бедных“. Перевод, повидимому, не был исполнен и в свет не появился, — по крайней мере, нам не удалось его отыскать. Самое же сообщение вызывает некоторые недоумения. Что Е. М. Хитрова хорошо знала английский язык, — очень естественно и допустимо, хотя иных прямых данных об этом нет. Но в ее хорошем знании русского языка можно усомниться — по крайней мере в знании таком, которое позволяло бы ей выполнить трудную работу переводчика романа. Знание русского литературного языка и умение им письменно владеть, сохраненное после многих лет жизни за границей и в то время, когда большинство женщин ее круга пользовалось исключительно французским языком, было бы удивительно. К сожалению, у нас нет ничего, написанного ею по-русски, что бы дало возможность судить о степени ее познаний (надписи на некоторых полученных ею письмах в счет не идут), — а между тем можно привести несколько данных противоположного значения: так, в одном письме к жене, 1830 года, кн. Вяземский

¹ Ср. в статье Б. В. Томашевского: „Французская литература“, где об этом подробнее.

² „Русский Архив“ 1895, кн. II, стр. 110.

³ Издан анонимно, в двух томах, в Лондоне, в 1828 г.; издательница — Charlotte-Maria Wugu. К сожалению, экземпляра его не нашлось ни в одной из Ленинградских библиотек. См. письмо Е. М. Хитровой к Пушкину от 9 мая 1830 года (Переписка Пушкина, изд. Академии Наук, т. II, стр. 149).

спрашивал ее о Хитровой и о Пушкине: „Неужели в самом деле пишет она ему про *Любовь*?“ — намекая этим начертанием на дурное произношение или на орфографию Хитровой.¹ Сама же она, передавая Пушкину слышанный ею рассказ митрополита, объясняет, словно с некоторым смущением, что „записала его на своем дурном русском языке (Je viens donc de l'écrire avec mon mauvais russe)“.² Всё это говорит скорее за то, что умение ее письменно владеть русским языком не выходило за пределы, обычные тогда в ее кругу.³

В заключение нельзя не отметить то значительное место, которое в ее жизни занимали, повидимому, церковно-религиозные интересы. Она была женщиной верующей — просто, по-старинному, без оттенка мистического ханжества, распространенного в высшем обществе как в России, так и на Западе в последние годы царствования Александра. Пребывание за границей не оказало на нее в этом смысле никакого влияния и не приблизило к католицизму, как многих других ее современниц: национальные симпатии обращали ее к православной церковности, а живым объектом поклонения в церкви, как Пушкин в литературе, стал митрополит Московский Филарет: по ироническому определению кн. П. А. Вяземского, она к митрополиту „пылала христианскою любовью“, а к Пушкину „языческой“.⁴ В „Русском Архиве“ (1895, кн. II, стр. 85—91) напечатано несколько записок Филарета к Е. М. Хитровой, 1828—1832 годов. Они более характерны для митрополита, чем для нее; во всяком случае, своим лаконическим слогом, иногда выпенным, иногда грубовато-фамильярным, строгим или нетерпеливым, они показывают с его стороны чувство господства, снисходительной дружественности к преданной ему экзальтированной и наивной женщине. Через нее, по словам П. И. Бартенева, „доходило до Филарета происходившее во дворце и в высшем обществе“, — вероятно, и в европейской политике: об Июль-

1 „Голос Минувшего“ 1922, № 2, стр. 114.

2 Переписка Пушкина, Акад. изд., т. II, стр. 123.

3 Любопытно, что французские письма Е. М. Хитровой наполнены ужаснейшими орфографическими и синтаксическими ошибками; но это свойство многих, даже образованных людей, преимущественно получивших воспитание еще в XVIII веке.

4 „Остафьевский Архив“, т. III, стр. 193. См. примечания к письму IV.

ской революции во Франции он узнал, повидимому, из ее письма (от 26 июля 1830 г.). Патриархальная религиозность особенно сказалась в Елизавете Михайловне перед смертью: по словам графа М. Д. Бутурлина, она, „чувствуя приближение рокового часа, пригласила к себе митрополита Филарета и, собрав вокруг себя родных и прислугу, изъявила желание громогласно и при всех исповедать свою жизнь“.¹ Этот обычай, довольно распространенный в старой Руси, был в 1839 г. явным анахронизмом. Так причудливо, но характерно соединялись в ней европеизм с традиционностью и утонченность—с непосредственностью.

Из этих разрозненных фактов трудно составить цельное представление. Большая начитанность, живые умственные интересы, воспринятая на западе Европейской складки общая культурность — всё это вне сомнения. Но абсолютная ценность и глубина интеллекта остается не ясной, и простой вопрос: умна ли она? получает у одних современников ответ неопределенный, у других — прямо отрицательный.

„Женщина умная, но странная“, — говорит о ней вообще мало к ней расположенный Н. М. Смирнов и, как показатель „странности“, приводит то, что она „на 50 году не переставала оголять свои плечи и любоваться их белизною и полнотою“. По словам гр. В. А. Соллогуба, она „даже не отличалась особенным умом“ (но обладала светскостью и душевною добротою, вполне этот ум заменявшими). Ту ее черту, которая в воспоминании кн. П. А. Вяземского характеризуется, как „неизменная, твердая, безусловная“ верность в дружбе, — встречавший ее в Вене гр. М. Д. Бутурлин обращает в анекдот: „Склонная к экзальтации, Елизавета Михайловна — рассказывает он — махнула мне, что она так пламенно любит всех Бутурлиных, что желала бы, чтобы кто-нибудь из нашего семейства заболел при ней, дабы доставить ей утешение ухаживать за ним...“ Самая ее близость с кружком современных литераторов и восторженное отношение к ним является для Соллогуба темой комического изображения с несколько двусмысленной каламбурной концовкой.² Интерес ее

¹ „Русский Архив“ 1897, кн. II, стр. 373.

² „Е. М. поздно просыпалась, долго лежала в кровати и принимала избранных посетителей у себя в спальне; когда гость допускался к ней, то, поздоровавшись с хозяйкой, он, разумеется, намеревался сесть; г-жа Хитрово остано-

к политическим вопросам, горячность в отношении к ним, присущая ей, повидимому, не всегда удобная прямолинейность взглядов — также встречаются, даже у верных друзей ее, ироническую оценку. Так, при отъезде ее из Неаполя в Россию, в 1823 г., друг ее семьи, герцог Леопольд, всегда относившийся к ней с нежной симпатией, писал ей в виде напутствия: „Я должен, как добрый пастырь, вас убеждать хорошенько остерегаться: часто, для того, чтоб иметь удовольствие умно и изящно поспорить, вы заявляете такие мнения, о которых вовсе не думаете в глубине души. Будьте осторожны, потому что к этому могут отнестись вполне серьезно, а это может вам повредить. (*Avant de finir, je dois en bon pasteur vous exhorter de bien prendre garde; souvent pour avoir le plaisir de disputer avec élégance et esprit, vous énoncez des choses desquelles au fond vous ne vous souciez pas beaucoup; soyez prudente car on prendrait cela probablement au plus grand sérieux, et cela pourrait vous faire du tort*)“. Эта дружеская, но не лишенная ласковой иронии характеристика совпадает с тем, что говорит о ней цитированный выше гр. М. Д. Бутурлин, отмечающий в Венских воспоминаниях 1824 года — помимо „склонности к экзальтации“ — ее „оригинальные мнения“ и „наивность“.¹ Таким образом, экзальтация и наивность, любовь к политике и „оригинальные мнения“ — эти черты постоянно отмечаются в ней, с оттенком иронии, то ласковой, то пренебрежительной, ее друзьями и случайными наблюдателями. Анекдот, каламбур, шутовское прозвище и эпиграмма неизменно сопутствуют отзывам об Е. М. Хитровой,

вливала его: „Нет, не садитесь на это кресло, это Пушкина, — говорила она, — нет, не на этот диван — это место Жуковского; нет, не на этот стул — это стул Гоголя; садитесь ко мне на кровать — это место всех (*Assayez vous sur mon lit, c'est la place de tout le monde*)“. („Воспоминания гр. В. А. Соллогуба“, С.-Пб. 1887, стр. 132). Правда, Соллогуб, рассказывая этот „анекдот“, ссылается на „молву, любившую похвалить“; но в данном случае авторство „молвы“ еще более знаменательно, чем авторство единичного рассказчика.

¹ „Раз на обеде у Татищева она высказывала при мне свое удивление, что все знакомые ей в Вене дипломаты придают себе таинственную и замкнутую осанку, чуждую совершенно князю Меттерниху, который в беседах с нею всегда удовлетворительно отвечает на все ее вопросы по части политики. Наивная Е. М. не подозревала, что Австро-европейский министр, светскою своею любезностью и изворотливостью, обходил и обманывал женское любопытство“. — „Русский Архив“ 1897 г., кн. II, стр. 6—7.

постоянно приходят в память при упоминаниях о ней и дают определенный тон ее характеристике в большинстве рассказов, даже независимо от намерений того или иного автора.

Анекдотом исчерпывается первое сообщение о ней Вяземского об их встрече в Москве, в 1823 году.¹ И 14 лет спустя, в письме к А. О. Смирновой (от 2 марта 1837 года) давая подробности о событиях, связанных со смертью Пушкина, посылая ей его портрет и копию со своего письма к Тургеневу о дуэли и смерти поэта, — тут же прибавляет несколько каламбуров — своих и В. А. Перовского — о „la belle Elisa“.² Нужно помнить, что А. О. Смирнова, видимо, не любила Е. М. Хитрову, — как можно почувствовать по ее отзыву, — но характерно то, что даже в такой момент, говоря о смерти Пушкина, Вяземский не удержался по отношению к Элизе от острословия, ему свойственного. В конце-концов, то, что сохранилось более всего в памяти современников, что покрыло собою остальные отзывы и исказило в нашем сознании облик Е. М. Хитровой, — были „всем известные“, по словам А. О. Смирновой („Русский Архив“ 1895, кн. II, стр. 190), стихи про нее, приписываемые

¹ „Третьего дня [Е. М. Хитрова] говорила о себе: „Quelle est ma destinée! Si jeune encore et déjà deux fois veuve“ („Что за судьба моя! так еще молода и уже дважды вдовею“) и так спустила шаль не с плеч, а со спины, что видно было, как стало бы ее еще на три или на четыре вдовства“ („Остафьевский Архив“, т. II, стр. 356). Ту же фразу Е. М. Хитровой Вяземский записал в своем дневнике под 7 января 1831 года, вспомнив ее, вероятно, в разговоре с бывшими у него в гостях Пушкиным, Д. В. Давыдовым и другими (Сочинения, том IX, стр. 155).

² „Nous voici entrés dans le calme du grand carême... Il n'y a plus pour moi ni de Bobo [гр. С. А. Бобринская?] ni de Dodo (la comtesse Rostopchin) ni de dos-dos (la belle Elisa) au monde. J'ai tourné le dos à toutes les faces et à tous les dos possibles“ („Вот мы и вступили в тишину великого поста.... Для меня не существует более на свете ни Бобо, ни Додо (гр. Ростопчиной), ни до-до (прекрасной Элизы); я повернулся спиною ко всем возможным лицам и всем спинам“) — непереводимая игра слов: до-до — dos-dos — спина, — намек на то же пристрастие Е. М., что и в предыдущем письме. И ниже, по другому поводу: „C'est la vérité toute nue, comme les épaules de notre amie. Basile Peroffsky disoit l'autre jour en la regardant: il seroit bien tems de jeter un voile sur le passé“ („Это — истина, совсем голая, как плечи нашей приятельницы. Вас. Перовский говорил недавно, глядя на нее: давно пора бы набросить покрывало на прошедшее“) — намек на ее почтенный возраст, не соответствующий манере одеваться („Русский Архив“ 1888, кн. II, ст. 299).

обычно Пушкину, во всяком случае хорошо ему памятные и впоследствии много раз приводившиеся всеми, кто писал о Е. М. Хитровой.¹

В таком каламбурно-анекдотическом плане воспринимается и история отношений Е. М. Хитровой к Пушкину при первом, поверхностном ознакомлении с нею. Имя ее часто мелькает в его переписке, встречается, связанное с его именем, и в переписке и в воспоминаниях его друзей. Отношения ее к нему очень определены и цельны; отношения же к ней поэта явно двойственные: внешние, показные, для друзей и для общества — наиболее заметны и наименее значительны; подлинные и, несомненно, более ему нужные, наоборот, от всех скрыты; эта их сторона слабо мелькает в ранее известных материалах и вполне раскрывается лишь в публикуемых ныне письмах.

Знакомство Е. М. Хитровой с Пушкиным началось, как было уже указано, вряд ли ранее конца весны 1827 года, когда Пушкин, впервые после ссылки, приехал в Петербург. С этих пор она полюбила Пушкина — нежной, пламенной любовью, на какую только была способна эта восторженная, страстная, уже не молодая женщина, воспринявшая настроения той ранне-романтической эпохи, в которую складывались ее характер и ее вкусы. Она всю душу отдалась поэту, перенесла на него во всей полноте ту „неизменную, твердую, безусловную дружбу, возвышающуюся до доблести“, о которой говорит князь Вяземский. Конечно, здесь была не только дружба — здесь было и поклонение великому поэту, славе и гордости России, со стороны патриотически-настроенной наследницы Кутузова, и материнская заботливость о бурном, порывистом, неустоявшемся

¹ Лиза в городе жила
С дочкой Долинькой,
Лиза в городе слыла
Лизой голинькой;

У Австрийского посла
Нынче Лиза en galà
Не по старому мила,
Но по старому гола.

Имя „Лизы голинькой“ встречается, как известно, и в переписке Пушкина с кн. Вяземским — без какого бы то ни было двусмысленного значения, но как ласково-ироническое прозвище Е. М. Хитровой, заслуженное привычкой слишком сильно открывать свои плечи.

поэте, бывшем на 16 лет моложе ее, и наконец — страстная, глубокая, чисто-эмоциональная влюбленность в него, как в человека. Последнее — по крайней мере в первые годы — господствовало над остальным. Вяземский называл эту страсть „языческой любовью“. П. А. Катенин в 1835 году помнил ее, как прежнюю „обожательницу“ поэта.¹ Н. М. Смирнов, характеризуя Пушкина, писал, что „* [Е. М. Хитрова] женщина умная, но странная... *возымела страсть* к гению Пушкина и преследовала его несколько лет своею страстью“...²

Особенно ярко выступает эмоциональная, романическая сторона отношений Хитровой к Пушкину в нескольких, дошедших до нас письмах ее к нему от весны 1830 года.³ Как известно, в начале марта этого года Пушкин отправился из Петербурга в Москву, — при чем главною целью его поездки, не бывшей, вероятно, тайною для его друзей, было — сделать вторичное предложение Н. Н. Гончаровой и добиться от нее и ее родителей решительного ответа. Как только он выехал, Елизавета Михайловна стала о нем беспокоиться. За две недели она послала ему четыре письма; первые три нам неизвестны, но четвертое до нас сохранилось.⁴ Письмо это — длинная, спутанная, взволнованная речь любящей и страдающей женщины, — вполне отражает и чувство, и состояние Е. М. Хитровой. Все ее беспокоит: его внезапный отъезд, его отсутствие, молчание, неизвестность, слухи о его болезни, а главное — мысль о предстоящей, неизбежной для нее потере поэта — о его женитьбе: „Едва я начинаю успокаиваться по поводу вашего пребывания в Москве, как опять мне приходится дрожать за ваше здоровье: меня уверяют, что вы больны

¹ Переписка Пушкина, т. III, стр. 207.

² „Русский Архив“ 1882, кн. I, стр. 238.

³ Писем ее к Пушкину, как видно по упоминаниям в сохранившейся переписке, должно было быть очень много; но Пушкин их не очень внимательно хранил — даже, по словам Н. М. Смирнова, „смеясь бросал в огонь, не читая, ее ежедневные записки“. Как бы то ни было, сохранилось всего шесть писем ее к нему за 1830—1836 годы, которые и вошли в Академическое издание переписки Пушкина. Из них три сохранились в его бумагах (ныне в Пушкинском Доме и в Библиотеке Академии Наук), остальные были в Остафьевском архиве. Клочок ее письма (к Н. Н. Пушкиной?) сохранился, в виде закладки, среди книг библиотеки Пушкина — см. „Пушкин и его современники“, вып. IX—X, стр. 328, № 1345.

⁴ Переписка, Акад. изд., т. II, стр. 122—123. Письмо написано в три приема: 18—20—21 марта. Здесь даем перевод французского текста.

в Торжке. Ваша бледность — одно из последних впечатлений, оставшихся от вас у меня. Я беспрестанно вижу вас у этой двери, у которой на вас смотрела с блаженством, полагая, что, может быть, увижу вас на другой день, — а вы, бледный, расстроенный, несомненно сознавали ту горесть, которая мне предстояла в тот же вечер, — вы уже тогда заставили меня трепетать за ваше здоровье. Не знаю, к кому обратиться, чтобы узнать правду: вот уже четвертый раз, что я вам пишу; завтра пятнадцатый день, как вы уехали; совершенно непонятно, что вы не написали ни одного слова; вы слишком хорошо знаете всю мою нежность, столь для меня тревожную и раздражающую; это не в вашем великодушном характере оставлять меня без известий о себе "... Преувеличенный страх за здоровье Пушкина и постоянная забота о нем — характерная черта отношения ее к поэту; она заставляет вспоминать рассказ М. Д. Бутурлина о пожелании ее „чтобы заболел кто-нибудь из семьи Бутурлиных и дал бы возможность за ним поухаживать и доказать, как она их любит“. Из писем к ней Пушкина видно, что он не раз, вежливо, но решительно уклонялся от ее забот о своем здоровье...¹ Далее, в том же письме она пишет: „Хотя я с вами (не смотря на то, что знаю, как вы этого не терпите) и тиха, и безобидна, и безропотна [resignée], всё же, по крайней мере, уведомляйте меня время от времени о получении моих писем. Я буду в восторге от одного вида вашего почерка. Я также желала бы узнать от вас самого, мой дорогой Пушкин, осуждена ли я свидеться с вами лишь через несколько месяцев. Сколько тягостного, раздражающего в одной мысли об этом! Но, видите ли вы, во мне есть внутреннее убеждение, что, если бы вы знали, до какой степени мне необходимо вновь видеть вас, вы сжалились бы надо мною и вернулись бы ко мне на несколько дней...“

Через день, 20 марта, она прибавляет к письму: „Благодарение богу: говорят, что вы благополучно прибыли в Москву; позаботьтесь о себе, будьте благоразумны. Как можно такую

¹ См. выше, в письмах I и III. В письме к ней от 2 сентября 1830 года Вяземский писал ей: „До вас дошли очень печальные известия из некоторых наших губерний: холера-морбус там свирепствует. Но не тревожьтесь [ne vous alarmez pas] — это не в тех местах, куда поехал Пушкин“ („Отчет Публичной Библиотеки за 1895 г.“, приложение, стр. 60); то же — „Русск. Арх.“ 1899, кн. II, стр. 86.

прекрасную жизнь бросать за окошко? “ А 21 марта заключает письмо: „Итак, пишите мне правду, как бы она ни была при-скорбна“.

Она не пыталась бороться, не старалась его удержать: она понимала всю невозможность борьбы за обладание поэтом — ей, 47-ми-летней женщине, годившейся ему почти в матери, с такой противницей, как 18-летняя красавица Гончарова. В ней было достаточно такта, чтобы, раз поняв серьезность семейных планов Пушкина, ни в чем ему не мешать и отойти в тень. В коротеньком письме 9 мая¹ она, уже зная, что его предложение принято, что он жених, и что свадьба, вероятно, скоро, — пишет ему, между прочим: „Я для вас более никакого значения не имею. Говорите мне о вашей женитьбе и о ваших планах на будущее...“. Здесь уже чувствуется полное отречение от себя и от своего счастья — та „резиньяция“, как перевели бы московские философы 1830-х годов ее собственное выражение о себе — „*résignation*“; это чувство ей свойственно в это время, и оно вызвало в предыдущем письме горькое признание: „Запрещайте мне говорить вам о себе, но не лишайте меня счастья быть вашим деловым посредником... Увы, я у источника всего — *и только счастья мне не хватает* (Hélas; je suis à la source de tout, *il n'y a que le bonheur qui me manque*)“.

В более спокойном, дружеском тоне выдержано следующее большое ее письмо, написанное, вероятно, в конце мая 1830 года.² В этом письме — прощание с прошлым, мысли и пожелания о будущем, несколько практических советов, уверение в неизменной дружбе — уверение, которое она полностью сдержала, — отчасти личная исповедь. Е. М. Хитрова пытается объективно и серьезно взглянуть на положение Пушкина — и предвидит для него опасность в „прозаической стороне супружества“. Романтически-возвышенный взгляд на поэта сказан здесь вполне: для нее Пушкин был особенной, неземной, поэтической натурой, не причастной ничему житейскому. Дилемма, подобная той, какую сам Пушкин наметил, не разрешая, по отношению к Ленскому, в VI главе „Онегина“, казалась ей приложимой к его творцу.

¹ Ответ на него Пушкина см. выше — письмо VII, стр. 54—55.

² Переписка, т. II, стр. 152—153. Ответ на него Пушкина — см. выше, письмо VIII, стр. 58—60.

Отвечая на это письмо, Пушкин с грустной иронией отказался от признания специфической поэтичности своей натуры и объявил себя „добрым малым“: здесь связь с общим настроением, охватывавшим его около 1830 года и выраженным в „Путешествии Онегина“, в „Повестях Белкина“ и др. созданиях Болдинской эпохи, — очевидна. Как важнейший психологический документ, ее письмо, хоть и длинное, приходится привести полностью. Некоторые комментарии к нему даны в своем месте (стр. 59 и 62), в объяснениях к ответному письму Пушкина; здесь их можно не повторять — каждая строка в нем понятна, каждое слово искренно и идет от сердца.

„Я опасюсь для вас прозаической стороны супружества, — пишет она. — Я всегда думала, что гений может устоять только среди совершенной независимости и развиваться только среди непрестанных бедствий; что совершенное благополучие — положительное, непрерывное и в конце концов довольно однообразное, — убивает способности, располагает к разжирению, скорее может создать „доброе малое“, чем великого поэта!. И может быть, после личного горя, это именно то, что меня более всего поразило в первую минуту... Благодаря бога, у меня в сердце вовсе нет эгоизма. Я размышляла, я боролась, страдала и наконец достигла того, что сама желаю, чтобы вы поскорее женились. Устройтесь же с вашей прекрасной и очаровательной женой в хорошеньком, маленьком и чистом деревянном домике; по вечерам ходите к тетушкам составлять им партию и возвращайтесь домой счастливый, спокойный и благодарный Провидению за вверенное вам сокровище. Забудьте прошедшее, и пусть ваше будущее принадлежит исключительно вашей жене и вашим детям.

„Я уверена, судя по тому, что я знаю о мыслях государя на ваш счет, что если вы только пожелаете какое-либо место при нем, — вам дадут его; этим, может быть, и не следовало бы пренебрегать, ибо в конце концов это доставит вам независимость и со стороны денежной, и по отношению к правительству. Государь так хорошо расположен [к вам], что вам не нужно ничьей помощи, но ваши друзья, конечно, ради вас сделают все возможное [*se metteront en quarante six mille pour vous*]; родственники вашей жены могут быть вам также полезны. Я полагаю, что вы уже получили мое коротенькое письмо [от 9 мая, — см. выше]. В сущ-

ности, между нами ничто не изменилось — я буду видеть вас еще чаще... (если бог даст мне еще увидаться с вами). Отныне навсегда мое сердце, мои задушевные мысли останутся для вас непроницаемою тайною, а мои письма будут такими, какими они должны быть. Океан будет между мною и вами. Но рано или поздно — вы всегда найдете во мне и для вас, и для жены вашей, и для детей — друга, непоколебимого, как скала, о которую всё разбивается... Рассчитывайте на меня на жизнь и на смерть, располагайте мною во всем и без стеснения. Я создана природой, чтобы всё предпринимать для других, и являюсь драгоценным созданием для своих друзей. Меня ничто не тяготит; я иду говорить с влиятельными лицами, ни перед чем не отступаю и снова возвращаюсь. Ни время, ни обстоятельства, ничто не может лишить меня бодрости; на тело мое не действует утомление сердца. Я ничего не боюсь, я многое постигаю, и моя способность действовать на пользу других — есть столько же благодеяние Неба, сколько и последствие общественного положения моего отца и сердечного воспитания [éducation chaude], где всё было основано на необходимости быть полезной другим.

„Когда я утоплю в слезах мою любовь к вам, — я тем не менее останусь всё тем же существом — страстным, кротким и безобидным, которое за вас готово идти в огонь и в воду [dans la glace], потому что так я люблю даже тех, кого люблю немного“.

Во время пребывания Пушкина в Петербурге, в конце июля и в начале августа 1830 года, он постарался, вероятно, придать их отношениям новую форму — и даже, повидимому, хотел быть с нею вначале намеренно-холодным. По крайней мере, Надежда Осиповна Пушкина, в письме к О. С. Павлицевой, писанном вскоре после приезда поэта из Москвы — 22 июля 1830 года, — упомянув о Е. М. Хитровой, добавляла: „Alexandre ne veut pas aller la voir (Александр не хочет к ней идти)“. Как бы то ни было, в письмах Пушкина к ней осенью и зимой 1830—1831 годов (ее письма от этого времени не сохранились) — нет никаких отражений лирических моментов: политические дела Франции, а затем и России — Июльская революция и Польское восстание — слишком заслоняли в сознании патриотически-настроенной Елизаветы Михайловны ее личные отношения и чувства.

С тех пор, вплоть до кончины Пушкина, между ними поддерживались, нужно думать, ровные, но не близкие отношения.

В мае 1831 года Пушкин привез в Петербург свою жену и познакомил ее с Е. М. Хитровой. И она, в письме к князю Вяземскому, вскользь говорит об этом, между сообщениями о Польском восстании и о впечатлениях от „Наложницы“ и от „Notre Dame de Paris“: „Я была, однако, очень счастлива свидеться с нашим общим другом. Я нахожу, что он много выиграл в умственном отношении и относительно разговора. — Жена очень хороша и кажется безобидной“.¹ Несомненно, однако, что в глубине души она сохраняла много нежности и много невысказанной любви к Пушкину. Чувство ее проявлялось в постоянном внимании к нему и в близости, которую она самоотверженно и бескорыстно поддерживала с его семьей в периоды его отсутствия, и в письмах, которые она ему посылала и где иногда давала волю своему настроению.

Так, в деловой записочке, относимой к концу 1832 года, она называет его ласково „дитя“ (*enfant*) и даже делает приписку: „Любите меня, потому что я чувствую, как мое сердце по вас истерзалось (*Aimez-moi, car je me sens pour vous bien des entrailles ruinées*)“.²

¹ Сочинения кн. П. П. Вяземского, С.-Пб. 1893, стр. 531 („Русский Архив“ 1884, кн. II, стр. 118). Не видав оригинала, не можем судить о точности перевода, в котором письмо напечатано и который возбуждает некоторые сомнения. Впрочем, виною здесь, вероятно, и очень неправильный язык Е. М. Хитровой.

² Дата письма „15 [декабря 1832 г.]“, установленная Шляпкиным („Из неизданных бумаг Пушкина“, стр. 172—173) и принятая Н. О. Лернером („Труды и дни Пушкина“, стр. 275) и редактором Академического издания Переписки (т. II, стр. 399), — по заявлению самого Шляпкина „гадательна“ и основана на том, что речь идет о продаже билетов (по 15 р.) для „M-r Katenin“ — т. е., как думал И. А. Шляпкин, о подписке на издание его „Сочинений и переводов“ (вышедших в июне 1833 г. — цензурное разрешение 22 ноября 1832 г.). Но самое чтение „M-r Katenin“ очень сомнительно, — так же, впрочем, как и чтение „*écrivez toujours, enfant*“. Более точного чтения — по подлиннику, хранящемуся в Пушкинском Доме, — нам, однако, не удалось установить. Несомненно, по содержанию записки, что это — 15 декабря. Но год написания — скорее ранний, до женитьбы Пушкина и даже до приезда в Россию Фикельмонов (так как упоминается одна гр. Е. Ф. Тизенгаузен), т. е. до января 1829 года: или 1828 (Пушкин был в то время в Москве, чем можно объяснить слова „*écrivez toujours*“), или даже 1827-й, хотя в декабре 1827 г. Пуш-

Такая же, но более скрытная нежность чувствуется и в записке от осени 1836 года по поводу стихотворения Пушкина „Полководец“.¹ О стиле ее писем мы можем также судить по намеку — если это не цитата — в одном из писем Пушкина к Вяземскому, где Пушкин приводит фразу из ее „письма в роде духовной“: „Croyez à la tendresse de celle qui vous aimera même au delà du tombeau [Верьте нежности той, которая будет вас любить даже и за гробом] и проч.“.²

Как же отзывался сам Пушкин на это ярко-эмоциональное отношение к себе Е. М. Хитровой, — на ее любовь к нему, как к человеку прежде всего? Для ответа важно знать, как относились к дружбе его с Хитровой друзья и близкие Пушкина: в данном случае их голос определял, по крайней мере, по внешности, его поведение. Уже цитировавшийся выше Н. М. Смирнов так говорит о Хитровой, „преследовавшей“, по его словам, Пушкина „несколько лет своею страстью“: „Пушкин звал ее Пентефрихой. Она надоедала ему несказанно, но он никогда не мог решиться огорчить ее, оттолкнув от себя, хотя смеясь бросал в огонь не читая ее ежедневные записки; но чтоб не обидеть ее самолюбия, он не переставал часто навещать ее в приемные часы ее перед обедом“... Итак, с одной стороны — страсть, преследование и ежедневные записки, с другой — презрительное равнодушие и внешняя учтивость из нежелания оскорбить... Со стороны ближайших родных — матери и сестры — неразделенная любовь Елизаветы Михайловны, ее волнения и тревоги о здоровье поэта вызывали также лишь насмешку: она слыла у них, да и у таких близких друзей, как Вяземские, под именем „Herminie“ — намек на одну из героинь Тассова „Освобожденного Иерусалима“, Эрминию, верно и безнадежно

кин был в Петербурге. При такой ранней дате становится естественным и название „enfant“, и весь тон записки. Однако же, теряется объяснение смысла „билетов“, которые продавала Е. М. Хитрова. Следует заметить, что цены книги Катенина (два экземпляра которой сохранились в библиотеке Пушкина) нам не удалось установить — ни по ее обложке, ни по газетным и журнальным отзывам, ни по библиографическим указателям, ни из биографических материалов о Катенине. Всем этим затемняется решение вопроса и остается ясной лишь последняя, патетическая фраза письма Хитровой.

¹ Переписка, т. III, стр. 377.

² Около 14 августа 1831 года — во время холерной эпидемии в Петербурге. Переписка, т. II, стр. 301.

влюбленную в Танкреда, к ней равнодушного и увлеченного другой: Эрминия всё время страдает и волнуется за Танкреда, прибегает к хитрости, чтобы его увидеть, врачует его раны и проч.; все эти ассоциации из поэмы, хорошо в то время известной, могли получить еще особую актуальность благодаря двум только что (в 1828 году) вышедшим переводам ее — Мерзлякова и Раича. Мать поэта, уже в 1834 году, иронически писала дочери о ней и о сыне-поэте: „Alexandre... est très affairé pendant les matinées, ensuite il va se distraire au jardin, où il se promène avec son Herminie. Cette constance de la jeune personne est à toute épreuve et ton frère est fort drôle. (Александр... очень занят по утрам, потом он идет развлечься в [Летний] сад, где прогуливается со своей Эрминией. Такое постоянство молодой особы выдержит всякие испытания, и твой брат очень смешон)“.¹ Прозвища „Эрминии“, „Пентефрихи“, „Лизы голинькой“, даваемые Е. М. Хитровой, достаточно характеризуют тон, принятый по отношению к ней у Пушкина с его друзьями. Переписка его представляет обильный материал иронических, каламбурных и даже грубоватых упоминаний, начиная с 1830 года, — т. е. с момента вторичного сватовства к Н. Н. Гончаровой, решившего его судьбу, и до конца жизни. Собранные вместе, они дают очень определенную, но и очень одностороннюю картину, вверяясь которой так ошибаются биографы, недооценивающие роль этой женщины в жизни поэта.² Собрать их, однако, необходимо, чтобы

¹ Письмо Н. О. Пушкиной к О. С. Павлицевой, от 9 мая 1834 г., из Петербурга — Л. Н. Павлицев, „Воспоминания об А. С. Пушкине“, М. 1890, стр. 352; другое упоминание — в письме от 25 июля 1830 г. (ib., стр. 218): „Alexandre a été chez Herminie et hier il a été même dans sa loge (Александр был у Эрминии, а вчера был даже в ее ложе)“. Письма, очень неточно и в переводе напечатанные Павлицевым, проверены нами по подлинникам, хранящимся в Пушкинском Доме (в Дашковском собрании). Догадку о том, что под Эрминией понимается Е. М. Хитрова, высказал впервые, весьма основательно, Н. О. Лернер („Труды и дни Пушкина“, 2-е изд., 1910, стр. 216), а подтвердил вполне М. А. Цявловский, напечатавший (в „Голосе Минувшего“ 1922, № 2, стр. 114) отрывок из письма князя Вяземского к своей жене, где Вяземский, явно говоря о Е. М. Хитровой, применяет то же прозвище „Эрминия“.

² Из рассказов об отношении к ней Пушкина выделяется лишь показание А. О. Смирновой, упоминающей в своих Записках, что Пушкин „чрезвычайно дружески почтителен с княгиней Вяземской, с m-me Хитрово“... („Северный

резче оттенить скрытые за ними действительные отношения. Хронологический порядок будет наиболее удобен.

Из Москвы, в марте 1830 года, перед самым решительным днем своей жизни и в то время, когда взволнованная Е. М. посылала ему письмо за письмом, — Пушкин писал кн. Вяземскому: „Если ты можешь влюбить в себя Елизу, то сделай мне эту божескую милость. Я сохранил свою целомудренность, оставя в руках ее не плащ, а рубашку (справься у К. Мещерской), и она преследует меня и здесь письмами и посылками. Избавь меня от Пентефрихи“. Если этот резкий и до цинизма насмешливый отзыв сопоставить с приведенным выше письмом ее, к которому собственно и относятся слова Пушкина, получается поразительный контраст двух сторон их отношений. . .

Гораздо позже, 2 января 1831 года, в разгар Польского восстания, Пушкин мимоходом сообщает П. А. Вяземскому: „Лиза голинькая пишет мне отчаянное политическое письмо“. Далее, сообщая Плетневу 26 марта 1831 года свой Московский адрес: „в дом Хитровой на Арбате“, — он шутливо прибавляет: „Дом сей нанял я в память моей Элизы; скажи это южной ласточке, смуглорумяной красоте нашей“ (т. е., повидимому, А. О. Россет). В дни холеры в Петербурге, 3 июля 1831 г., он пишет кн. Вяземскому: „Элиза готовится к смерти мученической и уже написала мне трогательное прощание“ (это письмо Е. М. Хитровой до нас не дошло). Вскоре же, сообщая Вяземскому о своих планах издавать журнал, которого „в три месяца . . . книжицу выдадим, с помощью божией и Лизы голинькой“, он прибавляет: „Кстати: Лиза написала было мне письмо в роде духовной. . . [см. выше] да и замолкла, я спокойно себе думаю, что она умерла, — что же узнаю? Элиза влюбилась в вояжера Mornaу да с ним кокетничает! Каково? O femme, femme, créature faible et décevante [О женщина, женщина, создание слабое и обманчивое]“¹ — на что Вяземский отвечал: „Кстати, ты кажется ревнуешь

Вестник“ 1894, № 4, стр. 159). Здесь, как и везде, к показаниям „Записок“ Смирновой нужно относиться с крайней осторожностью, но нужно помнить, что салонное, светское обхождение Пушкина с Хитровой не могло быть иным, как „дружески почтительным“. В более интимном кругу он держал себя иначе, а в переписке с нею — возвращался к „почтительному“ тону.

¹ Быть может, именно этот эпизод с каким-то Mornaу имеет в виду одно письмо родных Пушкина — Надежды Осиповны и Сергея Львовича, к дочери,

и к Голенькой. Я поздравляю ее и скажу, что ты часто пишешь мне о каком-то Mornay. Впрочем, не беспокойся и не верь клевете: это верно Dona Sol [А. О. Россет] смутила тебя, — она и меня хотела поссорить с нею“.

Следующие упоминания выводят нас уже за хронологические пределы публикуемых писем Пушкина к Хитровой. Но они показывают, как неизменно, в его эпистолярной беседе с друзьями, имя Елизаветы Михайловны вызывает каламбур или шутку, иногда двусмысленную, — словно иного отношения, кроме иронического, к ней быть не может. Так, летом 1832 года, он сообщал княгине В. Ф. Вяземской: „Сейчас от Хитровой. Elle est on ne peut plus touchée de l'état de Батюшков — elle s'offre de venir elle-même tenter le dernier remède, avec une abnégation vraiment admirable (Она как нельзя более тронута состоянием Батюшкова [для излечения которого от сумасшествия врачи, по преданию, рекомендовали физическое общение с женщиной] — и предлагает самое себя, чтобы испробовать последнее средство, с самоотвержением истинно восхитительным)“.

А 8 октября 1833 года, из Болдина, Пушкин писал жене: „Кланяйся всем моим прелестям: Хитровой первой. Как она перенесла мое отсутствие? Надеюсь, с твердостью, достойной

О. С. Павлищевой, написанное из Павловска в Петербург в июле—августе 1831 года, т. е. около того же времени. Надежда Осиповна пишет: . . . „Il y a une histoire scandaleuse, qui court ici sur le compte d'Herminie: ne pourrais-tu pas savoir ce que c'est, cela a eu lieu au Jardin Strogonoff; personne n'a voulu le dire ni à Natalie, ni à Alexandre; ils sont aussi curieux que moi. Comme tu ne m'en parles pas, je suppose que tu l'ignoroit encore“. И С. Л. Пушкин прибавляет со своей стороны: . . . „Il y a du *louche* et du *noir* à ce qui paroît dans ce qui c'est passé avec Herminie aux bords de la Riviere noire — je suppose que cela doit être *la dernière aventure d'une femme de cinquante cinq ans*“ (цитируем по автографу Пушкинского Дома). Какой бы светской сплетней ни было всё это сообщение, — оно достаточно рисует отношение к Хитровой в семействе Пушкина, — что не могло не влиять сильнейшим образом на его собственное настроение. Отметим, что каламбуры Сергея Львовича („*du louche et du noir*“ и „*la dernière aventure d'une femme de 55 ans*“) имеют в виду, конечно, два французских романа, которые нравились в это время Е. М. Хитровой: „*Le rouge et le noir*“ Стендаля и „*La femme de trente ans*“ Бальзака. Первый упоминается в письмах Пушкина (XVI и XVIII); роман Бальзака не назван, но, конечно, читался и Пушкиным, и его корреспонденткой: недаром он называет французского писателя в XXV-м письме к ней „*votre Balzac*“.

дочери князя Кутузова“. Вспомним и злую эпиграмму на Хитрову („Лиза в городе жила“...), сочиненную, — по преданию, в котором нет ничего невероятного, — именно Пушкиным, около 1829—1830 года. Вспомним, наконец, что и в письмах Пушкина к ней иногда пробивается и нетерпение, и раздражение, и он принимает резкий и мало-допустимый с светской точки зрения тон. Вежливым нетерпением проникнуто первое из публикуемых писем, где он уклоняется от ее забот о своем здоровье. Скрытой иронией звучит письмо, не поддающееся датировке (XXVI), но служащее откликом на какие-то сентиментальные ее разговоры. И уж просто раздраженный окрик, с поминанием черта, представляет последняя (XXVII) записка, тоже не поддающаяся датировке, но, быть может, тесно связанная с предыдущим письмом.

Чем объяснить такое отношение к ней? Зная Пушкина хорошо — по крайней мере с некоторых сторон — и правдиво изображавшая его А. П. Керн дает некоторый материал для разрешения этого вопроса: она отмечает в Пушкине „слишком невысокое понятие о женщине: несмотря на всю его гениальность, — печать века“, и, как следствие этого — способность скорее „увлечься блеском, заняться кокетливым старанием ему нравиться, чем истинным, глубоким чувством любви“, и поясняет: „Он однажды мне говорил кстати о женщине, которая его обожала и терпеливо переносила его равнодушие: *Rien de plus insipide que la patience et la resignation* (Нет ничего более безвкусного, чем терпение и покорность судьбе)“: эти слова, по более, чем вероятной догадке Б. Л. Модзалевского, относятся именно к Е. М. Хитровой.¹ Со свидетельством А. П. Керн интересно сопоставить письмо Пушкина к Е. М. Хитровой, упомянутое выше, — XXVI нашего издания. Оно, вероятно, принадлежит к ранним годам знакомства, во всяком случае, до его женитьбы. Написанное полу-серьезно, полу-иронически, оно

¹ „Пушкин и его современники“, вып. V, стр. 144—145. Вспомним удивительно-совпадающие с этим отзывом слова самой Е. М. Хитровой в одном из писем к Пушкину 1830 года: „По отношению к вам (несмотря на вашу нелюбовь ко всему этому) я кротка, и безобидна, и покорна [...]*je suis avec vous (malgré l'Antipatie que cela vous donne) et douce, et inofensive et résignée...*“ (Переписка, т. II, стр. 123). Определение настроения Хитровой, как „*resignation*“, Пушкин, быть может, заимствовал от нее же самой.

дает несколько откровенных признаний, для Пушкина характерных. Какой-то его разговор о чувстве задел ее своею несдержанностью; — быть может, легкостью выражений, которые она отнесла к себе. Он отклоняет от себя эти упреки, иронически заявляя о своей боязни „высоких чувств“, т. е. тех, которые она к нему питала; он разрушает поэтическую фикцию, которую она из него делала, указанием на свою обыденность и „мещанство“;¹ он отказывается от любовных историй, от чувств, от переписки, — от всего того, чего она бы хотела, — и, наконец, заявляет о своей связи с „особой болезненной и страстной, которая его бесит, хотя он и любит ее всем сердцем“. Последний намек мы затрудняемся расшифровать иначе, как иносказанием: он имеет в виду, быть может, не биографический факт, не женщину, но свою Музу, которой он служит, — творчество, мучительное для него и любимое им.² Но Е. М. Хитровой давался в этом предмет для ревности и вместе с тем выражался полный отказ от чувства, внушенного ею, — потому что и мысли, и темперамент его заняты вполне. Трудно придумать более тонкий и иронический способ отклонить от себя предлагаемую любовь. Это письмо характерно, как показатель внутреннего, искреннего отношения Пушкина к влюбленности Е. М. Хитровой. Что же касается внешней стороны, обращенной к окружавшему их обществу, то нужно иметь в виду, что Пушкин, светский человек, наклонный к деизму, строго себя отделяющий от Пушкина-сочинителя, более всего боялся показаться смешным в глазах друзей и общества. С этой точки зрения, экзальтированная, сентиментальная любовь-поклонение стареющей, чуть не 50-летней, некрасивой женщины должна была быть для него тягостна и неприятна. Е. М. Хитрова не умела, нужно думать, скрывать свои чувства: они были известны всем друзьям, всему Петербургскому обществу, о них писала — и как раз в том смысле, что они делают его „drôle“, — мать Пушкина его сестре. Тем более должен был он стараться придавать *своему* отношению к ее чувству характер равнодушия, свисходительной

¹ То же говорит он и в письме от конца мая 1830 года (VIII); см. выше.

² Иначе понимает это место Пушкинского письма В. В. Вересаев, видя в нем намек на отношения Пушкина к графине А. Ф. Закревской и, таким образом, приурочивая письмо к 1828-му году („Заметки о Пушкине. II. Книгиня Нина“ — „Новый Мир“ 1927, кн. 1-я, стр. 196).

иронии и пренебрежения, как к чему-то несущественному и только смешному. Если бы было только это, если бы пламенная любовь Елизаветы Михайловны вызывала лишь *такой* ответ,— прав был бы исследователь, сказавший, что „дружба их не сыграла никакой роли в личной жизни поэта и не оставила заметного следа в его биографии“. Однако-же, это не так. Простые сопоставления фактов и дат показывают в его отношении к ней определенную двойственность: отозвавшись с насмешкою, в письме к Вяземскому, о „Лизе голинькой“, которая пишет ему „отчаянное политическое письмо“, — он сам отвечает ей (21 января 1831 года) серьезнейшим и длинным письмом на политические темы; весной 1830 года он просит кн. Вяземского „избавить его от Пентефрихи“, жалуется на нее и кн. Вяземской, — а ей пишет длинное и очень откровенное письмо о своих настроениях и делах (VIII). Об этом или предыдущем письме сообщает своей жене Вяземский, — насмешливо отмечая двойственность поведения поэта: „Скажи Пушкину, что он плут. Тебе говорит о своей досаде, жалуется на Эрминию, а сам к ней пишет. Я на днях видел у нее письмо от него. Не прочел, но прочел на лице ее, что она довольна“... („Голос Минувшего“ 1922, № 2, стр. 114). Шутливые отзывы — для других, и серьезные письма-беседы — для нее — перемежаются всё время. Такая двойственность является основною чертою в отношениях Пушкина с Е. М. Хитровой. Они внутренне сложны и, в жизни поэта, единственны в своем роде.

Постараемся дать характеристику их действительного значения для жизни Пушкина — в сфере интеллектуальной, литературной и общественной. Здесь влияние дружбы его с Е. М. Хитровой многообразно и обширно. Оно охватывает все роды отношений Пушкина, и во всем, в большей или меньшей степени, проявляется ее участие. Сама она, в одном из писем к Пушкину весной 1830 года, перед его сватовством, начертила довольно точную, хотя и далеко не полную формулу, характеризующую сферы ее дружбы: „Défendez moi de vous parler de moi“, пишет она, „mais ne me privez pas du bonheur d'être votre commissionnaire.— Je vous parlerai grand monde, littérature étrangère — probabilité d'un changement du Ministère en France, ... je suis à la source de tout... (Запрещайте мне говорить вам о себе, но не лишайте меня счастья быть вашим деловым посредником. Я буду осве-

домлять вас о большом свете, об иностранной литературе, о возможности смены министерства во Франции — я у источника всех сведений. . .)“. Если к этим обязанностям вестницы и осведомительницы по части политики, западной литературы и большого света прибавить ее деятельное и сочувственное внимание к поэтической и литературской работе Пушкина и ревность о его писательской славе; ее постоянные заботы о его придворно-служебном положении, о его отношениях с властью, о его спокойствии и безопасности; ее участие в делах его родных, друзей и лиц, так или иначе с ним связанных, и самоотверженную помощь им всем в случаях нужды, — одним словом, всё то участие, которое ей диктовали ее природная доброта и любовь к поэту, а облегчали обширные светские, придворные и литературные связи, — мы составим себе представление о том значении, какое имела Е. М. Хитрова для Пушкина в последнее десятилетие его жизни. Значение это не всегда было одинаково сильным, — вернее, не всегда одинаково ясно нами улавливается: но и тот материал, который дает публикуемое собрание его писем, вместе с ее письмами и некоторыми другими сохранившимися свидетельствами, дает достаточно много, чтобы иметь о нем представление, по крайней мере, в годы наибольшей углубленности и интенсивности их отношений — 1830—1831.

Из их переписки мы видим, как велик был ее интерес к творчеству поэта, как она пристально за ним следила и как он сам внимательно и дружески делился с нею тем, что писал и выпускал в свет: ей он посылал выходящие главы своего „Онегина“ и с интересом прислушивался к ее мнению, с нею делился самыми душевными мыслями о „Борисе Годунове“; ей, как дочери Кутузова, послал рукопись оды, обращенной к его гробнице, в то время, когда написанного им стихотворения не знали, кажется, и близкие друзья его; ей же высказывал свое отношение к закрытию „Литературной Газеты“. Делами последней, она, видимо, очень интересовалась, внимательно за ней следила и была ее постоянной читательницей. Она знала, как близок к „Газете“ Пушкин, как велико его участие в этом кружковом органе. С делами „Газеты“ должен был ее знакомить и соредaktor Дельвига, О. М. Сомов: в 1830 году он давал уроки „посланнику“ и его жене, т. е. графу и графине Фикельмон; он преподавал им, вероятно, русский язык, неизвестный

графу и забытый графиней за долгие годы жизни в Италии. От него Е. М. могла знать закулисную сторону отношений „Газеты“, как раз в это время начавшей борьбу с изданиями Греча и Булгарина. Борьба, имевшая значение не только литературное, но и общественное и часто выходившая из рамок литературной полемики, достаточно известна. До нас дошло относящееся к ней письмо Е. М. Хитровой к кн. П. А. Вяземскому по поводу статьи Пушкина о „Записках Видока“, предназначенной для „Литературной Газеты“.

Статья встревожила Елизавету Михайловну, знавшую ее до напечатания. Если она сама и не отдавала себе полного отчета во взаимоотношениях Пушкина и Булгарина, „Литературной Газеты“ и „Северной Пчелы“, всё же она сознавала, каковы могут быть для Пушкина последствия такого резкого выступления и притом — знала мнение об этом другого, более, чем она, осведомленного лица — Василия Алексеевича Перовского, хорошо относившегося к Пушкину. Взволнованная, „не понимая равнодушия литературных друзей Пушкина“, она написала кн. Вяземскому; в достаточной своей авторитетности она не была уверена — даже напротив — и взывала к авторитетам Вяземского и Жуковского, чтоб убедить Пушкина не печатать статьи.¹ Статья была всё же напечатана — и распря имела свое продолжение. Отголоском ее же являются два стихотворения, — в копиях, снятых, по видимому, тогда же для Е. М. Хитровой, приложенные к письмам Пушкина к ней: эпитаграмма на Ф. В. Булгарина („Не то беда, что ты Поляк. . .“) и „Моя родословная“. Эпитаграмма интересна тем, что приводятся обе редакции: та, которую Булгарин напечатал в „Сыне Отечества“, с его собственным именем в последнем стихе, и подлинная, где имя Булгарина заменено кличкой — Видок Фиглярин. Присутствие этих стихотворений среди писем показывает более всего то близкое, иногда по-женски непосредственное, всегда взволнованное участие, какое проявляла к делам Пушкина Е. М. Хитрова. И такое же заботливое участие к делам поэта проявила она шесть лет спустя, в конце 1836 года, — участие тем более трогательное и бескорыстное, что дело касалось ее отца, фельдмаршала Кутузова, славу кото-

¹ Сочинения князя П. П. Вяземского, С.-Пб. 1893, стр. 521—522, ранее в „Русском Архиве“ 1884, кн. II, стр. 411.

рого Пушкин, яко-бы, унизил в стихотворении „Полководец“. Она не задумалась выступить на защиту Пушкина, хотя чувствовала себя „мученицей“ — между выражениями сочувствия узких и шумливых поклонников Кутузова и своим чувством к Пушкину, проникнутым глубокою верою в поэта и в его справедливость. Ее взволнованная — как всё, что она писала — записка к Пушкину по этому поводу, написанная осенью 1836 года, является последним сохранным нам письменным памятником их сношений.¹ Напомним еще, что летом 1831 года, когда Пушкин задумывал издавать журнал и искал способов получить разрешение, — он подумал о Е. М. Хитровой, как о посреднице в этом деле. Правда, мысль о ней заключена в шутливую форму, это — намек, брошенный в письме к Вяземскому; но само по себе обращение за помощью к „Лизе голинькой“ было очень естественно.

Наряду с этим она всеми силами стремилась улучшить и упрочить положение полу-опального поэта в доступных ей высоких кругах. Его литературную славу она старалась использовать с этою целью и вместе с тем пыталась охранить его от ложных и опасных, по ее мнению, шагов. Попытки ее сблизить Пушкина с высшими сферами — династическими и церковными — не всегда, правда, были удачны и даже не всегда уместны; но в других случаях ее содействие имело свое значение. Близкая сама к митрополиту Филарету, она пыталась и Пушкина примирить с ним, — что было довольно трудно, после разыгравшейся летом 1828 года истории с обнаружением „Гавриилиады“. На пороге 1829—1830 года она привезла митрополиту стансы Пушкина „Дар напрасный, дар случайный“.² Известна происшедшая отсюда стихотворная полемика: Пушкин ответил наружно-смирненно, по существу же ответ его был лишь отзывом на свои собственные переживания. Сближение не удалось, хотя митрополит, как будто, проявлял к поэту благосклонность; Пушкин же продолжал очень критически

¹ Переписка, т. III, стр. 377; см. выше, примечания к письму XXI, стр. 128—129.

² „Русский Архив“ 1895, кн. II, стр. 86, прим. П. И. Баргенева со слов самого Филарета. По другим сведениям — последний „нашел стихи у Е. М. Хитровой“ (см. в примечаниях к письму V, стр. 47).

относиться к холодному и бездушно-лукавому служителю официальной церковности.¹

Она радовалась его светско-литературным успехам, отмечая в письмах и то, например, что „вчера вечером на репетиции Карусели много говорили о вашей седьмой песни [VII главе „Онегина“], которая имела всеобщий успех“,² или сообщая ему об успехе „Бориса Годунова“ в Петербургском высшем обществе. Она искренно была счастлива, когда вел. князь Михаил Павлович, заинтересованный портретом поэта; стоявшим у нее на столе, выразил желание с ним познакомиться и иметь с ним длинный разговор и взял для чтения „Полтаву“ — и говорила: „Как я люблю, чтобы вас любили“.³

В мае 1830 г., после объявления Пушкина женихом Н. Н. Гончаровой, Е. М. Хитрова сделала некоторые шаги, чтобы убедить поэта исходатайствовать себе у государя какое-либо место, — что казалось ей необходимым для упрочения его материальной независимости и для уяснения отношений к правительству. Е. М. Хитрова выросла и воспитывалась в придворной обстановке; она знала, что в России 1830 года невозможно иное общественное положение, кроме определенного для каждого табелью о рангах, а еще лучше — придворной иерархией; она хорошо знала сложное и запутанное положение Пушкина, но не учла в достаточной степени его личной гордости и нежелания закабалиться службой; не знала и того, что за месяц

¹ „Je reviens de chez Philareth — il m'a raconté un événement nouvellement arrivé à Moscou dont on vient de lui faire le rapport, il ajouta — расскажите это Пушкину — Je viens donc de l'écrire avec mon mauvais russe, telle que l'histoire m'a été raconté et je vous l'envoie n'osant pas lui désobéir. (Я только что вернулась от Филарета — он рассказал мне происшествие, недавно случившееся в Москве, о котором ему доносят; он прибавил: расскажите это Пушкину. Я и записала всю историю на моем плохом русском языке, точно так, как она была мне рассказана, и посылаю ее вам, не смея его послушаться)“ — писала Е. М. Хитрова Пушкину 20 марта 1830 года, в несколько извиняющемся тоне, — чувствуя, несомненно, как чужд и далек для Пушкина митрополит (Переписка, т. II, стр. 123).

² „Hier soir à la répétition du Carousel on a beaucoup parlé de votre septième Chant — il a eu un succès bien général“ — там же.

³ „Comme j'aime qu'on vous aime“ — там же. Известно, что позднее Пушкин довольно часто встречался с Михаилом Павловичем и отзывался о нем сочувственно.

до ее письма, 16 апреля, Пушкин уже сделал такого рода попытку, — не теряя своей свободы, выяснить и укрепить свое положение в отношении правительства — и получил от Бенкендорфа уклончивый и неопределенно-успокоительный ответ, равносильный запрещению дальнейших шагов.¹ Напечатанный выше ответ Пушкина на ее предложение (письмо VII) отражает эту неудачную переписку с Бенкендорфом и повторяет отчасти аргументацию письма от 16 апреля: этим объясняется решительность, с которою Пушкин отклонял от себя всякую мысль о поступлении „на службу“. Мы не знаем дальнейшего участия Е. М. Хитрово в установлении отношений Пушкина и Николая I, в сложной истории его принятия на службу, пожалования его камер-юнкером и т. д. Но, несомненно, она была одним из звеньев, связывавших поэта с дворцовыми сферами. Известно также, что во время „ссоры“ его с царем, в июле 1834 года, когда он решил подать в отставку, — она приняла деятельное участие в улажении дела, приезжала к Пушкину с письмами от Жуковского и, конечно, вместе с последним убеждала его отказаться от решительного шага.² Так, отчасти руками Е. М. Хитровой была крепче затянута петля, охватывавшая жизнь поэта; но она была искренна в своих побуждениях и, как Жуковский, желала ему добра; в тот момент решительный разрыв мог, действительно грозить Пушкину непредвидимыми и роковыми последствиями.

Деятельная любовь к друзьям и родственникам Пушкина — именно потому, что они были так или иначе связаны с любимым ею поэтом, — проявлялась в ней неоднократно. Она, как видно из публикуемых писем, хлопотала о Льве Сергеевиче Пушкине и устраивала его служебные дела.³ Пушкин, узнав о смерти Дельвига, немедленно обратился к ней за помощью семье умершего поэта.⁴ В другом случае она содействовала А. П. Керн в ее хлопотах по выкупу имения, проданного ее отцом и составлявшего все ее имущество. Об этом рассказывает сама А. П. Керн; она отмечает, что Е. М. Хитрова „принимала

¹ Переписка, т. II, стр. 152—153, 133—137 и 140—141.

² Переписка, т. III, стр. 147, в письме к Жуковскому: „Сейчас от меня *Лизавета* *Михайловна*. Она привезла еще мне два твои письма“ и т. д.

³ См. письма VI, XIV, XV.

⁴ См. выше, примечания к письму XIII.

в ней большое участие“: трудно сомневаться в том, что участием Елизаветы Михайловны А. П. Керн была обязана Пушкину. О своем плане выкупа имени А. П. Керн сообщила Хитровой, и та, „по доброте своей взялась хлопотать“. Вместе с Хитровой хлопотал и Пушкин — и следом их совместных стараний остались записки, писанные ими к А. П. Керн.хлопоты не удалась — но это не умаляет доброго желания и стараний Елизаветы Михайловны.¹ Особенно характерно вмешательство Е. М. Хитровой в дело С. Н. Глинки, пострадавшего из-за статьи „Московского Телеграфа“, направленной против Пушкина. Об этом рассказано выше, но следует здесь отметить один довод, которым кн. П. А. Вяземский мотивирует свое обращение к ней по этому поводу. Объяснив ей обстоятельства дела и пути, по каким должны идти хлопоты, и сославшись на то, что он знает ее „вдохновенность“ на все доброе, он продолжает² (перевод): „Если, однако, было бы недостаточно вас воодушевить желанием сделать просто доброе дело, исполнить долг, содержащий нравственную пользу, я мог бы найти в самой глубине вашего сердца пружину более скрытую и более личную. А. С. Пушкин заинтересован в том, чтобы Глинка не погиб совершенно за опрометчивость, в которой он был обвинен. Само собою разумеется, что Пушкин неповинен в несчастии Глинки, но, тем не менее, он через свое послание [„К вельможе“ — кн. Юсупову] явился, в некотором роде, его причиною [instrument]; удары были направлены против кн. Юсупова для того, чтобы мимоходом задеть и Пушкина, и его имя, волей-неволей, связывается с отставкой цензора. Я знаю, что он глубоко этим огорчен [sensiblement affecté], что, со своей стороны, он предпринимал шаги, чтобы улучшить его положение, и что, трудясь над достижением этой цели, вы предупредите желания или поддержите усилия вашего друга. Итак, вопрос вам представлен со всех сторон: христианской и языческой. Мне остается только сказать: да поможет вам бог“.

Нет сомнения, что документы сохранили нам лишь немногое

¹ „Пушкин и его современники“, вып. V, стр. 152—155; Переписка, т. II, стр. 387—388.

² „Отчет Публичной Библиотеки за 1895 год“. Приложение, стр. 56—58, письмо кн. Вяземского от 2 сентября 1830 года. То же — „Русский Архив“ 1899 г., т. II, стр. 83—87.

из большой практики дружеских одолжений, хлопот и услуг Е. М. Хитровой. Недаром так усиленно подчеркивает эту ее черту самый тонкий из ее наблюдателей — кн. П. А. Вяземский.¹ И несомненно, что в ее доброте, в постоянно готовом для дружеского участия сердце была одна из причин общей любви к ней и хорошего чувства к ней Пушкина, чувства, прорывающегося даже сквозь насмешливые отзывы и ярко сквозящего в письмах к ней.

Но еще гораздо более значительно место Хитровой в жизни Пушкина, еще более ценна для него его дружба с нею в другом отношении: в том, что ей принадлежала роль посредницы между ним и Западной Европой. Для такой роли Е. М. Хитрова была поставлена в исключительно благоприятные условия: близость ее ко двору, имя дочери фельдмаршала Кутузова, открывавшее перед нею все двери и все источники сведений, скрытые от других; положение хозяйки салона, где собирались особы царствующего дома, дипломаты, государственные деятели, литераторы и заезжие знаменитости; родственная близость с посланником дружественной державы, человеком, стоявшим вне всяких подозрений и вне всяких стеснительных законов, притом образованным, умным и широким взглядов, независимо от представляемого им политического направления, — всё это давало ей возможность быть центром сведений о политической и культурной жизни Европы и России, прямою передатчицею всех новинок Запада, иными путями не попадавших в Россию. Пушкин всю жизнь стремился на Запад, — и Запад всю его жизнь не давался ему. Тем более должен был он ценить дружбу с семейством Хитровой и Фикельмон: их салон был поистине „окном в Европу“, откуда вливались в туманный и холодный Петербург яркий свет и вольный воздух или, по крайней мере, их отражения. Характеристика, данная салону князем П. А. Вяземским, отчетливо показывает его значение в этом смысле. Значительная часть комментария к публикуемым письмам развивает слова Вяземского. Дополнения к ним можно найти и в других свидетельствах самого Пушкина.

¹ Цитируемое его письмо о деле С. Н. Глядки точно повторяет как выражения позднейших воспоминаний о ней, так и отзывы ему современные, вплоть до эпитета „языческий“ в применении к ее отношениям к Пушкину.

В письмах его, даже там, где имя Елизаветы Михайловны служит предметом иронии, неоднократно чувствуется ее значение — вестницы Европейских событий. Когда он в письме к князю Вяземскому из Болдина осенью 1830 года вспоминает о „Лизе Голинькой“ — имя ее сейчас же вызывает за собой имя Полиньяка, о котором он, так же как и о ней, „не имеет никакого известия“, и к этому он добавляет: „Кабы знал, что заживусь здесь, я бы с ней [т. е. с Е. М. Хитровой] завел переписку в засос и с подогревцами, т. е. на всякой почте по листу кругом — и читал бы в Нижегородской глуши *le Temps* и *le Globe*“. Из писем его к Елизавете Михайловне видно, что она, во время пребывания его в Москве, до поездки в Болдино, снабжала его французскими газетами, прямым путем не доходившими до Москвы. „Ваши письма, говорит он, — единственный луч света, доходящий до меня из Европы“. Об этом же пишет ей кн. П. А. Вяземский 2 сентября 1830 г.: (перевод) „Благодаря Пушкину, я пользуюсь отраженно [*par ricochet*] посылками, которые вы ему пересылаете, — и благодарю вас за это. . . . Теперь [когда Пушкин уехал в свое Нижегородское имение] я уже не должен более ожидать, чтобы пришла какая-либо посылка от вас, и я обращаюсь к великодушному беспристрастию г-жи посланницы. Если бы у нее нашлось что-нибудь, уже устаревшее для вас, но новое для нас, отделенных от мира Китайской стеной, пусть сообразовит мне прислать. Что касается „*Journal des Débats*“, то мы его читаем и здесь“ . . .¹ Посылку Пушкину газет и журналов Е. М. Хитрова продолжала и дальше, зимою 1830—1831 года. В это время, из Москвы, он писал ей длинные письма самого серьезного политического содержания — о Польском восстании, о Мицкевиче, о Французских делах . . . Эти письма обращены не к смешной и надоедливой „Лизе“, — но ко вдумчивому и умному другу, глубоко сочувствующему и всё понимающему, — каким была для него, под своею комическою внешностью, Елизавета Михайловна. Много времени спустя, осенью 1835 года, он, в письме к жене из Михайловского, обронил характерную фразу: „Пиши мне также новости политические. Я здесь газет не читаю — в Англ. Клуб не езжу и *Хитрову* не вижу. Не знаю, что делается на белом свете“ . . . О политическом

¹ „Отчет Публичной Библиотеки“ за 1895 год. Приложение, стр. 58.

значении Английского Клуба Пушкин был не высокого мнения; но Е. М. Хитрова и теперь, как и раньше, была для него источником политических сведений: он их невольно противопоставлял друг другу.

Значительно было участие Елизаветы Михайловны и в деле литературного общения Пушкина с Западом. Мы видим из его писем, что именно через нее он получал новинки западно-европейской художественной литературы, преимущественно произведения начинавших тогда выступать молодых французских романтиков, к которым Пушкин присматривался с величайшим вниманием и с интересом, не всегда сочувственным. В. Гюго, Ж. Жанен, Сент-Бёв, Эж. Сю, А. Дюма, Бальзак, Стендаль — все они доходили до него через руки Е. М. Хитровой, все были предметом их переписки. Мало того: запрещенные ко ввозу в Россию книги — труды Тьера и Минье о Французской революции — он получил, когда они ему потребовались для работы, через нее же и, повидимому, именно полученные таким образом книги сохранил в своей библиотеке. В получении запрещенных книг можно предполагать участие зятя Хитровой, графа Фикельмона. Сохранившиеся документальные данные не позволяют судить, насколько часто пользовался Пушкин этим путем. Несомненно, он это делал не раз, а гр. Фикельмон, относившийся к нему с уважением и симпатией, и по собственному почину снабжал его запрещенными изданиями. По крайней мере, известно позднейшее (1835 года) письмо к Пушкину графа Фикельмона при посылке в подарок, „как памяти и как визитной карточки на прощание при отъезде“, запрещенной тогда в России „контрабанды“ — сочинений Г. Гейне. 2 тома их, с запиской гр. Фикельмона, сохранились в библиотеке Пушкина.¹ — Более широкого „окна в Европу“ для Пушкина в то время и не могло существовать.

Заключим теперь обзор сложных и многообразных отношений Пушкина к Е. М. Хитровой. Необходимо отметить, что реконструировать их приходится на отрывочном и неполном, даже скудном материале, — на эпистолярных упоминаниях, на отрывках мемуаров современников, главнее всего — на их переписке между

¹ Письмо гр. Фикельмона от 27 апреля 1835 года — Переписка, т. III, стр. 197; ср. „Пушкин и его современники“, вып. IX—X, стр. 247.

собою и на переписке Хитровой с Вяземским. Можно сказать а priori, что материал очень не полон. В нашем распоряжении письма к ней Пушкина с половины 1827 по конец 1832 года; наибольшее их число падает на годы 1830—1831. Все ли письма его сохранились? Нет никаких данных это утверждать, как нет данных, чтобы сказать, что были еще письма, кроме нам известных, за исключением одного, написанного 4 ноября 1836 года, о котором упоминает гр. В. А. Соллогуб. Из писем ее, наоборот, сохранилась до нас (как уже указывалось) лишь ничтожная часть. Так же ничтожны и обрывки ее переписки с кн. П. А. Вяземским, какими мы располагаем (два письма ее к нему и три его к ней), а она была несомненно гораздо обширнее и, что для нас важнее, содержала много данных о Пушкине. Всё это заставляет биографа быть осторожным и в деталях, и в выводах. Тем не менее, наличие важнейшего первоисточника — писем самого Пушкина — дает возможность пересмотреть вопрос о том, чем была для Пушкина дружба с Хитровой; а пересмотрев, как мы пытались это сделать, позволяет и вывести некоторые заключения, исходя притом из анализа этих писем. В самом деле: известная до сих пор переписка Пушкина представляет колеблющуюся линию, и качественно и количественно тесно связанную с этапами биографии поэта. Первый *качественный* подъем эпистолярной продукции его (о количественном говорить с полной определенностью нельзя, так как многое, несомненно, утрачено) приходится на годы ссылки и достигает высшей точки в конце 1824 и в 1825 году, во время житья в Михайловском, когда личное общение с друзьями и литературными соратниками заменялось, по необходимости, письмами. В письмо заключались не только деловые сообщения, поручения, просьбы, но и целые рассуждения на литературные и общие темы, иногда — законченные критические статьи, теоретические замечания и обзоры: каждое такое письмо есть художественное произведение особого рода, иногда — рассчитанное на восприятие целого кружка друзей и единомышленников, т. е. на некоторую гласность. События 14 декабря наложили отпечаток на письма 1826 года: их меньше, они сдержаннее, т. е. менее содержательны. Следующие затем скитальческие годы 1827 — 1829 не способствовали развитию переписки: письма становятся деловитее и короче, рассуждения и высказывания на литературные темы уступают

место фактическим сообщениям и деловым вопросам. С наступлением новой эпохи в жизни Пушкина, в 1830—1831 годах, характер переписки меняется: отныне и до самого конца жизни поэта она делится между Н. Н. Гончаровой, невестой, потом женою, — и немногими друзьями, как Вяземский, Плетнев и Нащокин; письма к невесте и жене представляют особый цикл, совершенно своеобразный, но далекий от литературных и общих вопросов; письма к друзьям — очень личные, частью деловые и лишь в слабой степени общего характера, где литературные и общественные вопросы обсуждаются или мимоходом, или скорее практически, чем теоретически и критически... Вся же остальная переписка Пушкина, очень обширная в 1831—1836 годах, — исключительно делового, служебного и светского характера.

Письма к Е. М. Хитровой среди переписки Пушкина представляют не правило, а исключение. С нею Пушкин беседует, как с другом; беседует, живя в Москве, сначала в ожидании всё откладывающейся свадьбы, среди неудач и тоскливого одиночества, потом — после женитьбы, несмотря на хлопоты „медового месяца“; беседует и позднее, живя в Царском-Селе, окруженном холерою, в шумной близости двора. Е. М. Хитрова ему ближе всех его Московских друзей, не исключая Нащокина. В письмах к ней он изливает тоску и досаду от пустоты и „татарского“ ничтожества Московского общества, мелочности говорунов Английского Клуба, пошлости тупо-разоряющегося барства. В письмах к ней он дает волю своему настроению, поверяет мысли о событиях в Европе и России, о положении Русской армии и поведении Петербургского правительства, об успехе „Бориса Годунова“ и о его назначении, о смерти Дельвига и о „Литературной Газете“... Можно сказать, что, по отношению к этим высказываниям, письма к Вяземскому, к Плетневу или к Нащокину являются отзвуками или аккомпанементом. И важно то чувство, которым проникнуто каждое письмо к ней: он знает, что та, к кому он обращается, поймет его мысли и, еще более, чем мысли — его настроения; знает, что имеет дело с хорошим и верным другом, — и очень откровенно сообщает соображения о своей женитьбе и о дальнейшей судьбе. Обо всем этом он говорит с нею больше, чем с кем-нибудь другим. А о некоторых вопросах, напр., о тонко-

стях французских политических отношений и парламентских дел, говорит исключительно с нею одною.¹

Письма к ней — только заочное продолжение тех бесед, какие велись в Петербурге на ее утренних приемах и на вечерних собраниях у ее дочери. А так как Пушкин (это видно по многим данным) бывал у нее часто и запросто, не в приемные часы, а когда того требовало дело или настроение или ее желание, — то и беседы с нею, при большой широте и большом разнообразии охватываемых тем, должны были отличаться простотою и интимностью. Становится очевидным, что ценен и близок был Пушкину не только кружок, собиравшийся в Австрийском посольстве; ценна и близка ему была сама Елизавета Михайловна, как человек, как верный друг, как сочувствующее и понимающее сердце. Пусть она интеллектуально была несравненно ниже его, вернее — с ним несоизмерима, пусть умом она многого не понимала, иное понимала слишком односторонне и предвзято, скованная предрассудками и традициями родственной ей придворной среды; пусть часто умом она делала ошибки и раздражала поэта нетактичностью своих выступлений: но всё искупало в ней иное, сердечное понимание, живость и острота восприятий, неисчерпаемая доброта и горячее сочувствие всему, что касалось любимого ею человека. В этих качествах — основная причина своеобразной близости и сердечности их отношений — не только с ее стороны, но и со стороны Пушкина.

Остается досказать последние биографические детали. Знакомство Пушкина с Хитровой продолжалось без малого десять лет, и нам трудно сказать, ослабело ли оно, и насколько, в последние годы его жизни, — документального материала почти нет; но личные отношения, посещения салона, беседы, обмен книгами и газетами несомненно продолжались. Не менялась и ее любовь — глубоко-затаенная и безответная.

¹ Не без влияния на откровенность и содержательность писем могло быть и то обстоятельство, что очень многие из них отправлялись и по оказии.

Дуэль и смерть Пушкина принесли чувству Елизаветы Михайловны последнее, горчайшее испытание. Мало того, что она со знавала утрату великого поэта, славы ее страны, которому она поклонялась, как патриотка; мало того, что она оплакивала в нем свою долголетнюю и неразделенную, страстную любовь; тяжелее всего было то, что молва, повторяемая некоторою частью общества, делала ее причастной гибели поэта, возлагала на нее долю вины за его дуэль...¹

На эти то слухи намекает кн. П. А. Вяземский, так резюмирующий отношение Е. М. Хитровой к смерти поэта: „Несчастливая смерть Пушкина, окруженная печальною и загадочною обстановкою, породила много толков в Петербургском обществе; она сделалась каким-то интернациональным вопросом. Вообще жалели о жертве; но были и такие, которые прибегали к обстоятельствам, облегчающим вину виновника этой смерти и, если не совершенно оправдывали его (или, правильнее, их), то были за них ходатаями. Известно, что тут замешано было и дипломатическое лицо. Тайна безымянных писем, этого пролога трагической катастрофы, еще недостаточно разъяснена. Есть подозрения, почти неопровержимые, но нет положительных юридических улик. Хотя Е. М., по семейным связям своим, и

¹ Об этом писала, напр., известная гр. Р. С. Эдлинг, рожд. Стурдза, жившая в Одессе, поэту В. Г. Теплякову в Константинополь, вскоре после смерти Пушкина (17 марта 1837 г.): „Хитрова, которую хотели очернить в общественном мнении, приписывающем большое участие ей в этой интриге [т. е. в подметных письмах и в возбуждении дуэли], укаживала за Пушкиным до последней минуты, и я нахожу, что это обстоятельство служит ее оправданием“ („Русская Старина“ 1896 г., июль, стр. 417—418); отметим, что для биографов, мало знакомых с отношениями Пушкина к семье Хитровой-Фикельмон, роль членов последней в столкновении Пушкина с Дантесом была неясна и много лет спустя после события. Так, к Воспоминаниям гр. В. А. Соллогуба, рассказывающего, что, по словам д'Аршиака, Венское общество целую зиму забавлялось рассылкою шуточных дипломов на разные звания, в том числе и такого образца, какой получил Пушкин („Русская Старина“ 1880, июнь, стр. 330), редакция (вероятно, П. А. Ефремов) делает примечание: „Австрийским посланником был граф Фикельмон, а супруга его покровительница Дантеса. Изобретение подметных писем могло иметь здесь свое начало“. Откуда взял комментатор, что Д. Ф. Фикельмон покровительствовала Дантесу, неизвестно; позднее Л. Н. Павлищев, в своих „Воспоминаниях о Пушкине“, напечатанных через 10 лет после статьи Ефремова (1890), повторил ту же басню.

примыкала к дипломатической среде, но здесь она безусловно и исключительно была на Русской стороне. В Пушкине глубоко оплакивала она друга и славу России¹. Так, близость Е. М. Хитровой к дипломатическим кругам была одним из оснований для возникновения слухов о ее участии в интриге против Пушкина. Была и другая сторона — близость ее, через старшую дочь, фрейлину гр. Е. Ф. Тизенгаузен, к интимно-дворцовым сферам. Нет никаких данных предполагать, как это иногда делается, что Николай I был скрытой пружиной придворно-светского „заговора“, а Дантес — его исполнителем. Но с уверенностью можно сказать, что, следя за перипетиями семейной драмы Пушкина, во дворце сочувствовали не ему, а Дантесу, и видели в последнем неправоскорбленную, страдающую сторону. В бумагах гр. Тизенгаузен, среди писем и записок императрицы Александры Федоровны к своей любимой фрейлине, есть два письма, где упоминается имя Дантеса. Оба письма не датированы, но принадлежат к декабрю 1836 — началу января 1837 года. В первом читаем: „J'aurai tant voulu avoir des détails par Vous sur l'incroyable mariage Dantès. — Est-ce donc la lettre anonyme qui en est cause? Est-ce du dévouement, ou sacrifice? Il me semble inutile, trop tard (Мне бы так хотелось иметь через вас подробности о невероятной женитьбе Дантеса. — Неужели причиной ее явилось анонимное письмо? Что это — великодушие, или жертва? Мне кажется — бесполезно, слишком поздно)“. В другом письме императрица замечает: „J'ai pitié de Dantèsse [sic], il faudrait empêcher ce mariage, ce sera pour le malheur de tous les deux (Мне жаль Дантеса, нужно было бы помешать этому браку — он будет несчастием для них обоих..)“. Явно звучит в этих письмах сочувствие „самоотверженному“ Дантесу, идущему на гибель от руки ревнивого и взбешенного поэта. Но несомненно, Е. М. была далека от таких чувств — и, быть может, в этом раскодилась со своею старшею дочерью.

Роль ее в „подметных письмах“ выразилась в том, что она была избрана их авторами в число тех близких знакомых Пушкина, кому они рассылались (вместе с кн. В. Ф. Вяземской, гр. М. Ю. Виельгорским, А. И. Васильчиковой, — теткой

¹ Сочинения, т. VIII, стр. 494.

гр. В. А. Соллогуба, и др.).¹ Из рассказа Соллогуба мы знаем, что Е. М., ничего не подозревая, переслала запечатанное письмо Пушкину, и, когда Соллогуб вошел в кабинет поэта, чтобы передать ему полученный его теткою такой же запечатанный конверт, Пушкин, по его словам, сказал ему: „Я уж знаю, что такое; я такое письмо получил сегодня же от Елиз. Мих. Хитровой; это мерзость против жены моей. Впрочем, понимаете, что безымянным письмам я обижаться не могу. Если кто-нибудь сзади плюнет на мое платье, так это дело моего камердинера вычистить платье, а не мое. Жена моя — ангел, никакое подзрение коснуться ее не может. Послушайте, что я по сему предмету пишу г-же Хитрово“. Тут он прочитал Соллогубу письмо, вполне соответствующее с его словами (см. у П. Е. Щеголева, „Дуэль и смерть Пушкина“, Пгр. 1916, стр. 069—070). Письмо это до нас не сохранилось; но, зная точность Соллогуба в других цитациях, относящихся к Пушкину, можно верить в справедливость его рассказа. Этим исчерпываются сведения о роли Хитровой в драме, предшествующей дуэли; как бы то ни было, это — роль близкой знакомой, друга Пушкина, а никак не врага. То, что Е. М. Хитрова „ухаживала за Пушкиным до последней минуты“ (как говорит гр. Эдлинг), конечно, не совсем точно. Верно лишь то, что она приезжала к раненому поэту и видела его. В записях А. И. Тургенева, вошедших в письма его к А. И. Нефедьевой и ведшихся по часам, ее посещение отмечено два раза: впервые — во 2-м часу дня, 28 января: „Приехала Е. М. Хитрова, и хочет видеть его, плачет и пеняет всем; но он не мог видеть ее“.² Затем — в самый день смерти Пушкина, 29 января, около 1 часу дня: в квартире Пушкина „весь город, дамы, дипломаты, авторы, знакомые и незнакомые наполняют комнаты, справляются об умирающем. Сени наполнены несмеющими войти далее. Приезжает сейчас Элиза Хитрова, входит в его кабинет и становится на колена“.³

¹ См. в книге А. С. Полякова „О смерти Пушкина (по новым данным)“. Пбг. 1922, стр. 12 и сл.

² „Пушкин и его современники“, вып. VI, стр. 54; письмо датировано здесь неверно — 29-м января — вместо 28-го. Ср. в сборнике „Московский Пушкинист“, в. I, М. 1927, стр. 37.

³ Там же, стр. 52.

В кабинет, где лежал умирающий Пушкин, допускались немногие, самые близкие друзья,—и Е. М., таким образом, была в их числе. Горькое утешение последнего свидания с человеком, любимым так долго и так безответно, она получила здесь. — Через день, 1 февраля, она, вместе с дочерьми и с зятем-посланником, присутствовала в Конюшенной церкви на отпевании поэта.¹

Елизавета Михайловна не на много пережила так глубоко и долго любимого ею Пушкина. Она скончалась два года спустя, 3 мая 1839 года, еще совсем не старой — на 56-м году жизни.² Быть может, смерть поэта была не без влияния на быструю кончину ее...

Ее смерть произвела на друзей и близких, на всех знавших ее горькое и глубокое впечатление. Неизвестный автор, несомненно, хорошо ее знавший и принадлежавший к людям ее круга — быть может, к посещавшим ее салон, — посвятил ей большой и прочувствованный некролог в „Journal de Saint-Petersbourg“, распространенном в дипломатических и придворных Петербургских сферах. Князь П. А. Вяземский, в не раз цитированных

¹ Там же, стр. 68. Если верить рассказу А. М. Каратыгиной („Русская Старина“ 1880, июль, стр. 572), именно здесь, в Конюшенной церкви, при гробе Пушкина, довелось Елизавете Михайловне услышать, от С. А. Соболевского, эпиграмму на нее, сложенную, по преданию, Пушкиным: „Лиза в городе жила“... Соболевский хотел этим прекратить слишком громкие и надоевшие ему рыдания Елизаветы Михайловны — и он успел в своем намерении: всю остальную службу она стояла молча, обиженная и огорченная. Рассказ, однако, представляется сомнительным, тем более, что С. А. Соболевский, в момент дуэли Пушкина, находился в Париже. При этом А. М. Каратыгина сообщает здесь же сцену (разговор Е. М. Хитровой с официантом у гроба), характеризующую еще раз, и очень правдоподобно, добродушную наивность Елизаветы Михайловны.

² Автор некролога в „Journal de St.-Petersbourg“ пишет, что она „похищена жестокою болезнью, в возрасте 54-х лет, но еще полная жизни, здоровья и умственной свежести“ („M-me E. Hyttoff... vient d'être enlevée par une maladie violente, à l'âge de 54 ans, mais encore pleine de vie, de santé et de jeunesse d'esprit“). Погребена она в Александро-Невской Лавре, в церкви Св. Духа („Петербургский Некрополь“, т. IV, стр. 413).

воспоминаниях из „Старой записной книжки“, составившихся много лет спустя, так заключает ее характеристику: „Помню, что при возвращении из-за границы в Петербург, при выходе моем с парохода на берег, узнал я о недавней кончине Елизаветы Михайловны. Грустно было первое впечатление, приветствовавшее меня на родине: не стало у меня внимательной, доброй приятельницы; вырвано главное звено, которым держалась золотая цепь, связывающая сочувственный и дружеский кружок; опустел, замер один из Петербургских салонов, и так уже редких в то время“.¹

Графиня Е. П. Ростопчина посвятила ее памяти элегию, при всей своей условной декоративности ценную для нас, как характеристика отношения к Елизавете Михайловне и как точная формулировка того, чем она была и чем осталась, с идеальной стороны, в памяти современников:²

Ее уж нет!...Одной душой прекрасной
Беднее стал наш коловратный свет;
И громкий плачь, и плачь единоголосный
Провозвестил: „Ее уж нет!“

На днях еще, на днях она блистала
Осеннею, но свежую красой;
Любила жизнь, и вдруг ее не стало, —
Пресекался путь ее земной!

¹ Сочинения, т. VIII, стр. 494—495.

² Останавливаясь на знаменательном стихе 4-й строфы, не приводя несколько сентиментального окончания. Элегия, под заглавием „Цветок на могилу Е. М. Хитровой, урожденной княжны Кудузовой-Смоленской“, напечатана впервые в альманахе В. А. Владиславлева „Утренняя Заря на 1840 год“ (стр. 438—439) с эпиграфом из Байрона: „Light be the turf of thy tomb! Bright be the peace of thy soul!... (Miscellaneous Poems)“, т. е. „Да будет земля легка твоей могиле! Да будет ясен мир твоей душе!... (Разные стихотворения)“, и с датой „Пятигорск на Кавказе, июнь 1839 года“. См. также „Стихотворения графини Е. Ростопчиной“, часть I, С-Пб. 1841, стр. 158, где последний стих читается: „И другом Пушкину была!“

Красавицы! усыпьте вы цветами
Тот гроб, где спит, как падший цвет, она!
Она была прославлена меж вами, —
Молва хвалой ее полна.

Прощальный гимн воспойте ей, поэты!
В вас дар небес ценила, поняла
Она душой, святым огнем согретою, —
Она друг Пушкина была!...

.....
.....

Н. ИЗМАЙЛОВ.

Французская литература в письмах Пушкина к Е. М. Хитрово.¹

І. Лирика.

Письма Пушкина к Е. М. Хитрово свидетельствуют, как внимательно Пушкин и его корреспондентка следили за современной им французской литературой; значительность этих свидетельств повышается еще потому, что переписка захватывает интереснейшую эпоху в истории эволюции литературных жанров во Франции, эпоху перерождения жанров. Обзор литературных фактов, упоминаемых в письмах, удобнее всего распределить по жанрам.

Касаясь лирической поэзии, Пушкин упоминает имена Виктора Гюго и Сент-Бёва, отдавая предпочтение последнему (см. письмо VIII). К моменту произнесения этого приговора В. Гюго был автором следующих книг:²

¹ Задачей настоящего очерка является документированное освещение тех фактов французской литературы, которых касается Пушкин в своих письмах. При этом привлекалась преимущественно критическая литература органов, за которыми, по всей вероятности, следил Пушкин, т. е. таких газет, как „Le Globe“ и „Le Journal des Débats“, и таких журналов, как „La Revue Française“ и „La Revue de Paris“. Литературные факты освещаются здесь преимущественно не в их безотносительном эстетическом значении, а в тех отзывах и оценках современников, которые свидетельствуют о понимании этих фактов в Пушкинскую эпоху и в значительной степени определяют восприятие Пушкиным упоминаемых им произведений. Впрочем, по отношению к фактам мало известным принимались во внимание, по возможности, все источники, которые находятся в Ленинградских книгохранилищах. Ценные указания и материалы как в области французской литературы и библиографии, так в особенности в области отражения фактов французской литературы в русской журналистике мне были любезно сообщены для настоящей статьи Н. К. Козминим.

² Даю библиографию в составе, установленном списком Сент-Бёва в его статье о В. Гюго в „Revue Française“ 1830 г. и лишь исправляю заголовки; в списке опущены мелкие публикации отдельных од, брошюры и повторные издания.

- „Odes“ (июнь 1822 г.)
- „Hän d'Islande“ (январь 1823 г.)
- „Nouvelles odes“ (февраль 1824 г.)
- „Bug Jargal“ (январь 1826 г.)
- „Odes et ballades“ (октябрь 1826 г.)
- „Cromwell“ (декабрь 1827 г.)
- „Les Orientales“ (декабрь 1828 г.)
- „Le dernier jour d'un condamné“ (январь 1829 г.)
- „Hernani“ (март 1830 г.)

Сопоставляя Гюго с Сент-Бёвом, Пушкин разумеет в первую очередь лирику Гюго, в особенности же последний сборник его стихов „Les Orientales“. Виктор Гюго был признанным главой романтических лириков, как Сент-Бёв признанным главой романтической критики. Однако его сборник „Orientales“ был встречен довольно холодно. „Le Globe“ отмечал „слишком частое отсутствие глубокого чувства, чисто внешний блеск, поэзию для глаз“, „манерную аффектацию“ (21 января 1829 г.). В „Revue Française“ была помещена программная статья под заголовком „Новая поэтическая школа Виктора Гюго“, посвященная разбору „Odes et ballades“, „Orientales“ и историческому труду Сент-Бёва „Tableau de XVI siècle“. В этой статье про Гюго, как автора „Orientales“, писали: „Он скользит по поверхности предметов, поспешно отмечает их грубые внешние признаки, присваивает их себе и обогащает этим свое поэтическое достояние; но редко он обращается к их интимной природе, еще реже допускает он в лирику нравственную сторону человека (l'homme moral), чтобы придать своей поэзии жизнь своих страстей и движение своей мысли“. „Эта мания описаний заходит так далеко, что теряет характер серьезности и кажется пародией на самого себя“. „Всякая попытка поэтической реформы тщетна и даже губельна, если она независима от мысли, которая должна обновить французскую поэзию, ближе связав ее с нравами и идеями века“ (1829, январь, № 7).¹

Появление книги Сент Бёва „Vie, poésies et pensées de Joseph Delorme“ (4 апреля 1829) было встречено, как осуществление задания, поставленного критиком „Revue Française“. Это была

¹ Cp. Ch. Des Granges, „La presse littéraire sous la Restauration“, éd. Mercure de France, 1907.

книга интимной, элегически-медитативной лирики, которая, соединяя в себе стилистические завоевания романтизма, уклонялась от пути внешних эффектов лирики Гюго. Суждение Пушкина любопытно не только, как его мнение о Сент-Бёве, но и как предпочтение лирики интимной лирике образной. „Жозеф Делорм“ был сочувственно встречен критикой. „Le Globe“ в статьях Ш. Маньен (26 марта и 11 апреля) отмечает „интимность“, „глубокую индивидуальность“ и „правду“ („vérité“) поэзии Делорма, но упрекает за стихи, „иногда странные, бредовые и изысканные“, за „пустую привязанность к преодолённой трудности“ и за „жесткости языка“. В частности Маньен писал, цитируя стихотворение „Toujours je la connus pensive et sérieuse“ (то самое, которое Пушкин целиком привел в „Литературной Газете“ 1831 г. в своей рецензии на Сент-Бёва, как „совершеннейшее стихотворение из всего собрания“): „Этот род элегии интимного анализа, где природа и личные чувства обрисованы с такой любовью и искренностью, где душа поэта проявляется повсюду в самых легких оттенках, почти не был известен нашей литературе. Чтобы встретить что-нибудь родственное, надо обратиться к *лекистам*“. Отзыв Пушкина, помещенный им в „Литературной Газете“ (1831 г., № 32, 5 июня), в общем и даже в некоторых деталях (напр., в упреках по адресу автора за описание кашля в стихотворении „Моя муза“) совпадает с мнением Маньена.¹ Пушкин отметил свойство, „недостающее почти всем французским поэтам новейшего поколения, — свойство, без которого нет истинной поэзии, т. е. искренность вдохновения“; с другой стороны, Пушкин упрекал Делорма за „болезненные признания, сии мечты печальных слабостей и безвкусные подражания давно осмеянной поэзии старого Ронсара“. Что касается до сборника „Les Consolations“, за которым Пушкин обращался к Хитрово (он появился между 15 и 27 марта

¹ Charles Magnin (1793—1862) — характерный представитель критики журнала „Le Globe“. Взгляды его представляют большой интерес по тому влиянию, какое они оказали на Пушкина. Кетати, Э. Фаре в „Histoire de la langue et de la littérature Française“, t. VII, p. 700 („La critique“) пишет, что статьи Маньена, помещенные в „Le Globe“ и „Revue des deux Mondes“ не были собраны в книгу. Это не вполне точно: в 1843 г. вышли два тома его „Causeries et Méditations historiques et littéraires“, по которым я и цитирую его статью о Делорме. Впрочем, книга эта упоминается и у Thieme, „Guide bibliographique de la littérature française de 1800 à 1906“, 1907, p. 505.

1830 г.), то, как известно из того же отзыва Пушкина, он его разочаровал своим благочестием и излишней стыдливостью.¹ Мнение, высказанное Пушкиным в письме к Хитрово, было прочно. См. позднейшие его отзывы: „... важный Victor Hugo издавал свои блестящие, хотя и натянутые восточные стихотворения („Les Orientales“)... бедный скептик Делорм воскресал в виде исправляющегося неопита“.² Ср. отзыв 1832 г.: „Между малоизвестными молодыми талантами нынешнего времени Делорм Сент Бёв менее всего известен, между тем он чуть ли не самый замечательный. Стихотворения его конечно очень оригинальны и, что важнее, исполнены искреннего вдохновения. В литературной газете упомянули о них с похвалой, которая показалась преувеличена“ (из неизданных материалов Майковского собрания).

Характерно, что, отзываясь на поэтическую актуальность 1830 года, Пушкин не забывает и о поэзии позднейшего классицизма, на которой он был воспитан в Лицее. Свой приговор над Московским обществом (в письме XII от 21 января 1831 г.) Пушкин формулировал стихом из эпитагмы Экушара Лебрена (1729—1807):

O, la maudite compagnie
Que celle de certain fâcheux
Dont la nullité vous ennuie:
On n'est pas seul, on n'est pas deux.³

¹ Экземпляр „Consolations“, доставленный Е. М. Хитрово Пушкину, сохранился в библиотеке последнего (см. Б. Л. Модзалевский, „Библиотека Пушкина“, № 82. На шмуцтитуле надписано „Е... Н...“).

² Ср. отзыв в письме Погодину от сентября 1832 г.: „V. Hugo не имеет жизни, т. е. истины“ (Переписка, № 688). Экземпляр „Les Orientales“ библиотеки Пушкина (6-е издание 1829 г.) имеет ряд отметок: очевидно Пушкин внимательно его прочитывал (см. Б. Л. Модзалевский, „Библиотека Пушкина“, стр. 254).

³ Эта популярная в свое время эпитаграмма была переведена на русский язык Батюшковым (напечатана во второй части его „Опытов“ 1817 г.):

Всегдашний гость, мучитель мой,
О, Балдус, долго ль мне зевать, дремать с тобой?
Будь крошечку умней или дай жить в покое!
Когда жестокий рок сведет тебя со мной,
Я не один и нас не двое.

II. Драма.

В области французского литературного быта эпохи Реставрации характерно сохранение традиции XVIII века, выражавшейся в том, что решающим моментом в карьере писателя считался театральный успех. Вот почему все почти писатели XVIII в., известные вовсе не драматическими произведениями, всё же писали трагедии и комедии (Ж.-Б. Руссо, Грессе, Лагарп, Мармонтель и т. д.). Эта традиция была еще жива в 1820-х годах. В разгоревшейся в эту эпоху борьбе классиков и романтиков спор не был решен до тех пор, пока романтики не добились решительного успеха на сцене. Драматические опыты романтиков, противопоставлявшиеся традиционной национальной классической французской трагедии, искали новых форм и драматических принципов вне правил французского высокого классицизма XVII в., апеллируя преимущественно к Шекспировским пьесам.¹ Этому способствовали, между прочим, гастроли Английской труппы в Париже в 1827 г. (с такими артистами, как Кин и Кембль). Во главе романтической драматургии стал Гюго, обосновавший принципы ее в знаменитом предисловии к „Кромвелю“. Однако, некоторое время романтическая драматургия была фактом чисто литературным, а не театральным. Из двух пьес Виктора Гюго первая, „Cromwell“, не предназначалась к постановке,² вторая, „Marion Delorme“, не была поставлена из со-

¹ О происхождении романтической драмы см., между прочим, в моей статье „Французская мелодрама начала XIX века“ (сб. „Поэтика“, II, 1927, стр. 55—82)

² О „Кромвеле“ Гюго Пушкин впоследствии отозвался очень резко. „Драма Кромвель была первым опытом романтизма на сцене Парижского Театра (Пушкин ошибается: „Кромвель“ не был поставлен на сцене. Б. Т.). Виктор Гюго почел нужным с разу уничтожить все законы, все предания Французской драмы, царствовавшие из за классических кулис. Единство места и времени, величавое однообразие слога; стихосложение Расина и Буало — всё было им ниспровергнуто: однако справедливость требует заметить, что В. Гюго не коснулся единства действия [и единства занимательности (intérêt)]: в его трагедии нет никакого действия и того менее занимательности“ (черновой набросок к статье 1836 г. «О Мильтоне и Шатобриановом переводе „Потерянного рая“» в сборнике „Неизданный Пушкин“, стр. 195, прим. 6). Этот отзыв, как сравнительно поздний, относящийся к эпохе, когда романтический театр уже приходил в упадок и недолговечность этого театра окончательно выяснилась, отражает более резкие взгляды Пушкина, чем те, которые он исповедывал в 1830 г.

ображений политической цензуры (она была поставлена и опубликована после „Hernani“). Довольно шумный успех имела историческая драма Александра Дюма: „Henri III et sa cour“ (поставлена в „Théâtre Français“ 11 февраля 1829 г.). Это была первая романтическая победа. Но она была не полной. Дюма не был главой школы; кроме того, прозаическая историческая драма не была такой резкой новинкой после драм Лемерсье (см., напр., „Pinto“, комедию, поставленную в 1799 г.) и исторических хроник, появившихся в 20-х годах. Не имела решающего значения и постановка в переводе (и приспособлении) А. де Виньи Шекспировского „Отелло“ („Le maure de Venise“ поставлен в „Comédie Française“ 24 октября 1829 г.). Перевод этот имел более литературное значение благодаря предисловию переводчика („Lettre à Lord*** sur la soirée du 24 Octobre 1829 et sur un système dramatique“), в котором он полемизировал с классическим театральным канонам. „Hernani“ (см. письмо VIII), написанный с 28 августа по 25 сентября 1829 г.,¹ был принят на сцену „Théâtre Français“ 1 октября, репетировался же в декабре. Первое представление было назначено на февраль, и друзья Гюго и вообще вся литературная романтическая молодежь приготовилась к генеральному сражению с классиками. „Mercure du XIX siècle“ писал: „День первого представления будет великим днем: здесь классики и романтики сразятся в правильном бою. Надеемся, что и старому и новому Фебу будет угодно, чтобы здесь и окончилась гражданская война нашей литературы“. Знаменитый вечер 25 февраля 1830 г., когда романтики одержали верх над классиками, сохранился в летописях театра и литературы. В газете „Constitutionnel“ писали: „Литература имеет свои революции...“. „Hernani“ стал знаменем новой лиги, которая требует боя во что бы то ни стало...“. Рецензент, симпатии которого были не на стороне Гюго, жаловался на недопустимые средства, употреблявшиеся сторонниками пьесы против всех, не выразивших восхищения. Но так или иначе успех „Hernani“ был ошеломляющий.² Замечательно, что успех этот

¹ Подробную датировку „Hernani“ см. в статье Paul et Victor Clachant, „Le Manuscrit autographe d'Hernani“ („Revue d'Histoire Littéraire de la France“ 1900, p. 517).

² Это выразилось и в материальном отношении. Сбор со спектакля составил 5134 франка — сумма, которой до этого не достигал ни разу сбор с первого представления.

не уменьшался и на дальнейших спектаклях, на которых сила романтиков не была мобилизована в таком количестве. Эта победа „Hernani“ была одновременно окончательной победой романтизма. Именно 25 февраля классицизм капитулировал и скоро сошел со сцены.¹

Огромное впечатление, произведенное на современников этой пьесой, отразилось в критике того времени. Многие рецензенты отказались сказать свой приговор после первого представления: впечатления были настолько сложны и неожиданны, что чувствовалась необходимость еще раз посмотреть пьесу, чтобы разобраться (см. „Le Moniteur Universel“, „Le National“, „Le Globe“ и „L'Universel“). Газеты классиков поносили пьесу с пеной у рта; так „La Gazette de France“ писала: „Это сплетение нелепых и невероятных происшествий“; „Le Drapeau Blanc“ заявлял, что „автор немного не в своем уме“; „Le Journal de Commerce“ находил пьесу „странной, бесформенной“.

Благоприятную, хотя и беспристрастную оценку дал Ш. Маньен в „Le Globe“ после второго представления (в № от 28 февраля): „Избыток силы и величия, колоссальные размеры, смешение вульгарного романа с наиболее идеальной фантастикой; стиль то эпический, то лирический, богатый по краскам и по гармонии, то смешанный и угловатый; слова, рожденные сердцем и гением, слагающиеся в блестящие образы или произнесенные с живой простотой; и здесь же изысканность, аффектация, повторения, шутки — одни дурного вкуса, другие грубые и неловкие; вот предмет для споров. Но всё же придется признать превосходство, своеобразие и силу, — достоинства таланта, столь редкие и столь тщетно ожидаемые уже столько лет на нашей истощенной и обедневшей сцене“.

Рецензии литературных журналов, написанные уже не под непосредственным впечатлением, а после многих споров, отличались двусмысленностью оценок, оговорками, умолчаниями.

Так Авенель в „Revue Encyclopédique“ писал: „Поэт замыслил изобразить новые нравы с более непосредственной правдивостью, чем это принято в наших трагедиях: заменить

¹ В предисловии к „Marion Delorme“ (август 1831) Гюго писал: „Жалкие слова, вокруг которых разгорались споры, классик и романтик также провалились в пропасть 1830 года, как глюкист и пиччимист исчезли в бездне 1789 года. Осталось единое искусство“.

условные картины — менее приукрашенной природой; дать более полное драматическое действие и развить его на более широком поле, чем это позволяли стеснительные три единства; разнообразить впечатления соединением забавного и ужасного в событиях, низкого и высокого в стиле; нарушить, наконец, монотонность торжественного стиха менее однообразными оборотами, более подвижными пресечениями... Замысел был труден и встретил поощрение. *Hernani* получил успех вполне заслуженный, ибо, несмотря на свои недостатки, это — весьма замечательное произведение". Среди недостатков Авенель видел дурной тон в шутках, анахронизмы, немотивированные переносы (*enjambements*),¹ повторения, сходство ситуаций. К достоинствам он относил то, что всё действие происходит на сцене, и автор избегает повествовательных объяснений; диалог в пьесе живой, вполне оправдываемый сценической ситуацией („*Revue Encyclopédique*", март 1830).

Филарет Шаль (Ph. Chasles) в „*Revue de Paris*" отмечал отсутствие принципа единства действия: „Та же система, тот же характер в деталях произведения и в его плане. Всё время автором выдвигается наиболее острая ситуация, наиболее сильное выражение, наиболее резкие краски. Он быстро исчерпывает их и, не останавливаясь, переходит к новой ситуации, не менее напряженной, обрисованной с таким же увлечением, к ситуации, которая не является необходимым следствием предыдущей. Отсюда некоторый недостаток перспективы, какая-то теснота...“.

Противопоставляя „*Hernani*" старой трагедии, Шаль замечает, что Гюго не реформировал классическую сцену, а только сконцентрировал ее средства. „При всех новшествах формы и стиля, иногда блестящих, иногда неудачных, в своей основе новая трагедия вполне верна классическому методу и старой системе“ („*Revue de Paris*" 1830, t. XI. Родство между „*Hernani*" и „старой школой Корнеля" отмечал и рецензент газеты „*Courrier Français*").

¹ Вольная фактура стиха *Hernani* вызвала Пушкинские слова об александринском стихе:

Гюго с товарищи, друзья натуры,
Его гулять пустили без цезуры.

(„Домик в Коломне").

Но во всех этих рецензиях ясно было одно — речь шла не об „Hernani“, как отдельном произведении определенного автора, речь шла о том, быть или не быть романтизму господствующей школой, и современник, читая пьесу, воспринимал не только то, что заключалось в тексте пьесы, но и всё то сплетение литературных страстей, всю напряженность борьбы, которая происходила около этой пьесы.¹ И в этом отношении особенно любопытно мнение Бёрне, который подобно Пушкину был сторонним свидетелем внутренней французской литературной распри. Бёрне писал 30 октября 1830 года: „Прочел с большим удовлетворением „Hernani“ В. Гюго. Правда, произведения этого рода у французского поэта я расцениваю на совершенно иных основаниях, чем подобные вещи немецкого поэта. Меня мало заботит *вещь в себе*, я рассматриваю эти произведения в их отношении — а для романтических произведений в их противоположности — к французской национальности. Поэтому чем бешенее, тем лучше, ибо романтическая поэзия благотворна у французов не творческими, а разрушительными своими принципами. Радостно видеть, как усердные романтики всё поджигают и ниспровергают, и вывозят с пожара целые возы правил и классического мусора“ (L. Börne, „Briefe aus Paris“). Очевидно всё это переживал и Пушкин, и его отзыв об „Hernani“ показывает, что он значительно больше сочувствовал французскому романтизму, чем об этом можно судить по сдержанным журнальным статьям его.

Гюго чувствовал общественное значение своего литературного выступления. „Hernani“ появился на сцене в эпоху напряженной политической жизни. В предисловии к первому изданию трагедии² автор стремился связать свое литературное направление с политическим движением: „Романтизм, столько раз плохо определенный, является в конце концов — и это его настоящее определение, если принять во внимание его войствующую роль — *либерализмом* в литературе... Свобода

¹ Необходимо, впрочем, отметить, что и в среде романтиков раздавались голоса против „Hernani“. Это были голоса прозаиков: Жюль Жанена и Бальзака. В этих отзывах сказался раскол между драматургией и романом в борьбе этих жанров за литературную гегемонию.

² „Hernani ou l'Honneur Castillan“, drame. Par Victor Hugo. Paris, Mame et Delaunay-Vallée. Это издание появилось до 13 марта 1830 г. (дата еженедельного журнала „La Bibliographie de France“, где оно зарегистрировано).

в искусстве, свобода в обществе — вот двойная цель, к которой должны стремиться последовательные и логические умы“.

„Hernani“ обратил на себя внимание в России. В „Литературной Газете“ 1830 г., №№ 37 и 38 (30 июня и 5 июля) был помещен — по французским источникам¹ — разбор пьесы. В начале 1831 года вышел в свет „Гернани, или Кастильская честь“ перевод Ротчева (см. „Литературная Газета“ 1831 г., № 8, 5 февраля).

Другая упоминаемая Пушкиным пьеса (письмо X, от 9 декабря 1830 г.), „трагедия Дюма“ это — „Stockholm, Fontainebleau et Rome, trilogie dramatique en cinq actes, en vers, avec prologue et épilogue“ (в собрании сочинений Дюма помещается под заголовком „Christine“). Она была поставлена в Одеоне вскоре после „Hernani“ — 30 марта 1830 г. — и также представляла собой попытку внести обновление в драматическую систему эпохи. Попытка эта была гораздо менее значительна, чем драма Гюго. Всё же трагедия имела некоторый успех. „Представление началось в семь часов и окончилось после половины первого. За некоторое время до конца силы аудитории истощились, и эпилог, посвященный смерти Христины через 30 лет после событий пятого акта, оканчивающегося убийством Мональдески, не был выслушан с необходимым вниманием; пролог показался ненужным, два первые акта довольно пустыми, третий лишним; действие начинается только в четвертом акте, но в этом акте имеется превосходная сцена, и весь пятый акт проведен с величайшей драматической силой. Эти две части трилогии были встречены с полным восторгом“ („Le Moniteur“ 30 марта 1830 г.). Автор понял, что громоздкость спектакля губит пьесу, и, начиная со второго представления, эпилог был устранен и пьеса шла под названием „Stockholm et Fontainebleau“. Отдельное издание пьесы появилось до 24 апреля 1830 года.²

¹ Тот же разбор помещен в „Московском Телеграфе“ 1830 г., сентябрь, №№ 17 и 18 (ср. № 21, стр. 82, где редактор выражает совершенное согласие с мнением — отрицательным — французского критика). Разбор этот заимствован из мартовской книжки „Revue Française“ 1830 г. См. Н. К. Козмин, „Очерки из истории русского романтизма“, стр. 201 и 225.

² Об этой пьесе была статья в „Московском Телеграфе“, октябрь 1830 г., № 19, стр. 465—476 (по французскому журналу).

Пушкин ничем не выразил своего впечатления от этой пьесы; вероятно, он отнесся к ней равнодушно.¹

III. Роман.

Около 1830 г. значение доминирующего жанра во французской литературе перешло от трагедии к роману. Театр и в драматическом, и в сценическом отношении приходил в упадок, что вызвало даже организацию особых комиссий по делам падавшего „Théâtre Français“. На смену драматургии выдвигались крупные повествовательные формы. Французская проза этой эпохи приобрела совершенно особый, резко ее отметивший характер. По поводу этого литературного явления, как известно, в „Современнике“ 1836 г. произошел обмен мнений между Гоголем и Пушкиным. В первом номере журнала Гоголь писал: „В литературе всей Европы распространился беспокойный, волнующий вкус. Являлись опрометчивые, бессвязные, младенческие творения, но часто восторженные, пламенные — следствие политических волнений той страны, где рождались. Странная, мятежная, как комета, неорганизованная, как она, эта литература волновала Европу, быстро облетела все углы читающего мира“. Пушкин, оспаривая это мнение, писал: „Мы не полагаем, чтобы нынешняя раздражительная, опрометчивая, бессвязная Французская Словесность была следствием политических волнений. В Словесности Французской совершилась своя революция, чуждая политическому перевороту, ниспровергшему старинную монархию Людовика XIV... Литературные чудовища начали появляться уже в последние времена кроткого и благочестивого „Восстановления“ (Restauration). Начало сему явлению должно искать в самой литературе“ („Мнение Лобанова и т. д.“). Пушкин полагал, что причиной, выдвинувшей новый род прозаического повествования, была реакция на стеснительную форму дидактического морального романа начала века. Однако, признавая за

¹ Впрочем, за драматическим творчеством Дюма Пушкин следил. В набросках к „Египетским Ночам“ упоминается „Antony“ (поставлена 5 мая 1831 г. в театре Porte Saint-Martin и имела успех вследствие „безнравственности“ сюжета!); как показывает письмо Пушкина к Нессельроде, датированное 30 января (неизвестного года, вероятно, 1834), он брал у последнего и сообщал Е. М. Хитрово драму Дюма „Angèle“ (поставлена 28 декабря 1833 г. в театре Porte Saint-Martin).

новой литературой заслугу разрушения обветшалых канонов, Пушкин в 1836 г. находил, что злоупотребление обратными, сравнительно с предыдущей литературой, темами, нарочитое нравственное безобразие представляет не меньшую крайность и мелочность, как и нравоучительная форма романа г-жи Коттен. Этим он объяснял уже наметившееся к этому времени некоторое падение отмеченного Гоголем течения: „Но уже „словесность отчаяния“ (как назвал ее Гёте), „словесность сатаническая“ (как говорит Соутей), словесность гальваническая, каторжная, пуншевая, кровавая, цыгарочная и проч. — эта словесность, давно уже осужденная высшею критикою, начинает упадать даже и во мнении публики“ (там же). Эти слова Пушкина, несомненно имеющие более полемическое, чем положительное значение, относятся уже ко времени спада литературного течения. Несколько иным должно было быть его отношение к французским романам в эпоху их появления, когда еще не определился традиционный канон „неистойой“ школы.¹ В эти годы еще трудно было отделить работу этой неистойой школы от общего процесса обновления прозаических жанров, от общей перестройки французского романа.²

¹ Канон этот, охарактеризованный Пушкиным, отмечается в эти годы всеми. Любопытно, что М. С. Луинь, в своем письме из Акатюя 30 января 1842 г. пишет об этой литературе в аналогичных выражениях. Он был заключен вместе с „une cinquantaine de meurtriers, d'assassins, de chefs de brigands et de faux-monnaieurs“. От них ему приходилось слышать „leurs petits secrets, qui appartiennent décidément à la littérature galvanique“ („Атений“, кн. 3, стр. 15 „Письма М. С. Лунина из Акатюя“, опубликованные Б. Л. Модзалевским). С этим определением следует, помимо всего прочего (т. е. бытового модного тогда употребления слова „гальванический“), сопоставить сцену гальванизации трупа из „Але морт“.

² Расцвет прозы во французской критике сопоставлялся не только с революцией 1830 года. Так — впрочем более в плоскости вербального красноречия — критик „Revue de Paris“ связывал его с холерой 1832 года: „Чума XIV века дала литературе Декамерон Бокаччо, эпидемия XIX века в свою очередь произвела новеллы и рассказы. Это, по крайней мере до настоящего времени, единственные литературные произведения, которые заполняют каталоги книгопродавцев, единственные, отмечаемые нашими критиками, единственные, следовательно, которыми занимают читателей... С другой стороны можно сказать, что роман расширил свою рамку, и в нем трактуются все вопросы нашего общественного порядка. Если некоторые авторы применяют к роману свои идеи исключительно художественного порядка, другие переносят сюда свои политические идеи... Роман стал трибуной; романист

Пушкин собирался писать статью о французских романах,¹ и в его бумагах сохранился относящийся, вероятно, к 1832 г. (тетрадь № 2372, лист 60) перечень: *O новейших романах*, Barnave, Confession, Femme guillotinée, Eugène Sue, de Vigny, Hugo, Balzac Scènes, Peau de Chagrin, Contes bruns, drolatiques, Musset Table de nuit.²

На литературном горизонте появлялись новые имена, обещающие обогатить литературу новыми достижениями. В эти годы появились такие представители французского романа, как Бальзак, Жорж Санд, Е. Сю, Фр. Сулье и др. Писатели с литературным прошлым только в эти годы пишут романы, определяющие апогей их литературной деятельности (напр., Стендаль). Наряду с этими именами, навсегда вошедшими в историю французской литературы, дебютировали не без временного успеха также и молодые писатели, которым не суждено было позднейшей деятельностью укрепить за собой славу первого выступления.

Первым из романов, упоминаемых Пушкиным, является „Le Rouge et le Noir“ Стендаля (письма XVI и XVIII). Роман этот писался в июле 1830 г. (см. примечание к XXXVIII главе, которая была написана 25 июля и печаталась 4 августа) и вышел в свет в начале ноября (между 6 и 13) 1830 г.³

считает себя ныне государственным человеком, как публицист или депутат“ („R. d. P.“ XXXIX, 3 июня 1832). Следует отметить, что в эти годы слово „роман“ понималось шире, чем в наши дни. Сборник рассказов также называли романом.

¹ Будучи резко отрицательного мнения о французской поэзии за эти годы, Пушкин выше ценил французскую прозу. Погодину он писал в сентябре 1832 г.: „Проза едва выкупает гадость того, что они зовут поэзией“. Можно думать, что в такой формулировке имеется некоторая утрировка отрицательного отношения к французской литературе, но предпочтение прозы перед поэзией всё же ясно.

² Речь идет о книге Paul de Musset „Table de nuit“ (вышла в конце марта 1831 г.), — сборнике повестей, относящихся, по определению современной критики, к школе „литературного дендизма“. Мнение Пушкина об этой книге сохранилось в записи Н. А. Муханова от 29 июня 1832 г.: „К Вяземскому поздравить с именинами. Нашел у него Полуектову и Александра Пушкина. Она осталась чужда разговору, который продолжался между мною и Пушкиным о новейшей литературе и нововышедших в свет книгах. Он находит, что лучшая из них Table de nuit, Musset“ („Из дневника Николая Алексеевича Муханова“ — „Русский Архив“ 1897 г., кн. I, вып. 4, стр. 654).

³ „Le Rouge et le Noir. Chronique du XIX siècle“ (так на титульном листе, в заглавном же: „Chronique de 1830“), par M. de Stendhal. Два тома, in 8°. A Paris, chez Levasseur. Пушкин читал именно это, первое издание: второе,

Автор в это время был в Триесте, куда он был назначен в сентябре Французским консулом. Он писал по поводу своего рамана г-же Ансело: „Скажите откровенно всё дурное, что вы думаете об этом плоском произведении, не согласованном с академическими правилами и, несмотря на это, может быть, скучном“ (см. Alphonse Séché, „Stendhal“).

Роман был встречен современниками не как чисто художественное произведение, а как политический и социальный памфлет. Так, „Figaro“, объявляя о предстоящем выходе романа и отмечая странность заголовка (в самом деле, термины рулетки, поставленные в заголовке, не имеют прямой связи с сюжетом) и парадоксальность изложения, заявлял: „Человек со странностями, г-н де Стендаль не запутал своей мысли мишурой салонов и смеет говорить правду. Этот роман — зеркало;¹ тем хуже для уродов“ (6 ноября 1830 г.). „La Quotidienne“ в ожидании романа пишет: „Автор умеет иногда говорить довольно жесткие истины всем партиям. Увидим, сохранит ли он смелость остаться вне партий и в этом романе“ (1 ноября). „Le Globe“ называл „Le Rouge et le Noir“ „политическим романом“ (№ от 23 февраля 1831 г.).

В романе искали в первую очередь отзыва на современность. Психологическая манера автора скорее отталкивала критиков и казалась помехой в осуществлении основной — сатирической — цели. Критик „Revue de Paris“ писал: „Эта хроника — ничто иное, как форменный донос против человеческой души, некий анатомический театр, в котором автор рассекает ее по кусочкам, чтобы яснее показать нравственную проказу, которою, по его мнению, она заражена“. Отмечая преувеличения автора на этом пути, критик продолжает: „Сатира на современные нравы, которую автор намеревался сочетать с сатирой на человека

вышедшее в начале марта 1831 г., было в *шести* частях. Экземпляр первого издания сохранился в Библиотеке Пушкина. На нем рукой Н. Н. Пушкиной написано „A. Pouchkine“ (см. „Библиотека Пушкина“, Б. Л. Модзалевского, № 1408).

¹ Намек на следующее место романа: „Роман — это зеркало, которое проносят по большой дороге. Оно отражает то небесную лазурь, то грязь дорожных луж. И человека, несущего зеркало, вы обвините в безнравственности! Его зеркало показывает вам грязь и вы обвиняете зеркало! Обвиняйте скорее большую дорогу, а еще лучше — дорожного зрителя, за то, что он допускает застои воды и образование луж“ (гл. XLIX. Эта мысль о французском романе, показывающем грязь, встречается в статьях и письмах Пушкина).

вообще, показалась нам чрезмерно страстной, и быть может в своем стремлении к большей выпуклости и живости изображения автор дал нам карикатуру“. Признавая фабулу романа увлекательной, критик сопровождает эту невольную похвалу резкими оговорками: „На каждом шагу хочется спорить с автором то за фальшивое чувство, то за странную и мучительную ситуацию, то за небрежность в ведении событий и в характерах“ (28 ноября 1830 г.).

Эти отзывы показывают, как мало современники Стендаля ценили в его романе художественную сторону, ограничивая свое внимание почти исключительно сатирическими моментами. „Le Rouge et le Noir“ был прежде всего „Хроникой 1830 года“, — произведением, тесно связанным с современностью, с нравами до-июльского Французского общества. Вот почему небезынтересна характеристика, данная этому роману историком, видящим в нем типичнейшее произведение начала Июльской монархии: „Протест против „социального факта“ начался и более не кончится. „Le Rouge et le Noir“ Стендаля, дающий наиболее сильный и тонкий его анализ, представляет собою вкратце историю сыновей века. Провозглашенное равенство дало им почувствовать карьеру, равную их безграничным притязаниям и их достоинствам, которые по их мнению обеспечивали им высокое будущее. Но перед ними встают препятствия, выдвигаемые со стороны обладателей власти и денег. Чтобы преодолеть их, требуется одна только сила: энергия страстная, грубая и лукавая, неразборчивая в средствах, готовая идти на преступление. Жюльен Сорель — безвестный ученик Наполеона, остановленный, как и он, случайностью. Но их легион; он родоначальник всех честолюбцев Бальзака, которые так же, открыто или тайно, идут на завоевание общества; он — старший брат, только более тонкий и выдающийся, Робер-Макера. Начиная с „Le Rouge et le Noir“, романисты приписывают себе эту роль, которою завладел Бальзак, эту „функцию“ врача, социального физиолога, роль, близкую к роли „пророка“, которую приписывают себе поэты, с тех пор, как всё стало так „серьезно“ в литературе“ (Ernest Lavisse, „Histoire de France Contemporaine“, tome V, 1921).

Эта проповедническая струя в романе Стендаля не ускользнула от Пушкина, но именно она вызвала упреки. „Фальшивая

декламация“, „наблюдения дурного вкуса“ очевидно и есть тот элемент социальной сатиры, проповеди и памфлета, который наличествует в романе и который остро ощущался современниками, но гораздо менее заметен для нас, удаленных от актуальной обстановки 1830 года.

Конкретизируя мнение Пушкина, мы должны прежде всего остановиться на таких местах „фальшивой декламации“, как речи Альтамиры или размышления Жюльена Сореля в тюрьме. Эта декламация против социальной обстановки казалась Пушкину нарушающей стройность романа, „фальшивой“. Под „замечаниями дурного вкуса“ следует, вероятно, разуметь замечания „от автора“, рассыпанные по всему роману. Таковы, например, следующие места: „На деле эти умные люди оказывают там (в провинции) самый тягостный „деспотизм“; по причине этого некрасивого слова пребывание в маленьких городах невыносимо для всякого, кто жил в этой великой республике, именуемой Парижем. Тирания мнения — и какого мнения! — так же бессмысленна во французских городах, как и в Соединенных Штатах Америки“ (гл. I). Или следующее замечание в скобках: „(Здесь автор хотел поместить страницу многоточий. Это будет иметь плохой вид, сказал издатель, а для такого легкого произведения плохой вид — смерть.

— Политика, сказал автор, это камень, привязанный на шею литературе, который менее, чем через полгода утопит ее. Политика среди тем, созданных воображением, — это выстрел во время концерта. Этот шум раздирает уши, не являя никакой силы. Он не согласуется ни с одним инструментом. Эта политика смертельно обидит одну половину читателей и усыпит от скуки другую, которой та же политика покажется совсем иной в утренней газете.

— Если ваши персонажи не будут говорить о политике, возразил издатель, то они не будут французами 1830 года, и таким образом ваша книга, вопреки вашим притязаниям, не будет зеркалом...“ (гл. LII).

Такие заявления „от автора“, всегда внезапные и без подготовки нарушающие объективное повествование романа, казались Пушкину, вероятно, назойливыми.¹

¹ О силе впечатления, произведенного романом на близкий Пушкину круг русских читателей, можно судить по краткому замечанию П. А. Вязем-

Второй роман, упоминаемый Пушкиным, как „куча бессмыслиц, нелепостей, не имеющих даже достоинства оригинальности“ (письмо XVI) — это „Plik et Plok“, которым дебютировал Е. Сю.¹ О выходе этой книги весьма сочувственно было объявлено в „Revue de Paris“. Очевидно, эта благоприятная рецензия привлекла внимание Е. М. Хитрово.

„Морские сцены“ представляют собою две повести („El Gitano“ и „Kernock le pirate“), наполненные ужасами обычного репертуара: здесь и убийства, и богохульства, и детально описываемая казнь и т. д. Герои — контрабандисты и пираты — переживают невероятные приключения.

Название „Plik et Plok“, составленное по принципу эвфонической забавы парных слов (вроде трик-трак, bric-à-brac, flic-flac, и т. п.), объединяет имена нарочито незначительных персонажей этих повестей: так, если Плок имеет некоторое — второстепенное — отношение к развязке первой повести, то Плик только один раз упоминается в последней главе второй повести.

Эти повести представляют собой явление „экзотической ужасной литературы“, при чем экзотическим в данном случае являлся „морской быт“, подсказанный автору „Красным Корсаром“ Купера. Литература эта является едва ли не прямым продолжением „ужасных“ романов Дюкре Дюминиля и д'Арленкура, и „френиетического“ романа 20-х годов, с некоторым переосмыслением и перестройкой элементов литературных ужасов, произошедшим под влиянием смены литературных школ.

Жюль Жанен писал, что в области ознакомления читателя с морским бытом „эта повесть не достигает цели. Но если

ского в его письме Пушкину от 24 августа 1831 (Переписка, Акад. изд., № 601): „Читал ли ты le noir et le rouge? Замечательное творение“. А. Н. Вульф, читавший роман по второму изданию, упоминает его в своем дневнике под датами 21 и 23 августа 1832 г. и замечает: „Давно не читал я столь занимательного романа, как этот — Стендаля“. Мнимые отзывы Пушкина о Стендале, приводимые в т. н. „Записках А. О. Смирновой“ (ч. I, стр. 322 и сл.), совершенно апокрифичны. В них Пушкин дает анализ романа „La Chartreuse de Parme“, появившегося в 1839 г.

¹ „Plik et Plok. Scènes maritimes“. Par Eugène Sue. A Paris, chez Renduel. Книга вышла в свет между 15 (дата предисловия) и 29 января 1831 года. В 1832 г. появился русский перевод: „Плик и Плок. Сцены на море. Соч. Евгения Сю. Пер. с фр. В. Волжский“.

у автора недостаточно смелости и выдержки, то взамен того у него много мысли и красок. Его живой, живописный стиль достоин первоклассных писателей. Е. Сю далеко не такой моряк, как Купер, ему не хватает знакомства с морем и небом“ („Journal des Débats“ 13 марта 1831 г.; подпись J. J.). Однако, Сю считал своей заслугой именно морской фон своих историй: вслед за „Плик и Плок“ последовали другие его морские рассказы. К четвертому изданию книги (в 1832 году) он присоединил предисловие, в котором ставит себя во главе „морских“ писателей. На открытие Версальского музея (в 1837 году) Сю явился в костюме цвета *vert de mer*, который привлек всеобщее внимание (см. de Beaumont-Vassy, „Les salons de Paris et la Société Parisienne sous Louis-Philippe I“, 1866).

Эти экзотические, авантюрные ужасы вызвали резкое осуждение со стороны Пушкина.

С гораздо большим интересом Пушкин читал „Notre Dame de Paris“ Гюго (письма XVI и XVIII). Роман этот был начат В. Гюго 25 июля 1830 г., но прерван на первых страницах. Автор снова приступил к нему 1 сентября и закончил 15 января 1831 г. Вышел он в свет 15 марта 1831 г.¹ Роман имел шумный успех. В 1831 г. вышло одно за другим 7 изданий. Вокруг романа возникли, как и следовало ожидать, споры, но признание значительности романа было единодушно. Критик „Journal des Débats“ писал: „Вот уже несколько лет, как роман странным образом изменил характер. Основа романа, т. е. изображение страсти было всё или почти всё в романе; рамка мало заботила автора и почти не интересовала читателя. Теперь же рамка—самое главное; основа или страсть — не более, как аксессуар. С точки зрения языка „Notre Dame de Paris“ — блистательное произведение; в нем писатель вторгается в область живописи; трудно на полотне изображать полнее, и мне кажется, что по описаниям „Notre Dame de Paris“ возможно рисовать с такой же точностью, как и с натуры“ (15 июля 1831 г.; подпись N.).

Очевидно, это перенесение центра тяжести с фабулы на колорит описаний в повествовательной форме прозаического романа было встречено Пушкиным несочувственно. Как и в „Плик и Плок“, Пушкина мог оттолкнуть экзотический фон романа.

¹ „Notre Dame de Paris, 1482“. Два тома. A Paris chez Gosselin.

Но экзотизм Гюго — это экзотизм Средневекового Парижа, подчеркнутый форсированной колоритностью описаний. Пушкин признал впечатлевающую и убеждающую силу описаний Гюго, отметив главу вторую заключительной, одиннадцатой книги („*La creatura bella bianco vestita*“), содержащую описание падения Клода Фролло с верхней площадки *Notre Dame*.¹

Следующий роман, упоминаемый Пушкиным (письмо XXIII), принадлежит перу весьма мало известного автора. Меж тем тот факт, что Пушкин обратил на него сочувственное внимание, весьма симптоматичен. Как на произведении этом, так и на его авторе я позволю себе остановиться подробнее. „*La Prima donna et le Garçon boucher*“ (Paris, chez Hippolyte Souverain) — анонимный роман, появился в начале (до 7-го) мая 1831 года. Автор этой книги, ныне совершенно забытой, Edmond Burat de Gurgy, родился на юге Франции около 1810 г. Дебютировал он в 1830 г. брошюрой в стихах: „*Un duel sous Charles IX, scène historique de XVI siècle*“ (Marseille. 1830; вышло в мае), сюжет которой подсказан автору романом Мериме. Вскоре после этого Бюра де Гюржи переправился в Париж, вместе со своими друзьями Гранье де Кассаньяком² и Луи де Менаром.³ Здесь молодые люди попали в гущу романтизма, в среду пылко настроенной молодежи, группировавшейся около Жюля Жанена. В Париже Бюра де Гюржи выпустил анонимно свой первый роман „*La Prima*

¹ О впечатлении, произведенном романом Гюго в России, пишет И. И. Панаев: „Я узнал о „*Notre Dame de Paris*“ из „Московского Телеграфа“. Вскоре после этого весь читающий по-французски Петербург начал кричать о новом гениальном произведении Гюго. Все экземпляры, полученные в Петербурге, были тотчас расхвачены. Я едва достал для себя экземпляр и с нервическим раздражением приступил к чтению“ („Литературные воспоминания“, изд. 1888, стр. 33). Ср. письмо Ольги Сергеевны Павлицевой мужу (август 1831): „ce qui fait fureur à l'heure qu'il est — c'est *Notre Dame de Paris*, roman de Victor Hugo; on en parle dans les rues comme dans les salons au point que cela m'a ôté l'envie de le lire, et que j'attendrois patiemment pour le lire que cela me tombe sous la main“ („Пушкин и его современники“, вып. XV, стр. 85—86).

² Гранье де Кассаньяк (1806—1880), впоследствии довольно известный критик и публицист клерикального лагеря, скоро отрекшийся от своих увлечений романтизмом (см. П. Н. Сакулин, „Взгляд Пушкина на современную ему французскую литературу“ — Сочинения Пушкина, под редакцией Венгерова, том V). В первые годы своего пребывания в Париже Гранье де Кассаньяк был усердным сотрудником „*Revue de Paris*“ и „*Journal des Débats*“. Ему покровительствовал В. Гюго.

³ Louis de Maunard de Quceille, молодой поэт, умерший 24 лет от роду.

donna et le Garçon boucher“.¹ Это произведение имеет определенную генеалогию. В „Revue de Paris“, по рецензии которого, очевидно, Хитрово и выписала книгу, анонимный рецензент, принадлежавший к той же литературной группе Жанена, писал: „В этом заголовке, заключающем в себе противопоставление, выражается целая литературная школа. „L’Ane mort et la Femme guillotinée“, „Louisa ou les douleurs d’une fille de joie“, — как известно, — это главы, с эпитафиями в начале каждой, заимствованными частью у современных авторов, но вообще разысканными у авторов как можно более далеких — в них изящество, и ужас, ужас, перекрещивающийся с чувственными описаниями, драма, которую начинают, бросают, снова начинают, прерывают и заключают, наконец, кровавой катастрофой. Произведение, о котором мы сообщаем, ни в чем не уклоняется от этих правил; стиль его местами ярок, фабула интересна, перипетии трагичны, как в „Отелло“. Как издатель, г-н Суверен, так и автор, который, как говорят, очень молод, пока еще, насколько нам известно, ничего не печатали. Дебют автора и издателя — этого достаточно, чтобы читатели проявили снисходительность“ („Revue de Paris“ 22 мая 1831 года).

Отмеченная здесь литературная школа представляет характерную разновидность „ужасного“ романа. В этих романах „ужасный“ элемент заключался не в экзотических, невероятных эпизодах, а в изображении будничного, современного, преимущественно городского быта. Пушкин сочувственно встретил произведение, явившееся родоначальником этих романов, — роман Жюль Жанена „L’Ane mort et la Femme guillotinée“² (появился сперва анонимно в конце апреля 1829 г.). Об этом романе он писал Вяземской: „Vous avez raison de trouver l’Ane délicieux. C’est un des ouvrages les plus marquants du moment. On l’attribue

¹ Следует отметить, что современники оценивали эту повесть по контрасту с новеллой Жорж Санд „La Prima donna“, напечатанной в „Revue de Paris“ за несколько дней до выхода книги Бюра де Гюржи (25 апреля, за подписью Jules Sand), где образ примдонны дан с некоторой идеализацией.

² Об этом романе и его отражении в русской литературе см. статью В. Виноградова: „Жюль Жанен и Гоголь“ („Литературная Мысль“ 1925, сб. III, стр. 342—365). Существенным коррективом к этой статье является доклад Г. Гуковского: „Юношеские романы Жюль Жанена“ (прочитан в Секции Новой и Новейшей Литературы Исследовательского Института Л. Я. З. и В. при ЛГУ 23 февраля 1925 г.).

à V. Hugo — j'y vois plus de talent que dans le *dernier jour* où il y en a beaucoup. — Quant à la phrase qui vous a embarassée¹ je vous dirai d'abord ne pas prendre au sérieux tout ce qu'avance l'auteur. Tout le monde a préconisé le premier amour, il a trouvé plus piquant de parler du second. Peut-être a-t-il raison“.

Жюль Жанен, как автор „Мертвого осла“, причислялся французами к школе Стерна. Впрочем, влиянию Стерна были подвержены почти все французские романисты эпохи. Стернианство это было особенное, французское, и ограничивалось лишь своеобразным, обрывающимся и разрозненно эпизодическим ведением фабулы, часто бессвязной и лишенной внутреннего движения, особенным мечтательно-лирическим тоном повествования, придававшим роману характер личных записок, и на ряду с этим — своеобразным ироническим скептицизмом, иногда даже цинизмом, благодаря которому читатель терял ориентацию в том, где автор искренен и где пародирует самого себя; кроме того, уже у последователей Жанена намечается стремление к стилистической пестроте, к перемежающимся повествовательным формам объективного рассказа, исповеди, дневника, переписки и т. д. (Таково строение „Луизы“, где, например, без всякого внешнего, ориентирующего читателя указания, перемешаны главы, где повествование ведется от лица героя, с теми, где герой фигурирует в третьем лице: прием, впоследствии использованный Альфонсом Карром).

На следующий год после выхода в свет „L'Ane mort“ (в июне 1830) появился анонимный роман „Louisa, ou les douleurs d'une fille de joie“, подписанный abbé Tiberge (персонаж из „Манон Леско“ аббата Прево) и посвященный Ж. Жанену.² Таким образом автор (Regnier-Destourbet, 1804—1832, драматург и романист, приобревший известность одною из лучших „наполеоновских“ пьес 1830 г.) установил двойную генеалогию своего жанра: Жанен и аббат Прево (это подчеркнуто и в предисловии к роману).

¹ Речь идет о следующей фразе из главы IX („L'inventaire“): „Surtout il est une femme qu'on ne remplace jamais, c'est la seconde femme que l'on aime“. Как известно, из „Ane mort“ Пушкин взял имя Sylvio для героя своего „Выстрела“.

² Про этот роман впоследствии Théophile Gautier писал:

Louisa,
Les douleurs d'une fille, œuvre toute de fange
Qu'un pseudonyme auteur dans l'Ane mort puisa.

Основой фабулы является роман падшей женщины, которую автор показывает всюду в наиболее отталкивающей обстановке современного города: в публичном доме, в венерической больнице, в тюрьме. Трагическая смерть героини, с последующим изображением трупа (обычный финал),¹ подчеркивает темы „ужасного“. Но наряду с этими ужасами развивается лирическая, сентиментальная картина несчастной любви — картина, связующая этот роман со школой аббата Прево.² В предисловии (датированном Clichy, 1 июня 1830 г.) автор характеризует свое

¹ Таков же финал „Le Rouge et le Noir“. Впрочем, кроме установки на современность и особенности трагического финала, роман Стендаля в других отношениях никак не может быть отнесен к Стернианской школе Жанена, от которой резко отличается прагматической манерой изложения.

² Сам Жюль Жанен в следующих своих романах пытался несколько удалиться от сюжетной схемы „Ane mort“. Впрочем, следующий его роман: „La Confession“ (вышел в марте 1830 г.) еще близок к поэтике первого. Редактор „Revue de Paris“ писал: „Этот роман — логический вывод из *Ane mort*“. В этом романе Ж. Жанен противопоставлял экзотике обыденщину: „Есть кое-что любопытнее Египетских пирамид, Кремля и Швейцарских глетчеров, удивительнее всех чудес, для обозрения которых ездят с такими затратами средств и сил; это Парижский большой дом в людном квартале, населенный снизу доверху. Крайняя роскошь в бель-этаже, крайняя нищета на чердаке, предприимчивость и труд в средних этажах“. Наблюдение хаоса городской жизни, „порядка в беспорядке“, Жанен и ставил себе задачей в этом романе. Однако, сюжет его и центральные картины иные, чем в „Ane mort“. Гораздо дальше от схемы „Ane mort“ автор ушел в своем третьем историческом романе — „Barnave“. Н. О. Лернер ставит в связь с „Confession“ следующий отрывок Пушкина:

„Тебя пою на томной лире,
Но где найду мой идеал,
И кто поймет меня в сем мире?“
— Но Анатоль не понимал...

Предположение Н. О. Лернера весьма вероятно (героя „Confession“ зовут Анатолем), хотя имя Анатоля не так уж редко во французском романе этой эпохи. Так, Анатоля встречается, например, в „Table de nuit“ P. de Musset, именно в роли скептика, не понимающего идеальной любви. Однако, связь этого четверостишия именно с „Confession“ подтверждается тем, что слова „Но Анатоль не понимал“ являются буквальным переводом фразы „Mais Anatole ne comprenait pas“, которая в качестве лейтмотива или рефрена с легкими вариациями повторяется шесть раз в конце лирических периодов четвертой главы „Confession“. Что касается приписываемой Пушкину рецензии на „Confession“ („Литературная Газета“ 1830 г., № 60, от 23 октября), то вряд ли она ему принадлежит (см. мою брошюру „Пушкин“, стр. 121—122).

творчество, как исходящее из традиции литературы, рисующей „борьбу страстного сердца с препятствиями, выдвигаемыми обществом“.

„La Prima donna et la garçon boucher“¹ является третьим звеном этой цепи романов. В виду его совершенной неизвестности и недоступности для русского читателя (этого романа нет в общественных книгохранилищах Ленинграда и Москвы), сообщу конспективно его сюжет. Роман состоит из 47 глав, из которых не все имеют отношение к фабуле, — некоторые из них представляют собою описательные или медитативно-лирические фрагменты. Одна глава (XVI. Volupté) представляет собою одно лишь стихотворение Доваля (молодой, рано умерший романтик, 1807—1829), сопровождаемое короткой фразой автора: „Mais ce bonheur dura si peu!“. Все главы снабжены эпиграфами — из Кольриджа, Стерна, В. Скотта, из „Louisa“, „Manon Lescaut“, Гюго, Жанена, А. де Мюссе, Доваля и др. Много эпиграфов из драматической литературы: Шекспир, Кальдерон, Детуш, Бомарше, Скриб. В тексте цитируется „Chronique de Charles IX“ Мериме.

Роман начинается с описания премьеры „Robin des Bois“ (под этим названием во Франции исполнялся Веберовский „Freischütz“). Внимание сосредоточивается на примадонне Флорине Сенполь (Saint-Pol). Шестнадцатилетняя дебютантка, обещающая стать выдающейся певицей на трагические роли, недавно прибыла в Марсель, в сопровождении своей матери, комедийной актрисы Сентюберти, (Saint-Huberti), и была принята на оклад в 6 тысяч франков в оперный театр. Ее голос и трогательная игра завладели вниманием слушателей. Громче других аплодировал молодой рабочий, в душе которого возникала неудержимо страстная любовь к примадонне. Любовь эта должна была остаться без ответа. Не столько его общественное положение являлось препятствием, сколько его отталкивающая наружность, его глаза, — маленькие, дикие, горящие, тяжелые и глубо-

¹ „La Prima donna et le garçon boucher“, Paris. Hippolyte Souverain, éditeur. 1831. Se vend chez M^{me} V^e Charles-Béchet, Libraire, Quai des Augustins, Nos 57 et 59, à Paris. Imprimerie de H. Fournier, rue de Seine, N^o 14. В книге 364 страницы. На титульном листе виньетка J. Lécuyer (художник, более известный картинами на исторические и библейские темы, род. в 1801 г., ум. в 1880-х годах), иллюстрирующая главу III („Le Mont de Piété“).

кие. Эти глаза являются лейтмотивным признаком, сопровождающим появления героя в романе.

Затем мы переносимся в дом Флорины. Она разучивает новую оперу — „La Dame blanche“. Здесь же ее мать — ее злой гений. Сентюберти не справлялась с шестью тысячами своей дочери. Росли из месяца в месяц мелкие долги, и выход представлялся один — найти дочери „покровителя“. Главным препятствием являлось то, что дочь не разделяла планов матери. Она мечтала о мирном браке и отказывалась принимать Адольфа Дюрвиля, на которого рассчитывала мать. Это был представитель денежной аристократии, тридцатилетний фат. Сентюберти всячески скрывала от него отвращение, какое испытывала к нему ее дочь, в надежде, что рано или поздно она примет предложения Адольфа. Далее автор ведет нас в Ломбард. Сквозь ожидающую очереди толпу Сенполь проходит к оценщику и протягивает ему ожерелье; видно, как трудно ей расстаться с этим украшением, дорогим для нее по связанным с ним воспоминаниям. Оценщик дает ей только шестьдесят франков — слишком мало. Она уже готова уйти, как вдруг рабочий, который пробился к ней из толпы, предлагает ей сто франков и протягивает ей свои пять золотых, результат долгих сбережений. Вид этого рабочего — не то пьяного, не то безумного, — пугает Флорину, и она поспешно покидает Ломбард, отказавшись принять деньги рабочего.

Между тем, Сентюберти принимала поклонников дочери, расценивая их предложения. Дороже всех давал Дюрвиль, и в ближайшее посещение она допускает его в спальню дочери. Но дочь ее, разбуженная появлением Адольфа, сопротивляется, хотя и слабо; слишком резкая настойчивость Адольфа ее пугает и она убегает, оставляя его одного. Однако — в гостинице Château-Vert, за городом, на берегу моря, куда отправились мать с дочерью в сопровождении Адольфа, она не находит более сил сопротивляться. Мать оставляет ее наедине с Дюрвилем; молчаливые слезы Флорины не являются для него препятствием. На следующий день игра примадонны достигает необычайной силы. Но в театре составила кабала из отвергнутых претендентов. Примадонну освистывают. Адольф здесь же вызывает на дуэль предводителя кабалы. В качестве секунданта ему предлагает свои услуги один молодой человек, по возобновлении

спектакля возвращающийся в ложу немца-барона. Сообщаемый в следующей главе разговор барона (Wop Schaffer), с этим молодым человеком, его секретарем, показывает, какое впечатление произвела примадонна на барона. Рано утром состоялась дуэль Дюрвиля. Он смертельно ранен, ему помогает секретарь барона и следивший за дуэлью рабочий. Его отвозят домой, агония его затягивается, но в тот же день он умирает, проклиная причину дуэли. Три главы, следующие за этим, не двигают фабулы. Одна из них описывает музыканта (играющего на серпенте), сопровождающего похороны. Вторая — состоит из больших цитат из „Подражания Христу“, в которых Флорина ищет утешения. Третья передает разговор Жака — подручного мясника — с погонщиком волов, который не может понять его горестей. Следующая глава, написанная в форме драматизированного диалога, описывает встречу Флорины с Леоном де Вуасси, секретарем барона, который оказывается ее другом, — женихом, о котором она мечтала. Это — сцена признания, упреков, примирения и надежд. Флорина хочет забыть прошлое, но новые долги матери ведут к новым несчастиям. Банкир, которому задолжала Сентюберти, неумолим, особенно после того, как Флорина отказалась принять его у себя. Срок векселю истекает. Здесь Леон обращается к барону, который оплачивает вексель и становится покровителем Флорины.

Роман барона и Флорины развивается медленно. Но теперь Флорина ставит условием брак. Барон, не разделяющий аристократических предрассудков, с радостью соглашается жениться, мечтая о будущем сыне. Во время свадьбы с Флориной случилось странное происшествие. Она вышла в сад, в павильон. Вдруг перед ней явился рабочий, обратившийся к ней с безумной, путаной речью, требовавший поцелуев и наконец насильно поцеловавший ее. Прибравшие на крик гости нашли Флорину в обмороке.

Среди описания впечатлений Флорины после брака автор вводит трагическую повесть лорда Вильсона и леди Марии, которую Флорина слышит в долине Сен-Понс — месте происшествия. Лорд Вильсон находился с женой в свадебном путешествии; они отправились осматривать развалины старого монастыря; проходивший с другой стороны кустарника охотник разрядил ружье по какой-то птице и убил наповал леди Марию. На другой день лорд Вильсона нашли повесившимся.

Рассказав эту новеллу, автор переносит нас в дом сумасшедших. Среди разных персонажей этого дома он показывает молодого рабочего, уже полтора года здесь заключенного. Он уже поправляется, но каждый вечер возобновляются припадки, во время которых он шепчет одно только слово: „Флорина“.

Два года прошло после замужества Флорины. Барон охладил к ней. Леон, не желая своим присутствием нарушать семейный покой, уехал, оставив службу у барона и вернувшись к брошенным было занятиям музыкой. Сентюберти, принужденная переменить ангажемент, тоже переехала в другой город. Однажды Флорина получила письмо от Леона, объясняющее его отъезд. За чтением письма застаёт ее муж. Ей удается, несмотря на угрозы барона, уничтожить это письмо; но он рад ему, как поводу для разрыва. Немедленно покинув ее, он уезжает в Мюнхен.

Действие романа переносится во Флоренцию. Здесь должен находиться Леон, сюда приехала разыскивать его Флорина. Но найти его она не может; она уже всё израсходовала, продала все свои драгоценности, в том числе и свое ожерелье, подарок Леона; теряя последнюю надежду, давно лишившись веры, когда-то ее утешавшей, в отчаянии она бросается в озеро. Проходящий мимо молодой аббат Бамбини спасает ее и переносит к себе.

Здесь роман прерывается сценой на борту „Святой Софии“, приближающейся к Генуэзскому порту. Среди пассажиров мы встречаем рабочего Жака с блуждающим взором и сопровождающую его старуху.

Флорина долго не могла очнуться в комнате аббата. Бамбини меж тем размышлял о насильственном безбрачии духовенства, о своем бессилии бороться с соблазном. Наконец Флорина очнулась. Медленно приходит она в себя. И вдруг, под влиянием внезапного и дикого решения, желая порвать со всем прошлым, забыть всё, она бросается к Бамбини...

Во время одной из прогулок со своим новым любовником, в гондоле, Флорина подвергается странному нападению. Гондольер, заметивший поцелуи, которыми обменивались Бамбини и Флорина, внезапно, в приступе бешенства, нападает на них. Сумасшедшего схватывают; Флорина узнает в нем Жака. Испуганную Флорину, чтобы дать ей успокоиться, Бамбини уводит

в ближайшую гостиницу. Здесь за обедом она слышит внизу голос нищей старухи и узнает от хозяйки ее историю. Эта старуха потеряла во Франции дочь. Случайно один рабочий принял в ней участие. С ним отправилась она в Геную. По дороге к ним присоединился еще компаньон. После долгих скитаний по Италии они подверглись около Филлигаре нападению бандитов, при чем их компаньон был убит. В процессе по поводу убийства власти заинтересовались судьбой рабочего и старухи. Рабочему была предоставлена гондола, и вот уже несколько месяцев как они живут во Флоренции. Выйдя на балюстраду, Флорина узнает в старухе свою мать.

Далее повесть прерывается новеллами, заключающимися в дневнике Бамбини, который Флорина читает во время сна аббата. Здесь 3 рассказа: Луиджина — первая любовь Бамбини, римская куртизанка, Эммануэла — испанка, вторая его любовница в Барселоне, убитая мужем, казненным за это убийство, — наконец, — Долорита, случайная и таинственная связь в Кадиксе. Последняя новелла, как указывает автор, есть несколько измененный вариант эпизода из „Путешествий Антенора“ (роман Лантье, 1798 г. Эпизод заимствован из 62 главы). Впрочем, аналогичный эпизод находится и у Казановы.

Далее события идут ускоренно. Сентюберти умирает от удара. Флорина заболевает, попадает в больницу, где ее посещает Бамбини. Несколько слишком откровенных слов, произнесенных в бреду, открывают всем характер ее отношений к Бамбини, который принужден ее покинуть и скрыться. В больнице Флорина в болезни не слышит разговоров больных, которых очень занимает бегство сумасшедшего, недавно приведенного в больницу.

По выздоровлении Флорина покидает Флоренцию и через Ливорно и Ниццу направляется в Париж. Здесь она встречает Леона и поселяется с ним. Старая любовь побеждает все невзгоды. Прошлое забыто. Леон — молодой композитор, его опера готовится к постановке. Флорина разучивает главную роль в ней. Однажды, в его отсутствие, она читает газету. Здесь — заметка в хронике сообщает об убийстве аббата Бамбини, которому мстила сестра Эммануэлы. Чтение прервано появлением рабочего, в котором Флорина узнает Жака. Он пришел, в последней степени возбужденности, требовать, чтобы Флорина последовала

за ним. Он готов простить ей всё прошлое. Получив отказ, он убивает ее и здесь же убивает и себя.

Таков роман. Он распадается на 4 развитых эпизода (Дюрвиль, барон, Флоренция, Париж), пронизанных „фатальными“ короткими появлениями Жака, отмечающими наиболее напряженные моменты. Это — центральная, затушеванная в повествовании интрига, достигающая всей своей силы только в развязке. Пять маленьких вставных новелл (леди Мария, Луиджина, Эммануэла, Долорита, смерть Бамбини) перебивают главную повесть. Повествование ведется мелкими толчками, разделенными временными перерывами, перебиваемыми эпизодическими описаниями и замечаниями, с фабулой не связанными. Вообще к фабулярным моментам автор подходит как то сбоку, так что они не всегда и не сразу попадают „в фокус“ повествования. Вставные новеллы обнаруживают сродство автора с более старыми традициями французской повести. Отчасти сказывается в них влияние Мериме, упоминаемого в романе, а может быть и мелких новелл Бальзака, тоже цитируемого. Но стиль романа обнаруживает чрезвычайно близкую связь с первыми двумя романами Ж. Жанена „L'Ane mort“ и „La Confession“. Те же лирические периоды, с замыкающими отдельные абзацы сентенциями-рефренами, тот же усложненный слитными формами синтаксис, то же построение фраз и всей системы изложения на сторонних намеках, на второстепенных признаках, требующих догадки и „узнания“ читателя. При всем том сюжетная канва отчетливее, характеристические приемы реалистичнее (особенно это заметно на приемах обрисовки аббата-эпикурейца Бамбини), окраска героев сентиментальнее (как и в „Louisa“, оказавшей несомненное непосредственное влияние на роман), „ужасы“ обрисованы мягче. Весь эффект на психологическом контрасте Флорины и Жака. Но в Жаке автора менее всего интересует социальная характеристика. То, что он рабочий — лишь атрибут его фатальной роли традиционного „мстителя“, воплощенного „memento mori“, что литературно подчеркнуто его безумием и характеристической чертой — тяжелым пронзительным взглядом.

Автор, как рассказчик, объективно почти не выступает: повесть ведется в объективно-безличном плане. Лирические медитации также безличны. Лишь в одной главе есть конкретизация

рассказчика, который следует за героиней (в сцене Ломбарда повествование прерывается замечаниями „Je la suivis...“, „Et j'entrai“ и т. д.). Главы (размером от 1 до 14 страничек) разбиты на более мелкие куски, впрочем преимущественно не по сюжетному принципу, а из соображений композиции изложения (как бы прерываемого паузами¹ умолчания). Роман насквозь пронизан литературными реминисценциями, намеками на эпизоды последних романов, повестей и опер: театральный элемент очень силен в романе, и в нем подробно характеризуется несколько спектаклей, что гармонирует с дальнейшей литературной деятельностью Бюра де Гюржи.

Критика сразу отметила появление нового романа. Он был возведен приведенною выше заметкой в литературной хронике „Revue de Paris“, принадлежащею, вероятно, перу литературного друга автора. Отозвалась на роман и общая пресса.

Сам основатель этой школы романа „ужасного в обыденном“ Ж. Жанен так писал о романе Бюра де Гюржи (допуская, по своей привычке, неточности в изложении фабулы): „Le Garçon boucher et la Danseuse“ представляет собою дебют двух молодых людей неистового и безудержного воображения, горячего и беспорядочного стиля. Их ум, стиль и мысль нуждаются в успокоении. Происшествие, имевшее место в Марселе, доставило обоим авторам¹ сюжет романа. Случилось, что подручный мясника, здоровый парень с рыжими волосами, косыми глазами, плотный и угловатый, влюбился в первую певицу большого театра, в то время как она пела стихи нашего собрата Кастиль-Блаза² в „Robin des Bois“. При виде певицы бедняга воспла-

¹ Сотрудником Эдмона Бюра де Гюржи словарь Барбье называет его брата Клемана. См. A. Barbier, „Dictionnaire des ouvrages anonymes“, т. III, изд. 1872—79 гг. По показанию De Manne, Барбье, а вслед за ним и G. Brunet („Supplément“ к словарю Керара и Барбье) все произведения Бюра де Гюржи приписывает сотрудничеству обоих братьев. Надо отметить, что в словарях Барбье и Брюне фамилия Бюра де Гюржи передана неточно (Burat-Gurgy). Что касается Clément Burat de Gurgy, то он в литературе неизвестен. У Edmond Burat de Gurgy был младший брат Henri Burat de Gurgy, но он выступил в печати много позже выхода в свет „La Prima donna“. Таким образом, вопрос о действительном соотруднике Edmond Burat de Gurgy остается открытым.

² Автор многих либретто, музыкальный критик в „Journal des Débats“, теоретик перевода на французский язык иностранных либретто, создатель особой теории тонического акцентированного французского стиха, не имевший, впрочем, последователей среди поэтов Франции. *Прим. Б. Т.*

меняется любовью; он следует за своей возлюбленной всюду — в театр, на прогулку, на улицу, в ломбард, в госпиталь; куда только ни направляется бесчеловечная? Она переходит от любовника к любовнику, от бед к бедам, она проходит через все степени состояния; легкая, изменчивая, красивая, богатая и бедная, любимая и переносящая удары, ни к кому не жестокая, кроме несчастного мясника. Наконец, бедняга, больной и головой и сердцем, решает покончить со всеми бедами; он также хочет счастья хоть раз, если это счастье всем доступно. Но ему одному примадонна не покорна, ему одному отказывает она в любовном свидании; и вот, привычка берет верх, парень вспоминает свое прежнее ремесло, убивает ту, которую любит, и торжествуя выходит из ее будуара. Эта повесть обещает большие способности, обещает будущее, если авторы, как я уже сказал, сумеют войти в границы пристойного и естественного, без чего невозможен истинный успех“ („Journal des Débats“ 22 июня 1831 г.).

Чтобы дать более полное представление о впечатлении, произведенном на современников этим романом, приведу еще две газетные рецензии на него. Первая из них — анонимная рецензия из „Messager des Chambres“ от 3 июля 1831 г. („Un bal chez Louis - Philippe“, par l'abbé Tiberge. „La Prima donna et la Garçon boucher“): „Вот роман, в котором всё построено на контрасте. Самое название на это указывает. В нем соединены примадонна, — хрупкое, изящное и воздушное создание, — и подручный мясника, крепкое, грубое и положительное существо, внешность и вкусы которого несколько не сочетаются с образом обольстительной певицы. В этом весь роман. На юге, кажется в Марселе, жила актриса, кумир публики и предмет ненависти своих соперниц, — законченное совершенство. Талант, красота, даже добродетель и следовательно бедность, — всё это досталось ей на долю и отличало ее, как феномен, достойный всеобщего почитания. Однажды вечером она пела, — а в нижних рядах человек в куртке и фуражке приходил от нее в восторг, достойный истинного любителя искусства. Это был подручный мясника, влюбившийся в m-lle Сенполь. Повыше, в ложах, то же впечатление было произведено на одного Марсельского франта. Мясник вернулся к своему скоту, а франт отправился к певице, у которой была благосклонная мать. Г-жа Сентюберти, как ее звали, скромно

выслушала предложения богатого почитателя ее дочери и обещала ему, что он будет принят в любой час дня и ночи. Но одно удивило почтенную мать: дочь отвергла притязания почитателя. Но г-жа Сентюберти, требовавшая послушания, добилась своего — отчасти силой, отчасти лаской, больше всего — удачно сложившимися обстоятельствами, и обещания ее были исполнены. Всё это не очень нравственно; но векселью истекал срок в конце месяца, и когда м-лле Сенполь отнесла в заклад кольцо, ей едва предложили половину его стоимости. Бедняга мясник, свидетель ее беды, предложил ей пять золотых, как будто бы пять золотых представляли что-нибудь. Итак, оставался неоплаченный вексель и тысячи франков содержания, предложенного Марсельским франтом. Г-жа Сентюберти ни минуты не колебалась. Так был сделан первый шаг; и молодой мясник, опьяненный любовью, отвергнутый в своем предложении сбережений и страсти, бедный мясник был обречен подсчитывать число ее падений. Не будем пытаться следить за развитием стольких любовных приключений. Помимо этого контраста, не лишено оригинальности, приводящего к ряду полных драматизма сцен, „La Prima donna“ является романом нравов, только нравов довольно-таки распущенных. Здесь мы встречаем некоего аббата, синьора Бамбини; его развязные манеры и эпикурейские привычки напоминают другие характеры того же рода, созданные до 1831 года. Нет ничего нового на свете. В общем, впрочем, нельзя упрекнуть в подражании автора, или вернее двух молодых авторов этого романа. Они проявили, без всякого сомнения, оригинальный талант. В их произведении встречаются удачно рассказанные положения. Однако — невозможно спрашивать у дам мнения о „La Prima donna“, не совершив этим нескромной неловкости, обличающей незнание правил общежития; ибо дамы, которые читают все новые романы, не читают этого или старательно забывают прочитанное. Нет нужды говорить, что развязка соответствует моде. Влюбленный до неистовства и отвергнутый мясник естественно пускает в ход нож. Так поступил герой романа, который таким образом замыкает драму патетической сценой. Заметка в конце книги извещает, что факт этот заимствован из действительности“.

Критик „Le Globe“ (в это время уже официального органа сен-симонизма, что отражается и в настоящей рецензии) дал

следующий подробный отчет о романе: „В этой большой книге всего оригинальнее название; это — первоначальное задание произведения, которое захватывает вас с первых глав, но вскоре отталкивает и оставляет холодным. Одним словом, эту книгу надо переделать; не потому, что авторы, еще молодые, не представили нам в ряде горячо написанных страниц патетическую драму, последовательно тонкую и трогательную, мрачную и отвратительную; не потому, что их главное действующее лицо, примадонна, прихотливый и чарующий образ молодой девушки, была бы обрисована без таланта; но в недрах самой фабулы, в этих то безумно-беспорядочных, то печально-низких страстях, перекрещивающихся во всех направлениях и вызывающих на жалкую борьбу героев книги, — среди всех этих человеческих бедствий, собранных в одну кучу и изображенных с жестоким упорством и терпением, невольно чувствуется по прочтении книги — пустота и разочарование; читатель остается неудовлетворен романом в целом, остается холодным перед сценами ужаса, которые должны трогать, и утомленным от постоянно насмешливого тона авторов, от их постоянного стремления загрязнить всё, к чему они прикасаются и что они создают. А между тем, здесь источник их вдохновения, и они мало разборчивы в средствах достижения цели. Дуэль между светскими франтами за освистанную актрису, развращение молодых девушек, прелюбодеяние и убийство испанских женщин и итальянских священников — им всё годится, всё улыбается. И вот они торжествуют: ибо после того, как они нам показали, как два противоположных характера, две пылкие души в долгих и сильных страстях, постоянно подавляемые в своих стремлениях, истощаются и гибнут в тщетных усилиях; после того, как они изобразили легкими штрихами, медлительно и как бы смакуя эту агонию, — как человек жалко и бессильно борется с судьбой, человек, хотя и лишенный нравственного чувства и воспитания, но протестующий всеми силами души, горячо чувствующей и любящей, против своего общественного положения, которое подавляет и принижает его, — авторы вдруг устают от этой жестокой игры и торопятся заключить последние страницы кровавою картиной развязки. Что же это за книга, спрошу я вас? произведение, полное ужаса, странностей, внушающее одновременно и страдание, и удовольствие. Если бы еще они изо-

бразили свою жертву с меньшим вниманием, с меньшей тщательностью! Но поистине досадует то, что они изобразили ее такой изящной, чтобы немедленно загрязнить ее с таким бесстрашием. Посмотрите, как оживляется и воплощается под их пером Флорина Сенполь, пятнадцатилетняя актриса в большом театре в Марселе с окладом в 6 тысяч франков, принужденная петь перед волнующимися рядами голов, расположенных ярусами, в согласии с их общественными рангами — перед этими восхищенными и немymi лицами, перед внимательными и сверкающими взорами, устремленными на нее, смущенную в блестящем освещении сцены. И вот, через несколько глав, через немного страниц, вы увидите, как эта девушка с нежной и непосредственной душой, под гнетом нужды найдет позор в объятиях фата, купившего ее у матери, собственной ее матери! Запятнав ее один раз, авторы с какой-то радостью повлекут ее по Франции и Италии от одного несчастья к другому, пока не приведут ее, оскорбленную, опозоренную, в бедную каморку музыканта, где-то в шестом этаже в Париже, где она найдет смерть под ножом работника мясника, который любит ее, как безумный, уже много лет.

Этот новый герой — человек из народа, бедный рабочий, грубый и неловкий, в простой фуражке, с маленькими красными глазками; рожденный в бедности, не получивший воспитания, от среды своей он заимствовал невежество и грубость; но он еще несчастнее своих товарищей, так как под этой грубой оболочкой скрыто горячее сердце. Это чувство так неуместно в той среде, где его удерживает рождение и положение, — и вот, он губит себя бессмысленными желаниями, смешной, безнадежной страстью, делающей его несчастным на всю жизнь и толкающей его последовательно на безумие и на убийство. Итак, это ли произведение художника? Нет, — это беспорядочная фантазия молодого человека, с тонким умом, способным к насмешке и издевательствам; это увлечение несдержанной мысли, устремляющейся сквозь ряды старого общества и оскорбленной при виде его и предающей себя гневу и отчаянию. Муки художника, который находится не на своем месте, пытка человека с любящим и сильным сердцем, сумасбродная страсть, которая язвит и убивает, — всё это в этой книге, хотя может быть авторы и не вполне отдают себе в том отчет и преувеличивают.

Но хорошо-ли они поняли основную идею своего неполного и неоконченного произведения? Достоинство-ли оба автора выявили факт *общественного* унижения, в которое поставила их героя случайность его рождения и недостаток *воспитания*, который является почти всегда *грустным последствием* первого? Не думаем. В этом сюжете, который так удобен для развития ряда новых идей, для нравственного поучения, который ставит на очередь важный вопрос общественного порядка: *воспитание бедных классов*, — авторы увидели только вопрос отвлеченного *искусства, искусства* темного, мрачного, — и они искали только эффекта для глаз и ужаса¹.

Следующим произведением Бюра де Гюржи был сборник повестей: „Le Lit de camp, scènes de la vie militaire“,² Paris, chez Hippolyte Souverain, три части (декабрь 1831 — январь 1833 г.); затем вышел роман, приобретший некоторую известность благодаря неумеренному эротизму: „Paillasse, épisode de carnaval“, par E. Burat de Gurgy, auteur de „La Prima donna et le Garçon boucher“ et du „Lit de camp, scènes de la vie militaire“, Paris, chez Jules Bréauté (март 1834 года), — единственный роман, подписанный именем автора; последний его роман: „Les deux modistes“ par auteur de „La Prima donna et le Garçon boucher“, etc. Paris, chez H. Souverain, вышел в 1835 году.

Последние произведения Бюра де Гюржи уже не имели того успеха, что первый роман и сборник „Le Lit de camp“. Очевидно,

¹ „La Prima donna et le Garçon boucher“ имел подражателя. На следующий год появился анонимный роман „Le prêtre et la danseuse. Roman des mœurs“ (ноябрь 1832 г.). Автор этого романа — Maximilien Perrin (1796—1879). Самый роман, собственно, является спекуляцией на названии: ни священник, ни танцовщица не играют в нем predetermined жанром Жаневова романа сюжетной роли. К этому жанру роман принадлежит только своим трагизмом, резкими картинами насилий и отчасти судьбой одной из героинь (Леонтины). В остальном — роман сложно-сюжетный, много-персонажный, близкий к построениям Поль де Кока (за вычетом его комизма), к школе которого и относят Перрена.

² Авторское право Бюра де Гюржи на „Le Lit de camp“ в некоторой части подвергалось сомнению. В книге „Supercherie littéraire dévoilée“ par Quéard (изд. 1869 г.) под именем Burat de Gurgy (Edmond) напечатано письмо некоего Duthillœul, библиотекаря из Дуэ, от 13 января 1856 г., в котором он заявляет, что в „Lit de camp“ около трети представляет дословную перепечатку произведений автора письма, напечатанных в „Mémorial de la Scarpe“, основателем которого он был. Повястно, подобное утверждение требует проверки.

романы не доставили автору большого материального успеха, и он всё время был занят мелкой литературной работой, участием в газетах, сборниках и сотрудничал с другими авторами в писании водевилей, сценариев балетов (из них один „Le Diable boiteux“ шел в Петербурге в 1839 г.).¹

Кроме того, он печатал стихи в „Revue de Midi“ и выпустил вторую брошюру в стихах „Un bal“ (март 1834 г.). Незадолго до смерти он принял участие в сборнике „физиологических“ очерков Парижской жизни: „Paris au XIX siècle“, вышедшем в свет уже после его смерти.²

¹ Вот список пьес, написанных Бюра де Гюржи, с указанием времени и места первой постановки: 1) с H. Cogniard: „Byron à l'école d'Arrow“, épisode mêlé de couplets (Théâtre des jeunes élèves de M. Comte, 19 ноября 1834 г.); 2) с V. Masselin: „Le Fils de Figaro“, comédie vaudeville en un acte (Ambigu-Comique, 27 сентября 1835 г.); 3) с Saint-Yves: „La Préface de Gil Blas“, pièce en un acte (там же, 4 ноября 1835 г.); 4) с Corali: „Le Diable boiteux“, ballet-pantomime en trois actes (Académie royale de musique, 1 июня 1836 г. Либретто выдержало 4 издания во Франции и одно в России); 5) „La Jeunesse d'un grand roi“, épisode historique en un acte mêlé de couplets (Théâtre des jeunes élèves de M. Comte, 18 июня 1836 г.); 6) с Ach. Dortois et Ad. Denney: „Trois cœurs de femmes“, vaudeville en trois actes (Variétés, 17 ноября 1836 г.); 7) с Saint-Yves: „Tabarin ou un Bobèche d'autrefois“, fantaisie en un acte, mêlée de chants (Ambigu-Comique, 25 октября 1837 г.); 8) „Le Jugement dernier“, opéra-sacré en un acte (Renaissance, 22 февраля 1839 г.); 9) с Ach. Gastaldy: „Les deux filles de l'air“, puff en deux actes, tiré de la Gazette des tribunaux (Panthéon, 11 января 1840 г.).

Среди авторов, с которыми работал Бюра де Гюржи, имеются сотрудники Скриба. Можно полагать, что и он не миновал драматургической мастерской этого литературного предпринимателя.

² Газета „Le Globe“ (2 декабря 1831 г.) в Хронике отмечает появление книги „Les Papillotes, scènes de tête, de cœur et d'épigastre“ (изд. Hippolyte Souverain) и в заключение характеристики этой книги добавляет: „сообщают о скором выходе книги того же автора „Le Lit de camp“. Если не усматривать здесь опечатки (auteur вм. éditeur, что впрочем по контексту мало вероятно), то эта книга также принадлежит Бюра де Гюржи. Она вышла под псевдонимом Jean-Louis в первых числах ноября 1831 г. Quéard приписывает ее Auguste Audibert, о котором сообщает, что он умер от чахотки около 1835 г. и отождествляет его с Одибером, редактировавшим (совместно с Бальзаком и др.) журналы „La Caricature“ и „La Silhouette“. Однако, ему же Керар приписывает произведения его однофамильца (см. Nouvelle Biographie Universelle, éd. Firmin-Didot frères. T. III. Audibert Louis-François - Hilarion). Таким образом свидетельство Керара не внушает полного к себе доверия. Auguste Audibert, судя по фамилии, южанин (однофамильцы встречаются в Тулузе, в Тарасконе, в Марселе). Можно предполагать одно из двух — или Керар ошибся и прав

Бюра де Гюржи умер в первых числах марта 1840 года; незадолго до смерти он поддался благочестивому духу времени, а может быть увещаниям своего друга Гранье де Кассаньяка, и примирился с католической церковью, чтобы замолить грехи своей юности.

Ранняя смерть, анонимность главных произведений, забвение, которому предали позднейшие читатели жаненовское стернианство перед такими крупными явлениями французского романа, как Бальзак и Ж. Санд, — всё это обеспечило полное забвение имени Бюра де Гюржи, молодой дебют которого был не менее блистателен, чем дебюты корифеев.

Одновременно с „Prima donna“ Пушкин упоминает роман Ж. Жанена „Barnave“.¹ Этот роман вызывает у него восклицание, которое, к сожалению, не поддается толкованию, но свидетельствует о силе впечатления, вероятно, сочувственного (не даром в списке „новейших романов“ „Barnave“ занял первое место).

хроникер „Le Globe“, — и тогда „Les Papillotes“ тоже принадлежат Бюра де Гюржи, или надо допустить, что Auguste Audibert действительно автор „Papillotes“, но в то же время и со-автор „Le Lit de camp“ и может быть „La Prima donna“. В таком случае второй аноним, на который указывают все рецензенты этого последнего романа, — не брат Burat de Gurgy, а его земляк. Ни Quérard, ни G. Vicaire („Manuel de l'Amateur de livres du XIX siècle“, t. IV, p. 578) не указывают на какое-нибудь другое произведение этого автора (кроме ошибочного указания Керара, выше оговоренного). Меж тем под псевдонимами, представляющими легкое изменение того же псевдонима „Jean-Louis“, вышли около этого времени следующие книги: 1) „Mes rêveries sur la mort de Napoléon“, par Louis Jean. Stances, Marseille. 1832 (начало сентября); 2) „Poésies provençales“ per Louis J... Marseille. 1832 (начало июля); 3) „Le Diable boiteux, ou Triomphe de la vertu“, comédie féerique et de mœurs, en six tableaux, par M. Louis (представлено в Cosne 2 января 1834 г.); впрочем, псевдонимом „Louis“ пользовалось много драматических авторов. Эту пьесу отмечаю по совпадению заголовка с либретто Бюра де Гюржи. Любопытно, что произведения этого таинственного „Louis“ относятся к тем же жанрам, что и произведения Бюра де Гюржи, совпадают с ними в названии („Le Diable boiteux“) и издаются в Марсели — его родном городе. К сожалению, скудость материалов, находящихся в Ленинградских библиотеках, не дает возможности расследовать эту загадку до конца. Бюра де Гюржи часто писал под псевдонимами. Керар указывает его газетный псевдоним *Casati*.

¹ „Barnave“, par Jules Janin. 2 тома. Paris, Alexandre Mesnier et Levavasseur. 1831. Роман вышел в сентябре (до 17-го) 1831 г. Через неделю вышло второе издание в 4 томах, отличающееся от первого исправлением опечаток и полемическим предупреждением автора.

„Barnave“ — третий роман Ж. Жанена. И в нем еще господствует ранняя, „стернианская“ манера автора, выражающаяся в лиризме тона, в оборванности фабулы, в отрывочности и статичности эпизодов, обычно загадочных, показанных как-то странно, под необычным углом зрения. И „Barnave“ — явление, пограничное между романом и литературным фельетоном. По сравнению с более ранними произведениями Жанена, патетическая декламация в этом романе явно преобладает над трагизмом ситуаций. Роман этот представляет собой род политического памфлета, направленного против Орлеанской династии. В предисловии к роману Жанен перечисляет грехи всех предков Луи-Филиппа. В романе в самом неприглядном виде выведен отец Луи-Филиппа (Филипп Эгалитэ). Много позже, вспоминая о своем раннем романе, Ж. Жанен называл его „одною из первых книг, порожденных Июльской революцией, одною из книг, не поддающихся анализу и которые через 20 лет остаются загадкой даже для того, кто их создал“ (J. Janin, „Histoire de la littérature dramatique“, t. I, 1853, p. 260).

Роман дан в форме мемуаров немецкого князя, попавшего в Париж в начале революции. Эта форма мемуаров позволяет свободно уклоняться от основной фабульной нити. Жюль Жанен дает ряд картин общества, затронутого пороком, и распатываемого революцией. Автором взят момент, когда народные вожди 1789 года, видя, что растущее движение уже не подчиняется их влиянию, переходят от нападения на королевскую власть к попыткам сохранить порядок от угрозы разрушительной силы революции. Социально-политическая концепция революционного движения очень близка к взглядам Пушкина. Эпизоды представляют ряд разнообразных и пестрых картин.¹ Так

¹ Как образец декламационной манеры автора, приведу место, которое должно было привлечь также внимание Пушкина: „Европейская драма разыгрывается на берегах Невы: ехать надо в Россию, Россия — венец мира. Люблю ее холодные льды, ее знойные лета; люблю ее еловые дворцы, глиняные крепости, восточные минареты. Внимайте шуму растущей империи, — и вы поймете быстроту ее роста. На вашем месте я поехал бы туда узнать, по какой цене продают людей; я посетил бы Макарьевскую ярмарку; я с гордостью узнал бы, с какими бесконечными усилиями мужика превращают в солдата; я последовал бы за молодежью, швыряющей золотом, заносчивой, как выскочка и древней, как империя; я не пренебрег бы и грубыми перебегами их музы, совершенно лишенной национального духа; я хотел бы поближе увидеть трон,

среди эпизодических фигур появляется Калиостро, пророчащий гибель королевского двора, и граф Сен-Жермен, вспоминающий об оргиях Египетской Клеопатры. Центральными фигурами романа, вообще далекого от исторической правды, являются фантастические изображения Мирабо, Барнава и идеализированной автором Марии-Антуанетты.

Элемент политической сатиры predetermined отношение читателей к этой книге. „Revue de Paris“ тщетно защищала своего романиста от политических упреков. „Автор — наш, писал критик журнала, в его книге мы принимаем участие, как в славе, лично с нами связанной“. „Жанен, несомненно, красноречивый писатель, в нем есть вдохновение, страстность, живые и внезапные порывы, но в творческом отношении он менее счастлив; часто его средства слишком просты, фантазия — ребяческая, фабула развивается вяло; он, может быть, слишком доверяет своей невероятной силе фразеологии, которой никто не обладает в равной ему степени. Это фанатик стиля, слов, оборотов; но у него нет необходимого для романиста хладнокровия, он слишком страстен в борьбе за и против, он не остается беспристрастным ни минуты в своем *Барнаве*“. Отмечая роялизм Жанена, критик высказывал сожаление, что он столкнулся с новой династией („Revue de Paris“, t. XXIX, 22 августа 1831 г.). В газетах и журналах расценка велась преимущественно с точки зрения политической; политические симпатии проглядывают сквозь все рецензии на это произведение. Так, республиканец Ансельм Пететен писал в „Revue Encyclopédique“: „Кто читал страницу Жанена, знает его стиль. Постоянная гибкость оборотов, необычайная точность выражений, изящная ясность, богатство образов, придающие всему, вышедшему из-под его пера, такую поразительную оригинальность. Но да позволено нам будет сказать,

поставленный над бездной, куда сын сбрасывает отца, чтобы занять его место; я поехал бы в Петербург, чтобы найти там царственную блудницу, которая ценою золота добывает себе хвалу французских писателей, и я удовлетворился бы лишь тогда, когда бдительная полиция этой страны заключила бы меня в тюрьму, как человека подозрительного, за освящение какой-нибудь из фавориток князя Потемкина“ (гл. VI. „Conseils“). „Русская“ тема, как экзотический мотив путешествия, была обязательна в романе эпохи. Так в „Prima donna“ мы находим среди перечня стран, которые посетил барон, „Россию рабскую и славную своими варварскими законами, развращенностью и множеством подкидышей“ (гл. XVIII, стр. 132).

что самая оригинальность несколько монотонна, ибо автор ею злоупотребляет. Отсюда — некоторая утомительность, чувствуемая через несколько страниц чтения и отвлекающая от удовольствия, которое должна бы доставить роскошь языка и поэзии. Г. Жанен, тем не менее, большой писатель, и если бы у него было несколько больше чувства, если бы он придавал какое-нибудь значение мысли вместо того, чтобы всё приносить в жертву образу, то право не знаю, какого писателя можно было бы поставить выше его“ („Revue Encyclopédique“, сентябрь 1831 г. Подпись Апп. Р.). Приветствовали роман роялистские газеты, которые, вообще, в это время уделяли очень мало места литературе. Критик „La Quotidienne“ сравнивал этот роман со сновидениями, вызванными наркотическими испарениями. „Эта книга, полная противоречий, несвязностей, декламаций, софизмов, беспорядочных страстей, эротики. Дурная книга, скажете вы? Нет, тысячу раз нет, ибо лучшее в ней — ее недостатки“ („La Quotidienne“ 19 октября 1831 г.). Другой Парижский орган роялизма писал: „Это ни роман, ни история, ни драма; это ни нравственный трактат, ни биография, ни рассуждение, вовсе не политическое произведение. Что же это? Обратитесь к автору, который, кажется, и сам этого не знает“. „В этой странной книге встречаются места редкого достоинства, характеры, обрисованные крупными чертами, и прежде всего — полное понимание нравов, которых автор сам не видел, но которые он великолепно усвоил по чужим воспоминаниям. К несчастью всё это не скреплено вместе, не развивается, не образует единства. Здесь нет ни отправной точки, ни цели“ („La Gazette de France“ 30 ноября 1831 г.). В качестве корректива к политическим отзывам прессы критик „Revue de Paris“ давал следующую эстетическую оценку романа: „Это прекрасная мечта по поводу исторических событий, это поэзия, музыка, драма. Эти сомнительной историчности, близкие нам события предстали перед молодым воображением, мрачным, сверкающим, во всем своем обаянии, хаосе, ужасе, сомнениях. В этом пылом и странном мозгу история была переработана. Такова книга Жанена — долгое, сильное, чарующее опьянение мысли“ („Revue de Paris“, т. XXX, 18 сентября 1831 г.).¹

¹ А. Н. Вульф писал в своем дневнике 24 октября 1833 г.: „Есть один роман J. Janin, под заглавием „Вагпаве“, одно из произведений его пера, со-

Вызвавший положительный отзыв Пушкина роман Альфонса Карра (письмо XXV), — очевидно, его дебютный роман „*Sous les tilleuls*“.¹ Роман Карра до известной степени принадлежит к той же французской стернианской школе. Это сказывается в манере рассказа, в смешении повествовательных форм, в лиризме и авторских декламациях, правда, — значительно более наивных, чем у Ж. Жанена, в обычном трагическом конце героини с посмертной сценой у ее трупа, вырытого из могилы, и т. д. Но уже чувствуется и значительный отход в сторону более четкой фабулы, большей „типичности“ и портретности характеров, некоторая реакция, ведущая к более ранним литературным традициям, подчеркнутая сентиментализмом и мечтательностью, оттененными германским фоном повествования.

Критик „*Journal des Débats*“ (в № от 8 августа 1832 г. Подпись J. S. Автор — малоизвестный журналист Jonxières) среди источников формы „*Sous les tilleuls*“ видит „Вертера“, „Новую Элоизу“ и романы Ш. Нодье. Впрочем, самый роман он расценивает очень низко, находя, что это „не более, как неумелое подражание, в котором всё заимствовано“.

Иначе расценивал роман критик „*Revue de Paris*“ (в №№ от 15 июля и 12 августа, подпись E.): „Кто только теперь не пишет романов? У самых отсталых есть роман наготове, как раньше у каждого ученика класса риторики, при выходе из коллежа, была трагедия в парте“. Но роман Карра „не такой, как другие; в нем есть мысль, поэзия, литературная критика и даже оригинальные суждения об искусстве и художниках. И тем не менее это роман, роман, полный интереса. *Вот tour de force*“. „Это не роман Стерна, которому так плохо подражали наши мистические сентименталисты, и в то же время в нем много отступлений, где авторское „я“ выступает на сцену, отступлений, которые счастливо сочетаются с сюжетом, на которых внимание

ставившее ему известность писателя, которою он теперь и пользуется довольно справедливо, не смотря на журнальную, французскую плодовитость его слова. В этом романе вывел он на сцену, кроме самого Барнава и Мирабо преимущественно, еще несколько лиц того времени. С первого взгляда я узнал, что он их очертил вовсе не в историческом образе, а совершенно в идеальном, так что этот роман нельзя назвать и историческим“ (Л. Майков, „Пушкин“, стр. 205).

¹ „*Sous les tilleuls*“ par Alphonse Karr. 2 тома. A Paris chez Gosselain; роман появился в июле (до 14-го) 1832 г. В августе вышло второе издание.

отдыхает, а не сбивается и не утомляется. Это, наконец, новая форма, которую трудно определить, так как она не имеет образца, но в которой нет претенциозности и аффектации“. „Эта книга смелого молодого человека, не боящегося парадокса“ („Revue de Paris“, t. XL, 15 июля и t. XLI, 12 августа 1832 г.). Тем не менее, и этот критик упрекает автора за некоторые экстравагантные эпизоды романа. В своем романе Карр один из первых применил прием внедрения обширного, нелитературного материала, — прием, позднее получивший распространение. Целые страницы романа посвящены трактатам по садоводству и по разведению орхидей — по вопросам, лично близким автору. Эти страницы были замечены современной критикой.¹

Роману Карра Пушкин противопоставляет с отрицательной характеристикой произведения Бальзака. Не следует забывать, что для Пушкина Бальзак был тогда только еще дебютирующим писателем. Его ранние произведения, написанные под псевдонимами, Пушкин, очевидно, не мог связывать с его именем. Литературная известность Бальзака началась с романа „Le dernier Choan, ou la Bretagne en 1800“ (4 тома, вышли в марте 1829 г.). Вскоре появилась анонимно его „Physiologie du mariage, ou Méditations de philosophie éclectique sur le bonheur et le malheur conjugal publiées par un jeune célibataire“ (2 тома, вышли в декабре 1829 г.; авторство Бальзака было вскоре разоблачено); эту книгу Пушкин упоминает в набросках к „Египетским ночам“.² Но в письме к Е. М. Хитрово Пушкин вероятно имеет в виду не эти две книги, а произведения, которые он перечисляет в вышеприведенном списке „новейших романов“: „Scènes de la vie privée“ (2 тома, вышли в апреле 1830 г.; второе издание,

¹ Пушкин сохранил интерес к Карру и в дальнейшем. В библиотеке Пушкина сохранились 3 романа Карра: „Une heure trop tard“, 1833, „Vendredi soir“, 1835 и „Le Chemin le plus court“, 1836 г.; на последнем надпись рукою Пушкина.

² Книга эта резко отличается от всего, написанного Бальзаком. Принадлежит она к ныне исчезнувшему жанру „Физиологий“ („Physiologie du Gout“ par Brillat-Savarin, „De l'Amour“ par de Stendhal и др.), распространенному в 20-х годах и восходящему к соответственным произведениям Шамфора, Ривароля и др. Эти „Физиологии“ 20-х годов не следует смешивать с „Физиологиями“ и „Физиологическими очерками“, обильно выходившими в 1840—45 гг. и получившими большое распространение в России в переводах и подражаниях.

в 4 томах — в мае 1832 г.¹) „La Peau de Chagrin, roman philosophique“ (2 тома, вышли в начале августа 1831 г.), „Romans et contes philosophiques“ (3 тома,² вышли в сентябре 1831 г.), „Les Cents Contes drolatiques colligez ès abbais de Touraine, et mis en lumière par le sieur de Balzac pour l'esbattement des pantagruelistes et non aultres. Premier Dixain“ (написано в марте 1832 г.). Кроме того, Пушкину были известны новеллы Бальзака, печатавшиеся в „Revue de Paris“, „Revue des deux Mondes“ и др. журналах. Произведения Бальзака 1830—32 гг. составляют цикл первого периода, предшествующего полосе мистико-теософских произведений („Louis Lambert“, „Séraphita“).

Из всего этого Пушкин менее всего, очевидно, имел в виду „Le Dernier Chouan“, — исторический роман, к которому характе-

¹ В издание 1830 г. вошли: „La Vendetta“, „Les dangers de l'inconduite“ (в позднейших изданиях „Gobseck“), „Le Bal des Sceaux“, „Gloire et Malheur“ („La maison du Chat-qui-pelote“), „La Femme vertueuse“ („Une double Famille“) и „La Paix de Ménage“. Два новых тома, вышедших в 1832 г. содержали: III. „Le Conseil“ („Le Message“, „La Grande Bretèche“), „La Bourse“, „Le Devoir d'une Femme“ („Adieu“), „Les Célibataires“ (2-й рассказ „Le Curé de Tours“); IV. Новеллы, объединенные позже под названием „La Femme de trente ans“: „Le Rendez-vous“, „La Femme de trente ans“, „Le Doigt de Dieu“, „Les deux Rencontres“, „L'Expiation“. Эти новеллы появились в русском переводе в 1832—1833 гг.: „Сцены из частной жизни, изд. Бальзака“. Перевод с франц. В. Б. и Л. К., 5 ч. Кроме этих книг, Пушкин приписывал Бальзаку анонимный сборник „Contes bruns“, вышедший в конце января 1832 г. Однако, в этом сборнике только две новеллы принадлежат Бальзаку: „Entre onze heures et minuit“ и „Le Grand d'Esragne“ (позднее вошло в состав „La Muse de Province“); автором четырех новелл был Ph. Chasles, трех — Rabou. Две новеллы этого сборника были переведены в изд. Надеждина: „Сорок одна повесть“, часть V — „Исповедь капуцина“ и часть VII — „Испанский гранд“ (Москва, 1836 г.).

² Эти три тома содержали: „La Peau de Chagrin“ и следующие новеллы: „Sarrasine“, „La Comédie du Diable“, „El Verdugo“, „L'Enfant maudit“ (первая часть), „L'Élixir de longue vie“, „Les proscrits“, „Le Chef d'œuvre inconnu“, „Le Réquisitionnaire“, „Étude de Femme“, „Les deux Rêves“, „Jésus-Christ en Flandre“, „L'Eglise“. Второе издание вышло в июне 1832 г. под названием „Contes philosophiques“. В октябре 1832 г. вышла „Nouveaux contes philosophiques“, содержащие „Maître Cornelius“, „Madame Firmiani“, „L'Auberge rouge“ (не отсюда-ли заимствовал Пушкин имя героя „Пиковой Дамы“. В этой повести мы читаем: „Его звали Германом, как зовут почти всех немцев, выводимых писателями“. После этой фразы трудно предполагать бессовестное совпадение имен), „Louis Lambert“. Библиографию Бальзака см. в „Histoire des œuvres de Balzac“ par Ch. de Lovenjoul. Paris. 1879.

ристика Пушкина не применима. Вероятнее всего, что Пушкин в своем отзыве подразумевал произведения 1831 и 1832 г., „La Peau de Chagrin“ и „La Femme de trente ans“.

Пушкин характеризует творчество Бальзака несколько неожиданным словом „marivaudage“. Обыкновенно соединяемое с этим словом представление о стиле жеманно-изысканном и манерном плохо сочетается с характером Бальзаковского творчества даже в первые этапы его литературной деятельности. Правда, Сент-Бёв в своем некрологе Бальзака так писал про его первые „Scènes de la vie privée“: „Не довольствуясь наблюдением и догадками, он часто обращался к изобретениям и мечтаниям. Каковы бы ни были его мечтания, но в начале именно своими тонкими и изящными наблюдениями он завоевал успех у аристократического общества, к которому он всегда стремился“. И в свое время критик „Revue de Paris“ находил в „Contes drolatiques“ гораздо больше манеры XVIII века, чем стиля Рабле и его предшественников, которым пытался подражать Бальзак („Revue de Paris“ 22 апреля 1832 г.).

Романы Бальзака имели громадный и широкий успех „в читальных, салонах, а главное — в будуарах, где ныне бьются сердца более утонченные, более чувствительные, более энергические, чем во времена Кребильона-сына и Мариво“ („Revue de Paris“ 14 августа 1831 г.). В литературной критике особенно отмечалась одна характерная черта творчества Бальзака — это нарочитая неправильность и странность языка и словаря, отличавшая его от других представителей молодой школы прозаиков. Эта искусственная небрежность выражалась в неупорядоченном словесном потоке, в избытке деталей, загромаждавших изложение. В предисловии к „Scènes de la vie privée“ Бальзак отмечал свою особенность: „Автор позволяет себе только одно замечание, лично до него касающееся. Он знает, что многие могут упрекнуть его за то, что он слишком налегает на детали, на первый взгляд излишние“. Критик „Revue de Paris“ по поводу „Contes bruns“ так характеризовал манеру Бальзака: „Вот он, глубокий и тонкий наблюдатель, точно разлагающий мысль и исследующий под лупой детали вплоть до того, какой знак у героя под ногтем. Описывать так, как это делает Бальзак, то же, что анатомировать. Разлагая на составные части чувство и страсть, автор рискует разочаровать читателя. Поменьше остроумия и побольше

поэзии, поменьше блестящих антитез и более естественности, — вот чего хочет от вас читатель“ („Revue de Paris“ 19 февраля 1832 г., т. XXXV). В „Peau de Chagrin“, романе, построенном по стернианской системе, но в форме „сплошного“ и крепко сюжетного повествования с фантастической фабулой, рассказ Рафаэля, представляющий концентрированный пример словесной манеры Бальзака первой поры, именуется автором „опьяняющим потоком слов“, „словесной оргией“. В послесловии ко второму тому „Scènes de la vie privée“ Бальзак, защищая себя от обвинения в плагиате,¹ говорит: „отличительная черта таланта, несомненно — изобретение плана (l'invention). Но ныне, когда все положения использованы, когда уже испытано невозможное, автор твердо уверен, что только детали впредь образуют достоинства произведений, не точно именуемых романами“.

Отмеченная особенность стиля Бальзака заставляет признать совершенно правильным отнесение, сделанное П. Н. Сакулиным, следующих слов Пушкина о повестях Павлова именно к Бальзаку: „В слоге г. Павлова, чистом и свободном, *изредка* отзывается манерность; в описаниях — близорукая мелочность нынешних французских романистов“ (1836). Очевидно, „манерность“ и „мелочность“ и отталкивали Пушкина от Бальзака.

Это неудержимое обилие деталей, данных в форме странной, капризной, манерной, очевидно и обозначил Пушкин словом „marivaudage“. Если для нас это слово стало нарицательным, то для Пушкина его этимология была свежа. Пушкин, понятно, был хорошо знаком с романами Мариво: „La vie de Marianne“ (1731) и „Le Paysan parvenu“ (1735). Сент-Бёв еще говорил, что Мариво лучше, чем „marivaudage“. Лагарп, который считал „La vie de Marianne“ не только лучшим произведением Мариво, но и одним из лучших французских романов, так характеризовал стиль этого произведения: „Мариво упрекали, — и вполне справедливо, — за аффектацию стиля, которая заметна в самой небрежности, за стилистическое ухищрение, состоящее в том, что выражениями просторечия излагаются наиболее тонкие и изощренные идеи, за порочное обилие слов, благодаря которому мысль выворачивается на всевозможные лады, до того, что

¹ Речь шла о совпадении фабулы: „Le Bal des Sceaux“ с ситуацией, намеченной в главах IX и XXXIX романа Sophie Gay „Anatole“ (1815).

автор не оставляет ее, пока не испортит; наконец, за вычурные и изысканные неологизмы, которые оскорбляют язык и вкус“ („Lycée“, Partie III, Livre IV, Ch. II). Флери так характеризует творчество Мариво: „Привычка мелочно всматриваться в подробности, рассматривать вблизи, сделала его близоруким. Различая микроскопические предметы, он не видит больших... Эта привычка наблюдать мелочи объясняет, почему Мариво оставил свои романы не оконченными. Пока ему приходилось заниматься тонко подмеченными фактами индивидуальной жизни, пока ему требовалось рисовать рождающиеся чувства, непоследовательные в своем развитии, он с удовольствием отдавался творчеству; но перед лицом сильных происшествий, где кокетливая наблюдательность уже не решает вопроса, где надо было решительно перейти к драме или высокой комедии, он отступал“ (Jean Fleury, „Marivaux et le marivaudage“, 1888, pp. 317—318). С этим следует сопоставить отрицательное мнение Сент-Бёва о стиле Бальзака, как о стиле „обольстительно-порочном“ („d'une corruption délicate“), изломанном и изощренном.¹ Очевидно, именно особенности стиля Бальзака и вызвали в Пушкине презрительное слово „marivaudage“. Из двух серий романов и новелл Бальзака („Scènes de la vie privée“ и „Romans et contes philosophiques“) термин этот в большей степени приложим к первой серии, представляющей ряд семейных картин аристократического intérieur'a, написанных не без манерности, изощренных психологическими наблюдениями тонких, скрытых или подавляемых переживаний (см., напр., сложную картину запутанных и перекрещивающихся настроений и намерений в „La Paix du ménage“). В философских новеллах Бальзак более тяготеет к экзотическим (преимущественно средневековым) и фантастическим сюжетам.

Из этого обзора отзывов Пушкина о французском романе мы видим, несомненно, его приверженность к определенной линии романа — к лирическому роману ужасов, рисуящему современную обыденную обстановку, безо всякой экзотики стиля, фона и сюжета. Это тем более любопытно, что в творчестве

¹ Вот точные слова Сент-Бёва: „Ce style si souvent chatouilleux et dissolvant, énervé, rosé et veiné de toutes les teintes, ce style d'une corruption délicate, tout asiatique comme disaient nos maîtres, plus brisé par places et plus amolli que le corps d'une mime antique“ („Causeries du lundi“, II, Balzac, 2 сентября 1850 г.).

самого Пушкина мы не находим откликов на этот род французского стернианского романа, если не говорить о „Евгении Онегине“.

Однако, среди этих произведений упоминается также и имя романиста, близкого по литературной манере Пушкину — Манцони (письмо XXIII). Вероятно, упоминая это имя, Пушкин подразумевал роман Manzoni „I Promessi sposi“. Роман этот появился в 1827 году, при чем выдержал подряд три издания. На следующий год вышло два французских перевода (один в феврале, другой, выпусками, закончен в мае). Роман этот, как известно из воспоминаний Керн, Пушкин читал во французском переводе. Очевидно, в письмах к Е. М. Хитрово упоминается итальянский оригинал, с которым Пушкин пожелал познакомиться, уже зная роман во французском переводе.

В „Литературной Газете“, в то время, как ее, в отсутствие Дельвига, редактировали Пушкин с Сомовым, появился следующий отзыв о романе, возможно, принадлежащий перу Пушкина:¹ „Из подражателей и последователей Вальтер Скотта особенное внимание заслуживает итальянец Манцони и француз де-Виньи, как сочинители романов исторических. Роман первого из них „Обрученные“ („I Promessi sposi“), при всем велеречии автора, при всем *отменно-длинном* рассказе собственного романического происшествия, едва достаточного на один том, заключает в себе черты отличного достоинства: в нем видишь Италию описываемой эпохи, видишь страсти народные в борьбе с чужезластьем; становишься как бы очевидцем ужасов чумы и голода, порывов мятежной черни и пр. пр. Всё это живо, всё ощутительно, верно; народные сцены изображены превосходно; кажется, чувствуешь близ себя шум и волнение толпы. Прибавим, что сочинитель с большим искусством привязал внимание и участие читателя к судьбе „обрученных“, которых взял он из звания мирных поселян и бросил в самый вихрь мятежей и событий исторических, покрыв совершенной неизвестностью буду-

¹ Позднее в „Литературной Газете“ (1831 г., № 9, 10 февраля; вышел в свет с опозданием, после 19 февраля) появилось предисловие к этому роману в русском переводе с итальянского Н. И. Павлицева, зятя Пушкина. Ср: письма Ольги Сергеевны Павлицевой к мужу — „Пушкин и его современники“, вып. XI, стр. 46, 53, 55 и 65. В 1833 г. в переводе с французского вышло отдельным изданием начало романа („Обрученные. Миланская повесть Манзони“. Часть первая. Москва).

щую судьбу своих героев и, можно сказать, затеряв их на время, чтобы после обрадовать читателя нечаянно с ними встречею“.

Уже эта рецензия показывает сходство в концепции романа Манцони, в ее понимании критиком „Литературной Газеты“, с сюжетной схемой Пушкинской „Капитанской дочки“. Таким образом упоминание имени Манцони, уводя нас от Жаненовской романической школы, приобщает нас к тому жанру романа, который имел несомненную связь с творческой системой Пушкина.¹

Отзывы о французских романах, содержащиеся в публикуемых письмах Пушкина, находятся в некотором противоречии с его же высказываниями по адресу французской школы, какие мы находим в выше цитированной статье из „Современника“ 1836 г. Приходится поставить вопрос, — чем объясняется это

¹ Следует отметить, что Пушкин мог интересоваться не только романом Манцони. Манцони привлекал внимание еще как драматург, а главное, — как теоретик драматургии. В 1820 г. появилась его трагедия „Il Conte di Carmagnola“, с предисловием, в котором подымался вопрос о классических единствах. Эта трагедия вызвала подробный разбор в „Lycée Français“. Своему критику — Шове — Манцони отвечал обширным письмом: „Lettre à M. Ch[auvet] sur l'unité de temps et de lieu dans la tragédie“, помещенным во французском издании его трагедии („Le Comte de Carmagnola et Adelghis“, перевод С. Fauriel; вышел в свет в начале марта 1823 г.). Письмо это обратило на себя внимание и оказало влияние на дальнейшие статьи по этому вопросу (напр., предисловие В. Гюго к трагедии „Cromwell“). В 1831 г. Пушкин, в связи с выходом в свет „Бориса Годунова“, занимался вопросами теории драмы. Взгляды Манцони в значительной степени зависели от взглядов Шлегеля. Интерес Пушкина именно к драматургии Манцони тем более вероятен, что Ив. Козлов (который, между прочим, не менее Пушкина был близок семье Хитрово; см. его многочисленные стихотворения, посвященные графине Фикельмон) в это время усердно занимался переводами трагедий Манцони. В „Литературной Газете“ 25 февраля 1831 г. (№ 11) был помещен в его переводе отрывок „Умирающая Эрменгарда“, хор инокий из трагедии „Адельгиз“ („Adelchi“), соч. Манцони, — с таким примечанием редакции: „Трагедия Адельгиз, блистающая необыкновенными красотою, переводится вполне почтенным нашим поэтом И. И. Козловым“ (Ср. „Литературные прибавления“ к „Русскому Инвалиду“ 1832 г., № 98). Ср. с этим запись в дневнике И. И. Козлова от 12 января 1834 года: „Le jeune C-te Litta vint. Il parla beaucoup de Manzoni et me dit des choses charmantes de la part de la C-sse Fiequelmont“ (цитирую по оригиналу, хранящемуся в Пушкинском Доме. Русский перевод дневника издан К. Я. Гротом: „Дневник И. И. Козлова“ — „Старина и Новизна“, кн. XI, 1906. Соответствующее место читается: „Был молодой граф Литта и много говорил о Манцони, он же передал мне много приятного от имени гр. Фикельмон“).

противоречие: тем ли, что в данной переписке Пушкин приспособлялся ко взглядам корреспондентки, тем ли, что в „Современнике“ его статьи не были вполне искренни, или тем, что эти взгляды за 5—6 лет, отделяющих переписку от „Современника“, эволюционировали. Вряд ли справедливо первое предположение: Пушкин полемизирует с Хитрово по вопросу об относительных достоинствах Карра и Бальзака, следовательно, не считает нужным писать в тон своей корреспондентки. Иначе обстоит дело с журнальными статьями. Здесь Пушкин был связан определенными общественно-политическими и цензурными нормами. Французская литература романов подвергалась официальному гонению. Уваров в циркуляре от 27 июня 1832 г. призывал к борьбе против французского романа и вообще против „этого рода сочинений, которые по господствующему в них духу и по ложным нравственным понятиям большей части новейших французских романистов, не могут доставлять полезного общенародного чтения. Содержа в себе предпочтительно изображение слабой стороны человеческой природы, нравственного безобразия, необузданности, страстей, сильных пороков и преступлений, эти романы не иначе должны действовать на читателя, как ко вреду морального чувства и религиозных познаний“ (см. по этому поводу любопытный комментарий Ю. Г. Оксмана к „Кровавому бандуристу“ Гоголя в сборнике „Литературный Музеум“; ср. „Русская Старина“ 1903 г., III, стр. 572). Понятно, этот циркуляр не может являться исчерпывающим объяснением несомненной двойственности в Пушкинских высказываниях по поводу французского романа. Как уже и отмечалось выше, статья о Лобанове полемична, притом полемична в более широком смысле, чем оспаривание взглядов Лобанова и Гоголя. Французская литература — лишь повод к закреплению каких-то журнальных позиций. Полное решение вопроса может явиться лишь в результате нового и всестороннего обследования целого ряда фактов литературной биографии Пушкина, в частности — вопроса о литературно-общественной позиции „Современника“. Вопросы эти, естественно, выходят за пределы простого комментария к публикуемым письмам и должны послужить предметом особого исследования, которое в настоящее время ставится на очередь в литературе о Пушкине.

IV. История.

Двадцатые годы во Франции ознаменованы не только подъемом в области художественной литературы, но также и быстрым прогрессом в области исторических исследований. „Первый расцвет великих исторических трудов совпал с литературным модернизмом романтиков“, пишет Крозалье („Histoire de la langue et de la littérature Française“, под ред. Petit de Julleville, t. VII, p. 478). Пушкин усердно следил за французской исторической литературой. Он упоминает в своих статьях имена братьев (Augustin и Amédée) Thierry, Barante, отводит особое место Guizot.¹ Занятия историческими изысканиями у Пушкина были подготовлены знакомством с молодой исторической школой. Этот интерес к истории совпал с интересом к историческому роману (т. е., к Вальтер Скотту и его школе).

Из публикуемых писем Пушкина (письма XIX и XX) мы узнаем о предпринятом им труде по истории Французской Революции. От этого труда до нас дошли только незначительные отрывки. В Майковском собрании сохранились две рукописи (одна — датированная „30 мая 1831 г. Ц.С.“), представляющие в начальных фразах совпадение с отрывками, опубликованными И. А. Шляпкиным под названием „О Французской Революции“ (И. А. Шляпкин, „Из неизданных бумаг А. С. Пушкина“, стр. 56), а в дальнейшем — с опубликованным Анненковым отрывком о французском феодализме (см. „Материалы“, 1855 г., стр. 267—269), который ныне, без достаточных к тому оснований, печатается в качестве программы третьей статьи об „Истории“ Полевого (первый отрывок).²

¹ О знакомстве Пушкина с Гизо, помимо упоминания его имени, свидетельствует цитата, находящаяся среди набросков плана „Истории села Горюкина“ (тетр. 2387, обложка): „семейственный феодализм есть бессмыслица. Гизо“. Кроме того любопытно совпадение, м. б. случайное, в упреках по адресу Купера, приукрасившего дикарей, у Гизо („M. Cooper... se laisse aller à présenter toutes choses sous leur aspect poétique“ — „Histoire de la Civilisation en France“, t. I. Septième leçon) и у Пушкина („Но Шатобриан и Купер оба представил нам Индийцев с их поэтической стороны“ — „Джон Теннер“, 1836).

² Любопытно, что в этих заметках и в опубликованных отрывках Пушкин останавливается на вопросах о роли аристократии в современном обществе. Эти вопросы, равно как и исторические экскурсы в эпоху феодализма для вы-

Кроме того, в Майковском собрании сохранилась заметка Пушкина, где он цитирует слова Bailly и Rabaut-Saint-Etienne из их речей в „Etats Généraux“ (из прений о праве третьего сословия объявить себя представителями нации), с замечаниями на эти слова.¹

В первой стадии своей работы Пушкин пользовался, очевидно, только изданием „Collections des Mémoires relatifs à la Révolution Française“ (23 тома, изд. 1821—1825 г.; см. „Библиотека Пушкина“, Б. Л. Модзалевского, стр. 201—209), о которых он упоминает в письме к Хитрово. Конечно, это не всё, что было известно Пушкину по истории Французской Революции. Напомню, что еще в 1824 г. он писал из Одессы Вяземскому о прочтенных им сочинениях Rabaut-Saint-Etienne. В статье о M-me de Staël он упоминает ее посмертный трактат (изд. 1818 г.) „Considérations sur la Révolution Française“.²

яснения генезиса современной Пушкину Западной аристократии, в значительной степени продиктованы с одной стороны французскими прениями по вопросу о наследственности пэров, с другой стороны — русской полемикой вокруг имен Вяземского и Пушкина по поводу так называемых „аристократов в литературе“. Впрочем, конечно, к занятиям этими вопросами Пушкина побуждал и выход „Истории“ Полевого, выдвигавшей вопрос о русском феодализме. Названные отрывки Майковского собрания начинаются однообразно фразой: „Прежде нежели приступим к описанию преоборота ниспровергшего во Франции все до него существовавшие постановления, должно сказать, каковы были сии постановления“. Далее идет характеристика феодального строя и основных этапов его развития вплоть до мероприятий Ришелье. Вероятно тетрадь № 2377Б, содержащая выписки из газет и из исторических сочинений, представляет собою собрание материалов для этой работы. См. ниже.

¹ В этих замечаниях однопалатную систему, установленную организацией Национального Собрания, Пушкин называет существенно республиканской (*essentiellement républicain*), в полном согласии с мнением m-me de Staël, которая писала: „Une magistrature héréditaire dont les souvenirs de la naissance fassent partie est un élément indispensable de toute monarchie limitée“ („Considérations“, P. II, ch. XIV), и отмечала „le terrible inconvénient de placer l'autorité royale en présence d'une seule chambre“ (ibid., P. III, ch. VI). Источник Пушкинских цитат неясен. Слова, приписанные им Bailly, в действительности принадлежат Sieyès'у, и были произнесены, как и речь Rabaut, на заседании 17 июня 1789 г. (ср. Ch. Lacretelle, „Histoire de l'Assemblée constituante“, t. I, 1821, p. 33, и биографию Rabaut-Saint-Etienne в „Biographie Universelle“ de G. Michaud, 1823, T. XXXVI, p. 470).

² Отсюда Пушкин заимствовал между прочим эпиграф к IV главе Онегина. Вот соответствующее место из книги M-me de Staël: „Vous avez trop d'esprit, disait un jour M. Necker à Mirabeau, pour ne pas reconnaître tôt ou tard que la

В дальнейшем он пользовался, как видно из письма к Е. М. Хитрову, работой Минье: „Histoire de la Révolution Française depuis 1789 jusqu'à 1814“, par F. - A. Mignet (2 тома, 1824 г.). Этой работой открывалась новая страница во Французской историографии. Вместо описательной, полубиографической истории, возвышавшейся в лучшем случае до общих морально-философских соображений, Минье дал образец анализа конкретных исторических факторов-причин и неизбежных следствий событий. Плеханов видит в Минье, как авторе „Истории Революции“, предшественника исторической концепции К. Маркса: „В своей истории Французской Революции Минье смотрит на события именно с точки зрения „нужд“ различных общественных классов. Борьба этих классов составляет у него главную пружину политических событий. Эклектики упрекали сторонников новых исторических теорий в *фатализме*, в пристрастии к *системе* (esprit de système)“. (Н. Бельтов, „К вопросу о развитии монистического взгляда на историю“, 1895, стр. 19).¹

Другая история Революции, о которой пишет Пушкин, это „Histoire de la Révolution Française“ par M. A. Thiers (10 томов,

morale est dans la nature des choses“ (Seconde partie, ch. XX). Эту же книгу цитировал Пушкин в статье о Юрии Милославском в „Литературной Газете“ 1830 г.: „Люди, как утверждала Madame de Staël, знают только историю своего времени“. Здесь Пушкин цитирует начальные слова второй главы первой части: „Les hommes ne savent guère que l'histoire de leur temps“ (указано мне Н. К. Козминьным). Можно найти связь между общей концепцией феодализма, данной в первой главе „Considérations“, и упомянутыми заметками Пушкина (так наз. „программой III статьи о Полевом“). С этим произведением Пушкин познакомился, вероятно, вскоре по выезде из Лицея через братьев Тургеневых. А. Я. Булгаков, описывая в письме к брату от 10 августа 1818 г. квартиру А. И. Тургенева, где часто бывал Пушкин, упоминает „на полу — Стальшины Considérations“. Пушкин, рассказывая, как он около этого времени мотивировал Пушкину свое знакомство с Н. И. Тургеневым, передает свои слова: „На днях был у меня Николай Тургенев; разговорились мы с ним о необходимости и пользе издания в возможно свободном направлении; тогда это была преобладающая его мысль. Увидел он у меня на столе недавно появившуюся книгу m-me Staël: „Considérations sur la révolution française“ и советовал мне попробовать написать что-нибудь о ней и из нея“ (Л. Майков, „Пушкин“, стр. 73).

¹ Шатобриан в предисловии к „Etudes historiques“ (1831) пишет: „Тьер и Минье возглавляют школу фаталистов. Связанные тройной связью дружбы, убеждений и таланта, они поделили повествование о революционных событиях. Минье сжал в кратком и содержательном труде рассказ, который Тьер развернул в более широких пределах“.

1823—27 г.), — труд еще более значительный, чем история Минье, представлявший собою последовательную историческую реабилитацию Революции и являвшийся долгое время библией либерального доктринаризма.¹

Об этих работах, впрочем, вообще уже достаточно известных в эти годы, Пушкин знал, вероятно, из статей Сент-Бёва в „Le Globe“ (о Тьере — в №№ от 10 января, 19 января 1826 г., 28 апреля, 12 мая и 29 ноября 1827 г., о Минье — в № от 28 марта 1826 г.). Сент-Бёв в своей автобиографии называет рецензии на Тьера и Минье первыми значительными своими статьями. Позже в том же „Le Globe“ он писал: „гг. Тьер и Минье в их замечательных историях убедительно и со смелой твердостью взгляда показали, [что Гора, несмотря на свои ужасы, Директория, несмотря на слабость, Наполеон, несмотря на тиранию, — были продолжателями, заслужившими большую или меньшую славу, законными наследниками Революции 1789 г.“.

Эти взгляды не могли не оказать своего влияния на Пушкина, и совершенно естественно, что, занимаясь Французской Революцией, он в первую очередь обратился к трудам Тьера и Минье.²

Б. ТОМАШЕВСКИЙ.

¹ „История Революции“ Тьера сохранилась в библиотеке Пушкина в Льежском издании 1828 г., Минье — в Брюссельском, тоже 1828 г.

² Пушкин внимательно следил за литературой о Французской Революции и в последнее время, о чем свидетельствует запись в дневнике Н. А. Муханова; речь идет о посмертной книге Dumont (1759—1829): „Souvenirs sur Mirabeau et sur les deux premières Assemblées législatives“ (1832). Запись относится к 29 июня 1832 г. и следует непосредственно за вышедшим отзывом о „Table de nuit“ Musset (см. стр. 217). „Я спросил мнения его о Дюмоне, которого еще не читал, но он известен мне по критике Débats и по мнению некоторых моих знакомых. Пушкин очень хвалит Дюмона, а Вяземский поворит, из чего вышел самый жаркий спор. Я совершенно мнения Пушкина по его доводам и справедливости заключений. Оба они выходили из себя, горячились и кричали. Вяземский говорил, что Дюмон старался похитить всю славу Мирабо. Пушкин утверждал, напротив, что он известен своим самоотвержением, коему дал пример переводом Бентама, что он выказывает Мирабо во внутренней его жизни, и потому весьма интересен, что Jules Janin врет, что Французы презрительны, что таланта истинного в них нет, что лучшие их таланты не Французы, что Мирабо не Француз, что Journal des Débats нельзя принимать за мнение всей Франции, и что ее мнение даже неверно и пр. Спор усиливался“ („Русский Архив“ 1897, кн. I, стр. 654). О книге Дюмона упоминает А. Н. Вульф в своем Дневнике под 24 октября 1833 г. (Л. Майков, „Пушкин“, стр. 205).

Польское восстание по письмам Пушкина к Е. М. Хитрово.

Письма Пушкина к Е. М. Хитрово содержат в себе ряд его суждений о Польском вопросе. Ближайшим поводом для высказывания этих суждений послужило Польское восстание или, как его тогда называли, „мятеж“ 1830—1831 гг. Отметим здесь, что, судя по дошедшим до нас письмам Пушкина, он мыслями своими об этом вопросе делился с Хитрово чаще и полнее, чем с кем-либо другим из своих корреспондентов. Быть может, причиной этому служило то, что сама Е. М. склонна была, по его словам, писать ему „отчаянные политические письма“, быть может, влияло то, что по своим родственным связям и знакомствам Е. М. являлась женщиной, отлично осведомленной в политике; как бы то ни было, из двадцати двух известных нам эпистолярных упоминаний о восстании семь обращены к Хитрово, столько же к Вяземскому, четыре к Нащокину, два к Плетневу и, по одному, к Бенкендорфу, П. И. Миллеру и Смирновой. По содержанию своему высказывания эти далеко не равноценны, причем, как уже отмечалось выше, и здесь первенство остается за Е. М. Хитрово. Если, пользуясь хронологическим принципом, свести воедино весь этот эпистолярный материал и присоединить к нему то небольшое, что в разное время Пушкин писал о поляках и Польском вопросе, — получится довольно полная и определенная картина. В дальнейшем мы попытаемся сделать это, заранее оговорившись, что из этой сводки мы отнюдь не думаем делать каких-либо окончательных выводов или давать оценку взглядов Пушкина на эту сторону русской политики.

Самые события Польского восстания, а равно и отношение

русского общества к этим событиям затрагиваются нами лишь в той степени, какая необходима для объяснения отдельных мест из переписки Пушкина.

К моменту написания писем Польский вопрос не был для Пушкина вопросом новым, возникшим перед ним неожиданно при известии о варшавских событиях 17, 18 и 19 ноября 1830 г. Еще будучи лицеистом, Пушкин несомненно слышал многое множество толков о том, что же делать с поляками, которые только что почти поголовно участвовали в наполеоновских войнах на стороне врагов России. Мероприятия в этой области Александра I встречали не мало возражений со стороны значительной части тогдашнего русского общества, находившего, что создание из русской части Польши автономного Царства Польского не соответствует интересам России. Достаточно вспомнить хотя бы свидетельство Сперанского (в письме к А. А. Столыпину от 2 мая 1818 г.) о том „припадке уныния и страха“, в который погрузила москвичей речь Александра I при открытии сейма в Варшаве. Особенные протесты со стороны русского общества вызывало намерение Александра I присоединить ко вновь образованному Царству Польскому те западно-украинские, белорусские и литовские области, которые были уже ранее присоединены к России. В этом вопросе единодушно протестовали люди самых различных убеждений от Карамзина, подавшего 17 октября 1819 г. особую записку государю, до членов тех зарождавшихся тогда тайных обществ, из которых позднее вышли декабристы. В своем „Мнении русского гражданина“ Карамзин писал: „Мы взяли Польшу мечем: вот наше право, коему все Государства обязаны бытием своим, ибо все составлены из завоеваний. Екатерина отвечает богу, отвечает истории за свое дело; но оно сделано, и для вас (т. е. для Александра I) уже свято: для вас Польша есть законное Российское владение. Старых крепостей нет в политике: иначе мы должныствовали бы восстановить и Казанское и Астраханское Царство, Новгородскую Республику, Великое Княжество Рязанское и так далее“... „Вас бы мы, Русские, не извинили, если-бы вы для их (поляков) рукоплексания ввергнули нас в отчаяние“... „Одним словом, восстановление Польши будет падением России, или сыновья наши обогрят своею кровью землю Польскую и снова возьмут штурмом Прагу“ („Неизд.

сочинения и переписка Н. М. Карамзина“, стр. 5, 6, 7). Юноша Пушкин вращался именно в этих кругах, и суждения эти запали в его душу. К тому же, сразу по выходе из Лицея он подпал под очарование известной княгини Евдокии Ивановны Голицыной, женщины несомненно умной и интересной, ярой патриотки, противницы автономии Польши, которую сам Пушкин в одном из писем к А. И. Тургеневу называет „антипольской небесной княгиней“ (Переписка, т. I, стр. 91), и нелюбовь которой к полякам была столь общеизвестна, что П. А. Вяземский в 1818 году шуточно писал к тому же Тургеневу: „скажи ей, что я имею право на ее милость: скуку свою в Польше“ („Остафьевский Архив“, т. I, стр. 147).

Когда, в 1820 году, судьба забросила Пушкина на юг России, в общество Раевских, М. Ф. Орлова, В. Ф. Раевского и других близких им лиц, он снова попал в среду, настроенную хотя и либерально, но достаточно националистически в отношении польского вопроса. Упомянем хотя бы о том, что названный нами зять Раевских М. Ф. Орлов являлся автором записки на имя Александра I, содержащей в себе ряд доводов против эмансипации Польши. Вот как рассказывает об этом М. О. Гершензон в своей „Истории молодой России“ (стр. 4): „Подобно большинству позднейших декабристов, он (т. е. М. Ф. Орлов) соединял с просвещенным либерализмом горячее чувство национального достоинства, доходившее подчас до того, что Н. И. Тургенев, европеец до мозга костей, метко назвал патриотизмом рабов. Это чувство... было в 1817 году тяжело оскорблено дарованием конституции Польше и слухами о намерении Александра отделить от России Литву. Этот самый слух едва не довел Якушкина до цареубийства, а Орлов составил записку к государю, направленную против эмансипации Польши, и начал собирать подписи в кругу генералов и сановников. Император, узнав заблаговременно об этом предприятии, призвал Орлова и потребовал составленную им записку; Орлов, конечно, не желая выдавать тех, кто подписался под нею, отказался представить ее, заявив, повидимому, что она у него пропала“. Следует отметить, что декабристы, как представители определенной общественной группы, вступали в сношения с соответствующими польскими организациями, но при этом весьма осторожно относились к их домогательствам о присоединении

к Царству Польскому западно-украинских, белорусских и литовских областей.

Среди исторических замечаний Пушкина, помеченных 2 августа 1822 года и являющихся, повидимому, отрывочными заметками о прочитанном и продуманном, мы находим следующую характерную запись: „Униженная Швеция и уничтоженная Польша, — вот великие права Екатерины на благодарность русского народа“. Как видим, совсем еще молодым человеком Пушкин уже был склонен, при разрешении крайне болезненного вопроса о Польше, сурово и бесповоротно становиться на точку зрения выгод или невыгод русского государства или, как сам он писал, народа. Тут, говоря слогом современности, он заявил себя сторонником идеи великодержавия России.

В том же семействе Раевских Пушкин встретился с молодым поляком графом Г. Ф. Олизаром, бывшим в то время Киевским губернским предводителем дворянства. Олизар был страстный польский патриот, мечтавший о восстановлении Польши. Романтик и поэт, Олизар несомненно часто беседовал с Пушкиным, с которым его сближали как любовь к поэзии, так и увлечение сестрами Раевскими. В течение 1821, 23 и 24 годов, в Кишиневе и Одессе, между ними, очевидно, неоднократно возникали жаркие разговоры о поэзии, о любви и о политике. Отзвуком этих разговоров и является известное стихотворение, начинающееся словами: „Певец! Издревле меж собою враждуют наши племена“... В нем Пушкин с поэтическим преувеличением совершенно отрицает возможность для русских и поляков соединиться даже в любви и браке и единственной объединяющей областью считает поэзию.

Имеются сведения о том, что жившие в Одессе поляки делали попытки сблизиться с Пушкиным, привлечь его на свою сторону, но он остался чужд этому и тем как бы подтвердил, что стихотворное заявление его не являлось пустыми словами („Русский Архив“ 1866 г., ст. 1748—1749).

Вслед за Одессой последовала ссылка в Михайловское, где Пушкину не приходилось сталкиваться с поляками, и где мысли о Польше, вероятно, приходили ему преимущественно лишь в связи с историей Бориса Годунова и Лже-Димитрия. Заметим, что работа над эпохой Смутного времени вряд ли могла усилить симпатии Пушкина к Польше и полякам.

Во время своей коронации Николай I вызвал Пушкина в Москву, и здесь, в последние месяцы 1826 года, судьба свела Пушкина с человеком, может быть единственным из всех встреченных им в жизни, кого можно считать равным или почти равным ему по гениальности, — мы говорим об Адаме Мицкевиче.

В это время Мицкевич, высланный за участие в обществе Филаретов из пределов Польши, служил в гражданской канцелярии московского военного генерал-губернатора князя Д. В. Голицына, скромно и тихо живя вместе со своими товарищами по высылке. Москвичи, видевшие в Мицкевиче жертву административного взыскания, приняли его радушно. Этому много способствовали те многочисленные привлекательные качества, которыми он отличался. По отзывам лиц, встречавшихся с ним во время пребывания его в России, всё в Мицкевиче возбуждало и привлекало к нему сочувствие. „Он был очень умен, благовоспитан, одушевителен в разговорах, обхождения утонченно вежливого. Держался он просто, то есть благородно и благо-разумно, не корчил из себя политической жертвы; не было в нем и признаков ни заносчивости, ни обрядной уничижительности, которые встречаются (и часто в совокупности) у некоторых поляков. При оттенке меланхолического выражения в лице, он был веселого склада, остроумен, скор на меткие и удачные слова. Он был везде у места: и в кабинете ученого и писателя, и в салоне умной женщины, и за веселым приятельским обедом. Поэту, то есть степени и могуществу дарования его, верили пока на слово и по наслышке: только весьма немногие знакомые с польским языком могли оценить Мицкевича-поэта, но все оценили и полюбили Мицкевича-человека“. Такова характеристика Мицкевича, данная много позднее князем П. А. Вяземским („Русский Архив“ 1873 г., кн. II, ст. 1082). Обладая всеми этими данными, Мицкевич скоро сблизился с представителями тогдашней литературной и светской Москвы. В это время в Москве пользовался широкой и притом заслуженной известностью дом княгини Зинаиды Волконской. Тут, в „греческой комнате“, воспетой Мицкевичем, „соединялись представители большого света, сановники и красавицы, молодость и возраст зрелый, люди умственного труда, профессора, писатели, журналисты, поэты, художники“. Это была сфера близкая и понятная Мицкевичу, и немудрено, что он скоро занял здесь одно из первых

мест, как незаменимый собеседник, обладавший к тому же не только гением поэта, о чем скоро узнали москвичи, но и исключительным талантом импровизатора. В этой то среде и произошла его встреча с Пушкиным. Мы упоминали уже о том, что в стихотворении, посвященном графу Олизару, Пушкин говорил, что „огнь поэзии чудесной сердца враждебные мирит“. Понятно поэтому, что в его отношениях с Мицкевичем поэзия сразу же стала на первое место. Она сближала, всё остальное было дальше и ниже. Позднее, вспоминая о Пушкине в своих „Дедах“, Мицкевич говорил, что души его и Пушкина, „возносясь над всеми земными препятствиями, походили на две Альпийских скалы-двойчатки, которые, хотя силою потока и разделены на веки, но приклоняются друг к другу своими смелыми вершинами, едва внимая ропоту враждебной волны“ („Русский Архив“ 1873 г., кн. II, ст. 1061). Эти слова как нельзя лучше рисуют характер отношений двух поэтов. Разговоры о политике, о задачах государственной власти, о миссии русского и польского народов у них несомненно происходили, и, столь же несомненно, в этих разговорах был явно слышен „ропот враждебной волны“. Быть может, именно откликом этих бесед служат резко расходящиеся между собою взгляды поэтов на Петра I и на его дело, поскольку они нашли себе отражение в „Медном Всаднике“ и в „Дедах“. Упомянем здесь кстати о том, что некоторые исследователи (проф. Третьяк) склонны видеть в этих произведениях нечто вроде политической полемики, облеченной в поэтическую форму („Пушкин и его современники“, вып. VII, стр. 79—109). Однако, разница убеждений не мешала Мицкевичу высоко ценить беседу Пушкина даже и в этой, разобщавшей их области. По крайней мере, в своем некрологе Пушкина он писал: „Когда говорил он о политике внешней и отечественной, можно было думать, что слушаешь человека, заматеревшего в государственных делах и пропитанного ежедневным чтением парламентских прений“. Но, повторяем, не политика, а поэзия составляла центр их отношений, и оба они ценили друг в друге прежде всего поэтов и такими сохранились в памяти друг друга.

Более подробное изложение отношений Пушкина и Мицкевича завело бы нас слишком далеко. Вопрос этот имеет свою особую, довольно богатую литературу. Упомянем здесь только о том, что знакомство их прервалось весной 1829 года, когда

Мицкевич уехал за границу, и что незадолго перед этим, в 1828 году Пушкин ходатайствовал у властей о разрешении Мицкевичу, видимо рвавшемуся на родину, вернуться в Польшу („Пушкин и его современники“, вып. XXXVI, стр. 20—33). Отсюда, думается нам, и вытекают высказываемые Пушкиным в письмах к Хитрово опасения о том, как бы Мицкевич не приехал из Рима, чтобы присутствовать при последних часах своего отечества.

Опасения эти могли, между прочим, основываться у Пушкина на переданном ему, быть может, М. П. Погодиным письме к последнему С. П. Шевырева, который писал „13 декабря 1830 — 1 января 1831 года“ из Рима: „У здешнего франц. посл. был приемный вечер: он, узнавши, что здесь много поляков, ко всем разослал приглашения. Ни один не поехал. — Мицкевич очень грустен и даже похудел в эти дни. Голос всех здешних поляков самый благоразумный, умеренный. Все ждут от государя подвига, достойного его великодушия и твердости. — Как нас встревожили все эти известия. Боже, внуши мудрость и крепость царю“ (Неизданные письма С. П. Шевырева к М. П. Погодину, хранящиеся в Пушкинском Доме; ср. выше, в письме XII).

В 1828 году Мицкевич издал своего „Конрада Валленрода“, который был беспрепятственно пропущен русской цензурой и весьма сочувственно принят большинством публики и частью печати, например, — „Северной Пчелой“, писавшей, что поэма эта „займет одно из первых мест в литературе славянских народов“. В меньшинстве оставались те русские, которые, как Н. Н. Новосильцов, увидели за исторической декорацией всю злободневность поэмы и сразу же охарактеризовали ее, как „вредную и даже преступную“, указав, что цель поэмы „состоит в стремлении согреть угасающий патриотизм, питать вражду и предуготовлять будущие проишествия, учить нынешнее поколение быть ныне лисицею, чтобы современем обратиться в льва“ („Русская Старина“ 1903 г., № 11, стр. 341). В рапорте своем в к. Константину Павловичу от 10 апреля 1828 года Новосильцов писал, что поэма Мицкевича „учит коварнейшей измене, непримиримейшей вражде, представляя оные благороднейшими стремлениями великодушного патриотизма“ (там же, стр. 344).

Трудно представить себе, чтобы Пушкин, с его ясным, тонким умом не понял глубоко чуждой ему политической подкладки

этой мрачной поэмы, но, повидимому, прежде всего он всё же воспринял ее, как крупное явление в области поэзии. С этой точки зрения поэма, видимо, показалась ему настолько исключительной, что он, вообще мало переводивший, даже начал ее переводить на русский язык. Лишь позднее, в эпоху писем к Хитрово, политическая сторона поэмы заняла, быть может, в мыслях Пушкина первое место и, в соединении с другими произведениями Мицкевича, создала у него представление о мрачном, как бы погребальном патриотизме поляков. Как бы то ни было, и до Польского восстания, и после него Мицкевич и Пушкин оставались друг для друга духовно близкими, дорогими людьми, свидетельством чему являются у Пушкина переводы из Мицкевича (1833 г.) и стихотворение, обращенное к нему „Он между нами жил...“ (1834 г.?), а у польского поэта, кроме упоминания о Пушкине в „Дедах“, некролог Пушкина в „Le Globe“ и лекция, посвященная ему в курсе славянских литератур.

Вообще, дружба двух великих поэтов была так сильна, что породила трогательную легенду о том, как после смерти Пушкина Мицкевич вызвал на дуэль его убийцу. Вот как пишет об этом своей матери А. А. Елагин: „Катерина Афанасьевна [Протасова] привезла из Петербурга вот какую новость: Дантесу велено выехать из России. Мицкевич прислал ему картель и писал, что считает себя обязанным драться с убийцею Пушкина, его первого друга; что если он не трус, то явится к нему в Париж. Письмо напечатано в иностранных журналах, и убийца уже едет в Париж. Перед глазами всей Европы нельзя ему было никоим образом отказаться от дуэли“ („Русский Архив“ 1905, кн. II, стр. 607). О том же упоминает и А. И. Тургенев в письме своем к А. Я. Булгакову от 20 марта 1837 года, о том же сообщил он Муханову, то же писал и Хомяков в письме к Н. М. Языкову („Московский Пушкинист“ 1927 г., вып. I, стр. 41 и 66). Пусть это легенда, но знаменательно уже и то, что она могла зародиться.

Известие о Польском восстании было одним из первых известий, встретивших Пушкина по возвращении его из Болдина в Москву в первых числах декабря 1830 года. Следует вспомнить, что как тридцатый, так и тридцать первый годы были

временем исключительным по ряду политических событий, потрясавших почти все европейские страны. Франция, Италия, Бельгия, Ирландия, Испания и другие страны являлись ареной более или менее серьёзных революционных вспышек, известия о которых проникали в Россию, несмотря на все те барьеры, которые ставились исключительной строгостью тогдашней цензуры. В самой России тоже было неспокойно; правда, после сурового наказания декабристов только что народившееся революционное движение, казалось, совсем затихло, но за то эпидемия холеры волновала народ и нервировала правительство. Атмосфера повсюду была тяжелая, насыщенная электричеством. Троны колебались, принцип легитимизма, по словам Пушкина, был поруган с одного до другого конца Европы. Поэтому понятно, что когда, уже не где-то там вдали, во Франции или в Бельгии, а здесь, рядом, в Польше, даже, собственно говоря, у себя в России возник уже не мятеж, как старалось доказать правительство, а настоящее большое восстание, — такой чуткий человек, как Пушкин, не мог не взволноваться до крайности, с первого же момента поняв всю его значительность и важность для тогдашней русской государственности.

Первое печатное известие о восстании появилось 28 ноября 1830 года. Оно так типично по своей форме, что мы позволим себе сказать о нем несколько подробнее. В начале его говорилось о том, что император, приняв раз навсегда за правило „объявлять во всеобщее сведение все злонамеренные покушения, клонящиеся к нарушению общественного спокойствия и порядка, высочайше повелеть соизволил обнародовать содержание полученных его величеством во вчерашний день в полночь донесений его императорского высочества цесаревича от 18 и 19 ноября о гнусной измене, последовавшей в Варшаве“. Затем следовало подробное изложение варшавских событий 17, 18 и 19 ноября, далее сообщалось о приказе Литовскому отдельному корпусу и 1-му и 3-му резервным кавалерийским корпусам следовать в пределы Царства Польского. В конце дано было патриотическое описание того, как Николай I на разводе известил об измене штаб- и обер-офицеров, как те были тронуты и возмущены, как клялись в верности, как все они устремились к рукам и ногам возлюбленного и глубоко тронутого монарха, и как после развода один из вернувшихся офицеров „рассказал

о сей величественной сцене, дрожащим голосом и с сильно бьющимся сердцем, а у слушателей катились слезы“.¹ 2 декабря сообщалось о том энтузиазме, который вызвало обращение Николая I „к верным войскам, охраняющим безопасность и спокойствие престола и империи“, сделанное в среду 26 ноября, после развода на экзерциргаузе Инженерного замка. При этом приводились „достопамятные слова“ государя: „Прошу вас, господа, поляков не ненавидеть: они наши братья. В мятеже виновны немногие злонамеренные люди. Надеюсь, что с божиею помощью все кончится к лучшему“. Слова эти, повидимому, являлись ответом на слишком уже крайние выражения негодования со стороны офицеров, выразивших намерение применить к Польше самые радикальные меры, которые даже самому Николаю I показались неумеренными. Быть может, именно к этому случаю и относятся слова Пушкина (в XII-м письме к Е. М. Хитрово от 21 января 1831 г. — выше, стр. 14) о том, что „молодежь права, но одержат верх умеренные... и т. д.“.²

3 декабря кратко было сообщено, что, по слухам, мятеж распространяется, и что войска двинуты к границам Волынской губернии. 5-го появился приказ о назначении фельдмаршала графа Дибича-Забалканского главнокомандующим и сообщалось об объявлении на военном положении ряда губерний, граничащих с Царством Польским. В Москву все эти печатные известия поспевали с опозданием, но слухи о них, вероятно, опережали газетные сообщения. Первая, с кем Пушкин письменно поделился своими мыслями о восстании и о возможном будущем Польши, была Е. М. Хитрово. Быть может, тут сыграло немалую роль то обстоятельство, что Елизавета Михайловна была дочерью Кутузова. Мысль о последнем, как о полководце и государственном человеке, умевшем высоко держать престиж родины, сразу же пришла Пушкину и, как увидим далее, не покидала его во всё время восстания. Вообще, как известно из относящегося

¹ Ср. также в „Mémoires de Bourgoing“, Paris, 1864, p. 531—537.

² Таково, например, мнение М. А. Цявловского; однако, те же слова Пушкина могут быть без особой натяжки отнесены и к молодежи польской настроенной, как известно, тоже наиболее радикально и видевшей единственный выход из положения лишь в полном разрыве с Россией, в то время, как люди более зрелого возраста, во главе с генералом Хлопицким, стояли на более примирительной точке зрения.

к этому времени рассказа графа Е. Е. Комаровского („Русский Архив“ 1879 г., кн. I, стр. 385), Пушкин находил, „что теперь время чуть ли не столь же грозное, как в 1812 году“. Вот отчего, как увидим и из писем к Хитрово, аналогии с эпохой Отечественной войны и с главным ее деятелем, кн. Кутузовым-Смоленским, всё время приходили ему в голову.

Крайне характерно, что при первом же известии о восстании поляков Пушкин резко и определенно высказался за необходимость полного его подавления и за уничтожение всех привилегий, данных в 1815 году Польше Александром I, образовавшим из этой страны как бы государство в государстве, находившееся с Россией лишь в личной унии. При этом, повидимому, Пушкин предугадал, что поляки не отдадут дешево своей свободы, и что необходимое, по его мнению, полное уничтожение этих „исконных врагов“ России возможно лишь путем тяжелой „истребительной“ войны. Таково это первое дошедшее до нас мнение Пушкина о Польском восстании.¹ По своей практической трезвости и суровости оно несомненно является скорее мнением „заматеревшего в государственных делах человека“,² чем мнением того вольнолюбивого поэта, каким мы знаем Пушкина. Революционно - освободительный пафос Польского восстания, его самодовлеющая патриотическая красота и ценность остаются здесь совершенно чуждыми Пушкину, — даже более того: он относится к ним явно недружелюбно, называя польский патриотизм „погребальным“. Интересы России, как он их понимал, заслоняют для Пушкина в этом вопросе всё остальное.

Было бы ошибочно думать, что такой взгляд, при всей его исключительности, был единичным среди тогдашнего русского общества. Как на пример, укажем хотя бы на другого знаменитого поэта и друга Пушкина — Е. А. Боратынского, а также на В. А. Жуковского и П. Я. Чаадаева.

Характерен отзыв о Польском восстании одного из участников восстания декабристов Александра Бестужева. Вот что мы читаем в его письме к матери из Дербента от 5 января 1831 г.: „Третьего дня, получив Тифлиские газеты, я был

¹ См. X-е письмо, от 9 декабря 1830 г., — выше, стр. 11.

² Выражение Адама Мицкевича.

чрезвычайно огорчен и раздосадован известием об измене Варшавской. Как жаль, что мне не удастся променять пуля... с панами добродзеями. Впрочем, вероятно, когда придут к вам эти строки, в Польше уже всё будет кончено, ибо мятеж... был частный. Одно только замечу, что Поляки никогда не будут искренними друзьями Русских, как ни корми волка... Никакого нет сомнения, что Царство Польское никогда не было так хорошо управляемо, как под русским владычеством, и масса народа выиграла; но дворянство их не забыло еще своих своевольных вольностей и скорее согласится быть несчастным по прихоти, чем счастливым по чужому разуму. Хольте их, — они оперятся опять нашими перьями и опять забушуют... У них полмиллиона шляхты, которая ничего не имеет терять и следовательно всегда готова на покушение, где может что-нибудь выиграть. Покуда в Польше есть дробная шляхта, в ней не может быть спокойствия. Забавнее всего поспольство их: он (народ) всегда был обласкан Русскими, всегда избавляем нами от феодального угнетения панов — и все-таки не любит Русских, не зная сам тому причины. Москаль для него бельмо на глазу, и он, повторяя слова панов, как сорока, готов драться за ярмо свое, как бык. Я знаю Польшу может-быть лучше, нежели многие из Поляков, и предвижу много в ней смятений. Энтузиазм женщин и легкомыслие мужчин суть вечно тлеющие головни раздора. Кровь зальет их, но навсегда-ли? Дай бог“ („Александр Бестужев на Кавказе“ — „Русский Вестник“ 1870 г., июнь, стр. 505).

Таким образом, мы видим, что Пушкин в своих взглядах на Польское восстание имел единомышленников даже и в среде декабристов, т. е., другими словами, среди наиболее передовой части тогдашнего русского общества. Правда, в их же среде имелись и люди, приветствовавшие Польское восстание и видевшие в нем один из этапов всемирной борьбы против тиранов. Таким был поэт-декабрист князь А. И. Одоевский, перу которого не без основания приписывают пламенное стихотворение, восхваляющее ляхов, воюющих за свободу на берегах Вислы (И. А. Кубасов, „Декабрист А. И. Одоевский и вновь найденные его стихотворения“, Петербург. 1922, стр. 25, 74). Представители других, более либеральных взглядов были и среди друзей Пушкина; таковы кн. П. А. Вяземский, А. И. Тургенев, полеми-

зировавшие с ним и возмущавшиеся непримиримостью его взглядов, о чем будет подробно сказано ниже.

У нас нет достаточных данных, чтобы судить, как был принят Пушкиным первый манифест Николая I, от 12 декабря 1830 года, о восстании, содержащий в себе возмущение по поводу того, что поляки „своему государю законному“ осмеливаются предлагать условия, и повеление „немедленно положить конец своевольствам и противозаконным вооружениям, восстановив весь прежний порядок“. Отметим только то, что одна из фраз этого манифеста, требовавшая от русских по отношению к полякам „правосудия без мщениия, непоколебимости в борьбе за честь и пользу государства без ненависти к ослепленным противникам“, не только близко передает основную мысль письма Пушкина к Е. М. Хитрово от 9 декабря 1830 года, но даже, в некоторой мере, совпадает с ним текстуально.

Далее мы имеем два незначительных упоминания о Польском восстании в письмах Пушкина к П. А. Вяземскому от второй половины декабря 1830 года и от 2 января 1831 года, причем оба они говорят о том, что „о Польше не слышать“, да еще упоминают о письме Чичерина к отцу и о чьем-то пари, „что Варшаву возьмут без выстрела“. Всё это свидетельствует лишь о том, что мысль о восстании не покидала Пушкина (Переписка, том II, стр. 203, 209). То же значение имеет для нас и письмо к П. А. Плетневу от 7 января 1831 года, где Пушкин, ожидая критики на „Бориса Годунова“, говорит о том, что о французах он не заботится, так как они, вероятно, „будут искать в „Борисе“ политических применений к Варшавскому бунту“.

Среди записей, сделанных П. И. Бартевым со слов П. В. Нащокина, имеется рассказ о том, как около этого времени Пушкин „хотел было совсем оставить свою женитьбу и уехать в Польшу“... Нащокин был постоянно против этого. Он даже имел с ним горячий разговор по этому случаю в доме кн. Вяземского. Намереваясь отправиться в Польшу, Пушкин всё напевал Нащокину: „Не женись ты, добрый молодец, а на те деньги коня купи“ („Рассказы о Пушкине“, под ред. М. А. Цявловского. М. 1925, стр. 41). Хотя это намерение Пушкина и было вызвано, помимо патриотических соображений, теми сомнениями и затруднениями, которыми сопровождалось его сватовство, всё же оно достаточно знаменательно для показания его отношения

к восстанию в Польше. Таково же было отношение к нему и всей семьи Пушкиных, как об этом свидетельствуют поведение Льва Сергеевича, хлопотавшего о переводе его в войска, действовавшие против поляков, и письма к мужу Ольги Сергеевны Павлищевой (см. „Пушкин и его современники“, выпуск XV, стр. 43—136), не скупившейся на награждение поляков и Польши рядом нелицезнующих эпитетов, вроде „глупых“, „сумасшедших“, „польских шутов“ и т. п., и мечтавшей о скорейшем усмирении восстания. Между тем, события в Польше следовали одно за другим всё с большей и большей быстротой. Русское общество оповещалось о них большими сводными официальными извещениями, печатавшимися, по большей части, в виде особых прибавлений к газетам или в начале последних, в рубрике „Внутренние известия“. В них излагалась фактическая сторона хода восстания в том виде, какой был удобен русскому правительству, но иногда это сухое, деловое перечисление фактов сопровождалось официальным красноречием, содержащим в себе, с одной стороны, патриотические восторги по поводу русской верности монарху, как это мы видели, например, в первом из приведенных нами правительственных сообщений, а с другой стороны — ироническое изложение той растерянности и беспорядка, которые, действительно, наблюдались тогда в Варшаве. В этом отношении крайне характерно обширное извещение от 6 января 1831 года. После указания на крупное разногласие польских политических партий, на несочувствие восстанию со стороны промышленников и помещиков и на созвание генералом Хлопицким Сейма для выслушания вернувшегося из Петербурга, после свидания с Николаем I, флигель-адъютанта Вылежинского,¹ официальный осведомитель переходил к ироническому описанию и критике приемов революционных польских демагогов, которые „почувствовали, что сперва должно обмануть народ, потом ободрить и отправить на убой, предоставляя себе уверить его впоследствии, что всё сие делается для величайшего его счастья“. Далее говорилось, что „виновники мятежа и расстройств не затруднялись в выборе средств“, употребляя „клевету, ложь, громкие разглагольствования“, вполне достаточные „для толпы

¹ Воспоминания его переведены на русский язык и опубликованы К. А. Военским в книге „Император Николай и Польша в 1830 году“, С.-Пб. 1905.

народной, которая слушает их, разинув рот, и ничего не понимает“. Одновременно, „для склонения на свою сторону просвещенной части нации, употреблялись и средства возвышеннейшие: хитросплетенные умствования, превратное изложение дел, подделка официальных бумаг, ядовитые к ним дополнения; сверх того, для воспламенения охлаждающих и устрашения робких,— изрыгали ругательства, смешанные с изъяснением злодейских умыслов, употребляли язык насилия и ужаса, наконец,—угрожали виселицей и кинжалами“. Все эти приемы назывались бесчестными, при чем добавлялось: „Нет нужды! когда надобно обманывать, то нечего выбирать средства, и в этом отношении новые Катоны в усах и фуражках не слишком строги“. Еще далее шли примеры „гнусных и нелепых произведений, ежедневно выпускаемых в свет революционными Варшавскими типографиями“, и всё заключалось словами: „Как несчастна земля, как несчастна нация, которая находится в таком унижении, что должна терпеть подобные речи. Злодеи, ведущие несчастных соотечественников своих на край пропасти, низринут их в бездну и будут помышлять только о собственном спасении“. Вполне, конечно, ясна та цель, которою руководствовалось правительство, выпуская это извещение. Целью этой было доказать эфемерность и случайность Польского восстания, отсутствие у него сколько-нибудь глубоких корней не только в толще народной, но и в широких кругах польского общества, которое якобы только обманом и угрозами было вовлечено в борьбу с Россией,— короче говоря, национальное Польское восстание старались представить не более, как мятежом.□

С такой постановкой вопроса Пушкин, конечно, не мог согласиться. Он был слишком умен и образован, чтобы не видеть глубоких исторических основ восстания, его исключительного национального значения. Если он призывал к решительной борьбе с ним, то это происходило вовсе не оттого, чтобы он считал его ненужным и вредным для поляков, а лишь потому, что он был глубоко убежден во вреде его для России и, может быть, в отдаленном будущем для обще-славянского дела. Здесь мы снова встречаемся у Пушкина с ясно выраженным убеждением в суровой исторической необходимости уничтожения Польши, как самостоятельного государства. Для проведения этого в жизнь он не считал нужным прибегать

к каким бы то ни было хитростям и уловкам, и им он противопоставлял откровенные заявления Николая I, имея, быть может, в виду именно тот манифест от 12 декабря 1830 года, о котором мы уже говорили выше, предшествовавшее ему воззвание к войскам и народу Царства Польского от 5 декабря, а также, вероятно, известные уже ему слова, сказанные императором члену Сейма графу Езерскому о том, что, если поляки „дерзают итти на брань противу своего государя, то в сем случае они сами и их пушечные выстрелы ниспровергнут Польшу“. Подробности о приеме графа Езерского, допущенного к Николаю I не в качестве представителя мятежного Сейма, а лишь под видом „путешественника“, известные нам ныне из письма Николая I от 12 декабря к вел. кн. Константину Павловичу (Н. Шильдер, „Николай I“, том II, стр. 327—328), могли быть известны Пушкину в изустной передаче третьих лиц. Правда, Николай I склонен был смотреть на Польское восстание, как на мятеж, затеянный сравнительно небольшой кучкой смутьянов, но, вместе с тем, он, как и Пушкин, был убежден в глубокой враждебности поляков вообще к русским, о чем свидетельствуют первые же слова записки по Польскому вопросу, собственноручно составленной им в это время, где он писал: „Польша постоянно была соперницей и самым непримиримым врагом России. Это наглядно вытекает из событий...“ и т. д. (там же, стр. 344). Точно так же он отлично сознавал, что от исхода предстоящей кампании зависело самое „политическое бытие России“ (там же, стр. 330). Все эти интимные мысли Николая I могли быть, равным образом, известны Пушкину по разговорам с лицами, более или менее близкими ко двору. Таковы, думается нам, те ближайшие обстоятельства, которые послужили поводом к мыслям, высказываемым Пушкиным в письме к Е. М. Хитрово от 21 января 1830 г.¹

Следующее из писем (XIII-е) относится к 8 или 9 февраля и содержит в себе сочувственное суждение Пушкина о составленном его бывшим „Арзамасским“ сотоварищем Блудовым (см. письмо последнего от 28 Генв. — 9 Февр. 1831 г. к жене) манифесте 25 января 1831 года, явившемся ответом Николая I на вынесенное Сеймом 13 января постановление о том, что

¹ № XII, стр. 14—15.

царствование Дома Романовых в Польше прекратилось и Польский престол вакантен. Вот текст этого манифеста:

„Манифестом нашим от 12 Декабря минувшего года мы объявили верным нашим подданным о возникшем в Царстве Польском возмущении. Тогда, в самом праведном нашем негодовании на мятежников, готовясь смирить и наказать их, мы еще утешали себя надеждою спасти заблуждающихся и обольщенных. Гласом истины и новыми знаками милосердия мы хотели возвратить их к долгу и с тем вместе, оживив бодрость в благомыслящих, уstraшенных первыми ужасами бунта, дать им возможность остановить успехи оного и счастливым противодействием доказать свету, что не весь народ Царства Польского достоин презренного названия изменников. Мы и ныне удостоверены, что сей народ несчастный есть токмо слепая жертва не многих злодеев. Но сии вероломные продолжают им властвовать: они готовят оружие на Россию, в безумстве своем призывают верных подданных наших к предательству и наконец, 13 сего месяца, среди мятежного противозаконного сейма, присвоивая себе имя представителей своего края, дерзнули провозгласить, что царствование наше и дома нашего прекратилось в Польше, а что трон, восстановленный императором Александром, ожидает иного монарха. Сие наглое забвение всех прав и клятво, сие упорство в зломыслии исполнили меру преступлений; настало время употребить силу против незнающего раскаяния, и мы, призвав в помощь всевышнего, судию дел и намерений, повелели нашим верным войскам идти на мятежников. Россияне! В сей важный час, когда с прискорбием отца, но с спокойной твердостью царя, исполняющего священный долг свой, мы извлекаем меч за честь и целость державы нашей, соедините усердные мольбы свои с нашими мольбами пред олтарем всевидящего, праведного бога. Да благословит он оружие наше, для пользы и самих наших противников; да устранил скорою победою препятствия в великом деле успокоения народов, десницею его нам зверенных, и да поможет нам, возвратив России мгновенно отторгнутой от нее мятежниками край, устроить будущую судьбу его на основаниях прочных, сообразных с потребностями и благом всей нашей империи, и положить навсегда конец враждебным покушениям злоумышленников, мечтающих о разделении. Верные подданные наши!

Сия цель достойна ваших трудов и усилий; вы привыкли не щадить их за нас и отечество. Дан в Санктпетербурге, 25-го Января, в лето от Рождества Христова тысяча восемьсот тридцать первое, царствования нашего в шестое“.

Сам составитель манифеста, Д. Н. Блудов находил, что в нем можно увидеть „те-же чувства великодушного и благоразумного милосердия, но и ту-же сообразную с достоинством монарха твердость, коими ознаменованы все действия нашего государя в отношении к несчастному краю, приведенному на край погибели толпою злодеев и безумцев“, и при этом добавлял: „Надеюсь, что мне удалось не совсем слабо выразить все эти прекрасные чувства. Государь был очень доволен моим проектом и сказал: „В изъявление благодарности, обнимаю тебя“ (см. „Воспоминания графини Блудовой“, гл. IV, — „Русский Архив“ 1873 г., кн. III, ст. 2069).

Таким образом, сопоставляя мнение Блудова с мнениями Пушкина, изложенными им в письме к Е. М. Хитрово от 21 января 1831 года, мы вновь встречаемся с полной, почти текстуальной их аналогией.

Манифест этот, которому незадолго перед тем предшествовали две прокламации графа Дибича к польским войскам и народу, сопровождался вступлением русской армии на территорию Царства Польского. Таким образом, жребий был брошен, и обе борющиеся стороны, конечно, вполне отдавали себе отчет в исключительной важности момента. При этом и в России, и в Польше возникли — в первой опасения, а во второй надежды на вмешательство в польские дела западно-европейских государств.¹ Как известно, основания к этому были довольно веские. Дело в том, что либеральные западно-европейские круги склонны были смотреть на дело Польши, как на „дело всемирное, дело справедливости, человеколюбия, свободы“ (по выражению одной английской газеты). В то же время правительства этих стран смотрели на польское восстание, как на удобное средство к ослаблению сил России. Всё это довольно искусно раздувалось поляками. Уже первый манифест, изданный Сеймом, своим перечислением всех притеснений, причиненных Польше русским

¹ О том, что Николай I считал иностранное влияние главным поводом Польской революции, см. в вышеупомянутых воспоминаниях Вылежинского (Op. cit., стр. 75).

правительством, в значительной мере преследовал цель обратить на это дело внимание европейских держав. Не довольствуясь этим, польское правительство послало к иностранным дворам своих дипломатических агентов: в Англию — маркиза Велепольского, во Францию — сначала интенданта Волицкого, а затем генерала Княжевича, в Швецию — графа Романа Залусского, в Турцию — графа Линовского и т. д. Агентов этих правительства разных стран принимали по разному, но всё же в громадном большинстве случаев выслушивали и не совсем были чужды мысли о возможном восстановлении Польши с вознаграждением России и Австрии за счет Турции, а Пруссии за счет Саксонии („Gazette de France“).

Особенно сочувственно относились к полякам во Франции. Нам пришлось бы слишком удалиться от нашей темы, если бы мы здесь хоть сколько-нибудь подробно остановились на этом вопросе. Скажем только, что всё во Франции, главным образом в Париже, было проникнуто симпатиями к Польше и враждебностью к России. В поляках французы склонны были видеть авангард культурной Европы, храбро кинувшийся на борьбу с диким русским великаном, русским медведем. Удачам поляков радовались, как своим удачам, их поражения принимались, как свои поражения. К этому примешивалась, конечно, и некоторая личная досада на тогдашнюю Россию, не так давно бравшую Париж и сажавшую Бурбонов, а ныне едва-едва признавшую новое французское правительство. Газеты и журналы постоянно печатали полонофильские статьи, всячески раздувая успехи поляков и неудачи русских. Французская изящная литература во главе с виднейшими ее представителями, как Виктор Гюго, Казимир Делавинь и Беранже, славили Польшу и поляков за их отвагу в геройской борьбе.¹ В Париже был организован особый Польский Комитет, выпустивший в феврале 1831 года воззвание, в котором, между прочим, старался исторически обосно-

¹ В своей интересной книге: „Aleksander Puszkín“ (Kraków. 1926) Waclaw Lednicki дает весьма яркую и полную картину тогдашних западно-европейских, в частности — французских отношений к восстанию в Польше. При этом автор вполне осмысленно подчеркивает важность для Пушкина этого участия, которое принимали в этом его французские собратья по перу. С трудом В. Ледницкого нам удалось познакомиться благодаря любезности П. М. Устиновича и особенно А. А. Петрова, которым мы и приносим за это свою глубокую благодарность.

вать правоту борьбы поляков; французское общество во главе с престарелым Лафайетом принимало во всем этом самое живое и деятельное участие. Торжественная панихида по Костюшке (23 февраля 1831 г.) и ряд уличных демонстраций, из которых одна даже сопровождалась попыткой разгромить здание русского посольства, свидетельствуют об этом. В Палате Депутатов Эдуард Бинион, Моген, генерал Ламарк и Лафайет постоянно выступали с требованиями интервенции сначала лишь мирной, а позднее даже и военной. Среди всех этих явлений французское правительство должно было всячески стараться вести какую-то среднюю линию, которая с одной стороны не слишком раздражала бы общественное мнение, а с другой не давала бы явных поводов русскому правительству говорить о вмешательстве Франции в те дела, которые оно считало своими внутренними. Некоторый возможный нажим на Россию всё же пытались сделать, при чем исполнителем этого был выбран герцог Мортемар, которому, при отправлении к русскому двору была поручена, между прочим, и поддержка польских интересов, что он, действительно, и старался всячески делать.¹

В Англии, Германии и других странах польское восстание не возбуждало таких волнений и симпатий, однако и здесь большинство общества было явно на стороне поляков, как это видно из газет, журналов и отдельных специальных изданий, а правительства не вполне были чужды мысли о возможности дипломатического вмешательства. Особенно усилилась вся эта западно-европейская вражда к России после того, как медленность и нерешительность фельдмаршала Дибича дали иллюзию истощения военных сил России, а холера и бунты внутри империи — надежду на возможность в ней самой революционного движения. Здесь, как и во Франции, каждое поражение или неудача русских войск встречались с чувством злорадства, каждое известие о победе поляков — с восторгом.

Предвидеть всё это с первых же дней войны было нетрудно. Поэтому вполне понятна тревога Пушкина, которая особенно должна была усилиться в то время, когда, после несомненно удачного для русских сражения при Грохове, Дибич, по каким-то

¹ Об этом см. ниже, в статье Б. В. Томашевского „Французские дела 1830—1831 гг. в письмах Пушкина к Е. М. Хитрово“, а также в примечаниях к письму XIII, заметку Б. А. Модзалевского, стр. 93—94.

малопонятным причинам, не решился использовать своего успеха и не пошел прямо на Варшаву, чем дал полякам время оправиться, и тем втянул Россию в длительную кампанию, во время которой военная удача переходила то к полякам, то к русским. Особенно много хлопот русским войскам принес генерал Дверницкий, против которого у Люблина и Замостья действовали генералы Крейц и граф Толь. В это время газетные известия из Польши стали сравнительно редки и малосодержательны, что, несомненно, должно было нервировать агрессивно-настроенную часть русского общества. Томился неизвестностью и Пушкин, обреченный к тому же сидеть в сонной, далекой от политической жизни Москве, о чем и говорит его письмо к Е. М. Хитрово от 26 марта 1831 г.¹ Но еще горше равнодушия москвичей было для Пушкина слушать толки московских политиканов, „видеть бездушных читателей французских газет, улыбавшихся при вести о наших неудачах“.²

За то тем отраднее было для него, когда в апреле 1831 года М. П. Погодин прочел ему свою статью под заглавием: „Исторические размышления об отношениях Польши к России“ (позднее напечатанную им в „Телескопе“), где он старался научно обосновать права России на Литву, а также написанный им одновременно разбор „Истории Государства Польского“ Бандтке. Выслушав эти статьи, Пушкин, по свидетельству самого Погодина, пришел от них „в восторг“ и сказал ему: „Никто ныне не тревожит души моей, кроме вас“... (Н. П. Барсуков, „Жизнь и труды Погодина“, т. III, стр. 273). Польское восстание и его судьба были в это время постоянным больным местом у Пушкина, как и у большинства его современников, и малейшее упоминание о поляках тотчас же возвращало к нему его мысль. Так, например, роман Загоскина „Рославлев“, где автор, между прочим, сводит своего героя с поляками, сразу же наводит Пушкина на размышление о том, что этот больной вопрос, сильно к тому же обострившийся с эпохи 1812-го года, всё еще висит над Россией.³

¹ № XIV, стр. 18—19.

² Черновая рукопись статьи, так наз. „Мысли на дороге.“ — тетрадь Румяновского Музея № 2384, л. 13₂ („Русская Старина“ 1884 г., т. LXIV, декабрь, стр. 546).

³ См. примечания к письму XV, стр. 107—112.

Легко представить себе, с каким жадным вниманием выслушивались и обсуждались официальные и неофициальные военные известия русским обществом, до крайности раздраженным медлительностью Дибича, всеми теми полу-победами, полу-поражениями, не ведшими ни к каким решительным результатам, о которых с горечью и негодованием писал Дибичу Николай I. После успехов ген. Крейца против Серавского и после перехода Дверницким, под давлением генерала Ридигера, австрийской границы, счастье, как будто, вновь улыбнулось русским. Дибич, сам чувствовавший всю необходимость предпринять решительные действия, двинулся на встречу Скржецкому, но последний уклонился от решительного сражения, и всё ограничилось небольшим, сравнительно, делом 14 апреля у Минска. 21 апреля до главной квартиры русской армии дошло известие о переходе Дверницкого в Австрию. Новость эта была принята с восторгом, так как предпринятое этим отважным польским генералом движение на Вольнь могло принести русским серьёзнейшие неприятности. Поляки точно также понимали всю важность предприятия Дверницкого, и Скржецкий решил послать в помощь ему генерала Хржановского, который и двинулся к Замостью; узнав в пути об интернировании Дверницкого в Австрии, он тем не менее, согласно полученным приказаниям, продолжал операции. 28 апреля у Любартова польские войска под начальством генералов Хржановского, Скаржинского и Ромарино встретились с войсками генерала Крейца. Сражение было удачно для русских, взявших в плен до 400 человек, однако генерал Крейц не мог воспрепятствовать Хржановскому достигнуть Замостья. Известия о деле при Любартове были опубликованы в газетах 7 и 12 мая. Кроме того, 9 мая был опубликован рапорт генерала Сакена от 12 мая „об истреблении скопища мятежников, появившихся в окрестностях расположения гвардейского корпуса“; в рапорте говорилось о том, как полковник Гембиц и полковник Краснов близ м. Цершпенты наткнулись на колонну противника „в числе 500 человек, частью из так называемых беспардонных стрельцов, при 50 кракусах“ и как русские войска сразились с ней и частью истребили ее, а частью втоптали в болото, так что спаслось не более 60 человек. Сильно преувеличенные молвою слухи об одном из этих восторженных сражений чисто местного значения и характера

и могли дойти до Пушкина, о чем он упоминает в письме к Е. М. Хитрово от 8 мая (№ XV, стр. 20).

В ряде дальнейших писем Пушкина к Е. М. Хитрово за летние месяцы 1831 года (XVI—XX) не имеется упоминаний о Польском восстании, мыслями о котором он, как увидим ниже, вновь делится с нею уже после взятия Варшавы. За то письма к П. А. Вяземскому, П. В. Нащокину и А. Х. Бенкендорфу дают довольно полную картину чаяний и опасений Пушкина в этот последний период восстания. Так, по поводу кровопролитного сражения при Остроленке, где Дибич, побуждаемый Николаем I и общим мнением русских, сошелся, наконец, с польским главнокомандующим Скрженецким и навес полякам второе решительное поражение, которое, однако, вновь не сумел использовать, — Пушкин писал Вяземскому 1 июня из Царского Села: „Свобода толков меня изумила. Дибича критикуют явно и очень строго. Тому неделю Эриванский¹ был еще в Петергофе. Ты читал известие о последнем сражении 14 мая. Не знаю, почему не упомянуты в нем некоторые подробности, которые знаю из частных писем и кажется от верных людей. Крженецкой находился в этом сражении. Офицеры наши видели, как он прискакал на своей белой лошади, пересел на другую бурую и стал командовать, видели, как он, раненый в плечо, уронив падаш и сам свалился с лошади, как вся свита его кинулась к нему и посадила его опять на лошадь. Тогда он закричал „Еще Польска не сгивела“, и свита его начала вторить, но в ту самую минуту другая пуля убила в толпе польского майора, и песня прервалась. Всё это хорошо в эстетическом отношении. Но всё таки их надобно задушить, и наша медленность мучительна. Для нас мятеж Польши есть дело семейственное, старинная, наследственная распря, мы не можем судить ее по впечатлениям Европейским, каков бы ни был впрочем наш образ мыслей. Но для Европы нужны общие предметы внимания и пристрастия, нужны и для народов и для правительств. Конечно, выгода почти всех правительств держаться в сем случае правила non-intervention, т. е. избегать в чужом шире похмелья; но народы так и рвутся, так и лают. — Того и гляди,

¹ Т. е. гр. Паскевич, который был в это время вызван в Петербург и предназначался для замены Дибича, что было задержано лишь вследствие победы при Остроленке (Н. Шильдер, „Николай I“, т. II, стр. 356).

навяжется на нас Европа. Щастие еще, что мы прошлого году не вмешались в последнюю французскую передрагу. А то был долг платежом красен" (Переписка, т. II, стр. 241—242).

В нашу задачу не входит подробно комментировать это примечательное письмо, являющееся в полном смысле этого слова исповеданием веры Пушкина по вопросу о польском восстании. Укажем только на то, что и настроения русского общества, и описания подробностей боя, и характеристика отношения Западной Европы во всех главных частях сходятся с действительностью и показывают отличную осведомленность Пушкина. Что касается его оценки происходящего, то здесь прежде всего бросается в глаза крайне характерное отделение поэтической стороны событий, самого пафоса восстания, от его практического значения. Как поэт, Пушкин отдает дань одобрения первым; как русский гражданин, он, несмотря ни на что, желает победы над поляками. Польский вопрос для него внутреннее, семейное дело России, в которое он не желает пускать никого постороннего. С мнением Западной Европы он не находит нужным считаться, — оно для него в этом случае не более, как лай, он лишь боится ее вооруженного вмешательства. Принимая во внимание, что всё это высказывается в письме к человеку, хотя и близкому, но, как увидим ниже, не вполне согласному с ним в этом вопросе, мы, вне зависимости от сочувствия или несочувствия взглядам Пушкина, не можем не подивиться той силе внутреннего, глубокого убеждения, которою звучат приведенные слова.

К этому, приблизительно, времени относится, вероятно, приводимый П. И. Бартевым рассказ гр. Е. Е. Комаровского, который, встретив Пушкина на прогулке, задумчивого и тревожного, спросил его: „Отчего не веселы, Александр Сергеевич?“ — „Да всё газеты читаю“. — „Что ж такое?“ — „Разве вы не понимаете, что теперь время чуть ли не столь же грозное, как в 1812 году?“ („Русский Архив“ 1879 г., кн. I, стр. 385).

Следующие письма Пушкина, от 11 июня, к Нащокину и Вяземскому (Переписка, т. II, стр. 250, 251), рисуют нам те страхи, которыми было запугано тогда русское общество, изнервничавшееся за время более чем шестимесячной изнурительной, малоудачной войны. В них передаются слухи о взятии Вильны и о повешении поляками генерал-губернатора Храповицкого, —

слухи, имевшие под собой ту реальную основу, что в это время Литва, действительно, была охвачена восстанием, и что 7 июня поляки под начальством Гелгуда, действительно, атаковали Вильну, но были отбиты. Точные сведения обо всем этом появились в печати лишь 19 июня, в момент же написания писем ходили, как это бывает обычно, тревожные слухи, которым Пушкин, видимо, боялся верить. В письме к Вяземскому говорится, кроме того, о последовавшей 29 мая смерти Дибича в выражениях, содержащих в себе скрытый упрек этому полководцу за все те промахи, которые были допущены русскими в этой войне и в которых Пушкин, наряду с подавляющим большинством русского общества, винил покойного фельдмаршала.

Письмо от 26 июня к Нащокину содержит в себе лишь краткое упоминание о приезде 13 июня к армии нового главнокомандующего, фельдмаршала гр. И. Ф. Паскевича-Эриванского (Переписка, том II, стр. 258), который, как известно, в виду восстания в Литве принужден был для большей безопасности избрать морской путь, а затем следовать в армию через Пруссию. С назначением Паскевича Пушкин, повидимому, соединял, как и большинство русских, надежду на скорое подавление восстания, перекинувшегося уже в пределы самой империи, почему и отмечает, как значительный день, принятие им командования. Тут же он нетерпеливо отмечает: „о военных движениях не имеем еще никакого известия“ (там-же). Те же надежды на Паскевича содержатся и в письме к Плетневу от 16 июня (там-же, стр. 275).

Во второй половине июля Пушкин решает обратиться через Бенкендорфа к Николаю I с ходатайством о разрешении ему редактировать политический и литературный журнал. Ранее, чем написать письмо об этом набело, он, по своему обыкновению, составил черновой проект его, который дошел до нас. В нем имеется упоминание о польском восстании, которое не вошло, однако, в окончательную редакцию письма. Приведем здесь и это место, чтобышний раз показать, насколько тверд был Пушкин в своих взглядах на этот вопрос. Вот, что он здесь пишет: „Ныне, когда [общее] справедливое негодование и старая народная вражда, долго растравливаемая завистью, [у нас] соединила всех [мысли] нас противу Польских мятежников, озлобленная Европа нападает покамест на Россию не оружием, но ежедневной, бешеной клеветою — конституционные прави-

тельства хотят мира, а молодые поколения, волнуемые журналами, требуют войны... Пускай позволят нам, Русским писателям, отражать бесстыдные и невежественные нападения иностранных газет" (Переписка, том II, стр. 279, 280). Если сопоставить эти слова с приведенными выше словами письма к Вяземскому от 1 июня, то мы увидим, что причиной их исключения из окончательной редакции послужило не то, что они показались самому Пушкину неискренним подслуживанием правительству, а какое-то иное соображение.

Между тем Паскевич, принявший составленный самим Николаем I, еще в начале апреля, план переправы через нижнюю Вислу с последующим движением на Варшаву, перешел эту реку, о чем и сообщил государю рапортом от 8 июля, опубликованным во всеобщее сведение 19 того же месяца. Решительные моменты войны приближались, и вместе с их приближением росли надежды и опасения Пушкина. 21 июля он пишет Нащокину: „Ты знаешь, что Вислу мы перешли, не видя неприятеля. С часу на час ожидаем важных известий и из Польши, и из Парижа. Дело, кажется, обойдется без Европейской войны. Дай-то Бог“ (Переписка, том II, стр. 285—286). Но ждать пришлось еще довольно долго, так как, переправив без боя армию через Вислу, Паскевич и в последующие дни не имел сколько-нибудь значительных столкновений с поляками. Поэтому и известия с театра войны были скудны и за время с 19 июля по 1 августа ограничивались лишь двумя донесениями Паскевича от 14 и 19 июля, опубликованными 25 и 30 июля и не содержащими в себе ничего особо существенного. Поэтому-то в письме к Нащокину от 29 июня Пушкин и ограничивается одной только фразой: „О Польше ничего не слышно“ (там-же, стр. 291). Однако, из упомянутого сообщения от 30 июля, а также из сообщений, опубликованных 4 августа, было уже очевидно, что конец восстания приближается. Литовские губернии были очищены „от вторгнувшихся в оные Польских мятежников“, и в то же время главные силы русских медленно и осторожно, но вместе с тем неуклонно подвигались к Варшаве. В это время русское общество, а с ним вместе и Пушкин, с нетерпением и одновременно со страхом ждали конца. „Кажется, дело польское кончается“, писал Пушкин 3 августа Вяземскому: „я всё еще боюсь: генеральная баталия, как говорил Петр I, дело зело

опасное. А если мы и осадим Варшаву (что требует большого числа войск), то Европа будет иметь время вмешаться не в ее дело. Впрочем, Франция одна не сунется, Англии [не на что] не для чего с нами ссориться, так авось ли выкарабкаемся“ (там-же, стр. 296). Между тем, 11 и 13 августа в газетах было опубликовано о переправе ген. Ридигера через верхнюю Вислу и о дальнейшем наступлении русских войск на Варшаву, а также сообщалось о переменах в польском командовании. Вот как писал об этом Пушкин Вяземскому 14 августа: „Наши дела Польские идут, слава Богу: Варшава окружена, Крженецкий сменен нетерпеливыми Патриотами. Дембинский, невзначай явившийся в Варшаву из Литвы, выбран в главнокомандующие. Крженецкого обвиняли мятежники в бездействии. Следственно они хотят сражения; следственно они будут разбиты, следственно интервенция Франции опоздает, следственно граф Паскевич удивительно щастлив“ (там-же, стр. 301); далее следует в нескольких словах точный очерк международного положения, и вновь высказывается мысль о возможности общеевропейской войны. Здесь надлежит кстати сказать, что в это время возможность вооруженной помощи Польше со стороны Франции служила предметом обсуждения в Палате Депутатов, причем во время прений по этому вопросу министр иностранных дел доказывал, „что 400 миль отделяют Францию от Польши, и по его счету нужно сделать три кампании, чтобы прибыть на помощь Польше“, и что „сии усилия без пользы подвергли бы Францию опасности“. В то же время предполагалось совместное выступление французского и великобританского послов перед русским правительством, не состоявшееся лишь вследствие несогласия на него Пальмерстона, (как видим, Пушкин угадал и это последнее обстоятельство). Тем не менее, герцог Мортемар не переставал настойчиво добиваться прекращения войны с поляками, что, повидимому, и послужило отчасти причиной отъезда его, под предлогом длительного отпуска, из России 15 августа.¹

Последующие печатные известия с театра военных действий содержали в себе сведения о том, что русские войска подошли к самой Варшаве, которую Паскевич решил штурмовать 25 августа, при чем за два дня до этого прислал Николаю I

¹ См. выше. стр. 94.

диспозицию штурма (Н. Шильдер, „Николай I“, том II, стр. 374). Живя вблизи двора в Царском-Селе, Пушкин легко мог знать эти подробности и, конечно, томился, не имея известий об исходе штурма. 3 сентября он писал Вяземскому: „Варшава должна быть взята 25-го или 26-го; но еще известия нет“ (Переписка, том II, стр. 319). Наконец, 4 сентября в Царское Село к Николаю I прискакал флигель-адъютант ротмистр князь Суворов с донесением Паскевича: „Варшава у ног вашего императорского величества“ (Н. Шильдер, *op. cit.*, том II, стр. 375). Мысль о присылке курьером именно внука генералиссимуса принадлежала самому Николаю, желавшему, повидимому, как бы соединить воедино взятие Варшавы Суворовым со взятием ее же Паскевичем. По свидетельству А. О. Россет-Смирновой (не всегда вполне точной), при дворе заранее были убеждены, что „приступ неизбежен, и город принужден будет сдаться“. Ожидая курьера с этим столь желанным известием, Николай I в нетерпении поехал навстречу ему на Пулковскую гору. „Суворов заметил его, посреди дороги, соскочил с перекладной и крикнул: „Варшава сдалась“... Далее А. О. Россет-Смирнова описывает, как она, по зову императрицы, выскочила из-за обеда и без шляпы побежала в Александровский дворец, при чем добавляет: „Я только успела приказать горничной передать приятную новость Пушкину“. А далее пишет: „Когда я пришла к себе переодеться, я нашла стихи Пушкина, — он мне прислал их с импровизированным четырехстишием; а после вечера у е. в. я застала его самого. Он хотел знать подробности. Я рассказала ему, что город сдался безусловно. Завтра прибудет новый курьер. Я предупредила Пушкина, что при дворе будет молебн. Он обещал придти непременно“. А еще дальше добавляет: „Выходя из церкви (после молебна), его величество увидел Пушкина, позвал его и поблагодарил за стихи, которые он нашел превосходными“. В другом месте она же пишет: „Пушкин сказал мне, что его соседка Ламберт уже раньше меня велела передать ему приятную новость. Оказывается, что ямщик, который вез Суворова, крича сообщал новость всем прохожим, когда приехал в Царское-Село; лакей графини Ламберт узнал все на улице“ („Записки“, ч. I, стр. 121—124; о том-же ср. „Русский Архив“, 1871 г., ст. 1882). Во всяком случае, судя по письмам Пушкина, служивший при Бенкендорфе П. И. Миллер,

графиня Ламберт и А. О. Россет-Смирнова были первыми лицами, от которых Пушкин узнал о взятии Варшавы.

По словам Ольги Сергеевны Павлицевой, известие о взятии штурмом Варшавы так обрадовало Пушкина, что он прослезился от взволновавших его чувств, которые и незамедлил выразить в своей замечательной „Бородинской годовщине“ (Л. Н. Павлицев, „Воспоминания об А. С. Пушкине“, М. 1890 г., стр. 258).

В самый день приезда Суворова Пушкин, быть может, под свежим впечатлением беседы своей с А. О. Россет-Смирновой, заносит в Дневник: „Суворов привез сегодня известие о взятии Варшавы. Паскевич ранен в бок. Мартынов и Ефимович убиты. Гейсмар ранен. — Наших пало 6.000. Поляки защищались отчаянно. Приступ начался 24 августа. Варшава сдалась безусловно 27. Раненый Паскевич сказал: *Du moins j'ai fait mon devoir*. Гвардия всё время стояла под ядрами. Суворов был два раза на переговорах и в опасности быть повешенным. Государь пожаловал его полковником в Суворовском полку. Паскевич сделан Князем Светлейшим. Скржинецкий скрывается. Лелевель при Ромарино. Суворов видел в Варшаве Montebello (Laspe) Высоцкого, зачинщика революции, гр. А. Потоцкого и других. Взятие под стражу еще не началось. Государь тому удивился; мы также. Сколько в Суворовском полку осталось? спросил государь у Суворова. — 300 человек, в. в. — Нет, 301: ты в нем полковник“ (Сочинения Пушкина, под ред. С. А. Венгерова, том V, стр. 432). Там же, под 6 сентября, мы читаем: „Мнение Жомини о польской кампании: Главная ошибка Дибича состояла в том, что он, предвидя скорую оттепель, поспешил начать свои действия наперекор здравому смыслу. 15 дней — разницы не сделали бы. Щастье во многом помогло Паскевичу: 1) он не мог перейти со всеми силами Вислу, но на Палена Скржинецкий не напал; 2) он должен был пойти на приступ, а из Варшавы выступило 20.000 и ушли слишком далеко. Ошибки Скржинецкого состояли в том, что он пожертвовал 8.000 избранного войска понапрасну под Остроленкой. Позиция его была чрезвычайно сильная, и Паскевич¹ опасался ее. Но Скржинецкого сменили недовольные его действиями или бездействием

¹ Здесь у Пушкина явная описка: под Остроленкой войсками командовал еще Дибич.

начальники мятежа, и Польша погибла“ (там-же, стр. 432—433). Приведенные записи Пушкина показывают, как внимательно он вслушивался во всё, что касалось Польского вопроса, насколько важным он считал всё, что к нему относится. Наряду с приведенными рассказами А. О. Смирновой, они вводят нас в ту обстановку, при которой было написано письмо Пушкина к Е. М. Хитрово, относящееся к середине сентября.¹ Письмо начинается известными стихами, обращенными к гробнице отца Хитрово — фельдмаршала князя Кутузова-Смоленского. Стихи эти были написаны Пушкиным еще до взятия Варшавы, „в тот“, по его признанию, „момент, когда можно было потерять бодрость“. Есть некоторые основания думать, что они написаны приблизительно в первой половине июня, т. е. в то самое время, когда столь неудачливый в этой войне Дибич сошел со сцены, а Паскевич еще не приступал к действиям, и когда исход всей кампании мог казаться для русских если не окончательно неудачным, то, во всяком случае, весьма и весьма сомнительным. Внешним же толчком к написанию могло послужить появление около этого времени в „Литературной Газете“ стихотворения Трилуинного, обращенного также к гробнице Кутузова. Сам Пушкин, повидимому, считал свои стихи не совсем удобными по содержанию, чтобы их печатать. По крайней мере, при жизни его вышли лишь первые три строфы, да и то много позднее, в „Современнике“ 1836 года, при том же не как самодовлеющее произведение, а в объяснении по поводу обращенного к портрету кн. М. Б. Барклая-де-Толли стихотворения „Полководец“. В письме к Хитрово Пушкин сопровождает свою оду как бы авторскими комментариями, рисующим то душевное настроение, которое владело им в момент написания ее, и которое, видимо, не совсем еще покинуло его в момент написания письма. Приведенные нами выше записи Пушкина достаточно, думается нам, объясняют, чем вызывалось это настроение, не чуждое некоторой неудовлетворенности даже и теперь, в момент, казалось бы, полного торжества над поляками. И какой глубокой душевной усталостью звучат эти слова: „Но как пора было взять Варшаву“.²

Однако, как бы то ни было, внешне Пушкин торжествовал, и памятником этого торжества явилась выпущенная им и Жуков-

¹ Письмо XXI, стр. 26—28.

² Ср. выше, в примечаниях к письмам XX и XXI, стр. 124—125 и 127—130.

ским брошюра „На взятие Варшавы“, где Жуковский поместил свою „Старую песню на новый лад“, а Пушкин — „Клеветникам России“ и „Бородинскую годовщину“. В письме своем к А. И. Тургеневу от 7 сентября 1831 года Жуковский писал: „Скоро пришлю свои стихи, напечатанные вместе со стихами Пушкина, чудесными. Нас разом прорвало, и есть от чего“ („Письма Жуковского к А. И. Тургеневу“, стр. 259). Слово „прорвало“ отлично характеризует ту необычайную быстроту, с которою была написана „Песня“ Жуковского и „Бородинская годовщина“ Пушкина. Оба эти стихотворения носят дату 5 сентября, печатать их дозволено было цензурой 7 сентября, а в свет они вышли около 14 того же месяца, как можно судить об этом из объявления в № 206 „Северной Пчелы“. Что касается стихотворения „Клеветникам России“, то оно помечено 16-м августа и написано, повидимому, между 2-м и 16-м числами этого месяца.¹ По выходе своем в свет, два последних стихотворения Пушкина вызвали горячее одобрение одной части русского общества и столь же горячую отповедь другой его части.

Тогдашняя немногочисленная русская пресса, конечно, не могла отнестись к стихам Жуковского и Пушкина иначе, как одобрительно. Как на пример, можно указать хотя бы на помещенный в № 16 „Телескопа“ за 1831 год восторженный отзыв Н. И. Надеждина, который, подвергая разбору „песнопения“ Пушкина, находил, что они „отличаются силою мыслей, достойных Русского духа“, и в то же время счастливо выражают „истинное свойство Русского духа, который любит торжествовать кротостию и милосердием“. Более свободы в выражении своих мыслей мы находим, конечно, в частной переписке, хотя и здесь, как видно будет ниже, из примера кн. П. А. Вяземского, приходилось опасаться перлюстрации почты. Среди восхищавшихся стихами был П. Я. Чаадаев, писавший Пушкину 18 сентября по поводу их: „Вот, наконец, вы национальный поэт; вы, наконец, нашли свое призвание. Особенно изумительны стихи к врагам России; я вам это говорю. В них мыслей больше, чем было сказано и создано у нас в целый век“ (Переписка, том II, стр. 328). Так же отнеслись к этому П. А. Осипова и граф Д. И. Хвостов, написавшие Пушкину восторженные письма, при чем

¹ Ср. выше, стр. 130—131.

последний приложил к письму своему стихи, в которых именовал Пушкина соловьем, а в самом письме выражал пожелание, чтобы „знаменитая лира“ Пушкина „предпочтительно воспевала богатырей русских давнего и последнего времени“.

Е. А. Боратынский, талант и ум которого Пушкин так высоко ценил, разбирая брошюру Жуковского и Пушкина, писал И. В. Киреевскому: „Первое стихотворение Пушкина мне больше нравится, нежели второе. В нем сказано дело, и указана настоящая точка, с которой должно смотреть на нашу войну с Польшей. Ты подчеркнул стих: Стальной щетиною сверкая. Ты, вероятно, находишь его слишком изысканным. Может быть, ты прав, однако он силен и живописен“ („Татевский Сборник“, стр. 21). Столь же одобрительно отзываясь о них бывший сотоварищ Пушкина по „Арзамасу“ Д. Н. Блудов, пославший брошюру 6 октября 1831 г. своей жене и дочери в Берлин вместе со стихами Жуковского „Русская слава“ и писавший при этом: „много прекрасного в тех и других“ („Русский Архив“ 1875 г., кн. II, стр. 143). Дочь его гр. А. Д. Блудова в своих Воспоминаниях свидетельствует, что стихи эти „повторялись всеми с увлечением“ (там-же 1874 г., кн. I, стр. 738). Уже 8 октября Пушкин получил от другого старинного сановного своего знакомого и бывшего арзамасца С. С. Уварова из Москвы крайне любезное письмо, в котором тот называл стихи Пушкина „Клеветникам России“ „истинно народными“ и просил благосклонно принять его перевод их на французский язык (Переписка, том II, стр. 333—335). Такой же недошедший да нас перевод прислала Пушкину и Е. М. Хитрово. Благодаря за присылку этого неизвестного нам перевода, Пушкин назвал его „изящным“, при чем внес в него некоторые поправки.¹

Об успехе, которым пользовались стихи Пушкина и Жуковского, и о мало удачных попытках переводить их на немецкий и французский языки упоминает и Ольга Сергеевна Павлищева в письме (от 6 октября 1831 г.) к мужу, служившему тогда в Польше. Между прочим, она называет своего „бывшего поклонника Бакунина“, как одного из неудачных переводчиков, вернее искажителей стихов своего брата. Там же она говорит и о том, что сама она сняла копию со стихов для посылки

¹ См. выше, письмо XX-е и примечание к нему, стр. 132—133.

в действующую армию раненому Александру Петровичу Языкову. Сын ее Л. Н. Павлицев в своих „Воспоминаниях об А. С. Пушкине“ (М. 1890, стр. 259—260) дополняет эти упоминания еще целым рядом подробностей, слышанных им, быть может, от своей матери, но не подтвержденных опубликованными им же письмами ее к мужу, почему мы их и опускаем.

Повидимому и молодежь,—по крайней мере в некоторой своей части,—восхищалась стихами Пушкина и вполне разделяла его взгляды. Молодой восемнадцатилетний М. А. Бакунин 20 сентября 1831 г. писал родителям из Петербурга, где он обучался тогда в Артиллерийском Училище: „Эти стихи прелестны, не правда ли, дорогие родители? Они полны огня и истинного патриотизма, вот каковы должны быть чувства русского! Пушкин их озаглавил сначала: „Стихи на речь, говоренную генералом Лафайетом“, но цензура изменила этот заголовок и поставила: „Клеветникам России“. Этот старик Лафайет, большой болтун и гений-разрушитель: быв одним из первых деятелей революции в Соединенных Штатах и в двух французских революциях, он хотел бы поколебать и русских! Но нет! русские не французы, они любят свое отечество и обожают своего государя, его воля для них закон, и между ними не найдется ни одного, который поколебался бы пожертвовать самыми дорогими своими интересами и даже жизнью для его блага и для блага родины“ (А. А. Корнилов, „Молодые годы Михаила Бакунина“, М. 1915, стр. 47).

Однако, как свидетельствует Ф. Ф. Вигель, стихи Пушкина, которым в Петербурге „рукоплескали с живым участием“, в Москве были названы „огромным пятном в его (Пушкина) поэтической славе“ („Русский Архив“ 1893 г., кн. II, стр. 581). На то же обстоятельство намекал в цитированном нами выше письме к Пушкину и П. Я. Чаадаев, когда писал: „Не все одного со мной мнения, сами понимаете, но пусть их говорят, а мы пойдем вперед“... (Переписка, том II, стр. 328). Ближайшим образом намеки Чаадаева касались двух старых друзей Пушкина — А. И. Тургенева и П. А. Вяземского: оба они отнеслись к стихам Жуковского и Пушкина резко отрицательно. Первый из них 26 сентября писал брату, Н. И. Тургеневу: „На прошедшей неделе мы обедали в Англ. Клобе, где он [Чаадаев], хотя и заказал блюда для своих, но и в разговоре, и в самом обеде,

как и другие, участвовал, а после мы и заспорили и крепко о достоинстве стихов Пушкина и других, кои здесь во всю неделю читались всеми, — „На взятие Варшавы“ и „Послание Клеветникам России“. Мы немного нападали на Чаадаева за его мнение о стихах...“ (В. М. Истрин, „Из документов архива братьев Тургеневых“ — „Журн. Мин. Народн. Просвещения“ 1913 г., ч. LXIV, март, стр. 20—21).

2 октября 1832 г. он же писал следующее: „Твое заключение о Пушкине справедливо: в нем точно есть еще варварство, и Вяз[емский] очень гонял его в Москве за Польшу; но.... . . . он только варвар в отношении к П[ольше], как поэт, думая, что без патриотизма, как он его понимает, нельзя быть поэтом, и для поэзии, не хочет выходить из своего варварства. Стихи его *Клеветникам России* доказывают, как он сей вопрос понимает. Я только в одном Вяз[емском] заметил справедливый взгляд и на эту поэзию и на весь этот нравственно-политический мир (или — безнравственно). Слышал споры их, но сам молчал, ибо Пуш[киин] начал обвинять Вяз[емского], оправдывая себя; а я страдал за обоих, ибо люблю обоих. Жук[овский] иное дело: он ошибается исторически и умом: душа его точно святая. У нас была сильная сшибка в Ганovere накануне разлуки; но его не должно трогать с сей стороны: он страдает и физически, и морально, и от того, что видит и слышит, в его стихах о Польше — тот же смысл. Но всё это слова. Я бы спросил его, что бы он подумал о себе, если бы энтузиазм его к героизму кровопролития был личным свидетелем того, чего стоит нам и им это героизм? Я делаюсь врагом Поэзии, когда она не святое дело, не человечество защищает и превозносит. Жук[овский] криво видит вещи, потому что во многом не просвещен. Но на деле он свят, и жизнь его вся из благих дел. Желая, чтобы стихи его, исключая прежних, только словом, а не делом оставались; впрочем, он не пишет. Просвещение Европейское, которое каким-то чутьем у нас ненавидят, — великое, важнейшее дело: ясное доказательство сему — Жук[овский] и Пушкин. Последний всё постиг, кроме этого“ (там-же, стр. 18).

Как видим, расхождение было полное. Что касается Вяземского, то отношение его было еще более отрицательное и резкое. В его Дневнике под 14, 15 и 22 сентября 1831 года мы находим следующие записи об этом:

„14 сентября 1831. Вот, что я было написал в письме к Пушкину сегодня и чего не послал: „Попроси Жуковского прислать мне поскорее какую-нибудь новую сказку свою. Охота ему было писать *шинельные* стихи (стихотворцы, которые в Москве ходят в шинели по домам с поздравительными одами), и не совестно-ли певцу в стане Русских воинов и певцу в Кремле сравнивать нынешнее событие с Бородиным? ¹ Там мы бились один против 10, а здесь, напротив, 10 против одного. Это дело весьма важно в государственном отношении, но тут нет ни на грош поэзии. Можно было дивиться, что оно долго не делается, но почему в восторг приходиться от того, что оно сделалось? Слава богу, Русские не Голландцы: хорошо им не верить глазам и рукам своим, что они посекали Бельгийцев. Очень хорошо и законно делает господин, когда приказывает высечь холопа, который вздумает отыскивать незаконно и нагло свободу свою, но всё же нет тут вдохновений для поэта. Зачем переключивать в стихи то, что очень кстати в политической газете“. Признаюсь, что мне хотелось здесь оцарапать и Пушкина, который также, сказывают, написал стихи. Признаюсь и в том, что не послал письма не от нравственной вежливости, но для того, чтобы не сделать хлопот от распечатанного письма на почте. Я уверен, что в стихах Жуковского нет царедворческого побуждения, — тут просто русское невежество. Какая тут чорт народная поэзия в том, что нас выгнали из Варшавы за то, что мы не умели владеть ею, и что после нескольких месячных маршей, контр-маршей мы опять вступили в этот городок. Грустны могли быть неудачи наши, но ничего нет возвышенного в удаче, тем более, что она нравственно никак не искупает их. Те унизили наше политическое достоинство в глазах Европы, раздели на-голо перед нею этот колосс и показали все язвы, все немощи его; а одна *удача* — просто положительное событие, окончательная необходимость и только. Мы удивительные самохвалы и грустно то, что в нашем самохвальстве есть какой то холопский отсед. Французское самохвальство возвышается некоторыми звучными словами, которых нет в нашем словаре. Как мы ни радуясь, а всё похожи мы на дворню, которая в лакейской поет и поздравляет барина с именинами, с пожалованием чина и проч. Одни песни 12 года

¹ Стихи Жуковского „Старая песня“ могли быть сообщены ему в письме, раньше выхода брошюры.

могли быть несколько на другой лад и потому Жуковскому стыдно запеть иначе. Таким образом вот и последнее действие кровавой драмы; что будет после? Верно, ничего хорошего, потому что ничему хорошему быть не может. Что было причиною всей передраги? Одна, что мы не умели заставить Поляков полюбить нашу власть. Эта причина теперь еще сильнее, еще ядовитее, на время можно будет придавить ее; но разве правительства могут созидать на один день, говорить: век мой — день мой... При первой войне, при первом движении в России, Польша восстанет на нас, или должно будет иметь русского часового при каждом поляке. Есть одно средство: бросить Царство Польское, как даем мы отпускную негодяю, которого ни держать у себя не можем, ни поставить в рекруты. Пускай Польша выбирает себе род жизни. До победы нам нельзя было так поступать, но по победе очень можно. Но такая мысль слишком широка для головы какого-нибудь Нессельроде, она в ней не уместится... Польское дело такая болезнь, что показала нам порок нашего сложения. Мало того, что излечить болезнь, должно искоренить порок. Какая выгода России быть внутренней стражею Польши? Гораздо легче при случае иметь ее явным врагом... Для меня назначение хорошего губернатора в Рязань или Вологду гораздо более предмет для поэзии, нежели во взятии Варшавы. (Да у кого мы ее взяли, что за *взятие*, что за слова без мысли?). Вот воспевайте правительство за такие меры, если у вас колена чешутся и непременно надобно вам ползать с лирою в руках...

15. Стихи Жуковского навели на меня тоску. Как я ни старался *растосковать* или *растаскать* ее и по Немецкому клубу, и чорт знает где, а всё не мог. Как можно в наше время видеть поэзию в *бомбах*, в *палисадах*? Может быть поэзия в мысли, которая направляет эти бомбы, и таковы были бомбы Наваринские, но здесь, по совести, где была *мысль* у нас или против нас? Мало-ли что политика может и должна делать? Ей нужны палачи, но разве вы будете их петь? Мы были на краю гибели, чтобы удержать за собою лоскуток Царства Польского, то-есть жертвовали целым ради частички. Шереметев, проиграв рубль серебром, гнул на себя до-нельзя, истощил несколько миллионов, и, наконец, по перелому фортуны, перелому почти неминуемому, отыграл свой рубль. Дворня его восхищается и кричит

что за молодец! Знай наших Шереметевых! Дело в том, что можно-ли в наше время управлять с успехом людьми, имевшими некоторую степень образованности, не заслужив доверенности и любви их? Можно, но тогда нужно быть Наполеоном, который, как деспотическая кокетка, не требовал, чтобы любили, а хотел *влюблять в себя* и имел всё, что горючит и задорит людей. Но можно-ли достигнуть этой цели с Храповицким? А кто у нас не Храповицкий? Я более и более *удиняюсь, особняюсь* и своим образом мыслей. Как ни говори, а стихи Жуковского — вопрос жизни и смерти между нами. Для меня они такая пакость, что я предпочел бы им смерть. Разумеется, Жуковский не переломил себя, не кривил совестью, — следовательно, мы с ним не сочувственники, не единомышленники. Впрочем, Жуковский слишком под игом обстоятельств, слишком под влиянием лживой атмосферы, чтобы сохранить свои мысли во всей чистоте и девственности их. Как пьяному мужику жид нашептывал, сколько он пропил, так и в той атмосфере невидимые силы нашептывают мысли, суждения, вдохновения, чувства. Будь у нас гласность печати, никогда Жуковский не подумал бы, Пушкин не осмелился бы воспеть победы Паскевича. Во-первых, потому, что этот род восторга анахронизм, что ничего нет поэтического в моем кучере, которого я за пьянство и воровство отдал в солдаты и который, попав в *железный фронт*, попал в махину, которая стоит или подается вперед без воли, без мысли и без отчета, а что *города* берутся именно этими махинами, а не полководцем, которому стоит только расчесть, сколько он пожертвует этих махин, чтобы повязать на жену свою Екатерининскую ленту. Во-вторых, потому, что курам на смех быть вне себя от изумления, видя, что льву удалось, наконец, наложить лапу на мышь...

22. Пушкин в стихах своих: *Клеветникам России* кажет им шиш из кармана. Он знает, что они не прочтут стихов его, следовательно и отвечать не будут на *вопросы*, на которые отвечать было бы очень легко, даже самому Пушкину. За что *возрождающейся Европе* любить нас?..

Мне также уже надоели эти географические фанфаронады наши: *От Перми до Тавриды* и проч. Что же тут хорошего, чему радоваться и чем хвастаться, что мы лежим в растяжку, что у нас от *мысли до мысли* пять тысяч верст...

Вы грозны на словах, попробуйте на деле.

А это похоже на Яшку, который горланит на мирской сходке: да что вы, да сунься-ка, да где вам, да мы то! Не-уж-ли Пушкин не убедился, что нам с Европою воевать была бы смерть. Зачем же говорить нелепости и еще против совести и более всего без пользы? Хорошо иногда в журнале политическом *взбивать слова*, чтобы заметать глаза *пеню*, но у нас, где нет политики, из чего пустословить, кривословить? Это глупое ребячество или постыдное унижение. Нет ни одного листка *Journal des Débats*, где не было бы статьи, написанной с бóльшим жаром и с бóльшим красноречием, нежели стихи Пушкина в *Бородинской Годовщине*. Там те же мысли, или то же безмыслие...

И что опять за святотатство сочетать *Бородино с Варшавою*? Россия вопиет против этого беззакония. Хорошо *Инвалиду* сближать эпохи и события в календарских своих калейдоскопах, но Пушкину и Жуковскому кажется бы и стыдно. Одна мысль в обоих стихотворениях показалась мне уместною и кстати. Это мадригал молодому Суворову. Нечего было Суворову вставать из гроба, чтобы благословить страдание Паскевича, которое милостию божиею и без того обойдется. В Паскевиче ничего нет Суворовского, а война наша с Польшею тоже вовсе не Суворовская, но хорошо было дедушке полюбоваться внуком.

После этих стихов не понимаю, почему Пушкину не воспевать Орлова за победы его Старорусские,¹ Нессельроде за подписание мира. Когда решишься быть поэтом *событий*, а не *соображений*, то нечего робеть и жеманиться... Пой, да и только. Смешно, когда Пушкин хвастается, что *мы не сожжем Варшавы их*. И вестимо, потому что после нам пришлось же бы застроить ее. Вы так уже сбились с пахвей в своем патриотическом восторге, что не знаете, на чем решиться: то у вас Варшава — неприятельский город, то наш посад".²

Наконец, в письме Вяземского к самой Е. М. Хитрово — в очень сдержанных и светских выражениях — те же по существу мысли: „Что делается с Петербургом после взятия Варшавы. Во имя бога (если он есть) и человечности (если она есть),

¹ Усмирение бунта военных поселений.

² Полное собрание сочинений кн. П. А. Вяземского, том IX, стр. 155—159.

распространяйте чувства прощения, великодушия, сострадания. Мир жертвам. Право сильного взяло верх. Провидение удовлетворено. Хвала ему, равно и всем, кому должно; но не будем подражать дикарям, которые пляшут и поют вокруг костров своих врагов. Станем снова Европейцами, чтобы искупить стихи, совсем не Европейского рода. Как эти стихи меня огорчили. Власть, общественный порядок должны иногда выполнять печальные, кровавые обязанности. Но у поэта, слава богу, нет обязанности их воспевать. Правительство, подчиняясь слепой и непреклонной необходимости, может подписать смертный приговор племени, так же, как и отдельному лицу, когда они враждебны установленному порядку, неизбежным условиям его существования. Но поэзия не должна быть помощницей необходимости и ей не предназначено вмешиваться в эту прозу действительности. В этом случае в особенности поэт должен сказать вместе с Христом: царство мое не от мира сего. Без этого, почему бы ему не воспевать всякий процесс в уголовном суде, всякий смертный приговор: потому что это тоже — победа, одержанная порядком над началом, его нарушающим, мера, обеспечивающая спокойствие общества, так же, как и взятие города, как и казнь враждебного племени, приговоренного к четвертованию и которого растерзанные члены разбросаны по лобному месту. Все это пусть будет между нами, но я не мог сдержаться, говоря с вами, всю свою скорбь и негодование. Я очень опасаясь, чтобы вы, при вашей пристрастности, не сочли меня неправым в этом вопросе, для вас почти что личном; но я взываю, в защиту от вас самой, к вашему великодушию и уверен в своем оправдании... Нет, — вы можете говорить всё, что вам угодно — не в наше время нужно отправляться искать благородных вдохновений в поэзии штыков и пушек, когда они служат лишь для торжества одной силы, хотя бы и самой законной. Такая поэзия — ужасный анахронизм и унижает самое прекрасное дарование...“ („Русский Архив“ 1895 г., кн. II, стр. 110 — 112).¹

Лица, стоявшие вдали от Пушкина, склонны были видеть в его стихах даже стремление снискать милость и награды пра-

¹ В том же журнале (1879 г., кн. II, стр. 100 — 117) помещены крайне интересные письма Вяземского к А. Я. Булгакову, содержащие ряд суждений его о Польском восстании.

вительства. Так, например, Н. А. Мельгунов писал 21 декабря 1831 года С. П. Шевыреву: „Мне досадно, что ты хвалишь Пушкина за последние его вирши. Он мне так огадился, как человек, что я потерял к нему уважение, даже как к поэту. Ибо одно с другим неразлучно. Я не говорю о Пушкине, творце „Годунова“ и пр., — то был другой Пушкин, то был поэт, подававший великие надежды и старавшийся оправдать их. Теперешний же Пушкин есть человек остановившийся на половине своего поприща и который, вместо того, чтобы смотреть прямо в лицо Аполлону, оглядывается по сторонам и ищет других божеств, для принесения им в жертву своего дара. Упал, упал Пушкин, и, признаюся, мне весьма жаль этого. О, честолюбие и златолюбие“ (А. И. Кирпичников, „Очерки по истории новой русской литературы“, т. II, стр. 169).

Излишне, конечно, говорить о том, насколько ошибочно было это оскорбительное для Пушкина предположение.

По свидетельству А. О. Россет-Смирновой, не вполне впрочем достоверному, Пушкин и Вяземский и впоследствии возвращались еще к спору о мыслях, высказанных в этих стихотворениях, которым долго еще было суждено волновать и разделять ряды его современников и потомков. При этом как то всегда наибольшее внимание уделялось „Клеветникам России“, — вероятно, как стихотворению более сильному, а более слабая „Бородинская годовщина“ оставалась как то в тени.

Что касается самого Пушкина, то он, судя по всему, что мы знаем, никогда и впредь не отказывался от мыслей, высказанных в этих двух стихотворениях, появлению которых, по вполне вероятной догадке П. В. Анненкова, предшествовал длинный обмен мыслей в дружеском кругу, который образовался около Пушкина в Царском-Селе и который состоял почти весь из лиц, приближенных более или менее к императорскому двору, а потому и знавших многие подробности и секреты политики, скрытые еще от глаз толпы („Общественные идеалы Пушкина“ — „Вестник Европы“ 1880 г., июнь, стр. 617). Стихотворение „Клеветникам России“ читалось самим Пушкиным Николаю I и его семье (Сочинения Пушкина под ред. С. А. Венгерова, т. VI, стр. 617), затем, по напечатании, рассылалось знакомым, как это можно судить, например, из письма его к А. О. Россет-Смирновой и к нему от Е. М. Хитрово (в половине сентября 1831 г. — Пере-

писка, т. II, стр. 321, 324). Затем, оба упомянутые стихотворения были включены Пушкиным в издание его сочинений 1832 г.

В 1833 году, работая над статьей о Радищеве, Пушкин в черновике ко II главе, характеризуя Москву, писал: „Ныне нет в Москве мнения [общего], народного; ныне бедствия или слава отечества не отзываются в этом сердце [России]. Грустно было слышать толки Московского общества во время последнего польского возмущения; гадко было видеть бездушных читателей французских газет, улыбающихся при вести о наших неудачах“ (Тетрадь б. Румянцовского Музея № 2384 л. 13₂ — „Русская Старина“ 1884 г., декабрь, стр. 516). Когда, на собрании по поводу годовщины свержения Николая I с польского престола 25 января 1834 года в Брюсселе, Иоахим Лелевель упомянул в своей речи о том, что Пушкин якобы написал две сказочки, направленные против царя, при чем оратор указал на связь этих сказочек с Польским восстанием, Пушкин с негодованием писал графу Григорию Александровичу Строганову: „С грустью испугаю заблуждения моей юности. Кажется, легче перенес бы ссылку в Сибирь, чем это приветствие (l'accolade) Лелевеля“ (Переписка, т. III, стр. 96; „Русский Архив“ 1866 г., ст. 1748; ср. Дневник Пушкина, под ред. Б. Л. Модзалевского, Пгр. 1923, стр. 152 — 154).

К 1831—1834 г.г. относится издателями и черновой набросок: „Ты просвещением свой разум осветил“. Здесь Пушкин с горечью говорит о каком то, оставшемся пока не разгаданным, русском полонофиле, осветившем свой разум просвещением, жарко возлюбившем чужие народы и возненавидевшем свой собственный; пившем здоровье Лелевеля, потиравшим руки от наших неудач, слушавшем с лукавым смехом вести с войны, а после подавления восстания возникнувшем и воздыхавшем, как о Иерусалиме. Эти рваные строки, эти отдельные слова всё еще хранят в себе отголосок былых глубоких волнений, горячих споров, жестоких обид уязвленного национального чувства. Ни забыть, ни простить Пушкин не может, да и не дочет. В 1836 году, среди других анекдотов, Пушкин записывает разговор между Александром I, графом Поццо-ди-Борго и кн. Ковловским по поводу разногласия двух первых в вопросе о восстановлении Польши. Как видим, и дальше мысль Пушкина всё еще продол-

жала работать в этом направлении. Его всё еще живо интересовало всё, так или иначе относящееся к польскому вопросу.

Наконец, 10 ноября 1836 года он письмом благодарил князя Н. Б. Голицына за новый перевод „Клеветникам России“, признавая его наиболее удачным и добавляя: „Почему не перевели вы этих стихов своевременно, я бы отправил их во Францию, чтобы щелкнуть по носу всем этим крикунам из Палаты депутатов“ (Переписка, том III, стр. 406). Таким образом, мы видим, что до последних дней жизни Пушкин оставался в этом вопросе при тех же убеждениях, которые высказал в 1831 году. Эта неизменность станет вполне понятна, если мы проанализируем названные стихи и, сравнив их с приведенными нами выше выдержками из писем и записок Пушкина, убедимся, что они, в сущности говоря, повторяют, с некоторыми поэтическими прикрасами и преувеличениями, те же мысли, которые он высказывал по Польскому вопросу на протяжении всей своей жизни. Пользуясь терминологией П. А. Вяземского, мы смело можем сказать, в противность ему, что в этих стихах Пушкин являлся поэтом не „событий“, а именно „соображений“.

Позднее и сам Вяземский пришел к этому убеждению. По крайней мере, в письме к Булгакову от 9 февраля 1837 года, давая общую характеристику только что скончавшегося Пушкина, он писал: „В польский мятеж мы видим по стихам его, был ли он либерал по отношению к Полякам и к Французам. Эти стихи — не торжественная ода на случай: они изливание чувств задушевных и мнений и убеждений, глубоко вкорененных“ („Русский Архив“ 1879 г., кн. II, стр. 252). Почти то же самое писал он и великому князю Михаилу Павловичу 14 февраля того же года, описывая ему подробно обстоятельства, при которых произошла смерть Пушкина и давая общую характеристику политических воззрений поэта. Наконец, одновременно или почти одновременно с Вяземским, В. А. Жуковский во второй редакции письма своего к графу А. Х. Бенкендорфу писал: „Он (Пушкин) был самый жаркий враг революции польской и в этом отношении, как русский, был почти фанатик“ (П. Е. Щеголев, „Дуэль и смерть Пушкина“, стр. 130).

Мы с осторожностью отнеслись бы к этим официальным заявлениям Вяземского и Жуковского, если бы всё вышеизложенное не приводило нас к убеждению в их правдивости.

Приведем еще один отзыв о стихотворениях Пушкина, посвященных Польскому восстанию, замечательно совпадающий с мыслями самого поэта. Он принадлежит известному немецкому критику и историку литературы Варнгагену-фон-Энзе, помещившему в Берлинском журнале „*Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik*“ за 1838 год статью по поводу вышедшего тогда первого собрания сочинений Пушкина. Здесь, разбирая стихи о Польском восстании, немецкий критик писал: „Поэт (т. е. Пушкин) подчиняет в этих стихотворениях вопрос о сомнительной во всяком случае свободе отдельного племени другому, высшему вопросу — об общем назначении славянских народов. Здесь он весь Русский, пламенеющий за свое отечество, торжествующий победу, требующий покорности, но не в позор и рабство, а в осуществление закона высшей власти, для общей славы и процветания“. И дальше: „Поэт всегда принадлежит своей родине, и когда его соотечественники бьются и проливают свою кровь, он имеет полное право желать им победы и славы“ (Цитируем по переводу М. Н. Каткова — „Отеч. Записки“ 1839 г., кн. III, ч. VIII, Прилож., стр. 55).

В заключение упомянем о том, что в дошедшей до нас части обширной личной библиотеки Пушкина (хранящейся ныне в Пушкинском Доме), среди множества мемуаров и других книг исторического содержания, имеется около двадцати книг, относящихся к истории Польши в разные периоды ее существования. Приведем здесь названия тех из них, которые вышли за время с 1830 года по день смерти Пушкина и нахождение которых в числе приобретенных Пушкиным книг может быть объяснено тем повышенным интересом, который вызвала у него Польша в связи с восстанием 1830—31 гг. Вот эти книги:

14. Бандке, Г. С. „История государства Польского“, С.-Пб. 1830.
62. Васильев, И. „Новейшее историческое, политическое, статистическое и географическое описание Царства Польского“, М. 1831.
196. Коцебу, Август. „Свидригайло, Великий Князь Литовский, или Дополнение к историям Литовской, Российской, Польской и Прусской“, С.-Пб. 1835.

245. Муханов, П. А. „Рукопись Жолкевского (Начало и успех Московской войны в царствование е. в. Короля Сигизмунда III-го...“, М. 1835.
401. Устрялов, Н. Г. „Сказания современников о Димитрии Самозванце“. 5 частей, С.-Пб. 1831—1834.
918. Fletcher. „Histoire de Pologne, Par Fletcher; Traduite de l'anglais, et continuée depuis la Révolution de Novembre 1830, jusqu'à la Prise de Varsovie et la Fin de la Guerre, avec une Carte coloriée et quatre Portraits“; Par Alphonse Viollet, Paris. 1832.
961. Gurowski, Adam, comte. „La vérité sur la Russie et sur la révolte des Provinces Polonaises“. Par Adam comte, Gurowski, Paris. 1834.
1096. Lettre au Principal Redacteur du „Journal des Débats“, en réponse aux articles publiés par ce Journal, sur le discours de l'Empereur de Russie à la députation de Varsovie. S. l. et a. (Оттиск из журнала; 1835 г.)
1276. Potocki, Arthur, comte. „Fragmens de l'Histoire de Pologne. Marina Mniszech“, par M. le Comte Arthur Potocki. 1-re livraison, Paris. 1830.
1350. Salvandy, Narcisse-Achille. „Histoire de Pologne avant et sous le Roi Jean Sobieski“. Par N.-A. de Salvandy. Seconde Edition, Paris. MDCCCXXX.
1358. Schnitzler, Jean-Henri. „La Pologne et la Russie“. Par M. J.-H. Schnitzler, Auteur de l'Essai d'une Statistique générale de l'Empire de Russie, Paris. 1831.
1359. Schnitzler, Jean-Henri. „La Russie, la Pologne et la Finlande. Tableau statistique, géographique et historique de toutes les Parties de la Monarchie Russe, prises solémen^t. Par J.-H. Snitzler, Paris. 1835.

Кроме перечисленных книг, к истории Польши относятся номера 151, 166, 208, 304, 1337, 1397 и 1435 (нумерация приводится по работе Б. Л. Модзалевского „Библиотека А. С. Пушкина“, С.-Пб. 1910).

МИХАИЛ БЕЛЯЕВ.

Французские дела 1830—31 г.

Une révolution s'est faite en France; dans son origine elle date de loin; de politique qu'elle fut d'abord, elle menace ou elle promet de devenir sociale suivant les vœux diversement exprimés.

Kératry. 1832.

Краткие замечания Пушкина об Июльской революции не могут быть разъяснены комментарием, останавливающимся исключительно на фактах, непосредственно упоминаемых Пушкиным. Изолированные, выхваченные из окружения факты не уяснят нам точного смысла Пушкинских суждений, тем более, что Пушкин по большей части имеет в виду не отдельные события, а общую ситуацию. Только уяснив общественно-политическую обстановку первого года Июльской монархии, мы сможем понять эти сжатые замечания. Таким образом, в настоящем комментарии приходилось постоянно отходить в сторону от непосредственно упоминаемых Пушкиным фактов, дабы характеризовать весь комплекс событий, всю обстановку политической борьбы и определявших ее социальных сил. При этом изложение дается по показаниям современников, в той интерпретации, с тем освещением, с каким сведения доходили до Пушкина. В первую очередь источником были газеты и журналы, по которым Пушкин следил за Европейскими событиями (см. в конце статьи обозрение этих газет). Затем привлечены в качестве материалов французские политические брошюры, вышедшие в большом количестве в это время и имевшие не меньшую политическую роль, чем газеты. Так как Пушкину могли быть доступны и сведения, не отразившиеся своевременно в печати, то для комментария использованы отчасти воспомина-

ния и записки современников. В подборе фактов в первую очередь освещались события, непосредственно связанные с высказываниями Пушкина или почему-либо представлявшие для него особенный интерес (напр., отношение Июльской монархии к России), и затем те, без которых разрушилась бы связность излагаемых событий, и которые необходимы для воссоздания политической атмосферы, на которую в целом реагировал Пушкин в своих письмах, факты, характеризующие эпоху в тех отношениях, в которых ее касался Пушкин. В заключение сделана общая оценка политических взглядов Пушкина, поскольку они проявились в его отзывах на события Июльской революции.

Непосредственным поводом к революционным движениям, прокатившимся широкой волной по всей Европе в 1830 г., являлась политика Французского короля Карла X и его последнего кабинета министров, руководимого графом Полиньяком (сменившим умеренно-либерального Мартиньяка 8 августа 1829 г.). Несмотря на то, что Палата Депутатов, созванная весной 1830 г., была избрана на основании весьма стеснительного избирательного закона, ультра-роялистическая и клерикальная политика Полиньяка встретила в этой Палате оппозиционное большинство. Конфликт был неизбежен. Пушкин, внимательно следивший за Европейской политикой, отмечал в письме к Вяземскому 2 (14) мая 1830 г., как гипотетический образец типичного газетного политического известия, следующее: „Камера Депутатов закрыта до сентября“. Это „известие“ было тогда еще преждевременно, но вся обстановка подготавливала подобную развязку. Она наступила в связи с выработанным Палатой адресом королю в ответ на тронную речь. Оппозиционный адрес, которым Палата отказывала в своем сотрудничестве с правительством, был принят большинством 221 голоса против 181. В ответ на этот адрес король распустил Палату приказом 16 мая с назначением срока нового созыва на 3 августа. Но оппозиция Палаты располагала большею частью французской прессы. Законы, введенные умеренным министерством Мартиньяка после падения первого реакционного министерства Карла X (Виллеля) в 1827 г., обеспечивали печати относительную свободу, которая широко была использована при выборах. Лозунг перевыбора „221“, проведенный в избирательной кампании оппозиционной прессой, дал на новых выборах еще более

значительный перевес оппозиции. В начале июля выборы почти закончились и состав будущей Палаты определен. Тогда на совещании 9 июля король и министерство Полиньяка решились на нарушение конституционной хартии. 21 июля „Le National“, а вслед за ним 22 июля „Le Globe“ сообщали о готовящемся *coup d'état* и излагали содержание приготовлявшихся актов. Другие газеты потребовали, чтобы министерство опровергло слухи. Но вместо этого в „Le Moniteur Universel“ 26 июля 1830 г. был напечатан доклад министров королю, направленный против оппозиционной прессы; за этим докладом следовали 6 королевских ордонансов. Именно эти 6 ордонансов Пушкин, в пародической форме, упоминает в своем письме от 21 августа 1830 г.¹

¹ Первые известия о революции Пушкин получил, еще находясь в Петербурге, откуда он выехал в Москву 10 (22) августа. Очевидно, информацию о событиях Пушкин получал также от Е. М. Хитрово. А. И. Дельвиг в своих Воспоминаниях пишет: „Лето 1830 г. Дельвиги жили на берегу Невы, у самого Крестовского перевоза. У них было постоянно много посетителей. Французская Июльская революция тогда всех занимала, а так как о ней ничего не печатали, то единственным средством узнать что-либо было посещение знати. Пушкин, большой охотник до этих посещений, но постоянно от них удерживаемый Дельвигом, которого он во многом слушался, получил по вышеозначенной причине дозволение посещать знать хотя ежедневно и привозить вести о ходе дел в Париже. Нечего и говорить, что Пушкин пользовался этим дозволением и был постоянно весел, как говорят, в своей тарелке. Посетивши те дома, где могли знать о ходе означенных дел, он почти каждый день бывал у Дельвигов, у которых проводил по несколько часов“ (А. И. Дельвиг, „Мои воспоминания“, т. I, стр. 107). Но Петербургская информация ограничилась за отъездом Пушкина, лишь первыми днями революции. Дальнейшие известия о революции Пушкин получал уже в Москве, находясь среди „орангутангов“ Английского Клуба, который „постановил, что кн. Дм. Голицын не прав, запретив ордонансом игру в экарта“. Это отношение к политическим разговорам в Английском Клубе Пушкин около этого времени выразил и в одной из строф Путешествия Онегина:

В палате Английского Клуба
(Народных заседаний проба)
Безмолвно в думу погружен
О кашах пренья слышит он.

Чтобы узнать, какими сведениями располагал Пушкин в тот или другой момент, следует принять во внимание, что нормально почта шла из Парижа в Петербург морским путем 11 дней. От Петербурга до Москвы письма шли 2—3 дня. Таким образом через Хитрово Пушкин мог получать французские газеты с опозданием недели на две. Впрочем, возможно, что Хитрово пользовалась дипломатической почтой, которая шла несколько скорее. О времени, когда в Москву пришли известия об Июльской революции, мы узнаем из писем

Первый ордонанс гласил: „Свобода периодической печати отменяется“. Это разъяснялось дальнейшими пунктами. Второй ордонанс начинался словами: „Палата Депутатов от департаментов¹ распущена“; третий ордонанс вносил изменения в избирательный закон, четвертый назначал созыв новых Палат на 28 сентября; два последних ордонанса заключали назначения крайних реакционеров, устраненных в свое время от дел в виду полной неконституционности их убеждений. Издание подобных ордонансов, распускавших еще не собравшуюся Палату, изменявших избирательные законы и законы о печати, мотивировалось пунктом 14 конституционной Хартии (октроированной Людовиком XVIII в 1814 г. при реставрации Бурбонов), предоставлявшим королю право издания ордонансов для государственной безопасности в особых случаях. В данном случае этот пункт получил распространительное и противоконституционное толкование. Возможно, что Карл X не решился бы на этот рискованный шаг, но здесь, с одной стороны, был расчет на военный угар, который замечался в эти дни под влиянием известий о победах французских войск в Алжире, с другой стороны, — он действовал под фанатическим влиянием Полиньяка, который видел в реакционной политике религиозную миссию. Духовенство во главе с архиепископом также внушало королю противоконституционную, реакционную политику.

Карл X настолько беспечно относился к событиям, что проводил эти дни в Сен-Клу, продолжая приемы (так в день восстания 27 июля им был принят русский гравер Уткин) и выезжая на охоту, при чем официальная пресса извещала об этом страну. Эта охота короля в минуты, когда решалась судьба ди-

Булгакова к брату, помещенных в „Русском Архиве“ 1902 г., № 12. Под датой 4 августа он пишет: „Здесь в субботу ввечеру уже говорили о возмущении в Париже. Король бежал и королевство предложено герцогу Орлеанскому“. Очевидно, дошли сведения от 30—31 июля. От 31 июля нового стиля до 2(14) августа (субботы) старого стиля ровно две недели. Далее, 11 августа, ст. ст. в Москве были газеты от 2 августа нов. ст., т. е. с опозданием на 21 день. Только 18 августа дошла речь Шатобряна, напечатанная во французских газетах 8 августа („Journal des Débats“), т. е. через 24 дня. В виду цензурного запрета (см. ниже), эти газеты были достоянием немногих; прочие узнавали о событиях с большим запозданием и преимущественно по информации немецких газет.

¹ Так называлась Палата Депутатов до Июльской революции. В новой редакции конституционной Хартии слова „от департаментов“ были исключены.

насти, послужила потом неистощимой темой для газетной юмористики и каламбуров (основанных преимущественно на двух значениях глагола *chasser* — охотиться и прогонять. См., напр., „*Le chasseur chassé ou une soirée à Rambouillet; pot-pourri politico-sentimental, suivi d'un chant patriotique, par Jules Mellier*“, Août 1830).

Первыми выступили журналисты; 26 июля представителями 11 оппозиционных органов был средактирован протест против ордонансов. Этот протест появился в газетах „*Le Temps*“ и „*Le National*“.¹ Наиболее видная газета оппозиции „*Le Globe*“ сопровождала текст ордонансов (в № от 27 июля) негодующим комментарием, начинавшимся словами: „*Le crime est consommé*“ („Преступление исчерпано“). На следующий день газеты не вышли, кроме „*Moniteur*’а“, содержавшего полицейские распоряжения, направленные против печати. Содержатели типографий распустили рабочих под тем предлогом, что при новых условиях книжное дело не может продолжаться. Сделано это было согласованно — с ясной целью использовать безработные кадры в качестве революционной силы. Большая часть рабочих служила в армиях революции и Наполеона и была готова к боевым выступлениям. На улицах Парижа началась борьба. Первые стычки начались около 4 часов пополудни во вторник, 27 июля, на улице *Saint-Honoré* около Пале-Рояля (дворец герцога Орлеанского, в котором часть помещений была сдана под магазины и под игорный дом; толпа собралась около книжного магазина, в витрине которого были выставлены оппозиционные плакаты). Весь день 28-го шла ожесточенная борьба на баррикадах, без явного перевеса в ту или другую сторону.²

¹ Протест содержал в себе юридическое обоснование незаконности ордонансов, заявление о том, что газеты будут выходить вопреки распоряжениям власти, и призыв к депутатам не подчиняться ордонансам; заключался он словами: „Правительство сегодня потеряло характер законности, которую обуславливается повиновение“.

² Главным материалом баррикад были выломанные из мостовой булыжники. Эти булыжники, как орудие восстания, были в свое время популярны. Они фигурируют в современных изображениях „эпизодов Июльских дней“. Позже, когда возник проект об уничтожении булыжных мостовых и замены их „макадамом“, левые запротестовали, увидя в этом попытку „разоружения народа“. Именно на эти булыжники намекал Пушкин в черновике главы „Шоссе“ „Мыслей на дороге“, где писал, что Бурбоны были выгнаны камнями.

Против восставших действовала преимущественно швейцарская гвардия. Регулярные войска сражались неохотно, отчасти переходили на сторону восстания и позволяли толпе себя разоружать. Так же неохотно сражались жандармы.¹ Ряды восставших состояли, главным образом, из рабочих, которых внезапная безработица, вследствие закрытия крупных предприятий, выкинула на улицу.²

К ним стала присоединяться буржуазная „национальная гвардия“, распущенная в 1827 г. Карлом X за оппозиционные крики, раздавшиеся в ее рядах во время одного из смотров. Организацию военной стороны восстания, впрочем протекавшего стихийно, взяли в свои руки многочисленные карбонарии. Деятельное участие приняли студенты Политехнической Школы, в руки которых перешло командование над восставшими. На третий день перевес оказался на стороне восставших. Королевские войска были выведены за пределы Парижа. Была окончательно взята Городская Дума (Hôtel-de-Ville), ставшая револю-

¹ Очевидно именно поведение войска в Июльские дни 1830 г. разумел Пушкин, когда писал в „Мыслях на дороге“: „Конскрипция, по кратковременности службы, в течение 15 лет делает из всего народа одних солдат. В случае народных мятежей мещане бьются как солдаты, солдаты плачут и толкуют как мещане, обнимаются и обращаются против правительства. Обе стороны одна с другой тесно связаны“ („Городня“).

² Организация искусственной безработицы с целью муссирования восстания, понятно, замалчивалась позднее официальными хроникерами Июльских событий. Однако, этот факт единодушно отмечается в мемуарах того времени. Этому вопросу посвящена статья Paul Mantoux: „Patrons et ouvriers en Juillet 1830“, — „Revue d'Histoire Moderne“, 1901, t. III, pp. 291—296. В Июльские дни об этом писали роялистские газеты, например, „La Quotidienne“ (см. № от 28 июля). Как об общеизвестном факте, об этом писал Фьева в брошюре „Causes et conséquences des événements du mois de juillet 1830“: промышленники „выставили 50 тысяч вооруженного народа единым актом своей воли. Они закрыли мастерские, хорошо зная, каков будет результат этой меры, которая — они не сомневались — будет понята рабочими“. „Закрытие мастерских разрешало вопрос скоро, наверняка в пользу тех, кого побуждали вооружиться“. (См. статью Сент-Бёва из „Le Globe“ 30 августа 1830 г., перепечатанную в „Premiers lundis“, где это место цитируется). Ср. также „Histoire de dix ans“ Луи Блана, где этот факт отмечается. Общей характеристике рабочего движения за 1830—34 гг. посвящена книга О. Festy: „Le mouvement ouvrier au début de la monarchie de Juillet“, 1908. Насколько в эти годы считалось нормальным, чтобы промышленник располагал своими рабочими, как революционной силой, показывает сюжет пьесы Скриба „Bertrand et Raton“, 1833, о которой упоминает Пушкин в своем дневнике в феврале 1835 г.

ционним центром. Затем восставшими были заняты королевские дворцы Лувр и Тюильри, разгромлена резиденция архиепископа. Победа осталась за революцией.

Народные массы, победившие в уличной борьбе, были политически неорганизованы. Первые дни лозунгом борьбы было: „да здравствует Хартия“, ибо нарушение ее королем явилось сигналом к восстанию. На следующий день этот лозунг сменился другим: „долой Бурбонов“. Революционное напряжение росло, но не выливалось ни в какую политическую программу, выражаясь лишь в таких действиях, как истребление герба Бурбонов (геральдические лилии) и королевского белого знамени и водружение знамени трехцветного — символа революционной Франции. Трехцветная кокарда была внешним знаком восставших. Старые *carbonari*, руководившие движением, знали лишь тактику восстания, но не представляли себе ясно поведения после победы.

После занятия Думы 29 июля здесь образовался как бы главный штаб восстания. Во главе революционных отрядов стал республиканец Лафайет,¹ революционная деятельность которого в прошлом — в войне за независимость Америки и в Великую Французскую Революцию 1789 года — делала имя его чрезвычайно популярным среди восставших. Однако, Лафайет, несмотря на свои республиканские убеждения и революционные воспоминания, не имел точной программы ближайших действий и ограничивался организацией военных сил восстания, т. е. в первую очередь национальной гвардии.

Представители крайних левых течений — республиканцы — опасались взять в свои руки организацию новой революционной власти. Слишком скорая победа революции внушала опасения, что революционные лозунги не найдут широкого отклика. Учитывая, что состояние восстания воспитывает народные массы, приближая их к политическим идеалам республики, левые партии стремились затянуть это состояние и не спешили

¹ Генерал Лафайет, по происхождению маркиз, родился в 1757 г. В 1776 г. отправился в Америку на снаряженном на собственные средства корабле и принял деятельное участие, в федеральной армии, в борьбе английских колоний за независимость. Был членом *Assemblée Nationale*, а с 15 июля 1789 г. командующим национальной гвардией. В 1792 г. бежал во Фландрию и находился 5 лет в австрийском плену. После реставрации был депутатом оппозиции. Умер 20 мая 1834 г.

с организацией власти. Правда, были вывешены плакаты, призывавшие к провозглашению республики с временным президентом Лафайетом во главе, но никаких шагов к реальному провозглашению сделано не было, отчасти вследствие колебаний Лафайета, боявшегося принять на себя всю ответственность.

Инициатива организации власти шла со стороны умеренных депутатов левого крыла Палаты, находившихся в этот момент в Париже. Эти депутаты, в количестве 63, собрались в среду, 28 числа, в доме Пюираво, где выработали текст протеста. Настроение было крайне умеренное. Когда более решительный Могэн произнес слово „революция“, то многие депутаты стали грозить уходом с собрания. Но 29-го, когда победа революции выяснилась, депутаты выделили из своего состава „муниципальную комиссию“ из 5 человек (Пюираво и Могэн — от крайней левой, Шонен — центр, Лабо и Казимир Перье — правое крыло либералов).¹ Комиссия эта направилась в Думу; с этого момента она находилась под непосредственным влиянием окружавших ее в Думе людей и приняла линию поведения значительно более революционную, нежели это следовало из убеждения составлявших ее лиц. В качестве секретаря в эту комиссию был приглашен радикальный адвокат Одилон Барро, вскоре получивший назначение префекта Департамента Сены.

Выделив из своего состава муниципальную комиссию, депутаты тем самым лишили себя дальнейшего влияния на политические события. В этот момент и выступили Тьер и Минье с подготовкой возведения на престол герцога Орлеанского. Еще до *coup d'état* они проповедывали идею повторения во Франции английской революции 1688 года — „смены лиц, но не вещей“. Эту идею они решили осуществить, произведя смену династии с сохранением строя. Утром 30 июля ими были вывешены афиши следующего содержания: „Карл X не может более оставаться в Париже: он пролил народную кровь. Республика повлечет за собою ужасный раскол в наших рядах; она рассорит нас с Европой. Герцог Орлеанский предан делу революции. Герцог Орлеанский никогда не сражался против нас. Герцог Орлеанский был при Жеммапе. Герцог Орлеанский

¹ Кроме этих лиц в комиссию были кооптированы генерал Жерар, Лафит и Одье. Первый день комиссия именовала себя „временным правительством“ (см. „*Moniteur*“ № 210 и 211, 29 и 30 июля).

в бою носил национальные цвета. Только герцог Орлеанский снова может их носить. Мы не хотим других цветов. Герцог Орлеанский согласился — он принимает Хартию, какую мы всегда требовали. Свою корону он получит от французского народа“.¹ Эти афиши были сорваны со стен по распоряжению Муниципальной Комиссии, ибо в Думе возобладало направление, требовавшее пересмотра конституции. Говорить при таких условиях о кандидатах на Французский престол не представлялось возможным. Однако, в среде депутатов эти афиши произвели большое впечатление. Правое крыло оппозиции не теряло надежды на мирный исход переговоров с Карлом X. Попытка переговоров была сделана Казимиром Перье, отправившимся с группой депутатов к командующему королевскими войсками герцогу Рагузскому (Мармону) еще 28-го, во время уличных боев. Упрямый фанатизм Полиньяка прервал эти переговоры. Но после своего поражения Карл X новым ордонансом 29 июля объявил отмененными ордонансы 25 июля, назначил новое Министерство под председательством герцога Мортемара, французского посла при Русском дворе, находившегося в это время в Сен-Клу и сльвшего за либерала.² В это Министерство должны были войти, в качестве министров, генерал Жерар и Казимир Перье. Но Жерар в это время уже командовал революционными войсками (теми линейными полками, которые перешли на сторону Парижа), а Казимир Перье был членом временного правительства. Герцог Мортемар прибыл в Париж с целью опубликовать эти ордонансы и вернуть власть Карлу X. Таким образом, казалось, королем были сделаны все возможные уступки. Были

¹ Эти афиши были вывешены без согласия герцога Орлеанского. Тьер брал на себя ответственность за его согласие. Однако, предусматривая возможность неудачи в переговорах с герцогом, на последних экземплярах афиши Тьер напечатал вместо заключительной фразы следующую: „Герцог Орлеанский еще не высказался, он ждет нашего желания. Произнесем это желание и он примет Хартию, какую мы всегда требовали“. Текст афиши фигурировал в большинстве брошюр, вышедших в начале августа, то в той, то в другой редакции.

² История неудачной попытки создать министерство Мортемара рассказана секретарем последнего. См. „Mémoires pour servir à l'histoire de la révolution de 1830 publiés par M. Alex. Mazas. Mission le M. de duc de Mortemart pendant la semaine de juillet“, Paris. 1832. Очевидно, Пушкин в особенности намекал на роль Мортемара в Июльской революции, сопровождая его имя (в письме от 9 февраля 1831 г.) эпитетом „исторического человека“.

некоторые шансы на то, что миссию свою Мортемар исполнит и Карл X останется на престоле. Правда, Мортемар был плохо встречен. Ему пришлось скрываться в Палате Пэров (в Люксембургском дворце) и вести переговоры через третьих лиц, которые везде получали один ответ: „Слишком поздно“. Но возможность возврата короля уже поколебала шансы республиканцев. Кроме того, организация буржуазной национальной гвардии ставила во главе вооруженных сил революции силу весьма мало склонную к провозглашению республики и весьма умеренную в своей политической программе. Естественно, что лица, колебавшиеся между республикой и королевской властью, примкнули к идее возведения на престол герцога Орлеанского во избежание торжества Карла X. Обратно — роялисты, видя неудачу Карла X, надеялись найти в Луи-Филиппе средство не допустить республики. Герцог Орлеанский был компромиссом между республикой и легитимизмом. На своем заседании 30 июля депутаты склонились на сторону орлеанистов. Но о королевском престоле говорить еще было несвоевременно. Как политическая комбинация, была выдвинута идея „наместничества“, и депутаты составили следующий акт: „Собрание Депутатов, находящихся в Париже, считает необходимым призвать Е. В. герцога Орлеанского в Столицу для исполнения обязанностей наместника королевства (lieutenant-général du Royaume) и выразить ему желание сохранить национальные цвета. Собрание кроме того считает неотложной задачей обеспечить Франции, в ближайшую сессию Палат, все необходимые гарантии к полному и точному соблюдению Хартии“. Акт этот Депутатами был согласован с Палатой Пэров, которая окончательно растерялась и утратила всякое влияние в эти дни. Представитель Муниципальной Комиссии депутат Шонен (Schopen) присоединил к своей подписи под этим актом особое мнение: „Национальные цвета, вновь взятые народом в бою, должны быть сохранены. Хартия должна быть пересмотрена. Вот желание французского народа, которое мне поручено выразить“.¹

¹ Факсимиле этого документа приложено к книге маркиза Flers: „Le roi Louis-Philippe, vie anécdotique“, Paris, Dentu, 1891. Текст, появившийся в газетах, имеет еще одну заключительную фразу: „Перед тем как разойтись, депутаты голосовали помилование Парижского населения“. Особое мнение Шонена не было опубликовано (см. „Courrier Français“ 31 июля 1830 г.).

На документ этот был наложен запрет Муниципальной Комиссией, которая соглашалась на приглашение герцога Орлеанского лишь при условии гарантий, обеспечивающих принцип *самодержавия народа*: пересмотра конституции народными представителями, изменения избирательного закона и т. д. На платформе этой согласились и республиканцы. Вечером 30-го были посланы депутаты к Луи-Филиппу, который скрывался во время восстания. Ночью он прибыл в Париж в свой дворец (Palais Royal). По слухам, упорно циркулировавшим в эти дни, он поспешил немедленно снестись с одной стороны со своим другом Талейраном,¹ с другой стороны с Мортемаром. Он еще колебался между короной и легитимизмом. Но на следующий день он решился. Агенты орлеанизма продолжали пропаганду. Так, наскоро были вывешены афиши, заявлявшие, что герцог Орлеанский не Бурбон, а Валуа. Республиканцы ответили на эту афишу точной генеалогией Орлеанской линии, но успели это сделать лишь тогда, когда всё уже было кончено. По улицам была расклеена его прокламация к гражданам, заканчивавшаяся словами: „Хартия отныне будет истиной“.²

Декларация эта была встречена населением недружелюбно. Несмотря на приглашение герцога, никто из лиц, заседавших в Думе, к нему в Палерояль не явился. Тогда, переговорив с депутатами и прочтя им свою декларацию, герцог Орлеанский верхом, в сопровождении делегации депутатов, двинулся к Думе, так как только Дума — верховная власть революции — могла санкционировать в эти дни организацию государственной власти. По дороге его некоторые приветствовали, некоторые встречали криками „долой Бурбонов“. Чем ближе к Думе, тем враждебнее раздавались крики... В Думе никто не встретил его; когда же он вошел в залу, то слышались даже протесты. Но здесь он заговорил, вспомнил про своего отца Филиппа Эга-

¹ См. Odilon Barrot: „Mémoires posthumes“, tome premier. Кабе прямо называет Талейрана „душой и головой Орлеанского заговора“ („Révolution de 1830 et situation présente“).

² „La Charte sera désormais une vérité“. Муниципальная Комиссия, помня требования о пересмотре конституции, убоилась этого принципа сохранения старой Хартии, и в „Монитёре“ текст прокламации был слегка изменен: „Une charte sera désormais une vérité“, что, впрочем, на следующий день было исправлено как „опечатка“. См. по этому поводу ниже приведенные передовицы из „Le Temps“.

лите, вспомнил о своем революционном прошлом, о своем участии в революционных войнах, в боях при Жеммап и Вальми, о своем состоянии в национальной гвардии. Наконец, он схватил трехцветное знамя, взял под руку Лафайета и вышел на балкон. Либеральный депутат Вьенне здесь же прочел прокламацию депутатов, включавшую в себя и прокламацию герцога. Толпа приветствовала этот выход. (Отмечу, впрочем, что описания встречи герцога Орлеанского в Думе чрезвычайно разноречивы.) Судьба верховной власти была решена. Возвращение герцога в Палероаль было триумфальным.

Герцог Орлеанский родился 6 октября 1773 г. Отец его дал ему либерально-литературное воспитание. Первым его гувернером был поэт шевалье де Бонар, после которого его воспитанием занялась г-жа Жанлис,¹ в эту эпоху поклонница воспитательных идей Ж. Ж. Руссо. После 1789 г. он принял деятельное участие в Революции вплоть до вхождения в якобинские клубы. Будучи офицером, он отправился на фронт, где сражался в революционных войсках у Вальми и позже под начальством Дюмурье — при Жеммапе. В 1793 г. эмигрировал из Франции, стараясь, впрочем, удалиться от крайней реакционной партии эмиграции. Во время эмиграции он жил в Швеции, в Америке и в Англии. В политических комбинациях эпохи падения Наполеона его имя фигурировало в числе кандидатов во французские короли. После реставрации Бурбонов он вернулся в Париж

¹ Г-жа Жанлис (род. 25 января 1746 г.), известная писательница в области детской и педагогической литературы, еще успела видеть торжество своего воспитанника. К коронованию Луи Филиппа она отнеслась с большим недоверием, так как отрицала за своим воспитанником всякие государственные способности (см. Jean Hertmand: „Madame de Genlis, sa vie intime et politique 1746—1830“, Paris. 1912). Она умерла 31 декабря 1830 г., проведя последние годы в благочестии и в обильных литературных занятиях, оставив после себя, по ироническому замечанию „Revue de Paris“, неисчислимое количество неизданных произведений. Последние годы она печатала свои мемуары, проникнутые ненавистью к французской философии и революции. Эти мемуары подвергались осмеянию в либеральном „Le Globe“, особенно в статьях Сент-Бёва (см. „Le Globe“ от 2 и 5 апреля и 21 мая 1825 года). Пушкин относился к Жанлис весьма отрицательно, относя ее к разряду „бездарных писак“. Упоминает он „последнюю Жанлис“ в письме брату от апреля 1825 г., подразумевая здесь, вероятно, ее мемуары. Ср. упоминания ее имени в стих. „К сестре“ 1814 и „На Кишиневских дам“ 1821 г.

в свой фамильный дворец Пале Рояль, придерживаясь верно-подданнической линии поведения как при Людовике XVIII, так и при Карле X. Чтобы сохранить нейтралитет во время Июльских волнений, герцог Орлеанский 30 июля скрылся в Raincy; местопребывание его было известно только семье. Получив сведения, ему благоприятствовавшие, он решительно вмешался в события с определенной целью захватить королевский трон. Пост „наместника“, который он занял 31 июля, был первым, но верным шагом к трону. На следующий день он получил от Карла X ордонанс, также назначавший его наместником королевства. У него хватило смелости после некоторых колебаний отказаться от этого назначения и заявить посланному, что это звание он уже получил от депутатов.

Роль республиканцев в организации Июльской монархии и дальнейшие судьбы республиканизма Пушкин отмечает в письмах 21 августа 1830 г. и 21 января 1831 г. Здесь следует в первую очередь принять во внимание участие в событиях республиканца Лафайета и его политическую программу.

Вскоре после признания Луи-Филиппа со стороны революции, Лафайет имел с ним разговор о гарантиях. „Французскому народу необходим в настоящее время народный трон, окруженный республиканскими учреждениями“ („un trône populaire entouré d'institutions républicaines“),—заявил Лафайет.—„Таково именно мое мнение“, отвечал Луи-Филипп. Эта формула впоследствии выдвигалась, как „программа Думы“. Правительство от этой программы отклонилось через полгода после коронации Луи-Филиппа.

С момента организации наместничества Муниципальная Комиссия свертывает свои работы, уступая первую роль „наместнику“ и Палате. Последними значительными актами ее были: объявление низложенным Карла X и назначение временного правительства под председательством Гизо. ¶

Тем временем Карл X переправился из Сен-Клу в Рамбулье. Здесь, видя, что дело его потеряно окончательно, он отрекся от престола в пользу своего внука — герцога Бордосского (тогда еще бывшего 10-летним мальчиком; впоследствии он был известен под именем графа Шамбора), которого и предлагал короновать под именем Генриха V. Отречение свое он переслал для исполнения „наместнику“. Луи-Филипп решительно уклонился

от провозглашения Генриха V, но этим актом всё же Карл X увеличил шансы легитимистского исхода.

При таких условиях открылись заседания Палаты Депутатов 3 августа, при чем наместник произнес весьма сдержанную речь. Умеренно либеральное большинство Палаты стремилось с одной стороны уклониться от легитимистского решения вопроса, с другой стороны — скорее ликвидировать революцию, сохранив, по возможности, старый порядок. Так родилось направление „золотой середины“ („*juste milieu*“), в которое влилось направление так называемого „доктринаризма“ Реставрации.¹ Эта партия победила и впоследствии определила умеренно-консервативную („квази-легитимистскую“) политику Июльской монархии. Наскоро была пересмотрена конституционная Хартия 1814 года, из которой были устраниены элементы, обличавшие ее происхождение, и изменены пункты, затронутые ордонансами 25 июля: пункт 14, пункт о свободе прессы, пункт, провозглашавший католичество государственной религией (и тем окончательно порвано с феодальным клерикализмом монархии Карла X), понижен возрастной ценз для депутатов с 40 до 30 лет, избирателей с 30 до 25 лет, уничтожен двойной вотум, изменен самый королевский титул: „король французов“ вместо „король Франции“. Престол был объявлен вакантным, а Луи-Филипп приглашался к его замещению, при условии присяги новой Хартии.

Обсуждение всех этих вопросов происходило стремительно: 7 августа днем прения были закончены, о чем и доведено до сведения герцога Орлеанского. Среди произнесенных по этому поводу приветствий особенно памятли слова Лафайета, ярко подчеркивавшие факт участия республиканцев в организации новой монархии: „Мы сделали хорошее дело; вы — государь, какой нам нужен; это — лучшая из республик“ („*la meilleure des républiques*“). Эти слова были сказаны Лафайетом Луи-Филиппу на балконе Пале Рояля перед приветствовавшей их толпой и некоторое время являлись популярной формулиров-

¹ Политическому учению доктринаризма (до 1820 года) посвящена глава в детальном труде В. А. Бутенко: „Либеральная партия во Франции в эпоху Реставрации“, С.-Пб. 1913 (см. стр. 323—363). Взгляды доктринеров, в частности их лидера *Royer-Collard'a*, — весьма близки к политическим высказываниям Пушкина, что необходимо учитывать при оценке Пушкинских суждений о французских политических событиях.

кой союза, заключенного республиканцами с монархией Луи-Филиппа.¹

Через 2 дня Луи-Филипп принес присягу в верности Хартии и был окончательно провозглашен королем (на заседании Палаты 9 августа). „Journal des Débats“ 9 августа начинал передовицу своими словами: „La révolution de 1830 est consommée“.² В ближайшие же дни престол начал окружаться искателями карьеры; в „Revue de Paris“ 15 августа писали: „Ожесточенная погоня за должностями стала ныне эпидемией“. Через месяц Барбье заклеил это же явление в ямбах „La Curée“ (напечатано 22 сентября 1830 г. в „Revue de Paris“).³ Возможно, что фраза Пушкина о „камергерах и пенсиях“ имеет в виду первые сведения об этой „эпидемии“. Возможно, что Пушкин даже предугадал это на основании опыта прежних смен правительства во Франции.

Характерной особенностью Июльской революции является то, что король был возведен на престол усилиями республиканцев, что, как уже отмечалось, и является основным утверждением Пушкинского письма от 21 августа 1830 года. Об этом пишет современный нам историк Июльской монархии: „Немедленное принятие республиканской формы не было объектом желаний республиканцев накануне революции. Они прежде всего стремились ввести в учреждения некоторые реформы, сделать режим республиканским, и они готовы были принять монархию при условии, чтобы она удовлетворяла их политическим и социальным стремлениям. Так „Трибуна“, напоминая, что, „несмотря на ее чувства и стремления, несмотря на ее идеи самодержавия

¹ Эта фраза напечатана в „Moniteur“ 8 августа 1830 г. и до конца 1830 г. являлась почти официальным лозунгом монархии (она печаталась в заголовке официозной газеты „La garde nationale“, издававшейся с 9 октября до 4 декабря). После разгрома революционного движения правительством Луи-Филиппа, республиканцы поспешили опровергнуть подлинность этих слов (см. брошюру Кабе: „Révolution de 1830 et situation présente“, напечатанную в мае 1833 г.). Под их влиянием и Лафайет отрекся от своих слов в своей речи в Палате Депутатов 3 января 1834 г. Судьба этой фразы символизирует судьбу участия республиканцев в деле создания Июльской монархии.

² Очевидно эту фразу Saint Marc de Girardin'a пародирует Пушкин в конце письма 21 августа 1830 года.

³ См. русский перевод этого весьма замечательного для эпохи произведения в книге: „Огюст Барбье. Ямбы и Поэмы“. Редакция, вступительная статья и примечания М. П. Алексеева, Одесса. МСМXXII.

народа, она не произнесла ни разу слова „Республика“, опасаясь, что это слово вызовет в стране волнения“, — заявляет, что она доверяет королю и предостерегает его против Палаты“.¹ (I. Tchernoff, „Le parti républicain sous la monarchie de Juillet“ 1905).

Среди этих республиканцев, содействовавших Луи-Филиппу, находился и Беранже. Позже он писал своим друзьям (19 августа 1838 г.): „Будучи республиканцем, я содействовал, как только мог, герцогу Орлеанскому. Это даже оттолкнуло от меня некоторых моих друзей...“ (см. P. Thureau-Dangin: „Histoire de la Monarchie de Juillet“, Т. I, Paris. 1884). Вскоре после революции Беранже говорил Лафиту (30 августа): „Вы хотите всучить нам вашего республиканского короля, ну и пожалуйста. Лучше этот, чем кто-нибудь иной, уж раз необходимо иметь короля; это будет брак по расчету; продолжительность зависит от его поведения; республика — позже, таково мое мнение“ (см. Sarransjeune: „Louis-Philippe et la contre-révolution de 1830“, Paris, 1834).

Полемика республиканцев с роялистами в первых числах августа вращалась не около монархического принципа, а около вопросов: 1) о гарантиях, обеспечивающих „самодержавие народа“ при новой монархии и выраженных в новой конституции, 2) о правомочности Палаты, созванной Карлом X, представлять волю нации после революции.² Монархисты (карлисты), наоборот, требовали во имя спасения принципов легитимизма провозглашения королем Генриха V, с тем, чтобы Луи-Филипп был назначен, подобно своему предку, регентом, и лишь в крайнем случае соглашались на провозглашение Луи-Филиппа королем под именем Филиппа VII (т. е. с сохранением преемственности в счете королев).

По первому вопросу особенно настойчиво выступала газета „Темпс“. Так, 31 июля она писала: „Свобода, отечество, гарантия, национальная конституция. Национальная конституция значит — обсужденная, принятая, обоюдно-обязываю-

¹ См. „Трибуну“ 6 августа; в том же тоне писала газета „Революция“ 13 августа.

Прим. Чернова.

² Это не значит, что все республиканцы разделяли эту точку зрения. Среди политических брошюр, выпущенных между 1—7 августа, были и такие, которые защищали идею учреждения республики, напр., „La Prise de Paris par les Parisiens“. С этой точкой зрения полемизировал Girardin в „Journal des Débats“ (см. его „Mémoires d'un journaliste“).

щая, не октроированная. Так как никто не будет приписывать себе дарование определенной хартии (*la charte*), нам было бы понятнее, если бы речь шла о хартии вообще (*d'une charte*), ибо неужели считают возможным говорить о той хартии, которую мы ныне имели, которая была октроирована, которая заключает в своей вступительной части противоречие с остальными статьями, которая носит в редакции тех самых статей характер двусмысленности, благодаря которой получается возможность противопоставлять одно конституционное положение другому. Эта Хартия, так часто и глубоко нарушавшаяся, была разорвана 26 июля правительством, которое на нее опиралось — и из ее локутков мы сделали патроны“. Вслед за этим „Temps“ выставил основные пункты новой желательной конституции.¹

В № от 4 августа, по поводу речи наместника, открывшего заседание Палаты, газета писала: „Если бы Карл X вместо переворота сменил бы министерство, это министерство дало бы больше обещаний, чем их содержится в речи наместника... Вот уже три дня как говорят с энтузиазмом, что наши внуки с трудом поверят в действительность совершившегося 27, 28 и 29 июля. Прибавим, с грустью, и 3 августа.“ В № от 10 августа „Temps“ проводит точку зрения немедленного пересмотра избирательного закона и роспуска Палаты с созывом новой: „Новые общие перевыборы единственно могут предотвратить затруднения, стеснительные для большинства, равно как и для меньшинства. Но прежде необходимого роспуска следовало установить принцип пассивного и активного избирательного права. При новом избирательном законе окажется, что Палата Депутатов останется одна в прежнем состоянии среди обновленного государства: именно она останется старым режимом“.

Очевидно эти статьи „Temps“, направленные против легитимистского стремления сохранить конституцию неприкосновенной, и сочла Е. М. Хитрово за оппозицию (см. ответное письмо Пушкина 21 августа 1830 г.: „Что вы пишете про оппозицию „Temps“? Что ему надо — республики?“). В самом деле, умеренная Палата мечтала о том, чтобы вручить власть новому

¹ Очевидно, эта статья из „Temps“ оказала влияние на Палату при пересмотре конституции. Между прочим в этой же статье указывалось, что идея „божественного права“ короля выражалась в титуле „король Франции“, заменившем древний титул „король французов“.

королю безусловно и пошла на официальный пересмотр конституции лишь под давлением левой оппозиции. И если фактически уступки большинства Палаты требованиям оппозиции были ничтожны, то принципиально произошел сдвиг величайшего значения: *вопреки конституции*, старшая линия Бурбонов была устранена от престола и самая конституция была подвергнута пересмотру и изменению. Таким образом был нанесен удар принципу легитимизма, что приобрело в ближайшие дни значение международного порядка. Принцип легитимизма был установлен Венским Конгрессом, он укреплялся международными договорами. Эти договоры после Июльской революции стали необязательны. Дело Священного Союза стало постепенно разрушаться.

Нельзя, впрочем, сказать, чтобы дело легитимизма не нашло в эти дни защитников во Франции. Легитимисты выступали в печати — в своих органах „La Quotidienne“ и „La Gazette de France“, — и в Палате Пэров, которая в значительной части состояла из сторонников Карла X. Наиболее значительным политическим актом легитимизма была речь Шатобриана,¹ упомянутая Пушкиным („Умираю от нетерпения прочесть речь Шатобриана в пользу герцога Бордосского“). Эта речь — одно из наиболее блестящих политических выступлений Шатобриана — была произнесена в Палате Пэров 7 августа при обсуждении вопроса об изменении конституционной Хартии, т. е. — о провозглашении герцога Орлеанского королем. Шатобриан находился в выигрышном положении: господствующая точка зрения была компромиссной и мотивировалась весьма слабой и бессодержательной фразеологией. Ее легко было разбить прямой и отчетливой постановкой вопроса. Речь Шатобриана и сводилась к критике политических формул, связывавшихся с установлением компромиссной „выборной“ монархии Луи-Филиппа. Сжато и резко Шатобриан нападал на политические афоризмы, вроде того, что „самовластие народа“ есть принцип, обеспечивающий свободу: свобода, по его мнению, вытекала не из политического, а из естественного права. Отвергая романтические иллюзии

¹ Шатобриан был последние годы в оппозиции. Особенно памятна всем была его защита свободы печати; в Июльские дни толпа носила его на руках при криках: „да здравствует свобода печати“. Этим объясняются слова Пушкина: „Во всяком случае он снова в оппозиции“.

„священных“ принципов монархии, Хартии и т. п., Шатобриан призывал отказаться от принципа силы в пользу монархического строя, как наиболее удобного в данных обстоятельствах и наиболее обеспечивающего сочетание свободы и порядка. Отсюда он выводит принцип наследственности, в силу которого престол по праву принадлежал внуку Карла X. Свою речь Шатобриан заключил: „Нет вакантного престола, вакантна лишь могила в Сен-Дени“ (место погребения королей). Легитимистская Палата Пэров постановила напечатать речь Шатобриана. Однако, страх перед развивающимся республиканским движением заставил ее воздержаться от выступления в пользу свергнутой династии и примкнуть к вотуму Палаты Депутатов. Сам Шатобриан от голосования уклонился, новому правительству не присягал и в Палату Пэров больше не возвращался. Речь его была напечатана в „Moniteur Universel“ только 11 августа. Либеральные газеты, памятуя популярность Шатобриана, как защитника свободы печати и как писателя, обошли молчанием политические аргументы и превозносили эту речь, как произведение ораторского искусства. „Le Temps“ 9 августа писал: „Наши мнения замолкают перед таким чувством; наши убеждения лишь увеличивают наше уважение к такой преданности, вполне отдающей себе отчет во всем и поэтому еще более героической“. Отмечая, что эта речь разлучает Шатобриана с Францией, газета заключала: „Франция и Шатобриан когда-нибудь встретятся, ибо они понимают друг друга лучше, чем когда-либо, даже в минуту разлуки. Его честь отнимает его у нас, его слава нам его вернет“. Позднее Шатобриан занял резко оппозиционную по отношению к Луи-Филиппу позицию, выступая с эффектными политическими брошюрами и иногда даже заключая союз с оппозицией противоположного лагеря — с республиканцами. Таким образом предсказание Пушкина оправдалось. Сочувственное свое отношение непримиримо-романтическому поведению Шатобриана после Июльской революции Пушкин позже, в 1836 г., выразил в статье „О Мильтоне и Шатобриановом переводе Потерянного Рая“: „Шатобриан, который, поторговавшись с самим собою, мог бы спокойно пользоваться щедротами нового правительства, властью, почестями и богатством, предпочел им честную бедность и, уклонившись от Палаты Пэров, где могущественно раздавался красноречивый его голос, приходит

в книжную лавку с продажной рукописью, но с неподкупной совестью“.

Между тем, немедленно по установлении новой монархии начались официальные и официозные торжества. В первую очередь явились поэты, пожелавшие „воспеть“ новый порядок. В начале августа появилась уже очередная поэма Бартеlemi и Мери „L'Insurrection“ (предисловие подписано 30 июля) с Орлеанистским финалом.¹ Но больший успех имела написанная К. Делавинем „La Parisienne“, упоминаемая Пушкиным с отрицательной ее оценкой в письме от 21 августа 1830 г.²

„Патриотические куплеты“ Казимира Делавиня,—так их именует „Монитёр“ от 4 августа,—долгое время, пока не утих революционный пыл, были наряду с Марсельезой полуофициальным гимном Июльской монархии. Вот слова этого гимна:

Peuple français, peuple de braves,
La Liberté rouvre ses bras;
On nous disait: soyez esclaves!
Nous avons dit: soyons soldats!
Soudain Paris dans sa mémoire
A retrouvé son cri de gloire.
En avant marchons
Contre leurs canons,
A travers le fer, le feu des bataillons,
Courons à la victoire!

Serrez vos rangs, qu'on se soutienne!
Marchons! Chaque enfant de Paris
De sa cartouche citoyenne
Fait une offrande à son pays.
O, jours d'éternelle mémoire!
Paris n'a plus qu'un cri de gloire.
En avant marchons, etc.

¹ Эта поэма находится в библиотеке Пушкина в Брюссельской перепечатке 1830 года.

² Отрицательный отзыв о „Parisienne“ совпадает с отрицательным взглядом Пушкина на всю поэтическую деятельность Делавиня. См. его отзывы о драматургии Делавиня в письмах (черновых) Вяземскому от 5 ноября 1823 г., 5 июля 1824 г. и 25 мая 1825 г.

La mitraille en vain nous dévore,
Elle enfante des combattants.
Sous les boulets, voyez éclore
Ces vieux généraux de vingt ans.
O, jours d'éternelle mémoire! etc.

—
Pour briser leurs masses profondes,
Qui conduit nos drapeaux sanglants?
C'est la Liberté des deux Mondes,
C'est Lafayette en cheveux blancs.
O, jours d'éternelle mémoire! etc.

—
Les trois couleurs sont revenues,
Et la Colonne avec fierté
Fait briller à travers les nues
L'arc-en-ciel de la Liberté.
O, jours d'éternelle mémoire! etc.

—
Soldat du drapeau tricolore,
D'Orléans! toi qui l'a porté,
Ton sang se mêlerait encore
A celui qu'il nous a coûté.
Comme aux beaux jours de notre histoire
Tu redirais ce cri de gloire:
En avant, etc.

—
Tambours du convoi de nos frères,
Roulez le funèbre signal,
Et nous de lauriers populaires
Chargeons leur cercueil triomphal.
O, temple de deuil et de gloire!
Panthéon, reçois leur mémoire!
Portons-les, marchons,
Découvrons nos fronts.

Soyez immortels vous tous que nous pleurons,
Martyrs de la victoire!

Этот гимн исполнялся популярным певцом Адольфом Нурри (Adolphe Nourrit) в театрах „Variétés“, „Des Nouveautés“ и „Vaudeville“ в день первого спектакля после революции, данного 2 августа в пользу вдов и сирот граждан, погибших за

свободу. В следующие дни Нурри пел его в других театрах. Музыка „Parisienne“ принадлежит Оберу. Следует отметить, что кроме этой „Parisienne“ в те же дни исполнялась другая кантата под тем же именем, сочиненная Араго (он же и пел ее в театре „Водевиль“, где он был директором).

Вот строфа этой кантаты:

L'étranger que solde la France
Veut nous frapper d'un plomb mortel.
Est-ce là l'antique vaillance
Des enfants de Guillaume Tell?
Liberté, quoi! toujours des monts d'Helvétie
Tes enfants viendront-ils pour étouffer ta voix?
Ils tombent... Plus de tyrannie!
Le peuple a reconquis ses droits!

Эта строфа имеет в виду швейцарскую стражу, сражавшуюся в Июльские дни на стороне Карла X.

Позднее — около 24 августа — появилась еще одна „Parisienne“ — слова и музыка Бланшара.

Пушкин имеет в виду несомненно „Parisienne“ К. Деламина. Он ознакомился с ней, вероятно, по газетам, где она была напечатана 5 августа. Впрочем, в первые же дни Августовской монархии появилось несколько изданий этого произведения, напр., одно под таким заголовком: „La marche parisienne. Paroles de M. Casimir Lavigne, musique arrangée à grand orchestre par M. Auber, chantée par M. Adolphe Nourrit dans les divers théâtres de la capitale le 2 aout 1830“ (цена 15 сантимов).¹

¹ По-русски существует новый стихотворный перевод этого гимна принадлежащий М. Слонову (см. „Песни Французской революции“ и „Песенник для рабочего хора“). Вот первые строфы этого перевода:

Народ — герой, на бранном поле
Свобода вновь перед тобой.
Тебе грозили рабской долей,
Ты отвечал: смелее в бой.
Побед минувших луч кровавый
Одел Париж бессмертной славой.

Мы идем в поход,
Нас победа ждет.

Через строй стальной прорвемся мы
вперед.

Путь наш лежит к свободе.

Сомкнитесь тесными рядами,
Парижа храбрые сыны,
Ведь каждый враг, сраженный вами,
Священный дар для всей страны.
Гремит ликующее пенье,
Минувшей славы отраженье.

Мы идем в поход,
Нас победа ждет.

Через строй стальной прорвемся мы
вперед.

Путь наш лежит к свободе.

А. Неттман так характеризует гимн Делавиня: „Parisienne“ выражает чувства и идеи части средних классов, переживающей некоторую революционную экзальтацию на следующий день после сражения, завязавшегося во имя нарушенной законности. Это произведение, несколько искусственно подогретое, воодушевлено прежде всего гневом на королевские права и на армию. Это — *cedant arma togæ* — части Парижской буржуазии, вовлеченной в борьбу с наследственной королевской властью. Здесь чувствуется гордость после одержанной победы. В этом произведении господствует гражданский парламентский энтузиазм — и в то же время автор позаботился отметить предел, на котором останавливается его идеологическое стремление. Возвращается знамя 1792 года, которое герцог Орлеанский нес в армии Дюмурье; это — не знамя 1793 г., не знамя империи. В этом боевом гимне слышно желание скорейшего восстановления мира, и образ нового Вильгельма, замыкающего новую революцию 1688 г., появляется в заключительной строфе, как желаемая развязка кризиса, который пугает собственников. От „Parisienne“ до Марсельезы так же далеко, как от революции 1830 до 1793. Гимн Казимира Делавиня, у которого поэтическое чувство его „Messéniennes“ ослабело, — официальный гимн, написанный поэтом, привыкшим вдохновляться обстоятельствами, и положенный на банальный мотив опереточным композитором. Марсельеза Руже де Лилия — это выражение страстей целой эпохи, воплощенных в крике, слетающем с уст человека, в сердце и в уме которого дрожат стремления и отвращения, восторг и гнев целого поколения“ (А. Nettement: „Histoire de la littérature française sous le gouvernement de Juillet“, 1854).

Несмотря на благонамеренный характер „Parisienne“, она долгое время имела успех и среди республиканцев. Но они пели ее без Орлеанистского куплета.¹

Казимиру Делавиню принадлежит и то четверостишие, за которое заплатил Дельвиг и которое упоминается Пушкиным в письме от 11 декабря 1830 г. В „Монитёре“ 10 августа 1830 г.

¹ Из числа этих патриотических произведений, вызванных Июльской революцией, в библиотеке Пушкина сохранились появившиеся в ноябре 1830 г. „Les Parisiennes. Chants de la Révolution de 1830“, par Adolphe Dumas. Книга состоит из трех самостоятельных „кантат“, ничего общего с вышеупомянутыми „Parisiennes“ не имеющих.

(то же самое в „Фигаро“ того же числа, аналогичное в „Messager des Chambres“ 9 августа) читаем следующее объявление: „В Hôtel de la Monnaie поступила в продажу бронзовая медаль в 22 линии, в память о трех днях. На ней изображена с одной стороны Франция, плачущая над гробом, на который свобода возлагает венок и на котором написано: „В память о французах, умерших за свободу 27, 28 и 29 июля 1830“. На оборотной стороне читается следующее четверостишие Казимира Делавиня:

France, dis-moi leurs noms: je n'en vois point paraître
Sur ce funèbre monument?
Ils ont vaincu si promptement
Que j'étais libre avant de les connaître!

Г-н Какэ, исполнивший медаль, предназначает доход на облегчение положения раненых, вдов и сирот. Обращаться для подписки в „Monnaie des médailles“, к автору — rue de Fleurus, и к г-ну Левеку, граверу, — в Пале-Рояль“. Медаль продавалась по 5 франков.

Это четверостишие, заимствованное Дельвигом из газетного объявления, было перепечатано в „Литературной Газете“ от 28 октября 1830 г. № 61, что и вызвало приостановку издания этой газеты.

Со дня своего вступления на престол Луи-Филипп начал заботливо создавать свой новый стиль, достойный „короля-гражданина“. В его речах, в характеристиках короля, печатаемых в официальной и министерской прессе, упорно проводилась идея о буржуазности нового монарха. В первую очередь припомнили слова Р.-Л. Сугьер, сказавшего о герцоге Орлеанском в 1822 году: „Он привел бы дела в порядок не только благодаря уму, которым бог его наделил, но и благодаря не менее значительной, хотя и мало прославленной добродетели — экономии, качеству, если угодно буржуазному; двор не терпит его в государе и оно не заслуживает ни академических восхвалений, ни надгробных речей, но для нас оно весьма ценно“ („Réponse aux apophtes“, I). Везде восхвалялась идея „дешевого правительства“ (пока дискуссии по вопросу о цивильном листе не сделали эту идею неуместной) и „простые и буржуазные нравы государя, хорошего семьянина, деятельного собственника, ловкого и предприимчивого промышленника и притом друга искус-

ства и литературы "... („Revue de Paris" 15 августа 1830 г.). „Итак — у нас король, соответствующий чувству и духу народа, который делает и думает то, что делает и думает народ, — простой и буржуазный король („roi simple et bourgeois") („Revue de Paris" 24 декабря 1830). В первой же речи, обращенной к депутатам 7 августа, когда Луи-Филипп узнал о совершившемся решении о возведении его на престол, он заявил о „мирной жизни, которую он бы вел в своей семье" („Moniteur Universel" 8 августа). Заботились об этом и газетные хроникеры в первые дни новой монархии:

„Сегодня утром король вышел пешком с зонтиком в руке. Он был узан и окружен толпой; теснимый рукопожатиями и приветствиями, он принужден был вернуться при единодушных криках: „да здравствует король Филипп" — так слащаво повествовалось в хронике 12 августа в официозном „Journal des Débats".¹ Зонттик Луи-Филиппа стал одной из любимых острот по адресу новой монархии.²

Этот „стиль" Июльской монархии и всё с ним связанное достаточно оправдывает слова Пушкина о французах: „Их король с зонтиком подмышкой слишком буржуазен" (письмо от 21 января 1831 г.).³

Первое министерство — почти в том же составе, что и назначенные Муниципальной Комиссией комиссары, — было оформлено назначениями 11 августа (Гизо, Брольи, Луи, Жерар, Себастьяни, Моле и Дюпон де Лер, министры без портфеля Лафит, Казимир Перье, Дюпен, Биньон и Вильмен). Это было коалиционное министерство, которое долго не могло продер-

¹ Аналогичные заметки появлялись и в других газетах. Так „Messager des Chambres" в №№ от 12 и 13 августа поместил одну и ту же заметку о том, как король, проработав весь день, вышел прогуляться пешком „en habit bourgeois". „Le Temps" 10 августа умилялся по тому поводу, что король остался жить в Пале-Рояле „на лоне семьи", и т. д.

² Ср. известные карикатуры Домье, где Луи-Филипп изображен в виде груши с зонтиком, балансирующий на канате. Зонттик, груша, цилиндр с трехцветной кокардой и рукопожатие — были постоянные атрибуты большинства карикатур на Луи-Филиппа (см. J. Grand-Cauteret: „Les mœurs et la caricature en France", pp. 200, 207, 209, 228). Ср. Н. Heine: „Französische Zustände", письмо от 28 декабря 1831 года.

³ Понятно, во всех этих характеристиках необходимо учитывать несколько расширенное значение слова „буржуазный", которое оно имеет по-французски, особенно в языке начала прошлого века.

жаться, так как неминуемо в его среде должны были возникнуть разногласия. Наряду с этим министерством политическим влиянием пользовался Лафайет, стоявший во главе национальной гвардии, и префект Сенского Департамента Одилон Барро — левый адвокат, сыгравший позднее такую крупную роль в оппозиции.

16 августа Карл X покинул Францию: в Шербурге он простился со своей гвардией и направился в Англию, в Холируд около Эдинбурга, где и поселился (об этом пребывании Карла X в Холируде пишет Пушкин Вяземскому 1 июня 1831 г. по поводу жалоб Булгарина: „Карл X сидит себе спокойно в Единбурге, а Фаддей Булгарин требует вспомогательной силы от русского императора“).¹ Полиньяк и другие министры были арестованы, в разное время и в разных местах, и доставлены в Венсен в ночь с 26 на 27 августа. Таким образом, внутри Франции легитимизм был побежден.²

Предстояло закрепить революцию за пределами Франции. Международный вопрос и явился самым острым вопросом первого министерства Луи-Филиппа. Францию легко признала Англия. Но гораздо медленнее шло признание ее в других странах. Особенно натянуты были отношения с Россией, несмотря на письмо Луи-Филиппа Николаю I от 29 августа, в котором в очень легитимистическом тоне излагались Июльские события. Письмо это со специальным курьером — генералом Аталеном

¹ Пушкин пережил Карла X, который умер в Гёрце 6 ноября 1836 г. Смерть его прошла незаметно; мало эффекта произвел и шестимесячный демонстративный траур легитимистов (см. M-me Emile de Girardin: „Lettres parisiennes“, Lettre IV, 23 novembre 1836). Траур по Карле X носили и в Петербургском высшем свете. Об этом, между прочим, сообщает в своих Воспоминаниях В. А. Соллогуб, описывая раут у Фикельмон, 16 ноября 1836 года: „На рауте все дамы были в трауре по случаю смерти Карла X. Одна Катерина Николаевна Гончарова, сестра Натальи Николаевны Пушкинськой (которой на рауте не было), отличалась от прочих белым платьем“ („Воспоминания“, стр. 180).

² События Июльского переворота излагаются современниками в газетах и брошюрах довольно хаотически, с обычной путаницей дат, неверной связью событий и т. п. Не лучше обстоит дело и с мемуарами (Гизо, Од. Барро), Историей Луи Блана и др. Объективную и подробную летопись событий можно найти в работе Ach. de Vaulabelle: „Histoire des deux restaurations“, том VIII (события доведены до октября 1830 г.). На русском языке см. „Историю Франции в XIX веке“ Л. Грегуара, т. I, изд. 1893 г. Ср. А. Михайлов: „Пролетариат во Франции“, 1869 г. (стр. 175—203).

(général Athalin, адъютант Луи-Филиппа) — было отправлено в Петербург; ответное письмо Николая I Луи-Филиппу датировано 18 сентября 1830 г., Царское Село. В этом письме Николай I настаивает на соблюдении прежних договоров. (Текст письма см. „Histoire de dix ans“, par Louis Blanc, t. II.¹)

В Англию еще в августе был назначен послом Талейран. Это назначение поставило его фактически во главе французской дипломатии, так как согласные действия Франции и Англии определили международную политику ближайшей эпохи. Назначение Талейрана было встречено весьма неприязненно французским обществом. Предметом нападок являлся политический цинизм этого человека, бывшего епископом при Людовике XVI и затем последовательно служившего всем правительствам Франции. На официальном приеме у Карла X он был 22 июля — а через 10 дней был на столь же официальном приеме у нового короля.²

Международное положение вскоре осложнилось Бельгийской революцией. Это было первым отражением Июльской революции за пределами Франции, первым симптомом того, что Пушкин назвал „судорогами, охватившими Европу“ (письмо 9 февраля 1831 г.). В Брюсселе беспорядки начались 25 августа; через месяц, 24 сентября, там было временное правительство, которое 4 октября провозгласило независимость Бельгии и окончательное отделение ее от Голландии. Результаты трудов Венского Конгресса начинали разрушаться. В начале Бельгийской рево-

¹ Взгляды Николая I на Июльскую революцию, хотя и в несколько смягченной передаче, хорошо характеризует записанный В. Кочубеем разговор, который он имел с Николаем I в Царском Селе 14 (26) августа 1830 г. Крайнюю правую, непримиримую точку зрения выражал Дибич (см. запись В. Кочубея 15 августа). См. статью Т. Богданович: „Французская эмиграция, вопрос об интервенции, империя, польская революция в свидетельствах русского вельможи“ — „Анналы“, т. IV, 1924, стр. 131—135 и 136—137.

² Характерно шутовское объединение Пушкиным трех имен, связанных с прошлым и настоящим Луи-Филиппа и в свое время принявших участие в Великой Революции: 84-летней Жанлис, 78-летнего Лафайета и 76-летнего Талейрана (см. письмо 21 августа). Талейран родился в 1754 г., был с 1788 г. епископом, участвовал в Assemblée Nationale в качестве сторонника революции. В 1790 г. сложил с себя сан. В 1792 г. эмигрировал; по возвращении содействовал перевороту 18 брюмера. Впоследствии содействовал реставрации Бурбонов и был одним из главных участников Венского конгресса. В конце реставрации, будучи устранен от дел, сблизился с Луи-Филиппом. Умер в 1838 г.

люции Нидерландское правительство, в силу постановлений Венского Конгресса, потребовало вмешательства в его пользу со стороны держав, подписавших эти постановления. Это вмешательство было военной угрозой Франции. Правительство Луи-Филиппа заявило, что оно не допустит иностранного вмешательства во внутренние дела Бельгии. Так родился упоминаемый Пушкиным в письме от 9 февраля 1831 г. „принцип невмешательства“ (non-intervention),¹ которым оперировала Французская дипломатия и Английское правительство, — принцип, встретивший сопротивление со стороны международной политики стран Священного Союза и в первую очередь со стороны Меттерниха.²

Вот как редактировались официальные сообщения Французского правительства о Бельгийских событиях: „Английские газеты единодушны по поводу опасности, которая угрожает Европейскому миру в случае, если какая-либо соседняя держава направит войска в Бельгийские провинции. Это мудрое наме-

¹ Об этом же принципе невмешательства и в том же применении Пушкин писал Вяземскому 1 июня 1831 г. по поводу Польского восстания: „Конечно, выгода всех правительств держаться в сем случае правила non-intervention, т. е. избегать в чужом пиру похмеля; но народы так и рвутся, так и лаят. Того и гляди навяжется на нас Европа. Счастье еще, что мы в прошлом году не вмешались в последнюю французскую передрагв! А то был бы долг платежем красен“.

² Политику „невмешательства“ Пушкин противопоставляет системе Каннинга. Джордж Каннинг (11 IV 1770—8 VIII 1827), —английский государственный деятель, начавший свою политическую карьеру в 1793 г. в торинском министерстве Питта, но в конце жизни примкнувший к вигам; с 1807—1809 гг. министр иностранных дел, в 1814—1816 гг. английский посланник в Лиссабоне, с 1822 г. снова министр иностранных дел, и в конце жизни — глава кабинета министров. Пушкин имеет в виду либеральную внешнюю политику Каннинга, выразившуюся в признании отделившихся от Испании американских колоний Мексики, Колумбии и Аргентины и особенно в признании Греческой независимости, повлекшем за собой вооруженное вмешательство (следствием которого было Наваринское сражение 1827 г.). Каннинг привлекал внимание Пушкина также в качестве писателя. См. заметку, опубликованную Н. К. Козминным в сб. „Атеней“, кн. I—II, 1924 г., стр. 5. Стихи Каннинга находились во французском переводе в библиотеке Пушкина в издании 1827 г. („Библиотека Пушкина“, Б. Л. Модзалевского, № 704), — что заставляет предполагать более позднее написание названной заметки, чем оно означено в „Атенее“ (1825). Имя Каннинга упоминается в так наз. письме Раевскому 1827 г. (Переписка, т. II, № 312, стр. 20).

рение Англии не вмешиваться во внутренние дела чужих народов совпадает с намерениями Французского правительства. Сообщают, что оно заявило Нидерландскому правительству, что если иностранная держава (здесь разумеется Пруссия. *Б. Т.*) введет хоть один полк в Бельгию, Франция последует немедленно этому примеру; но в противном случае она останется верной принципу невмешательства“ („Journal des Débats“ 5 сентября). Вскоре после этого официозный „Journal des Débats“ писал: „Европа, кажется, приняла и охотно признала принцип невмешательства, провозглашенный Францией с первого дня освобождения. Отступить от него значило бы подвергнуть мир всем опасностям войны“ („J. des D.“ 29 сентября 1830 г.).¹

¹ Ср. речь Талейрана Английскому королю при вручении верительных грамот 6 октября: „Общие принципы укрепляют связи обеих стран. Англия во внешней политике отвергает, как и Франция, принцип вмешательства во внутренние дела соседей, и представитель королевской власти, единодушно провозглашенной великим народом, спокойно чувствует себя на свободной земле перед потомком славного Брауншвейгского дома“. Ср. передовицу „Journal des Débats“ от 1 марта 1831 г. по поводу Итальянских событий: „Присутствие хотя бы одного Австрийского полка на территории одного из этих государств (Пармы, Модены, Романьи) есть грубое нарушение принципа невмешательства. Франция не может на это согласиться. Это уже не вопрос равновесия или влияния; в этом — всё будущее нашей революции. Не будем забывать, что она живет в Европе только поддержкой принципа, который она провозгласила первая и который другие державы провозгласили после нее. Она не искала силы в приращении своей территории, она нашла ее в уважении к независимости других наций. Если последует хоть малейшее покушение на это уважение, Франция рискует потерять уважение и доверие Европы“. Как известно, позднейшие события с этой декларацией не согласовались. Принцип „невмешательства“ имел и своих противников. В этом отношении любопытна статья из „Le Constitutionnel“ 7 марта 1831 г.: „Противопоставленное принципам Священного Союза невмешательство хорошо выражало оппозицию системе, подчинившей народы произволу деспотов; но как выражение идеи организации это слово бессодержательно... Кастльри первый принял невмешательство за правило поведения во время испанской войны... Каннинг отрекся от этой печальной политики, приняв девизом „гражданскую и религиозную свободу народов“... Каннинг этим выразил идею радикальной реформы в правах человека; он наметил план новой европейской или вернее всемирной системы, соответствующей современному состоянию цивилизации. Он бы не стал говорить о невмешательстве пред лицом России, вооружающейся против свободных наций и готовой поглотить Польшу“. Колеблющееся мнение французских либералов по вопросу о применении принципа невмешательства к польским делам выразилось с одной стороны в весьма агрессивной статье

Такое поведение Франции обеспечило благоприятный для бельгийцев исход революции.

Но если в международных сношениях Французское правительство проявило на первых порах некоторую твердость, то во внутренних делах оно было весьма непрочное и неустойчивое. Оппозиция была агрессивна, она располагала голосами в среде правительства (чем и объясняется твердость международной политики), но тем самым она ослабляла умеренное правительственное ядро, опиравшееся на Палату Депутатов. С самых первых дней оппозиция стала требовать роспуска этой Палаты. Крайняя левая газета „La Révolution“ писала под заголовком „Кто нас избавит от Палаты“: „Они еще здесь, эти 230 человек, в чью пользу, кажется, совершилась революция. Едва три недели прошло со дня свержения монархического деспотизма, и уже эти господа улучили время для организации парламентского деспотизма“ (22 августа). Но Палата, хотя и в значительно уменьшенном составе (правое крыло было устранено отчасти вследствие кассации выборов — 68 депутатов — отчасти потому, что депутаты, проведенные Министерством Полиньяка, уклонились от исполнения депутатских обязанностей при Луи-Филиппе: 52 депутата отказались принести присягу), продолжала существовать, ибо новая монархия видела в ней себе поддержку. „Королевская власть едва родилась; она еще слаба“ — признавала министерская газета („Journal des Débats“ 24 августа).

Это беспомощное состояние королевской власти Пушкин характеризовал применением стиха из известной басни Лафонтена „Les grenouilles qui demandent un roi“:

Il leur tomba du ciel un roi tout pacifique

.....

Or, c'était un soliveau.¹

в „Le Messager des Chambres“ 2 января 1831 г., с другой стороны в примитивной брошюре Тьера „La monarchie de 1830“, датированной 20 ноября 1831 года.

¹ В переводе Крылова „Лягушки, просящие царя“:

И подлинно, что Царь на диво был им дан:

Не суетлив, не вертопрашен...

Царь этот был осиновый чурбан...

Эту же басню в применении к Луи-Филиппу спародировал Э. Демаре, за что и был привлечен к суду 22 сентября 1831 г.

Конечно, Пушкин был неправ: под видимой слабохарактерностью скрывалось упорство Луи-Филиппа, который, в конце концов, сосредоточил всю власть в своих руках.

Между тем внутренние волнения не прекращались. В конце августа, — 27-го, — произошли рабочие волнения; 2 сентября забастовали печатники, и некоторые газеты не вышли; 9 сентября республиканское общество „Amis du peuple“ расклеило по городу афиши, требовавшие разгона Палаты. Рабочие волнения не утихали. „Journal des Débats“, отстаивавший точку зрения правящих, писал: „Имея все возможности и все законные основания к защите, буржуазия может ничего не опасаться, если она будет настороже. До сих пор она проявила великолепное понимание своих истинных интересов, выделив из своих рядов без всяких колебаний национальную гвардию. Пусть она продолжает и пусть в первую очередь следит за возможным союзом между агитацией материальной и агитацией моральной, между новаторами и низшими классами; вот где опасность. При движении века к материальным интересам, республика наша возможна только в ущерб собственности, и всякое нападение на наши установления есть продвижение к гибели буржуазии“¹ („Journal des Débats“ 13 сентября).

¹ Что газета считала законными средствами защиты буржуазии, показывает следующая выписка из „Gazette des Tribunaux“ от 10 октября 1831 г.: „Каждый класс рабочих заявил о своих нуждах, но не все соблюдали в этом одинаковую умеренность и ограничились дозволенными жалобами. Слесаря не только потребовали, чтобы были сокращены рабочие часы и увеличена плата, но также пытались образовать союзы (les coalitions) и снять с работы тех своих товарищей, которые продолжали свою службу у хозяев на прежних условиях. Несколько человек было арестовано, шесть сегодня предстали пред судом исправительной полиции, в седьмой камере. Суд приговорил Жана Лорена Сталя и Жана Мишеля Фонтена к двухдневному тюремному заключению; Крессона — к месячному и всех троих — к судебным издержкам. Остальные оправданы“. Таких фактов в судебной хронике множество. На тему о рабочих союзах и экономических волнениях написан водевиль „La coalition“, tableau populaire, mêlé de vaudevilles, en un acte, par M. M. Mélesville et Carmouche, представленный 22 октября 1830 г. в „Théâtre des Variétés“. Ср. такие пьесы, как „Le bal des ouvriers“, par Varin et Louis (псевдоним L. Desnoyers и Armand) и некот. др.

К области самозащиты иного порядка следует отнести погром, который учинили лавочники в помещении республиканского „Общества друзей народа“ 25 сентября 1830 г. Упоминаемые в „Journal des Débats“ новаторы — сенсимонисты, влияние которых на рабочее движение было не велико.

Тем не менее, в середине сентября пришлось под давлением оппозиции согласиться на дополнительные выборы в Палату. Был выработан „временный избирательный закон“, по которому должно было избрать недостающих депутатов Палаты. Закон этот понижал ценз (в частности возрастной) избираемых. Довыборы начались 14 октября 1830 г. Об этих то *довыборах* и говорится в письме Пушкина от 11 декабря 1830 г. в ответ на письмо Хитрово, адресованное в Болдино, но полученное лишь в Москве и очевидно с очень большим опозданием.¹

Неустойчивому положению содействовал и наступивший промышленный кризис. Предприятия и банки прогорали и закрывались. Безработица увеличивалась — соответственно увеличивались и мотивы для волнений. Наиболее крупными за это время были волнения в связи с „процессом министров“, за которым Пушкин внимательно следил. Министры, подписавшие ордонансы 25 июля, были вскоре после переворота арестованы: 27 и 28 сентября Палата вотировала обвинение министров (Полиньяк, Пейроне, Гернон де Ранвиль и Шантелоз) в государственной измене. Это было сделано под давлением революционных кругов. Но перед тем как разойтись, 8 октября, Палата решила смягчить свое постановление, приняв адрес королю, в котором содержалось пожелание об отмене смертной казни по политическим преступлениям. Этим Палата хотела спасти министров от казни, которой требовали наиболее революционно настроенные народные массы. Адрес вызвал возмущение — 17 и 18 октября — когда толпа требовала выдачи министров, осаждая Венсенский замок, где они были заключены, и Пале-Рояль, местопребывание короля. Одилон Барро, в качестве Сенского префекта, расклеил воззвание, где призывал население к спокойствию. Адрес Палаты был назван в этом воззвании „неуместным поступком“. На этой почве возник конфликт между Министерством Гизо и Одилоном Барро. На стороне последнего было парижское население и национальная гвардия

¹ В тот же день (11 декабря) у Пушкина был Погодин, который записал в своем дневнике: „Говорили ... о Франции (зачем отстранили Бордо), Польше, Литературе“. — „Пушкин и его современники“, вып. XXIII—XXIV, стр. 109 (М. А. Цявловский „Пушкин по документам Погодинского архива“). Этот разговор вероятно был связан с речью Шатобриана. Пушкин, отрезанный в Болдино на три месяца от внешнего мира, в декабре всё еще находился под впечатлением августовских событий.

во главе с Лафайетом. Министерству пришлось уступить, и оно вышло в отставку. На место Гизо был назначен значительно более левый депутат — банкир Лафит (3 ноября 1830 г.). Одновременно с образованием нового Министерства была созвана Палата Депутатов в новом составе, мало отличавшемся от старого. Министерство Лафита продержалось до 13 марта 1831 г. При Лафите закончился процесс министров. Процесс этот происходил в Люксембургском дворце (по конституции министры были подсудны только суду пэров) с 15 по 21 декабря.¹ Про-

¹ Во главе защиты министров был Мартиньяк, предшественник Полиньяк по министерству. Мартиньяк упоминается в переписке Пушкина с Вяземским по поводу процесса министров. Вообще за процессом министров Пушкин внимательно следил. Из Болдина он писал Плетневу 29 сентября 1830 г. „не знаю, что делает Филипп и здоров ли Полиньяк“; 11 октября Н. Н. Гончаровой: „Je ne sais que fait le pauvre monde et comment va mon ami Polignac“. Вяземскому 5 ноября: „О Лизе Голинкой не имею никакого известия. О Полиньяке тоже. Кто плотит за шампанское ты или я? Жаль, если я“. Вяземский на это писал Пушкину 1 января: „Приезжай, да прошу привезти с собою Полиньяковское шампанское... Воля твоя, Мартиньяк и я правы, а ты и Камера депутатов не правы“. На следующий день Пушкин отвечал: „С удовольствием привезу и шампанское — радуясь, что бутылка за мною. С П. я помирился. Его вторичное заточение в Венсене (Полиньяк был в Венсене в 1804 г. за участие в заговоре Кадудая. *Б. Т.*), меридиан, начертанный на полу его темницы, чтение Вальтер Скота, всё это романически трогательно — а всё-таки палата права. Речьми адвокатов я не доволен — они все робки. Один Ламене в состоянии был бы *aborder bravement la question*“. Предметом пари, заключенного при первых известиях о революции, был вопрос: казнят ли министров. Об этом споре Вяземский писал (18 августа 1830 г.): „У меня были два спора, прежарких, с Жуковским и Пушкиным. С первым за Бордо и Орлеанского. Он говорил, что должно непременно избрать Бордо королем и что он верно избран и будет. Я возражал, что именно не должно и не будет. *Si un diner rechauffé ne vaut jamais rien, une dynastie rechauffée vaut encore moins*. В письме Карамзиным объяснил и расплодил эту мысль. С Пушкиным спорили мы о Пероне (не ошибка ли? О Полиньяке? *Б. Т.*). Он говорил, что его должно предать смерти и что он будет предан *pour crime de haute trahison*. Я утверждал, что не должно и не можно предать ни его, ни других министров, потому что закон об ответственности министров заключался доселе в одном правиле, а еще не положен и следовательно применен быть не может. Существовал бы точно этот закон и всей передрыги не было, ибо не нашлось бы ни одного министра для подписания знаменитых указов. Утверждаю я, что и не будет он предан, ибо победители должны быть великодушны. Смерть Нея и Лабедойера ояптална кровью Людовика XVIII. Неужели и Орлеанский, или кто заступит праздный престол, захочет последовать этому гнусному примеру. Мы поблились с Пушкиным о бутылке шампанского“ („Старая записная книжка“. — „Сочине-

цесс протекал при непрерывных уличных волнениях. Министры были приговорены к пожизненному заключению и переведены еще до окончания процесса, во избежание насилия со стороны толпы, из Люксембургского Дворца в Венсенскую тюрьму. На следующий день, 22 декабря произошли снова беспорядки, при чем усмирение толпы выпало на долю национальной гвардии и Лафайета. Лафайет действовал не только вооруженной силой, но и афишами, где развивал свою идею „республиканских учреждений вокруг народного трона“, и обещал реформы в дальнейшей политике правительства. Этим Лафайет сослужил последнюю службу монархии Луи-Филиппа. Далее он был не нужен и даже опасен. Пост главнокомандующего национальной гвардией был уничтожен и Лафайет вышел в отставку. С уходом Лафайета¹ началась ликвидация левых элементов в правительстве. Через два дня вышел в отставку представитель крайней левой в правительстве, министр юстиции Дюпон де Лёр. Партия „сопротивления“ (она же „juste milieu“, т. е. умеренная партия конституциональных компромиссов) взяла верх над партией „движения“. Обновленная Палата, почти не изменившаяся в своем составе, поддерживала политику Луи-Филиппа. Эту ликвидацию революции ускорило и международное положение Франции. Бельгийское восстание было первым сигналом к целому ряду революционных волнений по всей Европе. В сентябре (9—11) вспыхнули беспорядки в Дрездене, 2 октября в Дармштадте, позднее произошли восстания в Швейцарии (январь 1831 г.), Италии и др. Николай I решил мобилизовать армию на западных границах, чтобы в любой момент перебросить ее, в союзе с Пруссией и Австрией, на Францию, как на очаг восстаний.

ния“, т. IX, стр. 136—137). О том же Вяземский писал А. Я. Булгакову 27 ноября 1830 г.: „Полиньяк понемногу омывается от грязи и крови. Дай бог! Мне от того будет бутылка Шампанского: я еще в Питере бился об заклад, что министры преданы смерти не будут“ („Русский Архив“ 1879 г., кн. II, стр. 114—115). В библиотеке Пушкина, как след его интереса к Полиньяку, имеется книга: Polignac, „*Considérations politiques sur l'époque actuelle, adressées à l'auteur anonyme de l'ouvrage intitulé Histoire de la Restauration par un Homme d'Etat*“, Bruxelles. 1832.

¹ Документы, относящиеся к политической деятельности Лафайета, собраны в издании: „*Mémoires, correspondance et manuscrits du général Lafayette, publiés par sa famille*“, 1839. Общий очерк политической жизни Лафайета см. в книге А. Bardoux: „*Les dernières années de La Fayette (1792—1834)*“, Paris. 1895.

Но 29 ноября произошло восстание в мобилизованной Польской армии. Это восстание разрослось в национальное движение.

Известие о Польском восстании произвело во Франции ошеломляющее впечатление. В газетах печатали слухи один другого сенсационнее. Так, 17 декабря газеты сообщали (через Берлин из Варшавы): „Получены сведения о революции в Петербурге. Император Николай, принужденный оставить столицу, направился в Ригу“.

Польское восстание привлекло к себе все симпатии французов. Принцип „невмешательства“ был провозглашен не только, как отвлеченный принцип: Франция обязалась его защищать, понимая этот принцип совсем не в том смысле, как понимал его Пушкин. Усмирение Польши русскими войсками рассматривалось, как вмешательство России во внутренние дела Польши (так же, как и усмирение австрийскими войсками итальянских провинций). Казалось бы, в силу прежних деклараций, Франция должна была выступить в защиту Польши. Война казалась неизбежной; 1 декабря Лафит заявил, что Франция не потерпит нарушения принципа невмешательства;¹ 11 декабря через Поццо ди Борго (русского посла) было получено предписание Николая I всем русским покинуть Францию и вернуться в Россию.

Именно такое положение — агрессивности республиканцев во внешней политике, неизбежности революционных войн в случае окончательного торжества революции во Франции — и отражается в письме Пушкина от 21 января 1831 г. Упомянутое в этом письме имя Наполеона подсказано Пушкину не только как имя полководца. Оно продиктовано всё возраставшей популярностью этого имени во Франции, в ущерб престижу Орлеанской династии. Гейне, приехавший в Париж в мае 1831 г., так описывает этот культ Наполеона: „За пределами Франции не

¹ Позднее, после падения Варшавы, сторонники „*juste milieu*“ старались истолковать принцип невмешательства в том же смысле, как это делает Пушкин в письме от 9 февраля 1831 г. „Странная вещь! Программная дипломатия руководилась принципом невмешательства, но в дальнейшем, если бы действовать под тем же вдохновением, пришлось бы вмешиваться повсюду — в Польше, в Бельгии, в Италии. Значит был двойной принцип — невмешательства против монархии и вмешательства в пользу революции!“ („*Le Gouvernement de Juillet, les partis et les hommes politiques. 1830 à 1835*“ [par Capefigüe]).

имеют понятия о том, как сильно французский народ до сих пор привязан к Наполеону. Поэтому, если недовольные когда-нибудь отважатся на какой-нибудь решительный шаг, то прежде всего провозгласят молодого Наполеона, чтобы обеспечить себе сочувствие масс. „Наполеон“ для французов магическое слово, которое электризует и ошеломляет их. ... Изображения его попадают всюду в гравюрах и гипсе, в металле и дереве, и во всевозможных положениях. На всех бульварах, на всех перекрестках стоят ораторы, восхваляющие его, народные певцы, воспевающие его подвиги“. Надо отметить, что культ этот отразился и на репертуаре Парижских театров, особенно в октябре 1830 года: пьесы из жизни Наполеона шли во всех театрах Парижа. Поток пьес с Наполеоном заключался пьесой Александра Дюма: „Наполеон Бонапарт, или 30 лет истории Франции“, поставленной в Одеоне в январе 1831 г. Характерно, что при такой популярности имени Наполеона бонапартизм, как политическое течение, не был силен. Бонапартисты выступали обычно вместе с республиканцами.

Французские политические настроения, отмечаемые Пушкиным в этом письме, нашли яркое, хотя и несколько наивное выражение в политической брошюре, написанной по поводу смены министерства в ноябре 1830 г.: „Philippe I, Napoléon II et la République“, par A. P. de Rincéré. Автор кончает брошюру, посвященную Лафиту, тирадой: „Если имя республики пугает правительства королей и шокирует некоторых наших аристократов, то дадим Филиппу более популярный титул, чем титул королей, расстреливавших свой народ, и если нас не считают ни достаточно сильными, ни достаточно зрелыми, чтобы воскликнуть „да здравствует Филипп I, император французской республики!“ воскликнем, вернувшись к старому имени великой империи: „да здравствует Филипп I, император французов!“.

Но война была невыгодна как Николаю I, так и Луи-Филиппу. Холерные бунты и Польское восстание были достаточными причинами, чтобы искать мира с Францией. С другой стороны Луи-Филипп понимал, что война в защиту Польши или была обречена на неудачу, так как она вооружала против Франции Пруссию и Австрию, и в таком случае вызвала бы третью реставрацию старшей линии Бурбонов, или же грозила разрастись в международное революционное движение, которое не прими-

рилось бы с Орлеанской монархией и неизбежно привело бы к республике.

Умеренные промышленные и финансовые круги, страдавшие от коммерческого застоя, всецело разделяли миролюбивую точку зрения короля. Этим объясняется довольно быстрое изменение тактики. В начале января 1831 г. одновременно был назначен Мортемар послом в Россию, а Поццо ди Борго получил верительные грамоты и тем состоялось признание Луи-Филиппа со стороны России.¹ Министр Иностранных Дел Себастьяни в Палате Депутатов давал разъяснения, что война невозможна за удаленностью Польши от Франции. Это не препятствовало, правда, тому, чтобы „Le Messenger des Chambres“ продолжал печатать статьи по поводу неизбежности войны с Россией (см. в № от 11 марта 1831 года подробно разработанный план кампании против России). Но это были пустые угрозы. Польша была предоставлена самой себе. Шансы революции в Польше, благодаря расстройству в русских войсках, повышались до июня 1831 г., после чего стали быстро падать. В сентябре Варшава была взята и тем Польский вопрос разрешен.² Приблизительно так же окончились волнения и в Италии (начавшиеся в феврале 1831 г.), ликвидированные австрийскими войсками. Франция протестовала, но не выступала (попыткой вмешательства был не имевший серьезных последствий десант в Анконе). Тем не менее, натянутость отношений между Россией и Францией осталась, и угроза войны не миновала. Через два с половиной года Пушкин писал жене: „Мне сдается, что мы без европейской войны не обойдемся. Этот Louis Philippe у меня как бельмо на глазу.

¹ Эти назначения являются взаимными уступками. Мортемар был французским послом при Карле X, и это назначение являлось как бы признанием прерванной преемственности в русской политике Луи-Филиппа. С другой стороны Поццо ди Борго, всё время остававшийся в Париже, был сторонником скорейшего признания Луи-Филиппа. Впрочем, Мортемар еще три недели после назначения оставался в Париже.

² Взятие Варшавы было причиной мелкого дипломатического конфликта, не имевшего значительных последствий. Французский представитель, согласно инструкциям, полученным из Парижа, уклонился от присутствия на молебне по поводу взятия Варшавы. На этой почве произошло столкновение с Николаем I, в результате которого французскому послу было воспрещено присутствовать на публичных приемах во дворце (см. „Journal de Commerce“ 27 ноября 1831 г., где всё это излагается по английским источникам).

Мы когда-нибудь да до него доберемся“ (письмо 6 ноября 1833 г.).¹

Ликвидацию левых течений во Франции, последовавшую за ликвидацией революционных вспышек за ее пределами, ускорили беспорядки, вызванные выступлением легитимистов и реакционного духовенства 13 февраля, в годовщину убийства герцога Беррийского Лувелем.² Новый конфликт, произошедший между Одилоном Барро и министром Монталиве (наиболее правым в министерстве Лафита), повлек за собой отставку Одилона Барро. В марте — 13-го — министерство Лафита пало и во главе правительства стал круто повернувший на реакцию Казимир Перье (тоже банкир). Это было правительство „мира во что бы то ни стало“ („la paix à tout prix“). Его реакционная политика получила короткое наименование „системы“. Эта „система“, между прочим, состояла и в борьбе с оппозиционной печатью. Свобода печати была умеряема усиленными судебными преследованиями. Об этом писал позже Пушкин: „Людовик-Филипп, царствующий милостью свободного книгопечатания, принужден уже обуздывать сию свободу, не смотря на отчаянные крики оппозиции“ („Мысли на дороге“). Вскоре — 2 апреля — было предложено уйти в отставку ряду левых членов правительства, преимущественно сторонникам более твердой и революционной внешней политики (в частности генералу Ламарку). Правда, в виде уступки левым, под впечатлением новых уличных беспорядков, происшедших 15—16 апреля (в связи с политическим процессом республиканца Кавеньяка, кончившимся, впрочем, оправданием), Палата Депутатов была распущена

¹ Возможно, что эта фраза среди прочих вызвала слова Жуковского, что Пушкин „ненавидел революцию французскую: чему последнему доказательство нашел я еще недавно в письмах его к жене“ (Черновик письма Бенкендорфу. См. П. Е. Щеголев „Дуэль и смерть Пушкина“ — „Пушкин и его современники“, вып. XXV—XXVII, стр. 116). В другом черновике Жуковский развивает эту мысль: „Пушкин был враг июльской революции. По убеждению своему, он был карлист; он признавал короля Филиппа необходимою гарантию спокойствия Европы, но права его опровергал и непоколебимость законного наследия короны считал главнейшею опорю гражданского порядка“ (Ibid., стр. 130). При этом Жуковский ссылался на свои „частные, непринужденные разговоры“. О характере стилизации Жуковского в этих письмах см. там же замечания П. Е. Щеголева (стр. 109—110).

² Характерно, что только после этих волнений был окончательно уничтожен ненавистный народу герб Бурбонов — „лилии“.

20 апреля, а на июнь назначены новые выборы, с новым созывом Палат на 9 августа.¹

Политический раскол между партиями „движения“ и „сопротивления“, между революцией и „системой“, углублялся. Буржуазия определенно порвала с революцией. Национальная гвардия в значительной части стала оплотом порядка. Не без участия полиции образовались контрреволюционные банды, огненные принимавшие участие в подавлении волнений и в борьбе с демонстрациями (см. об этом признания начальника Парижской полиции, „Mémoires de Gisquet“, v. I, pp. 222—225). Волнения, беспорядки и даже восстания происходили беспрепятственно. В ноябре (с 21 по 23) 1831 г. произошло рабочее восстание в Лионе на экономической почве, под лозунгом „жить работая или умереть сражаясь“, но без политических требований. Город в течение 10 дней после восстания находился в руках рабочих. Аналогичные события произошли в других городах. В Париже произошли крупные волнения 16 и 17 сентября 1831 г. в связи с пришедшими известиями о взятии Варшавы русскими войсками.² Смерть Казимира Перье (ум. от холеры³ 16 мая

¹ Среди дальнейших уступок демократии следует отметить уничтожение наследственности пэров. Вопрос о наследственности, дебатировавшийся в печати с первых дней после Июльского переворота, выдвинул основные проблемы демократии и аристократии. Уничтожение наследственности пэров ликвидировало остатки феодализма во французской конституции. В связи с прежними по поводу наследственности пэров в одной из тетрадей Пушкина (№ 2377) есть следующая выписка: „La pairie est un corps que le peuple n'a pas le droit d'élire et que le gouvernement n'a pas le droit de dissoudre. В. Constant“. Эти слова представляют собою выписку из „Principes de politique. (Paris, mai 1815)“, Ch. IV. D'une assemblée héréditaire. В оригинале эта фраза читается: „Cette chambre héréditaire est un corps que le peuple n'a pas le droit d'élire et que le gouvernement n'a pas le droit de dissoudre“ (p. 72).

² Известие о взятии Варшавы русскими войсками пришло в Париж 16 сентября утром. В этот день в Палате депутатов, отвечая с места на тревожные вопросы оппозиции, министр иностранных дел генерал Себастьяни обесмертил себя словами: „L'ordre règne dans Varsovie“.

³ Холера появилась в Париже 26 марта 1832 г., усиливалась до 14 апреля, после чего пошла на убыль; но с 9 июня началось новое повышение смертности. Эпидемия прекратилась уже осенью. За это время умерло от холеры 18½ тыс. человек. Эпидемия сопровождалась волнениями на почве слухов об отравлениях, обостривших политические страсти (см. „Mémoires de Gisquet“, v. I, pp. 421—502). Ср. яркие картины холерных бунтов в Париже у Гейне: „Французские дела“.

1832 г.) не изменила „системы“, — и вскоре разыгрались решительные события. Генерал Ламарк, представитель левого течения, умер от холеры 1 июня 1832 г. На его похоронах произошло восстание, продолжавшееся два дня (5—6 июня). На стороне восстания были рабочие, студенты Политехнической Школы, артиллерия национальной гвардии, политические эмигранты; на стороне правительства — войско и национальная гвардия в целом. Восстание было ликвидировано. Через неделю выяснились результаты выборов новой Палаты, давшие большинство Правительству. „Система“ восторжествовала. Порядок, всё реже и реже прерываемый волнениями, был восстановлен на 16 лет.

Народные волнения и их усмирение, ознаменовавшие начало Июльской монархии, вызвали у Пушкина замечание: „В Англии правительство тогда только и показывается народу, когда приходит оно стучаться под окном, собирая подать. Во Франции, когда вывозит оно пушки противу площадного мятежа —“ (набросок к „Мыслям на дороге“ — см. „Неизданный Пушкин“, стр. 191).¹

Политическую информацию Пушкин получал через письма Хитрово и через газеты. Письма могли содержать такие детали, которых мы не найдем в прессе того времени, так как Хитрово, несомненно, располагала сведениями, доходившими до нее дипломатическим путем. Что касается газет, посылавшихся Пушкину, то это были, во-первых, очевидно те, которые Пушкин называет в письме к Вяземскому из Болдина от 5 ноября: „Кстати о Лизе Голинькой не имею никакого известия. О Полиньяке тоже... — Кабы знал, что заживусь здесь, я бы с ней

¹ Восстания, как форма революционного движения, хотя и не прекратившиеся совершенно, мало по малу уступили первое место покушениям на жизнь Луи-Филиппа. Некоторые произошли при жизни Пушкина; одно из них (совершенное Физски 28 июля 1835 г.) упоминается в письме Пушкина Вяземскому по поводу затруднений, встретивших в цензуре статью А. Тургенева (январь 1836 г.): „Бедный Тургенев!.. все политические комеражы его остановлены. Даже имя Физски и всех министров вымараны“. Кое что из запрещенного цензурой было, очевидно, снова разрешено, так как в „Современнике“ (№ 1, „Париж“, стр. 260, 270, 280, 292 и сл.) имя Физски встречается. В библиотеке Пушкина сохранился трехтомный „Procès Fieschi devant la cour des Pairs“, 1836.

завел переписку в засос и с подогревшими, т. е. на всякой почте по листу кругом и читал бы в Нижегородской глуши *Le Temps* и *Le Globe*.“ Газету „*Le Temps*“ Пушкин упоминает и в своем письме к Хитрову от 21 августа 1830 г.

„*Le Temps, journal des progrès politiques, scientifiques, littéraires et industriels*“ был основан Жаком Костом (J. Coste) 15 октября 1829 г. Среди первых редакторов его находился одно время Гизо. „*Le Temps*“ вместе с „*Le National*“ принял весьма деятельное участие в организации Июльского восстания. Под протестом журналистов 26 июля подписалось 9 сотрудников „*Le Temps*“ во главе с редактором. „*Le Temps*“ и „*Le National*“ — единственные газеты, которые напечатали протесты и вышли 27 июля, несмотря на запрещение. Это вызвало распоряжение о том, чтобы печатные прессы газеты были сломаны. Редактор „*Le Temps*“ оказал сопротивление явившемуся для исполнения этого распоряжения полицейскому комиссару. Со Сводом Законов в руках он доказывал, что распоряжение это незаконно и что полицейский чиновник совершает деяние, предусмотренное статьей о краже со взломом. Таким путем удалось поколебать слесаря, приглашенного полицией. Для взлома машины пришлось вызвать тюремного слесаря, специальностью которого являлось изготовление кандалов и заковка каторжников.

В первые дни революции „*Le Temps*“ держался весьма решительной позиции, но вскоре принял Орлеанистскую линию и перешел в разряд умеренных газет, став органом мелкого течения левого центра Палаты (Passy и Dufaure).¹ Не имея политического влияния, эта газета отличалась от других обилием и систематичностью информации. В литературном фельетоне ее принимал участие Ш. Нодье. „*Le Temps*“ прекратился 17 июля 1842 года.

Гораздо значительнее для Пушкина был „*Le Globe*“. Этот орган был основан в качестве литературной газеты Пьером Леру и Дюбуа 15 сентября 1824 г. В числе его сотрудников были крупнейшие представители критики: Жуффруа, Ремюза, Ж. Ж. Ампер, Сент-Бёв, Тьер и др.

¹ После падения министерства Лафита только крайнее левое крыло Палаты находилось в оппозиции к правительству. Так называемый левый и правый центры поддерживали министерскую политику.

„Le Globe“ выступил с защитой „свободы искусства“. До выступления этой газеты литературные направления Франции определялись расколом классиков и романтиков. При этом классики в значительной части принадлежали к философской школе XVIII в. и были сторонниками либерализма. Наоборот, романтики в области философии и политики тяготели к мистицизму, католицизму и легитимизму. „Le Globe“ поставил целью объединить романтизм и либерализм. Будучи достаточно умеренным в литературных и политических вопросах, этот орган занял позицию не столь непримиримую в области искусства, как крайние романтики, но, во всяком случае, далекую от академического классицизма. В области политики „Le Globe“ придерживался доктринерского конституционализма. Он боролся с клерикализмом и иезуитами, боролся с реакцией Виллеля и Полиньяка, но не переходил в лагерь республиканцев. В области литературных и политических оценок чувствуется большое сродство взглядов Пушкина и „Le Globe“. Несомненно, за этим органом он внимательно следил. Именно здесь он читал критические статьи молодого Сент-Бёва.

К „Le Globe“ первого периода его издания относится следующая характеристика, данная ему А. И. Тургеневым: „Но прежде всего советую подписаться на le Globe, французский, под фирмой Кузена (Cousin), а иные думают Гизо издаваемый. В нем почти одна литература, но серьезная и важная. О политике только тогда, когда она имеет отношение к литературе или к какой-либо книге. Я не весь образ мыслей, в сем журнале господствующий, одобряю, но привожу его в пример рассмотрения Литературы и Наук, со стороны их влияния на гражданское общество“ („Московский Телеграф“ 1827 г., ч. XIII, № 1: „Письмо из Дрездена“ Э. А. 23/11 декабря 1826 г.).

Первое время „Le Globe“ был чисто литературной газетой. Затем (с 15 августа 1826 г.) он стал литературно-философской газетой и, наконец (с 16 августа 1828 г.), — литературной, философской и политической газетой. Сперва эта газета выходила через день, затем с 30 октября 1824 г. 2 раза в неделю, а 15 января 1830 г. превратилась в ежедневную газету.

Эта эволюция литературной газеты, постепенно превратившейся в политическую, не осталась бесследной во взглядах Пушкина на Дельвиговскую „Литературную Газету“. Как из-

вестно, Пушкин всё время мечтал о превращении „Литературной Газеты“ в политический орган.¹

„Le Globe“, как орган оппозиции, принял свое участие в Июльской революции. В это время политической частью его заведывал Ремюза. Но вскоре после революции все наиболее видные сотрудники получили от нового правительства назначения.² Газета осталась без сотрудников и была передана Пьером Леру обществу сен-симонистов (17 декабря 1830 г.), официальным органом которого он и становится 18 января 1831 г. с новой редакцией, во главе которой стояли Анфантен и Базар (с этого числа „Le Globe“ выходит под заголовком „Journal de la doctrine de Saint-Simon“ и с соответствующими его направлению лозунгами. С 23 августа 1831 г. в подзаголовке слово doctrine заменилось словом religion; с 5 сентября газета распространялась в интересах пропаганды бесплатно). „Le Globe“ прекратился 20 апреля 1832 года.

Кроме этих органов следует упомянуть „Le National“—орган Тьера, Минье и А. Карреля. Вскоре после Июльской революции, во время которой „Le National“ всячески поддерживал так называемую „Орлеанистскую интригу“, Тьер и Минье покинули газету, и она осталась органом одного Карреля. После падения кабинета Лафита, Каррель перешел в оппозицию и „Le National“ из органа Орлеанистского стал органом республиканским. Незадолго до смерти Каррель примкнул к социалистической доктрине.

Полевой в 1833 г. называл „Le National“ „лучшим из оппозиционных журналов“ и писал, что он „отличается резкою правдою во всех возможных случаях и умеет высказывать ее умно и благородно“. Не меньшей популярностью пользовался тогда

¹ См., напр., письмо Вяземскому 2 мая 1830 г. о „Литературной Газете“: „Дело в том, что чисто литературной Газеты у нас быть не может, должно принять в союзницу или моду или политику. Соперничествовать с Райчем и Шаликовым как это совестно? Но неужто Булгарину отдали монополию политических новостей? Неужто кроме Сев. Пчелы ни один журнал не смеет у нас объявить, что в Мексике было землетрясение, и что Камера депутатов закрыта до сентября?“.

² Следует отметить, что вообще большинство журналистов оппозиции при Луи-Филиппе получили назначения, чем отчасти объясняется захирение либеральной прессы. В „Revue de Paris“ 29 августа 1830 г. помещен список назначений журналистов.

в России „знаменитый „Journal des Débats“ — этот источник суждений о политике и палладиум учености многих наших земляков“ („Московский Телеграф“ 1833 г., № IV). Эта газета, бывшая в оппозиции при Полиньяке, стала наиболее влиятельным министерским органом после Июльских событий, являясь проводником консервативных идей. Передовицы этой газеты писались Сен-Марк де Жирарденом. В литературном и театральном отделах газеты участвовал Ж. Жанен.

В тетрадях Пушкина (№ 2377 Б) сохранилась выписка из „Journal des Débats“ от 1 июля 1831 г., сделанная рукой Натальи Николаевны Пушкиной (см. „Описание рукописей Пушкина“, сделанное Якушкиным, — „Русская Старина“ 1884 г., октябрь, стр. 92). В этой выписке мы видим анализ политических форм, которые испытала Франция со времени Революции. „Программа Думы“ — „трон посреди республиканских учреждений“ — объявляется „бесмысленным противоречием, неразрешимой задачей“. Этой программе газета противопоставляет принцип конституционной монархии: „Конституционную монархию не основывают чисто республиканскими учреждениями, и королевская власть, лишенная силы, — самое жалкое и крупкое из учреждений“. „Революция злоупотребила свободой; она погибла в анархии. Империя требовала лишь повиновения и войны; она погибла от рабства и сражений. Реставрация стремилась к деспотизму и нарушению законов; она погибла под обломками ниспровергнутых законов. Конституционная монархия — вот единая пристань, где есть спасение Франции“.

Эту газету Пушкин отмечает в статье о „Юрии Милославском“. В одной из заметок Майковского собрания Пушкин отмечает „уважение, каким пользуется Journal des Débats“ (заметка относится к январю 1831 года).

Кроме этих газет, Пушкин, понятно, имел возможность читать свободно допускавшиеся в Россию легитимистские руссофильские газеты: „La Quotidienne“ и „La Gazette de France“. Впрочем, и эти газеты допускались не всегда. Так, напр., номера „Gazette de France“, начиная с 31 июля и по 15 августа 1830 г. были воспрещены, т. е. в Россию не допускались вообще известия об Июльской революции иначе, как в форме прошедших через цензуру сообщений русских газет и журналов. Последняя газета — „La Gazette de France (L'Etoile)“, издаваемая

Женудом, заняла вскоре после Июльской революции оригинальную позицию: в некоторых вопросах она заключила союз с крайними левыми и, напр., проповедывала утверждение легитимизма Генриха V путем всеобщего голосования, очевидно, рассчитывая на монархическое настроение крестьянства. Из этой газеты Пушкин сделал выписку в тетради № 2377 Б. (Якушкин, вслед за отчетом Румянцовского Музея за 1879—1882 гг., неправильно указывает, что выписка сделана из „Journal de France“). Выписка (сделана рукой Пушкина) заимствована из заключительной части серии статей, печатавшихся в газете с 29 июня по 5 июля 1831 г. под заголовком „Appel à la France contre la division des opinions“ (выпущено отдельной брошюрой 7 июля).¹ Как и передовица из „Journal des Débats“, из которой сделана выписка в той же тетради, статья напечатана в целях предвыборной агитации (5 июля начинались выборы в Палату).²

Другую монархическую газету — „La Quotidienne“ Пушкин упоминает в так называемом письме Н. Н. Раевскому (март — апрель 1827 г.: Переписка, т. II, № 312, стр. 20). Основанная поэтом и историком Мишо в 1792 г., эта газета, несколько раз

¹ Вот место, выписанное Пушкиным: „La France, depuis son origine, n'a réellement eu que deux modes d'existence: les assemblées générales élues par tout le monde, exprimant la volonté de la nation, volonté que le roi exécutait après la séparation de ces assemblées, et les assemblées souveraines, ou héréditaires, ou élues par un petit nombre, ou sédentaires, ou annuelles, contrôlant et limitant la volonté royale et partageant avec le monarque le gouvernement de l'Etat. Les assemblées générales sont le droit de France; les rois qui, pour les nouveaux subsides, s'abstenaient de convoquer ces assemblées, usurpaient les droits de la nation. L'usurpation des parlements est née de l'usurpation des rois“ ...

² Помимо цитат из газет, занимающих 5 страниц тетради, в ней находится еще сделанная рукой Н. Н. Пушкиной выписка (вернее выборка цитат) без указания источника, из заключительной части книги Raynouard'a (1761—1836): „Histoire du droit municipal en France, sous la domination romaine et sous les trois dynasties“ (1829 г.; ср. Т. II, pp. 377, 380—383 и 388). В этих цитатах противопоставляется политика капетингов политике каролингов, при чем автор выступает горячим защитником муниципальных свобод. В другой части той же тетради (вод. зн. 1819), из которой вырваны страницы, заключающие данные выписки, рукой Пушкина сделаны выписки цитат из какого то исторического сочинения, трактующих преимущественно вопросы конституционной истории Франции эпохи завоевания, с доведением до постановлений Генеральных Штатов 1355 г. Пользуюсь случаем, чтобы выразить благодарность М. А. Цявловскому, любезно предоставившему мне подробное описание первой части тетради.

менявшая свое название и закрытая при Наполеоне, возобновилась при реставрации. Занимала она крайнюю правую позицию и при министерстве Виллеля представляла собой оппозицию справа. После Июльских дней ее редактировал Brian. Сотрудники ее вербовались в среде монархической молодежи. Газета прекратилась в 1847 году.

В том же письме 1827 г. Пушкин упоминает „Le Constitutionnel“, распространеннейшую газету левого либерализма, основанную в 1815 г., популярную в среднем городском классе читателей. Редактором ее был известный драматург и журналист Etienne. „История „Journal des Débats“ и „Constitutionnel“ может служить историей французской журналистики и даже больше — историей всей новейшей Франции. Известно, что „Constitutionnel“ был одною из тех газет, которые наиболее затрудняли правительства времен восстановления Бурбонов. Теперь он тих и смирен, горячится только тогда, когда речь заходит о духовенстве“ — так характеризуют эту газету „Отечественные Записки“ 1842 г. (т. XXVI: „Парижские фельетонисты“, стр. 43) „1830 г. означил апогей процветания „Constitutionnel“; некоторое время в первые недели после „трех дней“ в редакции газеты находился истинный центр политического влияния, действительное местонахождение правительства. Но вскоре проявился упадок, резко обозначившийся в ближайшие годы“ (E. Hatin: „Histoire de la Presse de France“, t. VIII, 1861, p. 586—587; ср. его же „Bibliographie de la presse périodique française“, 1866, p. 327). Число подписчиков этой газеты в 1830 г. достигало цифры 22.000; по распространению она занимала первое место. „Constitutionnel“ являлся типичным органом среднего Парижского буржуа и именно в роли мещанской газеты часто упоминается в повестях 30-ых годов. В своей литературной позиции газета придерживалась воинствующего классицизма и всеми мерами боролась против романтиков.

В письме 26 марта 1831 г. упоминается „la feuille de M. de La Menais“. Речь идет про газету „L'Avenir“.

Ламенэ был известен Пушкину по его публицистической деятельности до июля 1830 г., когда он выступал в „Mémorial catholique“ в защиту крайней ультрамонтанской точки зрения, как сторонник консервативных форм монархии. Ламенэ был в это время одним из главных оппонентов „Le Globe“. Взгляды

Ламенэ стали быстро эволюционировать. Газета „L'Avenir“ и явилась выражением новокатолической идеологии Ламенэ. „L'Avenir, journal politique, scientifique et littéraire“ был основан 16 октября 1830 г. Во главе его стояла группа — Ламенэ, Монталамбер и Лакордер. Девизом газеты было „Бог и Свобода“. В основе новой идеологии было приятие революции, благословение свободы католичеством. Ламенэ предлагал католичеству сделать политическим орудием религиозного объединения не обветшалые формы реакционной монархии, а демократические, намечавшиеся в революционных вспышках 1830 г.¹ С особым вниманием и с особым сочувствием Ламенэ следил за революционным движением в католических странах, восстававших против не католических правительств: в католической Ирландии, восстававшей против англиканского Лондонского правительства, в католической Бельгии, восставшей против протестанских Нидерландов, в католической Польше, восставшей против православной России.² В том, что восстания охватывали преимущественно католические страны (Италия, Испания и т. д.) Ламенэ усматривал нечто провиденциальное — пути к созданию всемирного католического государства, в котором слились бы и народности, до сих пор не принявшие католицизма. В вопросах внутренней политики Ламене занял крайний левый фланг, за

¹ „L'Eglise était aux fers: Dieu brise ses fers par les mains des peuples, afin que l'Eglise affranchie rende aux peuples ce qu'elle a reçu d'eux et les régénère en affermissant l'ordre et la liberté, qui ne sont unis, ne peuvent être unis que par elle. De Rome maîtresse d'elle même, et dégagée des liens dont l'enlaçaient depuis des siècles les souverainetés temporelles, émanera, tout ensemble, et le mouvement régulier qui portera les nations chrétiennes vers les magnifiques destinées qu'elles ne font qu'entrevoir encore, et la vivifiante énergie qui, pénétrant les peuples jusqu'ici rebelles au christianisme, constituera dans l'unité, selon les promesses divines, l'humanité entière: *Et erit unum ovile et unus pastor*“ (22 декабря 1830). „La liberté des peuples a pour condition, pour base nécessaire, la liberté de l'Eglise . . . L'affranchissement de l'Eglise sera donc le premier acte qui annoncera le terme de ces crises terribles. Elle développera, elle affirmera les libertés publiques, en les unissant au principe d'ordre, c'est-à-dire à cette justice immuable, éternelle, qui n'est autre que la Loi divine“ (6 января 1831).

² „Nous avons applaudi à l'insurrection de la Belgique et de la Pologne, et nous y applaudissons encore de toutes les forces de notre âme“ . . . „Nous ne doutons pas du succès des Belges, malgré les ruses d'une ténébreuse diplomatie; nous tremblons pour la Pologne, seule en face des Tartares prêts à se précipiter sur elle“ (12 февраля 1831 г.).

что неоднократно подвергался преследованию со стороны правительства (свобода печати в это время компенсировалась усиленными судебными преследованиями печати).

Замечание Пушкина о Ниневии и тыквах, примененное к Ламенэ, не совсем ясно. Очевидно, Пушкин имеет в виду библейское сказание об Ионе.¹

Применение Ниневии к Парижу более или менее понятно (т. е. Пушкин говорит о том, что неизвестно, последуют ли парижане указаниям Ламенэ), но труднее уловить применение слова „тыква“ к себе. Не имеет ли ввиду Пушкин русско-польские события и идеи Ламенэ о возрождении католической власти через восстание католической Польши? Не указывает ли Пушкин, что Польские события, подобно тыкве Ионы, не оправдают надежд Ламенэ и дадут ему лишь весьма кратковременную сень?

Проповедь Ламенэ привлекла на себя общее внимание в начале 1831 г. Так, в „Revue de Paris“ от 7 февраля появилась большая статья о газете „l'Avenir“. Хитрово, внимательно следившая за „Revue de Paris“, как об этом можно судить по ряду других сведений из переписки, очевидно, именно после этой статьи и обратила свое внимание на „l'Avenir“.

„L'Avenir“ просуществовал весьма недолго. Пока представлялось неясным, кто одолеет в борьбе — революция или старый порядок — папа не противился проповеди Ламенэ. Но когда выяснилось поражение революционных движений, Римское пра-

¹ Как известно, Иона по божьей воле проповедывал в Ниневии о том, что этот город через 40 дней будет разрушен. Жители Ниневии вняли проповеди Ионы и раскаялись, вследствие чего бог помиловал город. Иона был недоволен тем, что пророчество его не исполнилось, и жаловался на это богу. Тогда бог явил Ионе следующее знамение: Иона устроил себе за городом шалаш. Бог выросил в одну ночь вьющееся растение, которое дало Ионе тень, очень его обрадовавшую. Однако, червь подточил корень растения и оно на следующий день увяло, и солнце снова стало жечь голову Ионе. На его жалобы по этому поводу бог сказал ему, что если он сожалеет о гибели растения, выросшего в одну ночь, то сколь более достоин сожаления такой большой город, как Ниневия. Пушкин пользовался, очевидно, славянской библией, а не французской; во французском тексте растение Ионы обозначено в католических библиях, переведенных с Вульгаты, словом „le lierre“ (плющ), а в протестанских (перевод Остервальда) еврейским словом „le kikajon“. В славянской библии в соответствующем месте (Кн. прор. Ионы, глава IV, стих 6) стоит слово „тыква“, которое Пушкин и перевел словом „citrouille“.

вительство дало понять Ламенэ, что проповедь его неуместна. Газета прекратилась 15 ноября 1831 г.

Сравнивая Ламенэ с Боссюэ, Пушкин, конечно, разумеет „Discours sur l'Histoire Universelle“ последнего, эту попытку XVII века провиденциальной концепции всемирной истории, равно как и другое его произведение: „Politique tirée de propres paroles de l'Écriture Sainte“.¹

Кроме газет, Пушкин находил политическую информацию в журнале „Revue de Paris“. Пушкин вообще был не высокого мнения о французской журналистике, по крайней мере писал Погодину в сентябре 1832 г.: „их журналы невежды; их критики почти не лучше наших теле-скопских и графских“. Но за „Revue de Paris“ он следил и писал Нащокину из Петербурга 8 января 1832 г.: „Кстати не забудь *Revue de Paris*“.

Этот еженедельный журнал, основанный Вероном в 1829 г., с 1831 по 1834 г. издававшийся под редакцией Ам. Пишо, был по своей программе чисто литературным, объединяя на своих страницах широкие круги умеренно-романтических писателей. В 1830 г., после Июльской революции, в нем помещались политические обзоры за неделю, написанные в духе „*juste milieu*“.

Кроме этого журнала, в эти годы издавались еще крупные литературные органы: „Revue Française“ (двухмесячный журнал), изд. с января 1828 по сентябрь 1830, родственный по направлению литературной группе „le Globe“, и поныне издающийся журнал „Revue des Deux Mondes“, основанный в августе 1829 г. и выходивший с 1831 г. под ред. Buloz. Администрация этого журнала в 1834 г. приобрела журнал „Revue de Paris“, который стал также выходить под редакцией Buloz. Успеху журналов содействовало сотрудничество G. Planche.

Закончив изложение фактов, на которые отзывался Пушкин, поставим вопрос, как он отзывался на них, и какое политическое мировоззрение скрывалось за его отзывами.

Пушкин в оценке общественных движений не был беспристрастным наблюдателем. В 1836 г. в письме Чаадаеву он так клеймил политическое равнодушие: „*cette absence d'opinion*

¹ О Ламенэ см. С. А. Котляревский: „Ламенэ и новейший католицизм“, 1904 (особенно стр. 266 и след.).

publique, cette indifférence pour tout ce qui est devoir, justice et vérité, ce mépris cynique pour la pensée et la dignité de l'homme sont une chose vraiment désolante“ (письмо 19 октября 1836 г.).¹

В публикуемых письмах мы видим не менее отчетливо выраженное негодование по отношению к политическому равнодушию Московского общества. Пушкин не занимал нейтрального положения.

При анализе политических взглядов Пушкина прежде всего нужно разделять его русскую политическую программу от западно-европейской. Политические принципы имели двоякую аргументацию: из оснований естественного права и из исторических соображений. Принципы естественного права коренились в философии XVIII века; историческая аргументация политической программы выдвинулась на первый план в 20-ые годы XIX века под влиянием молодой французской исторической школы, за которой Пушкин внимательно следил.²

Если принципы естественного права оставались неизменными в их применении как к России, так и к Западу, то исторические условия диктовали различное отношение к политической обстановке.

Что нужно Лондону, то рано для Москвы.

В этом стихе иронически выражено то, что позднее Пушкин защищал без всякой задней мысли: „Россия никогда ничего не имела общего с остальной Европою“, „история ее требует другой мысли, другой формулы, чем мысли и формулы, выведенные Гизотом из истории христианского Запада“ (наброски замечаний на Историю Полевого; осень 1830 года. Речь идет, вероятно, о лекциях Гизо по истории цивилизации в Европе и во Франции).

Личная незаинтересованность Пушкина в событиях Западной Европы давала ему возможность не определять своей позиции

¹ „Это отсутствие общественного мнения, это безразличие по отношению к тому, что является долгом, справедливостью и истиной, это циническое презрение к мысли и достоинству человека приводят в отчаяние“.

² Отмечу, что знакомство Пушкина с французскими историками сильно преуменьшено в статьях Н. Фирсова (см. статью в XI томе „Сочинений Пушкина“ изд. Акад. Наук). Вопрос о роли историзма в усвоении Пушкиным идей XVIII и XIX века разъяснен П. Н. Сакулиным. См. его брошюру „Пушкин и Радищев“, 1920 г., стр. 67—70.

с партийной точностью. Будучи сторонним наблюдателем и судьей, он мог солидаризироваться в разных вопросах с разными политическими течениями. Тем не менее, — его политические высказывания слагаются в некоторую систему, занимавшую определенное место среди различных группировок французского либерализма.

Два основных течения намечаются в либерализме эпохи Реставрации. Одно — умеренное, типичнейшим образом представленное доктринёрами — Руайэ-Колларом, Гизо, Барантом и др. Именно эту — доктринаристскую — концепцию имеет в виду Пушкин в приведенных словах о формуле Гизо. К этому же течению принадлежат и наиболее умеренные политические писатели либерального лагеря: г-жа де Сталь и Б. Констан.¹ Это

¹ У Пушкина не трудно обнаружить близкое знакомство с главным произведением Б. Констан: „Cours de Politique constitutionnelle“. Так, Пушкин пишет: „дворянство — la sauvegarde трудолюбивого класса“. Здесь отразилось след. место из „Principes de Politique“, глава XVIII „De la liberté individuelle“: „Toutes les constitutions qui ont été données à la France garantissaient également la liberté individuelle, et sous l'empire de ces constitutions, la liberté individuelle a été violée sans cesse. C'est qu'une simple déclaration ne suffit pas; il faut des sauve-gardes positives; il faut des corps assez puissants pour employer en faveur des opprimés les moyens de défense que la loi écrite consacre. Notre constitution actuelle est la seule qui ait créé ces sauve-gardes et investi d'assez de puissance les corps intermédiaires“. Как известно, специфически „промежуточным“ учреждением Констан считал аристократическую палату пэров. — В „Мыслях на дороге“, в главе о цензуре (Торжок), читаем: „Один из французских публицистов остроумным софизмом захотел доказать незаконность и безрассудность цензуры. „Если, говорит он, способность говорить была бы новейшим изобретением, то нет сомнения, что правительство не замедлило бы установить цензуру и на язык“... и т. д. Здесь Пушкин вольно пересказывает автоцитату Констан из главы XVI „De la liberté de la Presse“: „Supposons, avais-je dit, une société antérieure à l'invention du langage, et suppléant à ce moyen de communication rapide et facile par des moyens moins faciles et plus lents. La découverte du langage aurait produit dans cette société une explosion subite. L'on aurait vu des périls gigantesques dans ces sons encore nouveaux, et bien des esprits prudents et sages, de graves magistrats, de vieux administrateurs auraient regretté le bon temps d'un paisible et complet silence...“ В программе статьи о Фр. Революции Пушкин отмечает „Vénalité des charges“ и пишет: „Напрасно пошли против сей меры, будто бы варварской и нелепой“. Констан в главе XIX „Des Garanties judiciaires“ говорит: „On s'est élevé fortement contre la vénalité des charges. C'était un abus, mais cet abus avait un avantage que l'ordre judiciaire qui l'a remplacé nous a fait regretter souvent“ („Principes“ 1815, pp. 286, 246, 301). Впрочем, в данном случае возможно влияние взглядов другого представителя

политическое течение, стоявшее на почве строгого, хотя и умеренного конституционализма, принимая социальные последствия Великой Французской Революции, отвергало стихийные политические „эксцессы“ демократической диктатуры, ознаменовавшей эту революцию. Корни их политического учения восходят к „Духу Законов“ Монтескьё. Английский конституционный строй имел большое влияние на их конкретную программную деятельность, хотя не всеми разделялось убеждение в применимости, на французской почве, принципа парламентаризма, которому противопоставляли принцип „внепартийного правительства“. Отказываясь от реставрации феодальной, земельной аристократии, доктринёры однако проповедывали необходимость предоставления большого политического влияния наиболее обеспеченному и лично независимому слою населения, стремясь к созданию новой, чисто политической, „надклассовой“ аристократии. Это выражалось в требовании имущественного ценза и обязательности верхней палаты, при том *наследственной*.

Тактика умеренного крыла была строго конституционная, парламентская. Доктринёры уклонялись от заговоров и инсurreкционных планов. Эта политическая группа отличалась относительным единством идеологии.

Менее четки были взгляды левого крыла либералов („независимых“ в др. более радикальных). Крайние из них начали свою политическую деятельность в годы Революции и оправдывали Революцию в целом. В их среде было много прежних якобинцев, и их филантропические идеи придавали особую окраску течению. Их политическим кодексом были идеи Ж. Ж. Руссо, прокомментированные практикой Великой Революции. Правда, влияние реакции сказалось и на них. Они в значительной мере сократили свою демократическую программу. Будучи в большинстве республиканцами, ибо в республике они видели осу-

умеренного либерализма — Лакретеля, тоже сыгравшего крупную роль в формировании конституционных взглядов умеренных декабристов: „On regarde une merveilleuse conquête du siècle la suppression de la vénalité des charges. Pourtant on pouvait se souvenir que vingt ans plutôt on en avait fait un essai malheureux sous le chancelier Maupeou. Il est certain que malgré cette vénalité, abus choquant en théorie, la magistrature par je ne sais quel bénéfice du temps, s'était élevée à un degré d'indépendance, d'intégrité, d'honneur, qu'elle ne connut jamais en aucun autre pays“. (Lacretelle, „Histoire de l'Assemblée Constituante“, t. I, 1821, p. 345).

шествление принципа „суверенитета народа“,—они готовы были идти на компромисс с королевской властью (хотя в массе были антидинастичны и боролись с Реставрацией Бурбонов). В свою политическую тактику они вводили и восстание, являвшееся по конституции 1793 г. правом гражданина. Большинство из них принимали участие в карбонарском движении и в заговорах 1820—1823 гг. Карбонаризм с его конспиративно-заговорщицким ритуалом, филантропическим республиканизмом и демократической ориентацией и был основным выражением левого либерализма. Характерно, что на Пушкине совершенно не отразились взгляды одного из главных представителей „независимых“ либералов—Destutt Tracy, главы кружка „идеологов“, автора „Commentaire sur l'esprit des lois de Montesquieu“ (авторизованное французское издание вышло в июле 1819 г.),—произведения, представляющего критику Монтескье с точки зрения республиканизма. Меж тем эта книга произвела в свое время глубокое впечатление именно в среде русских радикалов, в частности,— в среде левых декабристов, и оказала объективно засвидетельствованное влияние на Пестеля (см. по этому поводу работы В. И. Семевского, напр., „Вопрос о преобразовании государственного строя России“—„Былое“ 1906 г., № 3, стр. 165—166; ср. конспективную статью: Mirkine-Guetzevitch: „L'Influence de la Révolution Française sur les décembristes russes“—„La Révolution Française“ 1926, № 31, pp. 248—256).

При первых же известиях об Июльской революции Пушкин занял позицию непримиримого конституционалиста. Он требует казни Полиньяка, как нарушившего конституционную скрижаль—Хартю 1814 г. Это вполне соответствует прежде определившимся взглядам Пушкина. Ведь то, что именуется „революционным“ прошлым Пушкина,—его политические произведения 1817—1820 гг.,—свидетельствует лишь о сродстве его взглядов с идеологией „Союза Спасения“, „Союза Благоденствия“ и Северного Общества, являвшихся проводниками монархически-конституционного либерализма и в некоторой части не чуждавшихся и принципов аристократического конституционализма (идеи Дмитриева-Мамонова и М. Орлова). Позже, на юге, Пушкин испытал некоторое влияние членов Южного Общества, гораздо более радикально настроенных. В эти годы, под влиянием возмраставшей революционной деятельности в Западной Европе

(Греция, Италия, Испания и пр.), Пушкин выказал некоторые симпатии карбонариям и усвоил некоторые идеи Руссо, но неудачи революционных вспышек и удаление на север вернули его к исходным политическим впечатлениям от общения с умеренными либералами Петербурга. Именно карбонаризм имеет в виду Пушкин в своем замечании 1827 г.: „Сказано: *les sociétés secrètes sont la diplomatie des peuples*. Но какой же народ верит права свои тайным обществам и какое правительство, уважающее себя, войдет с оными в переговоры?“. Позднейшие его высказывания о *M-me de Staël* не оставляют никакого сомнения в его симпатиях к политической программе, заключающейся в ее „*Considérations*“.

Надо думать, что пересмотр конституции после Июльского переворота Пушкин встретил также сочувственно, ибо большинство изменений, внесенных в Хартию, совпадало с замечаниями на эту Хартию *M-me de Staël* (в ее „*Considérations*“). Конечно, — позднее Пушкин не мог согласиться с уничтожением наследственности пэров, так как эта наследственность утверждалась у *M-me de Staël*, как основание устойчивости конституционной системы.

Но конституционный энтузиазм Пушкина умеряется вскоре тревожными оговорками. Роль и влияние республиканцев вызывают иронические замечания его, вряд ли диктуемые сочувствием к ним. Понижение ценза, имущественного, а главное возрастного, вызывает тревогу в том, что парламентское большинство составитя из лиц „неустрашенных Революцией“, т. е. падет граница, отделяющая умеренный либерализм от радикального. Вообще надо заметить, что концепция Великой Революции занимала центральное место в политических системах эпохи. Вот почему и Пушкин принимается за изучение Революции.¹

¹ Отмечу здесь следующее место из разговора *А* и *Б* (август 1830 года): „О французской революции Литературная Газета молчит и хорошо делает. *А*. Помилуй! да посмотри: *les aristocrates à la lanterne*, повесить, ça ira, и т. д.! *Б*. И ты видишь тут французскую революцию? *А*. А ты, что тут видишь, если смею спросить? *Б*. Крики бешеной черни. *А*. А что же значит эти крики? *Б*. Что тогдашняя чернь остервенилась противу дворянства и вообще противу всего, что было не чернь. *А*. Вот, я тебя и поймал; а отчего чернь остервенилась именно на дворянство? *Б*. Потому что с некоторых пор дворянство было ей представлено сословием презренным и ненавистным. *А*. Следовательно я и прав. В крике: *les aristocrates à la lanterne* — вся революция.

Наконец, — развитие демократического движения, усиление бонапартизма, который в эти годы коалиционировал с левым либерализмом, вызывают резко-отрицательный отзыв.

Требование казни Поляньяка, сделавшись средством революционирования толпы, теряет свою привлекательность, и Пушкин рад, что проиграл свое пари Вяземскому. Однако, он не отрекается от своей конституционной правоты, доказывая законность предания министров суду за измену.

Несочувственно относится Пушкин и к тому, что королевская власть теряет свой романтический, „надклассовый“ ореол чисто политической силы, и слишком конкретно проявляет свою социальную крупно-буржуазную ориентацию. В декабре 1830 г. Пушкин в разговоре с Погодиным высказывает сожаление, что французы не приняли уступок легитимизма и не избрали на престол Генриха V.

В самом деле, отдадим себе отчет в том, как Пушкин относился к различным социальным силам, взаимодействие которых определяло политическую ситуацию Франции.

Как уже отмечал П. О. Морозов, Пушкинские взгляды на дворянство сложились под влиянием M-me de Staël (см. „Сочинения Пушкина“, изд. Просвещения, том VII, стр. 5—6). M-me de Staël противопоставляла „наследственную магистратуру“, как элемент конституционного государства феодальной родовой знати, господствовавшей при старом режиме. Подобно тому и Пушкиным дворянство провозглашалось не как социальная сила, которой, соответственно его социальному влиянию, отводилась бы и политическая роль в государстве, — а прежде всего как некий *политический* институт, которому должны быть предоставлены соответствующие социальные преимущества, обеспечивающие его *политическую миссию*. В этом отношении знаменательны

Б. Ты не прав. В крике: les aristocrates à la lanterne — один жалкий эпизод французской революции — гадкая фарса в огромной драме. А. А. прогос, какого ты мнения о Поляньяке?“

Здесь любопытно желание разделить Революцию — на „огромную драму“ и на „гадную фарсу“. Характерен переход с темы Революции на Поляньяка.

Такое „расслоение“ революции на положительные и отрицательные моменты сказалось и в заметке о дворянстве (ок. 1831 г.): „Les moyens avec lesquels on accomplit une révolution ne sont plus ceux qui la consolident“. Совершенно ясно, что, симпатизируя укреплению революционных завоеваний, Пушкин отрицательно относился к средствам совершения или „углубления“ революции.

программные заметки Пушкина о дворянстве („Что такое потомственное дворянство“ и „Lâcheté de la haute noblesse“, обе — ок. 1831 г.). Дворянство трактуется не как класс, а как политическое установление. О дворянстве говорится так, как если бы дело шло о Палате пэров: „La haute-noblesse n'étant pas héréditaire (de fait), elle est donc *noblesse à vie*; moyens d'entourer le despotisme de stipendiaires dévoués — et d'étouffer toute opposition et toute indépendance. L'hérédité de la haute-noblesse est une garantie de son indépendance“.¹

Ср. с этим свидетельство М. В. Юзефовича, имевшего с Пушкиным на Кавказе в 1829 г. беседу на политические темы: „Однажды Пушкин коснулся аристократического начала, как необходимого в развитии всех народов“ („Русский Архив“ 1880 г., кн. III, стр. 439: „Памяти Пушкина“, М. В. Юзефовича). Очевидно—эта абстрактная и несколько противоречивая формула аристократии, как элемента, вызываемого соображениями порядка государственного равновесия, вне вопроса о социальных, т. е. феодальных правах сословия, и есть один из моментов связывающих Пушкинскую концепцию общественных отношений с концепцией французского умеренного либерализма.

Эта постановка вопроса и аргументация — несомненно принадлежат системе M-me de Staël, B. Constant и Royer-Collard.

О буржуазии Пушкин мало высказывался, но, характеризуя упадок и разложение русского наследственного дворянства, он писал, что его остатки составляют у нас „род третьего состояния, состояния почтенного, трудолюбивого и просвещенного“ („Разговор А. и Б.“, 1830 г.). Надо полагать что эти эпитеты относятся к западно-европейскому *tiers-état*. Это согласуется с тем вниманием, которое уделял Пушкин современным ему экономистам, апологетам буржуазно-промышленного строя. С другой стороны у Пушкина находим непримиримое отношение к „отвратительной власти демократии“ („Об истории поэзии Шевырева“).

¹ „Не наследственная (на деле) знать есть знать *пожизненная*. В этом — средство окружить деспотизм преданными наемниками и подавить всякую оппозицию и всякую независимость. Наследственность знати — гарантия ее независимости“.

Ср. с этим: „Каков бы ни был образ моих мыслей, никогда не разделяя с кем бы то ни было демократической ненависти к дворянству. Оно всегда казалось мне необходимым и естественным сословием всякого образованного народа“ („Критические заметки“, осень 1830 г.).

Надо сказать, что термин „народ“ Пушкин употребляет без особой дифференциации социального состава этого понятия, но во всяком случае отделяя его от „третьего сословия“. Во французском революционном движении он видел движение „демоса“ вообще и вряд ли замечал, как в процессе развития общедемократического движения происходило обособление движения чисто рабочего. Вообще — рабочий вопрос у Пушкина ассоциировался, вероятно, только с английской промышленной обстановкой (см. „Разговор с англичанином“, ок. 1833 г.).

Правда, Пушкин был знаком с идеями сенсимонистов. Мало того, он должен был на них обратить особое внимание: Чаадаев писал ему 18 сентября 1831 г.: „Смутное сознание подсказывает мне, что скоро придет человек, который принесет нам истину нашего времени. Может быть это сперва будет чем-то подобным политической религии, проповедываемой ныне в Париже Сен Симоном, или же католицизмом нового рода, который некоторые смелые священники предполагают утвердить на место католицизма, освященного временем. Что же? Не всё ли равно, откуда придет первый толчок движения, которое завершит судьбы человечества“ (оригинал на французском языке; см. Переписка т. II, № 618, стр. 327). В библиотеке Пушкина сохранилась, между прочим, книга „Religion Saint-Simonienne“ (Deuxième édition, Bruxelles. 1831). В книге этой некоторые страницы отмечены (см. Б. Л. Модзалевский, „Библиотека Пушкина“, № 1300; ср. „Doctrine de Saint-Simon“ 1829 в Брюссельском издании 1831 г., № 885). Однако, эти отметки показывают, что Пушкина, как и Чаадаева, интересовала религиозно-философская сторона учения, в то время, как социальная программа не привлекала внимания. Чаадаев — в согласии с таким пониманием сенсимонизма — совершенно прав, сопоставляя сенсимонизм с приверженцами Ламенэ. Впрочем, формы сенсимонизма начала 30-ых годов отчуждали его от рабочего движения.

Демократические требования казались Пушкину неосуществимыми („Разве требования народа могут быть исполнены его поверенными?“ — „Разговор с англичанином“).¹

¹ Большой и систематизированный материал высказываний Пушкина по сословным вопросам приведен в статье И. Жданова: „Пушкин о Петре Великом“. — „Вестник Всемирной Истории“ 1900 г., № 5 стр. 51 и дальнейшие. (Ср. Сочинения И. Н. Жданова, т. II).

Подобная социальная ориентация Пушкина вполне соответствовала такой же ориентации доктринёров. Тот же компромисс двух противоречивых (что сознавал Пушкин) принципов: „устойчивости и прогресса“ (*stabilité* и *perfectibilité*) мы находим как у Пушкина, так и у идеологов умеренного либерализма (см. заметку Пушкина, 1831 г.: „*Stabilité—première condition du bonheur public. Comment s'accommode-t-elle avec la perfectibilité indéfinie?*“ Ср. политический дуализм французских либералов, выражавшийся в лозунгах „*l'ordre et la liberté*“ и т. п.).¹

Понятно, взгляды Пушкина, как стороннего наблюдателя, не связанного политической тактикой партии, не укладываются в строгие рамки французского либерализма. Так, в частности, он не скрывает своих симпатий к политическому противнику либералов — к Шатобриану, но не следует забывать, что Шатобриан, в эпоху „*Chambre introuvable*“, когда, казалось, легитимизм располагал национальным большинством, выступил с крайне либеральной программой, включавшей свободу печати и парламентаризм. Этим принципам он оставался верен и позднее, что и привело его в оппозицию. Программа Шатобриана имела, конечно, совершенно иные социальные предпосылки, чем программа либералов, но сходство предлагавшихся политических мероприятий заставляло Пушкина ему симпатизировать. Любопытно, что в „Рославле“ Пушкин отмечает, что *m-me de Staël* была другом Шатобриана, и тем как бы указывает на идеологическую их связь. С другой стороны Пушкину был совершенно чужд мистицизм Шатобриана, который собственно и определял его политическую ориентацию. Замечу, что во французской либеральной прессе этой эпохи избегали враждебных суждений о Шатобриане.

Резко разошелся Пушкин с либеральной Францией в Польском вопросе, но не следует думать, что в этом взгляды Пуш-

¹ Ср. с этим дуалистическую характеристику английского конституционного строя, сделанную Пушкиным в апреле 1829 г.:

Но Лондон звал твое внимание. Твой взор
Прилежно разбирал сей *двойственный* собор:
Здесь *натиск* пламенный, а там *отпор* суровой,
Пружины смелые гражданственности новой.

(„К Вельможе“).

Ср. в том же стихотворении характеристику Великой Французской Революции.

кина принципиально противоречили либеральной программе. Замечу, что национальный вопрос в начале XIX века рассматривался совершенно иначе, чем теперь. Национальные движения малых наций, вообще говоря, не приравнивались к освободительным. Так, и Французская Революция прошла под лозунгом борьбы с местным партикуляризмом („*République Française une et indivisible*“), и завоевательная политика Наполеона не расходилась с освободительными идеями века. Права малых наций рассматривались с точки зрения их относительного социального превосходства по отношению к метрополии (ср. аналогичные утверждения в „Русской Правде“ Пестеля). А в этом отношении умеренные либералы не питали особого доверия к Польше. Феодално-олигархические традиции вызывали подозрения в способности Польского народа к осуществлению либерального строя при самостоятельном существовании. Вот, например, как осторожно упоминала Польшу *M-me de Staël* в своих „*Considérations sur les principaux événements de la Révolution Française*“: „L'Europe devait être citée au ban de la Pologne, pour les injustices toujours croissantes dont ce pays avait été la victime jusqu'au règne de l'empereur Alexandre. Mais, sans nous arrêter maintenant aux troubles qui ont dû naître de la funeste réunion du servage des paysans et de l'indépendance anarchique des nobles, d'un superbe amour de la patrie et d'une contrée tout ouverte au pernicieux ascendant des étrangers, nous dirons seulement que la constitution rédigée en 1792, par des hommes éclairés, celle que le général Kosciusko a si honorablement défendue, était aussi libérale que sagement combinée“.¹

¹ „Европа должна быть заклеена Польшей вследствие несправедливостей, жертвой которых была эта страна, всё возроставших до царствования императора Александра. Но, не останавливаясь на волнениях, которые должны были рождаться из пагубного соединения крепостного состояния крестьян с анархической независимостью дворянства, возвышенной любви к отечеству из расположения страны, открывавшего доступ вредному преобладанию иностранных влияний, скажем только, что конституция, редактированная в 1792 г. просвещенными людьми, та, которую генерал Костюшко так благородно защищал, была составлена так же либерально, как и благоразумно“ Ср. с этим слова Лакретеля по поводу последнего раздела Польши: „Il n'y eut plus de Pologne: ses troubles continuels, sa constante misère, étaient dus à son aveugle persévérance dans le système féodal; et pour que rien ne manquât au malheur de sa destinée, elle dut sa ruine aux efforts qu'elle fit pour se dégager de ce régime anarchique, objet de la dérision et des calculs intéressés de ses voisins. Ses provinces incor-

К этому недоверчивому отношению к национальному сепаратизму поляков у Пушкина примешивалось и сознание русских государственных интересов, — сознание, присущее по той эпохе и либералам крайнего толка. Поэтому, когда Пушкин именовал Польский вопрос „домашним спором“, то не противопоставлял себя западно-европейскому либерализму, а выделял Польский вопрос из общей либеральной программы, выдвигая местные условия, заставлявшие несколько иначе подходить к его разрешению, чем это делали французские либералы в момент Польского восстания. Не следует также упускать из виду слухов, которые приписывали крушение либеральных надежд на реформы, ожидавшиеся от тайной комиссии 6 декабря 1826 г., вмешательству польских кругов через Константина Павловича. Русское общество, ожидавшее от работ этой комиссии осуществления либеральных чаяний, испытало полное разочарование, по прекращении этих работ летом 1830 г., окончившихся ничем и разрушивших последние иллюзии.

Рассматривая политические замечания по поводу Июльской революции в целом, мы должны придти к выводу, что Пушкин занимал вполне определенную либеральную позицию. Надо только помнить, что либерализм начала XIX века представлял собой сложное явление, распадаясь на несколько течений, находившихся в борьбе и лишь иногда, по тактическим соображениям, заключавших союз.¹ Кроме того, следует строго различать

porées à trois puissances qui savent temperer une autorité absolue, ont goûté plus de calme, ont pu tirer plus d'avantages de la fertilité de leur sol. Mais le souvenir de l'indépendance perdue flétrira longtemps cette tranquillité qu'on leur a fait subir“ („Précis historique de la Révolution Française. Directoire exécutif“, Т. I, III éd. 1815, Introduction, p. cv—cvj.).

¹ Разнообразие либеральных направлений эпохи и определенную позицию Пушкина отмечает П. А. Вяземский, хорошо знавший его вблизи: „На политическом поприще, если оно открылось бы пред ним, он без сомнения был бы либеральным консерваторм, а не разрушающим либералом“ (П. А. Вяземский, Сочинения, — т. I „Цыганы“, приписка 1875 г., стр. 322). Не нужно, понятно, преувеличивать устойчивости взглядов Пушкина и отрицать некоторого уклона к консерватизму в середине 30-х годов; об этом писал и сам он, вспоминая о декабристах: „Quand je songe que 10 ans se sont écoulés depuis ces malheureux troubles, il me paraît que j'ai fait un rêve. Que d'événements, que de changements en tout, à commencer par mes propres idées — ma situation, etc. etc.“ (П. А. Осиповой, 26 декабря 1835 г.). Свидетельства Вяземского, заключающиеся в его письмах, посвященных смерти Пушкина, представляют собою

либерализм, как определенно направленное социально-политическое течение, и „либеральную программу“, т. е. совокупность известных „гражданских свобод“ и „конституционных гарантий“. Либеральной программой как средством пользовались и социально враждебные либерализму течения, и она не является решающим, отличительным признаком либерализма.

Большинство заметок, посвященных вопросам социального и конституционного характера в Пушкинских рукописях относятся к концу 1830 или к 1831 году; это свидетельствует о том, что события, сопряженные с Июльской революцией, вызывали Пушкина на пересмотр основных пунктов его политической программы. Вот почему его отзывы на эти события, дошедшие до нас в письмах к Е. М. Хитрово, имеют такое большое значение, характеризуя один из основных этапов развития его общественно-политического самосознания.

Б. ТОМАШЕВСКИЙ.

тенденциозную стилизацию. Вот русская редакция: „Он (Пушкин) был аристократом по чувству и убеждению. В Июльскую революцию он на стороне Генриха V и остается на ней до конца, предавая посмеянию и пороча новый порядок во Франции“ (письмо Булгакову—„Русский Архив“ 1879, кн. II).¹ Несколько иначе это выражено по-французски: „Il n'est pas libéral, mais aristocrate par goût et par conviction. Il blâmait ouvertement la ruine de l'ancien état de choses en France, n'aimant pas le gouvernement de Juillet et étant attaché autant par goût que par conviction aux intérêts de Henri Cinq“ (письмо в. к. Михаилу Павловичу — П. Щеголев, „Дуэль и смерть“, I изд., стр. 153).

Французская орфография Пушкина в письмах к Е. М. Хитрово.

„...Moi qui ne connoit même pas l'orthographe“ — так определяет Пушкин свое отношение к французскому языку. Буквально этих слов понимать нельзя и уличить Пушкина в элементарном незнании грамматики невозможно. Однако, правописание его отличается целым рядом особенностей, имеющих различное происхождение.¹

В первую очередь отмечу особенности, общие французской и русской системе Пушкинской скорописи (особенности, почти отсутствующие в „парадных“, беловых автографах): это 1) небрежность в употреблении прописных и строчных букв и знаков препинания, 2) слитные начертания соседних слов.

Пушкин весьма часто употребляет прописную букву после таких знаков, как запятая, точка с запятой, двоеточие, тире. Если прописные буквы после двоеточия и тире могут считаться особенностью его орфографической системы, то другие случаи всецело обуславливаются скорописью. Так же свободно Пушкин ставил строчную букву в начале имен собственных, напр., *la france* (встречается дважды), или после точки. Так, характерно в этом отношении письмо от 9 декабря 1830 г., оканчивающееся следующим образом: „il n'a pu être à la fois dans tous les 16 gouvernements empestés. le peuple est abattu et irrité. l'année 1830 est une triste année pour nous —“ и т. д.

¹ Отчасти это замечание, может быть, является и иронической оценкой состояния французской орфографии в первой четверти XIX века. За эти годы наблюдается исключительная пестрота и бессистемность в правописании. Ориентироваться в противоречивых правилах было затруднительно и, напр., Беранже (говоря о своем детстве, проведенном в типографии Лене) подчеркивал, что ему не удалось обучиться орфографии. Орфографической пестротой вызывались и реформационные проекты, из которых особенный шум произвела попытка Марля (в 1829 году), пропагандировавшего фонетический принцип правописания.

В связи с этим находится невнимательность к знакам препинания. Часто знаки не отделяют или недостаточно отделяют друг от друга самостоятельные синтаксические единства. В конце абзацов часто отсутствует какой бы то ни было знак. Тире играет роль универсального знака.

Что касается слитного начертания, то оно выражается в том, что Пушкин иногда не отрывал пера от бумаги в интервалах между словами. Обычно в таком случае соединительная черта между буквами несколько длиннее нормальной и словораздел отмечается более широкой расстановкой букв, но в некоторых случаях это удлинение соединительной черты незаметно и разбивка на слова неуловима. Любопытно, что эти слитные начертания не случайны и как то координированы с восприятием написанного. Так, чаще всего (почти систематически) слитно пишутся проклитики со следующим за ними словом (по-русски не отделяется предлог, по французски — *article*), напр., *dumoins*. Ср. *laveille* (Переписка Пушкина, изд. Академии Наук, № 921, июль 1835 г.).¹ В некоторых случаях подобная слитность начертаний не дает возможности решить, — писал ли Пушкин определенное сочетание в одно или в два слова. Так, напр., весьма неясны начертания *pop-sens* (п. XII) и *beau-frère* (п. XXIV), написанных без соединительной черточки.

¹ Примеры, приводимые для сравнения из писем Пушкина другим лицам ниже обозначаются словом „Переписка“ и указанием номера письма по Академическому изданию. К сожалению, изучение французской орфографии Пушкина на основании его переписки представляет большие затруднения: эта переписка с лингвистической точки зрения может почитаться неизданной. Академическое издание, как и оговорено редактором его в предисловии, далеко не все письма печатало с автографов, а при отсутствии примечаний представляется не всегда ясным, какое письмо печатается с подлинника, какое — с копии, не передающей орфографии оригинала. Приходится относиться с некоторой осгорожностью и к письмам, несомненно печатаемым с оригинала, во-первых потому, что в Академическом издании встречаются опечатки именно во французском тексте (см., напр., письмо № 1020), во-вторых потому, что в воспроизведении текста не вполне выдержаны принципы лингвистической критики и иногда отождествлялись сходные начертания (так, все случаи *ipragfait* с *ai* следует отнести за счет неясности рукописей Пушкина). Неточности Академического издания легко обнаружить, сличив его с первым томом Писем Пушкина, изд. 1926, под редакцией Б. Л. Модзалевского (до 1825 года). Всё это заставляет относиться к приводимым здесь сопоставлениям из писем, адресованным не к Хитрову, с некоторой осторожностью.

Эти мелкие особенности оригинала, касающиеся больше начертания, чем правописания, не сохранены в воспроизведении.¹

Особенностью, характерной для французских автографов Пушкина, является небрежность в расстановке акцентов. В этом отношении в настоящем издании не делалось отступлений от оригинала. Здесь наблюдается:

во-первых, полное отсутствие акцентов и вообще диакритических знаков: *consideration, agreez, presenter, donnee, des que* (но в другом месте — *dès que*), *eveque* (в другом месте *évêque*), *succes* (здесь же рядом *succés*), *la dessus* и т. п. Так же небрежно ставил Пушкин и *cédilles*: у него встречаются начертания *francois, je m'apercois* (в издании в соответствующих местах *cédilles* поставлены);

во-вторых, неверная постановка акцентов: *chûte* (ср. подобное же начертание в „Переписке“, № 379, от 30 января 1829 г. Впрочем, есть и правильное начертание *chute*), *plâce* и т. п.

Небрежность в расстановке акцентов встречается и там, где акценты дифференцируют формы. Так, у Пушкина систематически встречается начертание *votre* вместо *vôtre*, *du* вместо *dû* (нередко Пушкин употребляет и обратно *vôtre* вместо *vous* — см. „Переписку“ № 563, 6 июля 1831 г. и № 1098, 10 ноября 1836 г.). К тому же классу начертаний возможно отнести употребление простого согласного вместо удвоенного: *aparence, éfrontement, comencement, independement*. Дело в том, что удвоение буквы Пушкин иногда обозначает чертой над буквой (преимущественно над „т“ и „л“). Можно предполагать, что эту черту он, по небрежности, в данных случаях не поставил. Однако, встречаются случаи обратные — удвоение согласных там, где этого не должно быть: *plattitude* (ср. „Переписка“, № 1105, 21 ноября 1836 г. и № 1138, 26 января 1837 г.), *gerprocher, s'abruttir*. Ср. *eschaffaud* („Переписка“, № 379, 30 ноября 1829 г. Впрочем, есть и форма *échafaud* в плане „Un grand seigneur“, см. „Неизданный Пушкин“), *mirmurta* („Переписка“, № 425, апрель 1830 г.).

¹ Точно так же поставлены точки в конце абзацев, где нет никакого знака, и перед большими буквами, если перед ними нет никакого знака. Большие буквы там, где они ничем не могут быть оправданы, заменены малыми, как особенности начертания, а не орфографии. См. в конце статьи полный перечень отступлений издания от оригинала.

К разряду небрежностей можно отнести систематические ошибки в глагольных формах, где часто встречается смешение созвучных или сходно звучащих форм. Таковы случаи:

„vive les grisettes“ (вм. vivent, п. XXVI),

„nos rangs commence“ (вм. commencent, п. XII),

„elles vous fasse“ (вм. fassent, п. II. Ср. „je crains que vos opinions historiques ne vous fasse du tort“—„Переписка“, № 1083, 19 октября 1836 г.),

„il vous avez vue“ (вм. avoit— влияние предшествующего vous: п. XIV. Ср. „qu'il vous avez trouvé“—„Переписка“, № 1125, декабрь 1836 г.),

„celle que nous avez donnee le bras“ (вм. avoit, п. XXI). Ср. „il n'y a rien de plus presser“ („Переписка“, № 379, 30 января 1829 г.).

К этим же ошибкам относится дважды встретившееся начертание et вм. est. Таковы же ошибки в числе существительных и прилагательных:

„Vos reflexions la dessus seroient parfaitement juste“ (вместо justes, п. VIII).

„Toute sorte d'embarras“ (вм. toutes sortes, п. II).

Эти случаи показывают, что у Пушкина слуховые ассоциации преобладают над зрительными, что вполне объясняется бытовыми условиями употребления французского языка в эти годы.¹

Неправильное написание отдельных слов по большей части можно свести к ложной этимологии, напр.: *vœuillez* и *vœillez* (по ассоциации с *vœu*; возможна также фонетическая ассоциация с *œil*; форма *vœuillez* встречается до 1830 г. Ср. „ne m'en *vœuillez* pas“ в письме к Анне Вульф от апреля или мая 1825 г. „Письма 1815—1825 гг.“ под ред. Б. Л. Модзалевского, № 136. Позднее везде *veuillez*), *à mes dépends* (по аналогии с *dépendre*. Ср. „aux *depents* de ma *sœur*“—письмо Осиповой 22 декабря 1836 г. „Письма Пушкина и к Пушкину. Собрал М. Цявловский“, № 1117; то же начертание в письме отцу от 20 октября 1836 г., см. „Пушкин и его современники“, вып. XXXVII), *inserrer* (по аналогии с *serger*; впрочем, встречается и *inserer*, см. „Переписка“

¹ К разряду смешения слов относится и встречающееся один раз начертание *quand à*, хотя вообще мы имеем правильное *quant à*. Ср. „tous les deux ne me l'ont (вм. l'ont под влиянием *article*) fait“—„Переписка“, № 921, июль 1835 г.

№ 638, 24 ноября 1831 г.), *exhaltation* и *exhalter* (по аналогии с *exhaler*. Ср. *exhaltation*— „Переписка“, № 43, 1822 г.), *le soutient* (по аналогии с суффиксом *-ent*).

Ср. аналогичные явления в письмах другим лицам: *therme* (аналогия с *thermes* или *thermique*— „Переписка“, № 200, 20 августа 1825 г.), *bienaitre* (глагольный суффикс *-aitre*; *ibid.*, № 426, апрель 1830 г.), *calembourgs* (аналогия с именами на *-bourg*; *ibid.*, № 1105, 21 ноября 1836 г. и № 1138, 26 января 1837 г.).¹

Случайные ошибки в начертании отдельных слов: *corp* (вм. *corps*, может быть, описка), *certe* (при наличии форм *certes*; см. „Переписка“ № 918, 22 июля 1835 г. и № 1138, 26 января 1837 г.), *nuir*. Сюда же относится зачеркнутая форма *quelquonc*, при правильном *quelconque* в другом письме. Эти ошибки относятся к случаю колеблющихся форм, когда, при наличии правильной орфографической формы в практике Пушкина, ее вытесняет иногда форма неправильная. Такова, напр., судьба слова „*phrase*“. В форме „*frase*“ это слово встречается в „Переписке“ в письмах № 391, 10 ноября 1829 г., № 484, 5 ноября 1830 г., в форме „*phrase*“ — в письме № 433, апрель 1830 г. и в XXVI письме к Хитрово.²

Совершенно особое место занимают те особенности орфографии Пушкина, которые свидетельствуют об исторических наслоениях, расходящихся с общепринятой книжной, журнальной и газетной орфографией начала 30-х годов. Таковы написания:

1) *Temс*, вм. *temps*.

2) *Роëте*, вм. *poëte* (соответственно *poëtiquement*. Ср. *poëte* „Переписка“, № 427, 16 апреля 1830 г., *poëme* № 539, 27 мая 1831 г., *poësie* № 85, 5 июля 1824 г., *poëtique* № 563, 6 июля 1831 г. Следует отметить, что в орфографической системе, принимавшей формы *poëte*, *poëme*, обычно писалось всё же *poësie*, *poëtique*).³

¹ Впрочем, такое начертание встретилось в брошюре „*Calembourgs de l'abbé Geoffroy*“ (ан XI — 1804) и в фельетонах „*Journal des Débats*“ (напр., 9 prairial an X, „*Mariage de Figaro*“).

² Ср. также начертания как *anxhiété* („Переписка“, № 425, апрель 1830 г.), *rhume* вм. *rhum* (№ 638, 24 ноября 1831 г.), *pseudonime* („Письма Пушкина и к Пушкину“ № 1115^a, 16 декабря 1836 г.), *thronc* (379, 30 января 1829 и др.)

³ Впрочем, в женевском издании „Сочинений Вольтера“ 1769 г. встречается форма *poësie*.

3) Употребление *oi* там, где оно было заменено через *ai*, т. е.:

а) в imparfait и conditionnel глаголов: *il avoit, je viendrois* и т. д. (все случаи без исключения);¹

б) в окончании некоторых прилагательных: *Anglois, François, Marseilloise*. Впрочем, Пушкин и здесь не до конца последователен, и, напр., у него встречается форма: *Polonais* (однако встречается форма „*polonoise*“ в письме от 30 января 1829 г. См. „Письма“ под ред. Б. Л. Модзальского, т. II, № 289).

с) в некоторых других случаях: *il paroît* (правильнее *il paraît*). Ср. „Переписку“, №№ 427, 484, 584, 800, 1138. Однако, в инфинитиве Пушкин писал *paraître*;

qui ne connoît pas. Опять таки эта форма уединена среди начертаний *connaître, connaissance*, и т. д.² Также не употребляет Пушкин *oi* в слове *foible*, которое у него имеет модернизованную орфографию *faible*.

4) Употребление имен с суффиксом на *-nt* во множественном с сохранением *t*, т. е. *brillants, contents, enfants* и т. д. (так, как это ныне принято), а не *brillans, contens, enfans*, как писалось в начале 30-х годов.

5) Пользование знаком & (в редких случаях написано *et* полностью). Знак этот применялся в сокращении &c. = etc. Начертание Пушкина воспроизводит печатную а не курсивную форму знака.³

6) Форма *que j'aue* (впрочем, в этом случае „*u*“ написано не отчетливо). Эта же форма употребляется в третьем лице: „*que ma famille aue*“ („Переписка“, № 1138, 26 января 1837 г.); впрочем, встречается и форма *ait*.

Эти исторические наслоения разнородны и играют в орфографии Пушкина различную функцию. Так, форма *que j'aue* встречается

¹ Если в „Переписке“ и встречается часто окончание *ai*, то это объясняется неразборчивостью рукописи. Пушкин часто писал *a* как *o*.

² В письме XII начертание „*Vous connoissez*“ не отчетливо. Можно прочесть „*connoissez*“. То же со словом „*connaissance*“ в письме XXII. В прочих случаях начертание *ai* совершенно отчетливо.

³ Знак этот встречается у Пушкина как в строчной, так и в прописной форме (после точки). Сообразуясь с существовавшей в эпоху употребления этого знака традицией, в случаях прописного & в настоящем издании знак заменен через *Et*.

сравнительно редко,¹ и у Пушкина она появляется не систематически, а случайно. К этому же типу случайных архаизмов можно отнести и встречающееся в письмах Пушкина начертание *manuscripts* („Переписка“, № 539, 27 мая 1831 г., ср. *manuscript* в значении существительного и *manuscripte* — прилагательное в письме Баранту 16 декабря 1836 г. — „Письма Пушкина и к Пушкину“ № 1115^a). Это начертание поддерживается латинской этимологией, проникшей в русский язык в форме „манускрипт“. Наряду с этим начертанием мы находим у Пушкина и форму *manuscrit* („Переписка“ № 563, 6 июля 1831 г.).

Остальные особенности имеют относительно более свежее происхождение. Так, сокращение & наряду со старыми формами *í* (т. е. *s* в начале и середине слов), лигатурой *st* является особенностью шрифтов до конца XVIII века, когда французские типографии перешли на современные шрифты (переход этот намечался еще в конце 1780-х годов, но окончательно завершился во время Великой Революции).

К концу XVIII века относится и проникновение некоторых других новшеств, постепенно получивших всеобщее распространение и окончательно признанных шестым изданием Академического Словаря (1835 г.).

Главным новшеством является введение *ai* на место этимологического *oi*. Одним из главных сторонников этого новшества был Вольтер (см. „*Dictionnaire philosophique*“: „*A*“, „*François*“, „*Orthographe*“, а также его письмо Даламберу 19 марта 1770 г. в ответ на письмо от 11 марта, где излагалась идея фонетической орфографии). Замена этимологического *oi*, звучащего как *è* через *ai* была предложена еще в 1675 году адвокатом Руанского парламента Береном, но лишь пропаганда Вольтера популяризировала эту реформу. Особенную роль в распространении этой орфографии имело посмертное, так называемое, Кельское издание сочинений Вольтера, предпринятое Бомарше и Кондорсе в 1785 году („*Œuvres complètes de Voltaire, De l'imprim-*

¹ Следует, оговаривать, что Академический Словарь в V издании (an VII, т. е. 1798), являющемся с орфографической точки зрения перепечаткой IV издания (1762 г.), дает наряду с формой *que j'aie* также *que j'aye*. Форма эта встречается во французских кнгах довольно поздно, напр.: „*croyez-vous, docteur, que j'aye long-temps à vivre?*“—*Œuvres complètes de Rivarol, à Paris, 1808, t. I, p. IX.*

merie de la Société littéraire typographique“). Впрочем, систематическое употребление *ai* вместо *oi* встречается и в прижизненных изданиях сочинений Вольтера, напр., в женевском издании 1769 года. Это нововведение, равно как и некоторые другие изменения орфографии (напр., замена формы *sçavoir* через *savoir*, изменение образования женского рода некоторых прилагательных, напр., введение формы *complète* вместо старой *complette*¹ и некоторые другие) во время Революции получили всеобщее распространение. Однако, в V издании Академического Словаря 1798 года (ап VII) мы видим еще старые *oi*.² В эпоху Реставрации, до начала 20-х годов, замечается некоторый возврат к старой орфографии, но к 1830 году этимологические *oi* были отовсюду изгнаны. Признана эта реформа Академией в шестом издании ее Словаря 1835 года.³

¹ В письмах Пушкина встречается старая форма *complette* (Переписка, № 405, 18 января 1830 г.) и даже контаминация обеих форм: *complète* (*ibid.*, № 839, 29 июля 1834 г.). Из иных форм отмечу: *fesant* (письма № 638, 24 ноября 1831 г. и № 920, 26 июля 1835 г.) и *fesoit* (№ 1106, 21 ноября 1836 г.). Академическое правописание (по IV и V изданию Словаря) давало, как единственно правильные формы, *complète* и *faisoit*, но грамматики этой эпохи — напр. грамматика Wailly, 12 изд. 1810 г., где, как оговорено в предисловии, во исправление предыдущих изданий, строго проведена Академическая орфография — наряду с формой *faisons* указывают форму *fesons* (соответственно *fesoit*). Пропагандировал эти формы по тем же фонетическим основаниям еще Вольтер. Женский род от *complet* в грамматиках этой эпохи давался только в форме *complète*. Любопытно, однако, что орфография эпохи была настолько неустойчива, что самые грамматики в тексте нарушали свои же собственные правила. Так, напр., в указанном издании наряду с *imparfait* на *-oit* встречается *imparfait* на *-ait*. В сокращенном издании этой грамматики, напечатанной с польским переводом в Бердичеве в 1804 г., мы встречаем колебания вроде *temps* и *temp*, *enfants* и *mugissans*. Хотя указано на образование женского рода в форме *complète*, но в тексте читаем *grammaire complete*.

² Вопреки замечанию А. Firmin Didot („Observations sur l'orthographe française“, 1867, pp. 9—10), в IV и V издании Академического Словаря форма *oi* принята не только в окончаниях *imparfait* и прилагательных, но и в корнях, напр., *connoître*.

³ Замена *oi* через *ai* была совершена не одновременно. Прежде всего было узаконено *ai* в окончании имен народностей: *anglais*, *français*. Такова орфография „Journal des Débats“, долго сохранявшего этимологическое *oi* в остальных случаях. Встречается такое же начертание *français* и пр. при сохранении *oi* в остальных случаях и до Революции (см., напр., Амстердамское издание „Œuvres dramatiques de M. d'Arnaud“, 1782).

Иную судьбу имеет восстановление немых согласных, как *r* в слове *temps* и *t* во множественном числе имен, оканчивающихся на суффиксы *-ent* и *-ant*.

Это нарушение общепринятого правописания встречается еще в XVIII веке.¹ Грамматика Wailly (12 изд. 1810 г.), давая общее правило образования множественного числа, приводит следующее „Исключение“, сопровождаемое примечанием: „Исключение. Все существительные и прилагательные множественные, оканчивающиеся на *-ant* или на *-ent*, изменяют во множественном числе *t* на *s*. *Enfant*, мн. ч. *enfants*. Примечание. Этот способ правописания, принятый Академией, не принят еще всеми, и многие сохраняют во множественном числе букву *t* единственного числа: пишут *les enfants*, *les événements*, что вносит единообразие в правописание.“

Особенно в начале XIX века это правописание *-nts* получило большое распространение.² Однако, к концу 20-х годов оно уступает место Академическому правописанию, господствующему в большинстве газет и журналов (и в этом судьба формы *-nts*

¹ См., напр., „*Contes moraux*, par M. Marmontel. Nouvelle édition. A Paris, chez J. Merlin. MDCCLXXVIII“. Правописание *temps* являлось Академическим, и в этом отношении общепринятое начертание *tems* было отступлением от Академических правил.

² Вот некоторые из типографий, печатавших стереотипные массовые издания классиков, употреблявшие вообще архаические формы (этимологическое *oi* и т. п.) и в то же время печатавшие *-nts*: J. Didot aîné, A. Egron, imprimerie stéréotype de Tramblay, A. A. Renouard. Применялась эта орфография и за пределами Франции: так печаталась „*Bibliothèque portative des auteurs classiques français*“ в Цвикау у бр. Шуман. Замечу, что все эти типографии употребляли форму *temps*, а не *tems*. В то же время типографии, следующие Академии в начертании формы *-ns*, обычно печатали вопреки Академии *tems*. Особенно резкую оппозицию правилу Академии об образовании множественного числа имен на *-nt* проявил автор „*La grammaire des grammaires*“—Girault Duvivier (I издание 1810 г.): следуя во всех деталях орфографии Академии, эта грамматика в данном случае рекомендует писать множественное число подобных слов, сохраняя *t*, при чем в подтверждение своего мнения приводит длинный список грамматиков, придерживавшихся этого правила. Впрочем, „*Journal des Débats*“ придерживался формы *-ns* и после признания формы *-nts* Академией, употребляя первую форму до 70-х годов XIX-го столетия. Что касается правописания слова *temps*, то грамматика Дювивье, сообщая, что „некоторые исключают из этого слова характеристичную букву *r*, вероятно потому, что она не произносится“, доказывает необходимость сохранения этого *r*, по соображениям этимологической орфографии.

совершенно иная, чем судьба этимологического *oi*, которое в эти годы уже вытесняется формой *ai*). Лишь с начала 30-х годов правописание *-nts* начинает заметно вытеснять форму *-ns* и окончательно канонизируется шестым изданием Академического Словаря 1835 года.

Изменчивость орфографии за годы Революции, Империи и Реставрации объясняет, почему в рукописной традиции этой эпохи наблюдаются частые отклонения от орфографии печатной. Так, напр., у Шатобриана в его автографе, относящемся к 20-м годам, изданном фототипически („Chateaubriand. Amour et Vieillesse, reproduction en phototypie du manuscrit autographe de la Bibliothèque Nationale avec une introduction, des Notes critiques et une étude sur Chateaubriand romanesque et amoureux par Victor Giraud. Paris. Edmond Champion. 1922“) встречаются формы: *qui me montreroit, fesoit, longtemps, des accents, les changements, les tourments* (но — *les amans*, стр. 14). К сожалению, не все эти формы сохранены редактором в печатном тексте, несмотря на научно-критические принципы издания.¹

Пушкин отличался от своих собратьев-французов только тем, что элементы архаизма, удержавшиеся в его орфографии, отличаются зыбкостью, неустойчивостью и бессистемностью. Хотя каждый отдельный казус и находит соответствие в исторических фактах французского правописания, но комбинируются все эти случаи довольно прихотливо и своеобразно.

Этот же архаистический налет имеется и в русском правописании Пушкина, которое, как известно, во многом расходилось с журнальной и книжной орфографией 20-х и 30-х годов. Очевидно, некоторый консерватизм и пренебрежение к орфографическим новшествам вообще характерны для рукописей Пушкина, независимо от языка.

Б. ТОМАШЕВСКИЙ.

¹ Так же консервативен в своей орфографии был Ш. Нодье, который в печати сохранял архаистические *oi* и др. формы. Так печатались его произведения не только при его жизни, но и после его смерти. См., напр., его „Romans“ в изд. Charpentier 1862 г., где мы находим *françois, j'allois* и прочие особенности правописания IV и V издания Академического Словаря. Шатобриан также сохранял в своих изданиях этимологические *oi* (см., напр., издание 1836 г.).

Отступления издания от оригинала

(римские цифры — № письма, арабские — порядок печатной строки)

I. Проставлены отсутствующие в оригинале точки после дат и в конце след. абзацов: III, 11; III, 13; IV, 10; V, 7; VII, 4; XI, 33; XIV, 32; XV, 10; XV, 13; XXII, 8; XXII, 5; XXV, 4; XXV, 7; XXVII, 3; внутри абзацов: XI, 24; XII, 35; XIX, 6; XX, 2; XXII, 3; XXV, 6.

II. Прочие отступления:

| место | напечатано | оригинал |
|----------|----------------|----------------|
| V, 2 | Mais | mais |
| V, 4 | quoique | Quoique |
| V, 5 | il | Il |
| VIII, 4 | françois | francois |
| VIII, 13 | je m'aperçois | je m'apercois |
| IX, 7 | Et | & |
| IX, 24 | Et | & |
| X, 3 | France | france |
| X, 16 | hair | hair |
| X, 20 | Tout | tout |
| X, 23 | Le peuple | le peuple |
| X, 24 | L'année | l'année |
| XI, 9 | Les elections | les elections |
| XI, 9 | France | france |
| XII, 37 | Independemment | independemment |
| XVII, 5 | Bonjour | bonjour |
| XIX, 4 | Thiers | thiers |
| XXII, 7 | Faites | faites |

Дополнения и поправки

Стр. 6 и 49. Дату письма VI можно еще уточнить таким образом: „Конец марта—апрель 1830 г.“ на том основании, что Л. С. Пушкин был в Петербурге, повидимому, уже в самом конце апреля: „3 мая“ помечена его записка к Жуковскому (написанная несомненно в Петербурге) по поводу напечатания эпиграммы Пушкина на Ф. В. Булгарина — „Не то беда, что ты поляк...“. См. „Русскую Старину“ 1903 г., август, стр. 454.

Стр. 9. Дату в подзаголовке письма IX следует читать: „21-го августа [1830 г.] Москва“.

Стр. 38. Письмо III приводится, в неточном переводе, заимствованном из публикации „Вечерней Красной Газеты“ 1925 г., № 260, в книге В. В. Вересаева „Пушкин в жизни“, вып. II, М. 1926, стр. 95.

Там же. В начале прим. 1-го, вместо напечатанного, по недосмотру, неверного текста, следует читать: „На него откликнулись почти все главные повременные издания того времени, за исключением „Вестника Европы“: „Московский Телеграф“ (1828 г., ч. XIX, февраль, № 3, стр. 433—436: краткий отзыв и передача содержания в выписках), „Сын Отечества“... и т. д.

Стр. 47. Стихотворный ответ Пушкину митрополита Филарета напечатан впервые, в несколько иной и, повидимому, искаженной редакции, в журнале П. А. Корсакова и С. О. Бурачка „Маяк современного просвещения и образованности“ 1840 г., часть X, стр. 59; здесь, в критической статье С. Бурачка: „Видение в царстве духов“, имеющей форму разговора, где участвуют Пушкин, Гёте, Байрон, Поэзин (Жуковский?), юноша-поэт и автор, стихи Филарета вложены в уста Гёте. (Ср. у В. Каллаша, „Ruschkiniana“, вып. I, Киев. 1902, стр. 130.)

Стр. 59—60. Выдержка из письма VIII приведена в примечаниях к статье Н. В. Яковлева „Из разысканий о литературных источниках в творчестве Пушкина“ — в сборнике: „Пушкин в мировой литературе“, Лгр. 1926, стр. 368.

Стр. 116—117. Что Пушкин, в последних числах мая или в начале июня, приезжал в Петербург, видно также из служеб-

ной пометы на письме Пушкина к А. Х. Бенкендорфу от 27 мая 1831 г.: „Завтра в 10 ч. к Генералу“. Точную дату этого свидания нельзя, однако, определить.

Стр. 139 и 185. Соображения Н. В. Измайлова о том, что слова Пушкина в XXVI письме: „J'ai le malheur d'avoir une liaison avec une personne d'esprit, malade et passionnée“ [„Я имею несчастье быть в связи с особой умной, болезненной и страстной...“ и проч.] означают, быть может, иносказательно отношение поэта к своей Музе, — вызвали возражения некоторых исследователей Пушкина, видящих здесь намек на живое, реальное лицо. Но слова письма можно сопоставить со словами наброска стихотворения, обращенного к Рифме („Рифма, звучная подруга...“), где поэт является „любовником“ своенравной и мучительной подруги — рифмы, т. е. той же Музы:

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| ... Ты, бывало, мне внимала, | Но с тобой не расставался, |
| За мечтой моей бежала, | Сколько раз повиновался |
| Как послушное дитя; | Резвым прихотям твоим, |
| То, свободна и ревнива, | Как любовник добродушный, |
| Своенравна и ленива, | Снисходительно послушный, |
| С нею спорила шутя. | Был и мучим и любим... |

Стихотворение это, по положению в рукописи (тетрадь б. Румянцовского Музея № 2371, л. 25), относится к осени 1828 г., первоначальные наброски его (тетр. № 2368, л. 33₂) — к 1827—1828 гг., т. е. ко времени, близкому к предположенному нами для XXVI письма Пушкина; последнее, всего вернее, может быть отнесено к 1828 году. Правда, на это можно сказать, что поэтический образ недопустимо приравнивать эпистолярному признанию, имеющему совершенно иной характер, и что подобные иносказания вообще не в духе писем Пушкина; но слова письма очень близко совпадают с выражениями стихотворения, а обстановка, кажется, оправдывает такое иносказание в устах Пушкина скорее, чем автобиографическое признание. Если же принимать толкование фразы письма Пушкина в автобиографическом смысле, то наиболее вероятно предположение В. В. Вересаева о том, что поэт имеет в виду свои отношения к графине А. Ф. Закревской.

Стр. 246 прим. В сборнике „Contes bruns“ Rabou принадлежат не три, а четыре новеллы. Переведенный в сборнике Надеждина рассказ „Исповедь капуцина“ называется в оригинале „Une bonne fortune“ и принадлежит Ф. Шалю.

Указатель¹

- Авенель, Д.-Л.-М. (Denis-Louis-Martial Avenel) 211, 212.
 „L'Avenir“, газета 18, 101, 346, 347, 348.
 Адарюков, Владимир Яковлевич VII.
 „Adelchi“ („Адельгиз“), трагедия Манцони 251.
 „Adolphe“ („Адольф“), роман Б. Констанана 168.
 „Акафист“ княгине Е. Н. Мещерской, рожд. Карамзиной, стих. Пушкина 136.
 Аксаков, Сергей Тимофеевич 108.
 Александр Николаевич, цесаревич 131.
 Александр I, император 11, 16, 45, 60, 61, 69, 74, 89, 97, 147, 148, 149, 152, 157, 158, 169, 258, 259, 267, 273, 297, 359.
 Александра Федоровна, императрица 41, 43, 71, 159, 200, 284.
 Алексеев, Михаил Павлович 61, 315.
 Ампер, Ж.-Ж.-А. (Jean-Jacques-Antoine Ampère) 341.
 „Anatole“ („Анатоль“), роман Софии Ге 248.
 Ангулемский, герцог Луи-Антуан Бурбон (Louis-Antoine de Bourbon, duc d'Angoulême) 93.
 Андраши, графиня—см. Форгач, графиня.
 „L'Ane mort et la femme guilloti-
 née“ („Мертвый осел и обезглавленная женщина“), роман Ж. Жанена 216, 217, 224, 225, 226, 232.
 „Angèle“ („Анжель“), драма Алекс. Дюма 215.
 Анна Николаевна (домоправительница В. Л. Пушкина) 67.
 Анненков, Павел Васильевич 42, 66, 129, 130, 253, 296.
 Ансело, Маргарита Шардон (Marguerite Chardon Ancelot) 218.
 Анстет, барон Иван Осипович (baron d'Ansteet) 132.
 „Antony“ („Антони“), драма Алекс. Дюма 215.
 Анфантен, Б.-П. (Barthélemy-Prosper Enfantin) 343.
 „Анфологические эниграммы“, стих. Пушкина 91.
 „Анчар, древо яда“, стих. Пушкина 91.
 Апраксина, графиня София [Петровна?] 45.
 Араго, Этъени (Etienne Arago) 322.
 Арндт, Николай Федорович (Arnt, Арнт) 2, 36, 37, 84.
 Д'Арленкур, виконт Шарль (Charles-Victor-Prévoт, vicomte d'Arincourt) 221.
 Арман (А. Руссель — Armand Roussel, dit Armand) 331.

¹ В указатель вошли: все имена личные, кроме неимеющих никакого значения, — напр. имен издателей в заглавиях книг; заглавия упоминаемых книг, журналов, произведений, *современных Пушкину*, кроме тех, которые лишь упоминаются в библиографических справках (напр., стр. 239, 240, 246, 299—300); некоторые особо-важные понятия (Польское восстание, Июльская революция) и географические названия, когда они непосредственно относятся к Пушкину или упоминаются им самим.

- Арно, Ф.-Т.-М. Бакюлар (François-Thomas-Marie de Vasular d'Arnaud) 369.
- Архаров, Николай Петрович 152.
- Д'Аршиак, виконт (vicomte d'Archiac) 199.
- Атален, барон Луи (Louis-Marie-J.-B., baron Athalin) 326, 327.
- „Атенея“, журнал 38, 39.
- Аттил (сын графа Ю. П. Лигты) 135, 251.
- Базар, Аман (Amand Bazard) 343.
- Байи, Жан-Сильвен (Jean-Sylvain Baillu) 254.
- Байрон, лорд Джордж (George, lord Byron) 203, 373.
- Бакуни 133, 288.
- Бакунин, Михаил Александрович 289.
- „Бал“, повесть в стих. Е. А. Боратынского 105, 167.
- „Бал“ („Un bal“), соч. Э. Бюра де Гюржи 239.
- „Бал у Луи-Филиппа“ („Un bal chez Louis-Philippe“), соч. аббата Тибержа (псевд.) 234.
- „Le Bal de Sceaux“ („Бал в Со“), повесть Бальзака 246, 248.
- „Le Bal des ouvriers“ („Рабочий бал“), пьеса Варена и Луи 331.
- Балашов, А., издатель 37.
- Бальзак, Оноре (Honoré de Balzac) 32, 138, 167, 183, 195, 213, 217, 219, 232, 239, 240, 245—249, 252.
- Бандтке, Георгий-Самуил (Jezy Samuel Vandtke) 277, 299.
- Бантыш-Каменский, Дмитрий Николаевич 42, 153.
- Барант, барон Амабль (Amable, baron de Barante) 253, 351, 368.
- Барбье, Антуан-Александр (Antoine-Alexandre Barbier) 233.
- Барбье, Огюст (Henri-Auguste Barbier) 315.
- Барду, А. (Agénor Bardoux) 334.
- Барклай-де-Толли, князь Михаил Богданович 128, 286.
- „Barnave“ („Барнав“), роман Жюль Жанена 30, 134, 217, 226, 240—243.
- Барро, Одилон (Camille Odilon Barrot) 308, 311, 326, 332, 338.
- Барсуков, Николай Платонович 64, 277.
- Бартелеми, Огюст-Марсель (Auguste-Marcel Barthélemy) 320.
- Бартенев, Петр Иванович 47, 56, 57, 62, 64, 65, 66, 67, 110, 115, 145, 152, 162, 169, 189, 269, 280.
- Батюшков, Константин Николаевич 91, 183, 208.
- „Бахчисарайский Фонтан“, поэма Пушкина 51.
- „Беглец“, повесть в стих. А. Ф. Вельмана 106.
- Белинский, Виссарион Григорьевич 54.
- Бельтов, Н. — см. Плеханов, Георгий Валентинович.
- Беляев, Михаил Дмитриевич I, V, VI, X, 54, 62, 70, 80, 83, 91, 102, 112, 130, 133, 135, 165, 300.
- Бенкендорф, граф Александр Христович X, 18, 52, 61, 62, 73, 78, 79, 80, 98, 99, 101, 102, 191, 257, 279, 281, 284, 298, 338, 374.
- Бентам, Иеремия (Jeremie Bentham) 256.
- Беранже, Пьер-Жан (Pierre-Jean Beranger) 66, 275, 316, 362.
- Берар, Огюст (Auguste-Simon-Louis Bérard) 93.
- Берен, адвокат 368.
- Бёрне, Людвиг (Ludwig Börne) 213.
- Беррийский, герцог Шарль-Фердинанд (Charles-Ferdinand, duc de Berry) 338.
- „Bertrand et Raton“ („Бертран и Ратон“), пьеса Скриба 306.
- Бестужев (Марлинский), Александр Александрович 97, 157, 267, 268.
- „Бесы“, стих. Пушкина 91.
- „La Bibliographie de France“, журнал 213.
- „Библиотека для Чтения“, журнал 42, 57.
- Библия 348.
- Биньон, Луи (Louis-Pierre-Edouard Bignon) 276, 325.

- Благой, Дмитрий Дмитриевич 139.
- Блан, Луи (Louis Blanc) 306, 326, 327.
- Блудов, граф Дмитрий Николаевич 272, 274, 288.
- Блудова, графиня Антонина Дмитриевна 274, 288.
- Бобринская, графиня Софья Александровна, рожд. Самойлова 172.
- Богарня, графиня Дарья Константиновна, рожд. Опочинина 133.
- Богданович, Татьяна Александровна 327.
- „Бог помощь вам, друзья мои...“ (19 октября 1827 г.), стих. Пушкина VIII.
- „Божественная Комедия“, поэма Данте 102.
- Болдино, село 66, 68, 69, 71, 75, 77, 99, 177, 183, 194, 264, 332, 333, 340.
- Бомарше, Пьер-Карон (Pierre-Augustin-Caron Beaumarchais) 227, 368.
- Бомон-Васси, виконт Эдуард (Edouard, vicomte de Beaumont-Vassy) 222.
- Бонар, шевалье Бернар (chevalier Bernard de Bonnard) 312.
- Боратынская, Софья Михайловна — см. Дельвиг, баронесса.
- Боратынский, Евгений Абрамович 39, 51, 65, 74, 86, 89, 91, 105, 113, 166, 167, 267, 288.
- Боратынский, Сергей Абрамович 89.
- Бордосский, герцог (duc de Bordeaux, Генрих V, граф Шамбор) 9, 63, 313, 314, 316, 318, 319, 332, 333, 345, 355, 361.
- „Борис Годунов“, трагедия Пушкина 16, 84, 89, 95—100, 187, 190, 197, 251, 269, 296.
- „Бородинская годовщина“, стих. Пушкина 28, 127, 130—131, 284, 285, 287, 288, 294, 296, 297, 299.
- Бородин, Константин Матвеевич 78, 79.
- Боссюэ (Боссюэт), Жак (Jacques Venigne Bossuet) 18, 101, 349.
- Фон-Брадке, Егор Федорович 153.
- Брауншвейгский, граф Август (Auguste, comte de Brunswick) 155.
- Бриан (Brian), журналист 346.
- Брийа-Саварен, Антельм (Anthelme Brillat-Savarin) 245.
- Бриссак, герцог Луи Коссэ (Louis-Hercule-Timoléon, duc de Cossé-Brissac) 92.
- Брольи, Ахилл (Achille-Charles-Léon-Victor de Broglie) 325.
- Брюллов, Александр Павлович 156.
- Брюне, Пьер Гюстав (Pierre-Gustave Brunet) 233.
- Буало Депрео, Николай (Nicolas Boileau Despréaux) 96, 209.
- Булгаков, Александр Яковлевич 61, 64, 66, 69, 70, 71, 86, 120, 121, 122, 151, 152, 255, 264, 295, 298, 304, 334, 361.
- Булгаков, Константин Яковлевич 61, 70, 120, 121, 151, 152, 304.
- Булгакова, Ольга Александровна — см. Долгорукова, княгиня.
- Булгарин, Фаддей Венедиктович VIII, 51, 79, 80, 105, 108, 188, 326, 343, 373.
- Бурачек, Степан Онисимович 373.
- Бурбоны (les Bourbons), Франц. королевский дом 275, 304, 305, 307, 311, 312, 318, 327, 336, 338, 346, 353.
- Бургуэн, барон Поль (Paul, baron de Bourgoing) 43, 44, 45, 46, 92, 93, 94, 266.
- Буренин, Виктор Петрович 145.
- Бурнашев, Владимир Петрович 153.
- Бутенко, Вадим Аполлонович 314.
- Бутурлин, граф Михаил Дмитриевич 120, 154, 155, 170, 171, 175.
- Бухштаб, Борис Яковлевич 106.
- „Bug Jargal“ („Бюг Жаргаль“) роман В. Гюго 206.
- Бюлоз, Франсуа (François Buloz) 349.
- Бюра де Гюржи, Генрих (Henri Burat de Gurgy) 233.
- Бюра де Гюржи, Клеман (Clément Burat de Gurgy) 233.
- Бюра де Гюржи, Эдмон (Edmond Burat de Gurgy) III, VII, 134, 223, 233, 238, 239, 240.

- Вальи, Ноэль-Франсуа (Noël-François de Wailly) 369, 370.
- „Вам восемь лет, а мне семнадцать было...“ (баронессе М. А. Дельвиг), стих. Пушкина 81.
- „Вам холод света не знаком...“, стих. графа В. А. Соллогуба 163.
- „Vendredi soir“ („В пятницу вечером“), роман Альфонса Карра 245.
- Варен (Varin) — см. Денуайе.
- Варнгаген-фон-Энзе, Карл-Август (Karl-August Warnhagen-von-Ense) 299.
- Варшава 14, 17, 28, 82, 89, 100, 130, 131, 133, 138, 265, 269, 270, 277, 279, 282, 283, 284, 285, 286, 290, 291, 292, 294, 335, 337, 339.
- Васильев, граф Алексей Иванович 69.
- Васильев, Илларион Васильевич 299.
- Васильева, графиня Варвара Сергеевна 70.
- Васильева, графиня Екатерина Алексеевна — см. Долгорукова, княгиня.
- Васильчикова, Александра Ивановна 200.
- Васильчикова, Екатерина Николаевна — см. Гончарова.
- Вебер, Карл-Мария (Karl-Maria-Friedrich-August von Weber) 227.
- Велепольский, маркиз Александр (Alexander Wielopolski) 275.
- Вельтман, Александр Фомич 20, 104, 105, 106, 107.
- Венгеров, Семен Афанасьевич 75, 125, 223, 285, 296.
- „Венецианский Мавр“ — см. „Le Maure de Venise“ („Отелло“, траг. Шекспира, перев. А. де Виньи).
- Вересаев, Викентий Викентьевич 48, 139, 185, 373.
- Верон, Луи-Дезире (Louis-Désiré Véron) 349.
- „Вертер“ („Werther“), ром. Гёте 244.
- „Vers chantés et récités“ („Стихи, петье и читанные“), брошюра 41—46, 115.
- „Вестник Европы“, журнал 39, 373.
- Вигель, Филипп Филиппович 289.
- Видок (статья Пушкина о его записках) 188.
- „La Vie de Marianne“ („Жизнь Марианны“), роман Мариво 248.
- Вильегорский, граф Михаил Юрьевич 200.
- „Vie, poésies et pensées de Joseph Delorme“, соч. Сент-Бёва — см. Делорм, Жозеф.
- Викер, Жорж (Georges Vicaire) 240.
- Виллель, граф Жан-Батист (Jean-Baptiste-Séraphin-Joseph, comte de Villèle) 302, 342, 346.
- Виллуа, г-жа (m-me de Willois) 55.
- Вильгельм Оранский, Английский король 323.
- Вильгельм Оранский, кронпринц (позднее король Нидерландский Вильгельм II) 115.
- Вильгельм, принц (позднее король Нидерландский Вильгельм III) 115.
- Вильгельм, принц Прусский (позднее имп. Герм. Вильгельм I) 158.
- Вильмен, Абель-Франсуа (Abel-François Villemain) 325.
- Вильна 11, 69, 280, 281.
- Виноградов, Виктор Владимирович 224.
- Vigne, Casimir de la — см. Делавинь.
- Виньи, Альфред (Alfred de Vigny) 210, 217, 250.
- Виолле, Альфонс (Alphonse Viollet) 300.
- Виргилий 83.
- Виртембергский, герцог Александр-Фридрих 157.
- Висковатов, Павел Александрович 153.
- Витберг, Федор Александрович 112.
- Владиславлев, Владимир Андреевич 203.
- Воейков, Александр Федорович 38, 51.
- Военский, Константин Адамович 270.
- „Война и Мир“, роман Л. Н. Толстого 149.
- Волабель, Ашиль де (Achille de Vaulabelle) 326.
- Волжский, В. 221.

- Волицкий, интендант (Wolicki) 275.
- Волкошская, княгиня Зинаида Александровна 261.
- Волкошская, княгиня Мария Николаевна, рожд. Раевская 143.
- Вольтер 96, 366, 368, 369.
- Воронцов, граф Михаил Семенович 61.
- Воронцова, графиня Елизавета Ксавьеревна, рожд. гр. Браницкая 143.
- „Восстание“ — см. „L'Insurrection“.
- „Восточные стихотворения“ — см. „Les Orientales“, соч. В. Гюго.
- „В пятницу вечером“ — см. „Vendredi soir“, ром. А. Кэппа.
- Вревский, барон Павел Александрович 132.
- Всеволожский, Петр Александрович V.
- „Voyages d'Anténoir en Grèce et en Asie“, роман Лантье 231.
- Вульф, Алексей Николаевич 62, 221, 243, 256.
- Вульф, Анна Николаевна 365.
- „В часы забав иль праздной скуки...“ — см. „Станцы“, стих. Пушкина.
- „Вчера мне Маша приказала...“ (баронессе М. А. Дельвиг), стих. Пушкина 81.
- Вылежинский (Tadeusz Konstanty Wyleżyński) 270, 274.
- Высоцкий, Иосиф (Józef Wysocki) 285.
- „Выстрел“, повесть Пушкина 225.
- Вьенне, Жан (Jean-Pons-Guillaume Viennet) 312.
- Вяземская, княгиня Вера Федоровна 59, 77, 144, 168, 181, 183, 186, 200, 224.
- Вяземский, князь Павел Петрович 59, 113, 143, 145, 165, 166, 179, 188.
- Вяземский, князь Петр Андреевич VII, 47, 48, 49, 54, 56, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 72, 73, 74, 77, 79, 80, 85, 86, 91, 95, 96, 97, 105, 109, 110, 113, 115, 118, 121, 122, 123, 125, 145, 146, 152, 155, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 179, 180, 181, 182, 186, 188, 189, 192, 193, 194, 196, 197, 199, 202, 217, 220, 254, 256, 257, 259, 261, 268, 269, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 287, 289, 290, 291—295, 296, 298, 302, 320, 326, 328, 333, 334, 340, 343, 355, 360.
- „Гавриилиада“, поэма Пушкина 189.
- Гаевский, Виктор Павлович 83, 85.
- „La Gazette des Tribunaux“ 331.
- „La Gazette de France“ 211, 243, 275, 318, 344.
- Гальберг, Самуил Иванович 87.
- „Hau d'Islande“ („Гав Исландец“), роман В. Гюго 206.
- „Garçon boucher“ — см. „La Prima donna et le Garçon boucher“.
- „La Garde Nationale“, газета 315.
- Гаррах, графиня Августа (Auguste, Gräfin von Harrach) 156.
- Гатен, Луи-Эжен (Louis-Eugène Hatin) 346.
- Гау, Франц-Христиан (Franz-Christian Gau—Hau) III, VII, 162.
- Геверс, И. (J. C. Gevers) 114.
- Гейне, Генрих (Heinrich Heine) 195, 325, 335, 339.
- Гейсмар, барон Федор Клементьевич 285.
- Геккерен, барон Луи (Louis, baron de Heeckeren) 114.
- Гелгуд, Ант. (Antoni Giełgud) 281.
- Гембиц, полковник 278.
- Геняди, Григорий Николаевич 42.
- „Henri III et sa cour“ („Генрих III и его двор“), драма Ал. Дюма 210.
- Генрих V (Henri V) — см. Бордосский, герцог.
- Гернон де Ранвиль, граф М. (Martial, comte de Guernon-Ranville) 332.
- „Герой“, стих. Пушкина 72, 73.
- Герден, Александр Иванович 41, 74, 75.
- Гершензон, Михаил Осипович 259.
- Гёте 216, 373.
- Ге, София (Sophie Gay) 248.
- Гизо, Франсуа (François Guizot) 253, 313, 325, 326, 332, 333, 341, 342, 350, 351.
- Глинка, Михаил Иванович 50.

- Глинка, Сергей Николаевич 150, 164, 192, 193.
- Глинка, Федор Николаевич 54.
- „Le Globe“, газета 194, 205, 206, 207, 211, 218, 235, 239, 240, 256, 264, 303, 305, 306, 312, 341, 342, 343, 346, 349.
- Гнедич, Николай Иванович 85, 101.
- Гофаль, Николай Васильевич 112, 120, 144, 162, 166, 171, 215, 216, 224, 252.
- Голенищев-Кутузов, Логгин Иванович 128.
- Голенищева-Кутузова, Анна Михайловна — см. Хитрово.
- Голенищева-Кутузова, Дарья Михайловна — см. Опочинина.
- Голицын, князь Дмитрий Владимирович 9, 63, 64, 65, 70, 71, 103, 120, 122, 158, 261, 303.
- Голицын, князь Николай Борисович 132, 133, 298.
- Голицына, княгиня Евдокия Ивановна, рожд. Измайлова 259.
- Голицына, княгиня Мария Аркадьевна, рожд. княжна Суворова 143.
- Голомбиевский, Александр Александрович 120.
- Гончаров, Афанасий Николаевич 68.
- Гончаров, Дмитрий Николаевич 31, 136.
- Гончаров, Иван Николаевич 135, 136—137, 138.
- Гончаров, Сергей Николаевич 136, 138.
- Гончарова, Екатерина Николаевна, рожд. Васильчикова 137.
- Гончарова, Екатерина Николаевна — см. Дантес.
- Гончарова, Мария Ивановна, рожд. княжна Мещерская 136.
- Гончарова, Наталья Ивановна 77.
- Гончарова, Наталья Николаевна — см. Пушкина.
- Гончаровы, родные Н. Н. Пушкиной 8, 59.
- Горчаков, князь Александр Михайлович 118, 119.
- Готье, Теофиль (Théophile Gautier) 225.
- Гофман, Модест Людвигович 83, 89.
- Гран-Котрэ, Ж. (J. Grand-Cauteret) 325.
- „Граф Карманьола“ — см. „Il Conte di Carnagnola“, траг. Манцони.
- Грегуар, Л., автор 326.
- „Les Grenouilles qui demandent un roi“ („Лягушки, просящие царя“), басня Лафонтена 330.
- Грессе, Жан-Батист (Jean-Baptiste Gresset) 209.
- Греч, Николай Иванович 51, 79, 80, 188.
- „Гробница Кутузова“, стих. Трилунного (Д. Ю. Струйского) 25, 119, 124, 286.
- Гроссман, Леонид Петрович 56, 57.
- Грот, Константин Яковлевич 251.
- Грот, Яков Карлович 42, 82, 88, 114.
- Грузинский, Алексей Евгеньевич 149.
- Гуковский, Григорий Александрович 224.
- Гуровский, граф Адам (Adam Gurovski) 300.
- Гюго, Виктор (Victor Hugo) 8, 58, 60, 100, 113, 117, 167, 195, 205—213, 217, 222, 223, 225, 227, 251, 275.
- Давыдов, Денис Васильевич 94, 172.
- Давыдова, Наталья Владимировна, рожд. графиня Орлова 155.
- Даламбер, Жан (Jean le Rond d'Alembert) 368.
- „Дамский Журнал“ 68.
- Данзас, Борис Карлович 67.
- Данте Алигьери, 102.
- Дантес, Екатерина Николаевна, рожд. Гончарова 136, 326.
- Дантес, Жорж, барон Геккерен 37, 41, 53, 136, 199, 200, 264.
- „Дар напрасный, дар случайный“ (26 мая 1828 года), стих. Пушкина 5, 47—48, 189.
- „26-е мая 1828 года“ — см. „Дар напрасный, дар случайный...“ стих. Пушкина.
- „Две модистки“ — см. „Les Deux modistes“, соч. Э. Бюра де Гюржи.

- Дверницкий, Иосиф (Júzef Dwer-nicki) 277, 278.
 „19 октября 1827 г.“ — см. „Бог помощь вам, друзья мои...“, стих. Пушкина.
 „Деды“ („Dziady“), поэма Ад. Мицкевича 262, 264.
 „Декамерон“, соч. Боккаччо 28, 127, 216.
 Делавинь, Казимир (Casimir Dela-vigne) 12, 76, 78, 79, 275, 320, 322, 323, 324.
 „De l'Amour“ („О любви“), соч. Стен-даля 245.
 Деларю, Михаил Данилович 83.
 „Делибаш“ стих. Пушкина 91.
 Делорм, Жозеф („Vie, poésies et pensées de Joseph Delorme“ — „Жизнь, стихотворения и мысли...“, соч. Сент-Бёва) 206, 207, 208.
 Дельвиг, барон Александр Антонович 16, 81, 88, 90—91, 122.
 Дельвиг, баронесса Александра Петровна, рожд. графиня Толстая 90.
 Дельвиг, барон Андрей Иванович 81, 84, 90, 303.
 Дельвиг, баронесса Анна Антоновна 81.
 Дельвиг, барон Антон Антонович VIII, 12, 15, 16, 49, 51, 67, 72, 73, 76, 78—80, 81, 83—88, 89, 90, 91, 105, 122, 166, 187, 191, 197, 250, 303, 323, 324, 342.
 Дельвиг, барон Антон Антонович (отец) 13, 76, 80—81.
 Дельвиг, баронесса Глафира Антоновна 81.
 Дельвиг, барон Дмитрий Антонович 81.
 Дельвиг, баронесса Елизавета Антоновна 84, 89.
 Дельвиг, барон Иван Антонович 16, 81, 88, 90—91, 122.
 Дельвиг, баронесса Любовь Антоновна 81.
 Дельвиг, баронесса Любовь Матвеевна, рожд. Красильникова 13, 76, 81, 82, 84, 90.
 Дельвиг, баронесса София Михай-ловна, рожд. Салтыкова (по второму браку Боратынская) 16, 55, 81, 88, 89, 90, 91, 303.
 Дельвиг, баронесса Хюния Александровна, рожд. Чапкина 90.
 Демаре, Э., автор 330.
 Дембинский, Генрих (Henryk Dem-binski) 283.
 „Les Deux modistes“ („Две модистки“), роман Э. Бюра де Гюрги 238.
 Денуайе, Луи (Louis-François Des-pouyers) 331.
 Державин, Гавриил Романович 86.
 Де-Рибас, Александр Михайлович 61.
 „Le Dernier Chouan, ou la Bretagne en 1800“ („Последний Шуан или Бретань в 1800 году“), роман Бальзака 245, 246.
 „Le Dernier jour d'un condamné“ („Последний день приговоренного“) роман В. Гюго 206, 225.
 Дестю-Траси, Антуан (Antoine de Destutt-Tracy) 353.
 Детуш, Филипп (Philippe Destouches Néricault) 227.
 „Джон Теннер“, статья Пушкина 253.
 „Le Diable boiteux“ („Хромой чорт“), балет, соч. Э. Бюра де Гюрги 239, 240.
 Дибич-Забалканский, граф Иван Иванович 266, 274, 276, 278, 279, 281, 285, 286, 327.
 „Discours sur l'Histoire Universelle“ („Речь о всемирной истории“), соч. Боссюэта 349.
 Дмитриев, Иван Иванович 64, 65, 67.
 Дмитриев, Михаил Александрович 67.
 Дмитриев-Мамонов, граф Матвей Александрович 353.
 „Дмитрий Самозванец и Марина Мнишек“, роман Ф. В. Булгарина 105.
 „Дневник Пушкина“ (оба издания 1923 г.) 37, 56, 60, 62, 69, 70, 102, 118, 135, 145, 146, 153, 154, 285, 297, 306.
 Добр — н, И. (псевдоним) 42.
 Доваль, Шарль (Charles Dovalle) 227.

- „Doctrine de Saint-Simon“ („Учение Сен-Симона“), изд. 357.
- Долгоруков, князь Александр Сергеевич 69, 70.
- Долгоруков, князь Дмитрий Иванович 154, 155, 156.
- Долгоруков, князь Сергей Николаевич 69.
- Долгорукова, княгиня Екатерина Алексеевна, рожд. графиня Васильева 11, 68, 69—70.
- Долгорукова, княгиня Ольга Александровна, рожд. Булгакова 69—70.
- „Домик в Коломне“, повесть в стих. Пушкина 212.
- Домье, Онопэ (Honoré Daumier) 325.
- Дондуков-Корсаков, князь Михаил Александрович 132.
- „Дон Карлос“, трагедия Фр. Шиллера 156.
- „Дорожные жалобы“, стих. Пушкина 91.
- Дохтуров, Николай Михайлович 53.
- „Le Drapeau Blanc“, газета 211.
- „Дух Законов“ — см. „L'Esprit des Lois“, соч. Монтескьё.
- Дюбуа, Поль-Франсуа (Paul-François Dubois) 341.
- Дюкре-Дюминиль, Франсуа (François Ducray-Duminil) 221.
- Дюма, Адольф (Adolphe Dumas) 323.
- Дюма, Александр (Alexandre Dumas) 11, 68, 70, 167, 195, 210, 214, 215, 336.
- Дюмон, Пьер (Pierre Dumont) 256.
- Дюмурье, Шарль (Charles Dumouriez) 312.
- Дюпен, Андрэ (André Dupin) 325.
- Дюпон де Лёр, Жак (Jacques Dupont de L'Euve) 325, 334.
- Дюфор, Арман (Armand Dufaure) 341.
- Дютыйель, Ипполит (Hippolyte Dutillœul) 228.
- „Евгений Онегин“, роман в стихах Пушкина IX, 2, 3, 31, 36, 37, 38—40, 51, 64, 102, 135, 136, 137, 176, 177, 187, 190, 254, 303.
- „Европеец“, журнал 100.
- „Египетские Ночи“, соч. Пушкина 215, 245.
- Езерский, граф (Jezierski) 272.
- Екатерина II, императрица 26, 126, 134, 152, 258, 260.
- Елагин, Алексей Андреевич 264.
- Елагина, Авдотья Петровна 264.
- Елена Павловна, великая княгиня 42, 43, 46, 114.
- Елизавета Алексеевна, императрица 157.
- Елизавета Петровна, императрица 82.
- „L'Esprit des Lois“ („Дух Законов“), соч. Монтескьё 352.
- „Etudes historiques“ („Исторические этюды“), соч. Штаббриана 255.
- Ефимович, генерал-майор 285.
- Ефремов, Петр Александрович 128, 199.
- Жан-Луи (Jean-Louis) псевд. 239, 240.
- Жанен, Жюль (Jules Janin) 134, 167, 195, 213, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 232, 233, 240, 241, 242, 243, 244, 251, 256, 344.
- Жанлис, Стефани (Stéphanie-Félicité Ducrest de Saint-Aubin, comtesse de Genlis) 9, 63, 312, 327.
- Жданов, Иван Николаевич 357.
- Женуд, Антуан, аббат (abbé Antoine Genoude) 345.
- „Женщина в тридцать лет“ — см. „La femme de trente ans“, ром. Бальзака.
- Жерар, Этьен (Etienne Gérard) 93, 308, 309, 325.
- „Жизнь Марианны“ — см. „La Vie de Marianne“, ром. Мариво.
- „Жизнь, стихотворения и мысли Жозефа Делорма“ — см. Делорм, Жозеф.
- Жирарден — см. Сен-Марк де Жирарден.
- Жирарден, г-жа Эмиль (m-me Emile de Girardin) 326.
- Жиро, Виктор (Victor Giraud) 371.

- Жиро Дювивье, Шарль (Charles Girault Duvivier) 370.
- Жиске, Генрих (Henri Gisquet) 339.
- Жихарев, Степан Петрович 122.
- Жомини, барон Антон-Генрих Вениаминович 285.
- Жонксьер (Jonxières), журналист 244.
- Жуковский, Василий Андреевич 28, 36, 51, 65, 68, 86, 87, 90, 97, 122, 123, 127, 130, 131, 144, 145, 162, 166, 171, 188, 191, 267, 286—294, 298, 333, 338, 373.
- „Le Journal des Débats“, газета 194, 205, 222, 223, 233, 234, 244, 256, 294, 300, 304, 315, 316, 325, 329, 330, 331, 344, 345, 346, 366, 369, 370.
- „Le Journal de Commerce“, газета 211, 337.
- „Le Journal de St.-Petersbourg“, газета 78, 94, 156, 162, 202.
- „Le Journal de France“ 345.
- Жуффруа, Теодор (Théodore Jouffroy) 341.
- „Julie, ou la Nouvelle Héloïse“ — см. „La Nouvelle Héloïse“.
- Загоскин, Михаил Николаевич 20, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 277.
- Загряжская, Елизавета Александровна — см. Пушкина.
- Закревская, графиня Аграфена Федоровна, рожд. гр. Толстая 185, 374.
- Залусский, граф Роман 275.
- Замков, Николай Кузьмич 80.
- „Звездочка“, журнал 47.
- Иванчин-Писарев, Николай Дмитриевич 122.
- „Идиллии“ бар. А. А. Дельвига (отзыв о них Пушкина) 88.
- Измайлов, Николай Васильевич I, V, VI, VII, X, 37, 40, 41, 46, 48, 50, 56, 57, 59, 75, 77, 100, 112, 124, 125, 130, 131, 133, 137, 139, 204, 374.
- Инсарский, Василий Антонович 41.
- „L'Insurrection“ („Восстание“), поэма Бартеlemi и Мери 320.
- Иона, пророк 348.
- Исаков, Яков Александрович, издатель 42.
- „Исповедь“ — см. „La Confession“, ром. Ж. Жанена.
- „Исповедь капуцина“ — см. „Une bonne fortune“, рассказ Ф. Шалля.
- Исторические замечания („2 авг. 1822“), соч. Пушкина 260.
- „Исторические размышления об отношениях Польши к России“, статья М. П. Погодина 277.
- „Исторические этюды“ — см. „Etudes historiques“, соч. Шатобриана.
- „Исторический очерк Французской Революции. Исполнительная Директория“ — см. „Précis historique...“, соч. Лакретеля.
- „История Бессарабии“, соч. А. Ф. Вельтмана 106.
- „История государства Польского“, соч. Бантке 277, 299.
- „История Государства Российского“, соч. Н. М. Карамзина 105.
- „Histoire du droit municipal en France...“ („История городского права во Франции...“), соч. Ревуара 345.
- „Histoire de la Révolution Française“ („История Французской Революции“), соч. А. Тьера 24, 195, 255, 256.
- „Histoire de la Révolution Française depuis 1789 jusqu'à 1814“ („История Французской Революции с 1789 по 1814 год“), соч. Ф. А. Минье 24, 25, 117, 119, 195, 255, 256.
- „История русского народа“, соч. Н. А. Полевого 253, 254, 350.
- „История села Горюхина“, соч. Пушкина 253.
- „Histoire de la civilisation en France“ („История цивилизации во Франции“), соч. Гизо 253.
- Истрин, Василий Михайлович 290.
- Ишимова, Александра Осиповна 47.
- Июльская революция во Франции 1, VI, 9, 12, 15, 16, 63, 64, 65, 76, 78,

- 83, 88, 91, 92, 93, 165, 169, 178, 194, 241, 265, 280, 301—361.
- „Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik“, журнал 299.
- Кабе, Этьен (Etienne Cabet) 311, 315.
- Кавеньяк, Годефруа (Godefroi Cavaignac) 338.
- „Кавказский Пленник“, поэма Пушкина 51.
- Кадудаль, Жорж (Georges Cadoudal) 333.
- Казанова, Жан-Жак (Jean-Jacques Casanova de Seingalt) 231.
- Казначеев, Александр Иванович 61.
- Какэ, Огюстен (Augustin Caqué) 324.
- Каллаш, Владимир Владимирович 42, 43, 373.
- Кальдерон де ла Барка, Педро 227.
- Каменский, Евгений Семенович 103.
- Канкрин, граф Егор Францович 61.
- Каннинг, Джордж (George Canning) 16, 88, 328, 329.
- „Капитанская дочка“, пов. Пушкина 96, 251.
- Капфиг, Жан (Jean-Baptiste Carpefigue) 335.
- Карамзин, Николай Михайлович 51, 64, 86, 100, 105, 120, 136, 258, 259.
- Карамзина, Екатерина Андреевна 62, 144, 333.
- Карамзина, Екатерина Николаевна — см. Мещерская, княгиня.
- Карамзина, София Николаевна 144.
- Каратыгина, Александра Михайловна 202.
- „La Caricature“, журнал 239.
- Карл X (Charles X), король французский 65, 92, 93, 302, 303, 304, 306, 308, 309, 310, 313, 314, 316, 317, 318, 319, 322, 326, 327, 337.
- Кармуш, Пьер (Pierre Carmouche) 331.
- Карр, Альфонс (Alphonse Karr) 32, 138, 225, 244, 245, 252.
- Каррель, Арман (Armand Carrel) 343.
- „Картезианский монастырь в Парме“ — см. „La Chartreuse de Parme“, ром. Стендаля.
- Кассаньяк, Бернар Гранье (Bernard Granier de Cassagnac) 223, 240.
- Кастиль-Блаз (François-Henri-Joseph Blaze, dit Castil-Blaze) 233.
- Катенин, Павел Александрович 66, 67, 100, 174, 179, 180.
- Катков, Михаил Никифорович 299.
- Катон Старший 100, 101, 271.
- Каховский, Петр Григорьевич 89.
- К—в, Н., псевдоним 74.
- „К Вельможе“ (князю Н. Б. Юсупову), послание Пушкина VIII, 164, 192, 358.
- Кембль, Шарль (Charles Kemble) 209.
- Кеневич, Владислав Феофилович 42.
- Керар, Жозеф (Joseph Quégarde) 233, 238, 239, 240.
- Кератри, Огюст (Auguste de Kératry) 301.
- Керн, Анна Петровна 55, 56, 90, 184, 191, 192, 250.
- Кин, Эдмунд (Edmund Kean) 209.
- Киреевский, Иван Васильевич 38, 100, 288.
- Кирпичников, Александр Иванович 296.
- „Клеветникам России“, стих. Пушкина 28, 29, 130, 131, 132, 133, 287, 288, 289, 290, 293, 296, 297, 298, 299.
- Княжевич, Карл (Carl Kniaziewicz) 275.
- „La Coalition“ („Коалиция“), пьеса Мельвиля и Кармуша 331.
- „К Овидию“, стих. Пушкина 51.
- Козлов, Иван Иванович 105, 122, 166, 251.
- Козловский, князь Петр Борисович 297.
- Козмин, Николай Кирович V, 60, 117, 205, 214, 255, 328.
- Козмян (Kozmian) 94.
- Кок, Поль де- (Paul de Kock) 238.
- „Collection des Mémoires relatifs à la Révolution Française“ („Собрание мемуаров, относящихся к Французской Революции“) 24, 117, 254.
- Коленкур, Арман (Armand de Caulaincourt) 153.

- Кольридж, Самуэль (Samuel Coleridge) 227.
- Комаровский, граф Егор Евграфович 267, 280.
- „Commentaire sur l'Esprit des Lois de Montesquieu“ („Комментарий к Духу Законов Монтескье“), соч. Дестю-Траси 353.
- Кондорсе, Мари Каритà, маркиз (Marie Karitat, marquis de Condorcet) 368.
- „Конрад Валленрод“, поэма А. Мицкевича 263, 264.
- „Considérations politiques sur l'époque actuelle...“ („Политические соображения о современной эпохе“), соч. Полиньяка 334.
- „Considérations sur les principaux événements de la Révolution Française“ („Соображения о главнейших событиях Французской Революции“), соч. г-жи Сталь 254, 255, 354, 359.
- „Les Consolations“ („Утешения“), сборн. стих. Сент-Бёва 8, 58, 60, 207, 208.
- Констан, Бенжамен (Benjamin Constant) 168, 339, 351, 356.
- Константин Павлович, великий князь (цесаревич) 152, 263, 265, 272, 360.
- „Le Constitutionnel“, газета 210, 329, 346.
- „Il Conte di Carmagnola“ („Граф Карманьола“), трагедия Манцони 251.
- „Les Contes bruns“ („Темные сказки“), соч. Бальзака, Фил. Шаля и Рабу 217, 246, 247, 374.
- „Les Contes Philosophiques“ („Философические сказки“), соч. Бальзака — см. „Romans et contes...“
- „La Confession“ („Исповедь“), роман Ж. Жанена 217, 226, 232.
- Корнель, Пьер (Pierre Corneille) 212.
- Корнилов, Александр Александрович 289.
- Корнильев, Василий Дмитриевич 81.
- Корсаков, Петр Александрович 373.
- Кост, Жак (Jacques Coste) 341.
- Костюшко, Тадеуш (Tadeusz Kosciuszko) 276, 359.
- „La Quotidienne“, газета 218, 243, 306, 318, 344, 345.
- Котляревский, Сергей Андреевич 349.
- Коттен, София Ристо (Sophie Cottin Ristaud) 216.
- Коцебу, Август (August Kotzebue) 299.
- Кочубей, граф Виктор Павлович 135, 327.
- Кочубей, графиня Наталья Викторовна — см. Строганова, графиня.
- Красильников, Андрей Дмитриевич 82.
- Красильников, Матвей Андреевич 82.
- Красильникова, Любовь Матвеевна — см. Дельвиг, баронесса.
- Краснов, полковник 278.
- „Красное и Черное“ — см. „Le Rouge et le Noir“, роман Стендаля.
- „Красный Корсар“, роман Ф. Купера 221.
- Кребильон (сын), Клод Жольо (Claude Jolyot de Crébillon) 247.
- Крейд, граф Киприан Антонович 277, 278.
- „Крестьянин-высочка“ — см. „Le Paupar parvenu“, ром. Мариво.
- Крженецкий — см. Скржинецкий.
- Кристи, Михаил Петрович V.
- Критические заметки (1830 г.), Пушкина 356.
- „Кровавый бандурист“, повесть Гоголя 252.
- Крозальс Ж. (J. de Crozals) 253.
- „Cromwell“ („Кромвель“), драма В. Гюго 100, 206, 209, 251.
- Крылов, Иван Андреевич 41, 42, 43, 44, 45, 46, 330.
- „К сестре“, стих. Пушкина 312.
- „К тени полководца“ — см. „Перед гробницею святой...“, стих. Пушкина.
- Кубасов, Иван Андреевич 268.
- Кузен, Виктор (Victor Cousin) 342.

- Купер, Фенимор (Fenimore Cooper) 221, 222, 253.
- Курье, Поль-Луи (Paul-Louis Courier) 324.
- „Le Courier Français“, газета 212, 310.
- „Cours de Politique constitutionnelle“ („Курс конституционной политики“), соч. Б. Констана 339, 351.
- Кутузов (Голеящев), светл. князь Смоленский, Михаил Илларионович VIII, 11, 26, 27, 29, 69, 107, 124, 125, 126, 127, 128, 131, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 157, 162, 163, 165, 173, 184, 187, 188, 189, 193, 266, 267, 286.
- Кутузова (Голенищева), светл. княгиня Смоленская, Екатерина Ильинична, рожд. Бибикина 147, 149, 150, 158.
- Кэслэри, виконт Роберт (Robert vicomte Castlereagh) 329.
- „La Surée“ („Собачий пир“), стих. О. Барбе 315.
- Кюхельбекер, Вильгельм Карлович 50.
- Лабедойер, Шарль (Charles Labédouère) 333.
- Лаваль, граф Иван Степанович 44.
- Лависс, Эрнест (Ernest Lavisse) 219.
- Лагарп, Жан (Jean Laharpe) 209, 248.
- Лакордер, Жан (Jean Lacordaire) 347.
- Лакретель, Шарль де (Charles de Lacretelle) 254, 352, 359.
- Ламарк, Максимилиан (Maximilien Lamarque) 276, 338, 340.
- Ламберт, графиня Ульява Михайловна 284, 285.
- Ламеннэ, Фелиситэ (Félicité de Lamennais) 18, 101, 333, 346—349, 357.
- Лан, Наполеон, герцог Монтебелло (Napoléon Lanse, duc de Montebello) 265.
- Ланжерон, граф Александр Федорович 8, 59, 60—62.
- Лантье, Этъен (Etienne Lantier) 231.
- Лафайетт, маркиз Мари-Жан де (Marie-Jean, marquis de La Fayette) 9, 61, 63, 276, 289, 307, 308, 312, 313, 314, 315, 321, 326, 327, 333, 334.
- Лаферронэ, граф Пьер (Pierre, comte de La Ferronays) 92.
- Лафит, Жак (Jacques Laffitte) 93, 308, 316, 325, 333, 335, 336, 338, 341, 343.
- Лафонтен, Жан (Jean de La Fontaine) 46, 330.
- Лебедев, Кастор Никифорович 120.
- Лебрен, Экушар (Escouchart Lebrun) 208.
- Левек, гравер 324.
- Ледницкий, Вацлав (Wacław Lednicki) 275.
- Лейхтенбергский, герцог Евгений Максимилианович 133.
- Лекюрье, Жак (Jacques Lécourieux) 227.
- Лелевель, Иоахим (Joachim Lelewel) 285, 297.
- Лемерсье, Луи (Louis Lemercier) 210.
- Лемке, Михаил Константинович 75.
- Леопольд, герцог Саксен-Кобургский 154, 157, 171.
- Лермонтов, Михаил Юрьевич 137, 144, 153, 166.
- Лернер, Николай Осипович 35, 114, 117, 124, 132, 138, 145, 160, 179, 181, 226.
- Леру, Пьер (Pierre Leroux) 341, 343.
- Ливен, князь Карл Андреевич 78, 79.
- „Лиза в городе жила...“, эпиграмма, припис. Пушкину 173, 202.
- Линовский, граф (Linowski) 275.
- „Le Lycée Français“, журнал 251.
- „Le Lit de camp, scènes de la vie militaire“ („Походное ложе, сцены из военной жизни“), соч. Э. Бюра де Гюрги 238, 239, 240.
- „Литературная Газета“ 12, 48, 66, 67, 73, 74, 76, 77—80, 83, 84, 88, 95, 107, 109, 124, 187, 188, 197, 207, 214, 226, 250, 251, 255, 286, 324, 342, 343, 354.
- „Литературные прибавления“ к „Русскому Инвалиду“, журнал 251.

- Литта, графиня Екатерина Васильевна, рожд. Энгельгардт, по 1-му браку графиня Скавронская 135.
- Литта, граф Юлий Помпеевич 30, 134—135.
- Лобанов, Михаил Евстафьевич 85, 215, 252.
- Лобо (Georges Mouton, comte de Lobau) 308.
- Лованжюль (Charles de Lovenjoul) 246.
- Ломоносов, Михаил Васильевич 82, 105.
- Лувель, Луи-Пьер (Louis-Pierre Louvel) 338.
- Луи, барон Жозеф (Joseph, baron Louis) 325.
- Louis — см. Арман.
- „Louis Lambert“ („Луи Ламбер“), соч. Бальзака 246.
- Луи Филипп (Louis Philippe), франц. король 9, 12, 15, 63, 76, 83, 93, 94, 222, 241, 304, 305, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 330, 331, 333, 334, 336, 337, 338, 340, 343.
- „Louisa ou les douleurs d'une fille de joie“ („Луиза, или горести дeвы вeсeлья“), роман Реньe-Дeтурбe 224, 225, 226, 227, 232.
- Луниh, Михаил Сергеевич 216.
- Людовик XIII (Louis XIII), франц. король 95.
- Людовик XIV (Louis XIV), франц. король 215.
- Людовик XVI (Louis XVI), франц. король 327.
- Людовик XVIII (Louis XVIII), франц. король 92, 304, 313, 333.
- „Лягушки, просящие царя“ — см. „Les grenouilles...“, басня Лафонтена.
- Мазà, Александр (Alexandre Maza) 309.
- „Mazaniello ou la Révolution de Naples“ („Мазаниелло, или Неаполитанская Революция“), трагедия, соч. графа А. Ф. Ланжерона 61.
- Майков, Леонид Николаевич 53, 67, 90, 106, 107, 138, 244, 255, 256.
- Маковский, Егор Иванович 103.
- Манзей, Константин Николаевич 136.
- Манн, Луи (Louis de Manne), 233.
- „Manon Lescaut“ („Манон Леско“), роман аббата Прево 225, 227.
- Манту, Поль (Paul Mantoux) 306.
- Манцони, Александр (Alessandro Manzoni) 30, 134, 135, 250, 251.
- Маньен, Шарль (Charles Magnin) 207, 211.
- Мариво, Пьер (Pierre de Marivaux) 247, 248, 249.
- Мария-Луиза, франц. императрица 91.
- Мария Федоровна, императрица 148, 159.
- „Marion Delorme“ („Марион Делорм“), драма В. Гюго 209, 211.
- Маркевич, Николай Андреевич 50.
- Маркс, Карл (Karl Marx) 255.
- Марлинский, А. — см. Бестужев, Александр Александрович.
- Марль (C. L. Marle) 362.
- Мармон, Август, герцог Рагузский (Auguste Marmont, duc de Raguse) 309.
- Мармонтель, Жан-Франсуа (Jean-François Marmontel) 209, 370.
- „Marriage in High life“ („Светский брак“), роман Каролины Скотт 55, 168.
- „La Marseillaise“ („Марсельеза“), франц. гимн 9, 63, 320, 323.
- Мартиньяк, Жан-Батист (Jean-Baptiste de Martignac) 302, 333.
- Мартынов, генерал-майор 285.
- „Марфа Посадница“, трагедия М. П. Погодина 99.
- Матушевич, граф Адам Фаддеевич 43, 45, 46.
- „Маяк современного просвещения и образованности“, журнал 373.
- „Медный Всадник“, повесть в стих. Пушкина 139, 262.
- Межуева, домовладелица 7, 19, 54, 102.
- Меллье, Жюль (Jules Mellier) 305.

- Мельвилъ, А. О. (Anne-Honoré Méle-ville) 331.
- Мельгунов, Николай Александрович 50, 296.
- „Mémorial de la Scarpe“, журнал 238.
- „Mémorial catholique“, журнал 346.
- Менais, de la — см. Ламенъ.
- Менар, Луи (Louis de Maunard de Queilhe) 223.
- Мерзляков, Алексей Федорович 68, 181.
- Мери, Жозеф (Joseph Méry) 320.
- Мериме, Проспер (Prosper Mérimée) 223, 227, 232.
- „Le Mercure du XIX siècle“, газета 210.
- „Мертвый осел и обезглавленная женщина“ — см. „L'âne mort et la femme guillotinée“, роман Ж. Жанена.
- „Le Messager des Chambres“, газета 234, 324, 325, 330, 337.
- Меттерних, князь Клементий (Klement, fürst von Metternich) 171, 328.
- Мецгерская, княгиня Екатерина Николаевна, рожд. Карамзина 136, 144, 182.
- Мецгерская, княжна Мария Ивановна — см. Гончарова.
- Мецгерский, князь Петр Иванович 136.
- Миллер, Павел Иванович 257, 284.
- Милорадович, граф Михаил Андреевич 149.
- Мильтон, Джон (John Milton) 209, 319.
- Минье, Франсуа (François Auguste Mignet) 24, 25, 117, 119, 195, 255—256, 308, 343.
- Мирабо, граф Габриель (Gabriel, comte de Mirabeau) 254, 256.
- Миркин-Гецевич (Mirkin-Guetzévitch) 353.
- Михаил Павлович, великий князь 46, 61, 159, 190, 298, 361.
- Михайлов, А. 326.
- Михайловский-Данилевский, Александр Иванович 149.
- Михайловское, село 36, 51, 95, 96, 144, 159, 194, 196, 260.
- Мицкевич, Адам (Adam Mickiewicz) 11, 14, 69, 82, 194, 261—264, 267.
- Мишо, Жозеф (Joseph Michaud) 345.
- Мишо, Луи-Габриель (Louis-Gabriel Michaud) 254.
- „Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности...“, статья Пушкина 215.
- „Мнения русского гражданина“, соч. Н. М. Карамзина 258.
- Моген, Франсуа (François Mauguin) 276, 308.
- Модзалевский, Борис Львович I, V, VI, VII, VIII, IX, X, 37, 43, 44, 56, 57, 59, 62, 65, 68, 69, 70, 74, 75, 82, 83, 88, 89, 91, 95, 102, 103, 115, 119, 120, 122, 123, 133, 137, 145, 153, 154, 184, 208, 216, 218, 254, 276, 297, 300, 328, 357, 363, 365, 367.
- Моле, граф Луи (Louis, comte Molé) 325.
- Молчанов, Петр Степанович, 85, 87.
- „Le Moniteur Universel“, газета 78, 93, 115, 211, 214, 303, 305, 308, 311, 315, 319, 320, 323, 325.
- Монталамбер, граф Шарль (Charles, comte de Montalembert) 347.
- Монталиве, граф Марг Башасон (Marthe de Montalivet, comte Béchasson) 338.
- Монтебелло, см. Лан.
- Монтескьё, барон Шарль (Charles, baron de Montesquieu) 352, 353.
- Мордвинов, Николай Семенович 135.
- „Le Maure de Venise“ („Венецианский Мавр“, перев. А. де Виньи) — см. „Отелло“, траг. Шекспира.
- Морнэ (Mornay) 182, 183.
- Моро, Жан (Jean Moreau) 74.
- Морозов, Петр Осипович 73, 355.
- Мортемар, герцог (Casimir-Louis-Victournien de Rochecouart, duc de Mortemart) 16, 88, 91—95, 276, 283, 309, 310, 311, 337.
- Мортемар, герцогиня (Virginie, duchesse de Mortemart, née comtesse de Sainte-Aldegonde) 95.
- Мортье, Эдуард, герцог Тревизский (Edouard Mortier, duc de Trévise) 93, 94.

- Москва 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 35, 49, 50, 54, 55, 58, 59, 60, 63, 65, 68, 69, 70, 72, 73, 75, 76, 77, 82, 88, 89, 97, 99, 101, 102, 104, 112, 113, 125, 134, 138, 160, 174, 175, 178, 179, 182, 194, 197, 264, 277, 297, 303, 332, 373.
- „Москвитянин“, журнал 42, 120.
- „Московские Ведомости“, газета 49, 64, 68, 70, 71, 72, 73, 137.
- „Московский Вестник“, журнал 38, 39.
- „Московский Телеграф“, журнал 38, 105, 107, 109, 164, 192, 214, 223, 342, 344, 373.
- „Моцарт и Сальери“, драма Пушкина 90, 91.
- „Моя родословная“, стих. Пушкина IX, 188.
- Муравьев, Андрей Николаевич 137.
- „Муромские леса“, повесть в стих. А. Ф. Вельтмана 106.
- Муханов, Владимир Алексеевич 264.
- Муханов, Николай Алексеевич 74, 217, 256.
- Муханов, Павел Александрович 300.
- „Мысли на дороге“, соч. Пушкина 75, 277, 305, 306, 338, 340, 351.
- Мюссе, Альфред (Alfred de Musset) 227.
- Мюссе, Поль (Paul de Musset) 217, 226, 256.
- „На взятие Варшавы“, три стих. В. Жуковского и А. Пушкина 28, 127, 130, 131, 164, 165, 287, 288, 290.
- Надеждин, Николай Иванович 246, 287, 374.
- „Наложница“, повесть в стих. Е. А. Боратынского 105, 113, 167, 179.
- „Napoléon Bonaparte ou Trente ans de l'histoire de France“ („Наполеон Бонапарт или 30 лет истории Франции“), пьеса Ал. Дюма 336.
- Наполеон I, Франц. император 15, 72, 74, 80, 83, 91, 92, 108, 110, 111, 124, 148, 149, 219, 256, 293, 305, 312, 335, 336, 346, 359.
- Нарышкины, семья Александра Львовича 61.
- „Le National“, газета 211, 303, 305, 341, 343.
- Нащокин, Павел Воинович 52, 62, 86, 91, 107, 110, 114, 125, 197, 257, 269, 279, 280, 281, 282, 349.
- Ней, Мишель (Michel Ney, prince de la Moscowa) 333.
- Неккер, Жак (Jacques Necker) 254.
- Нелединский - Мелецкий, Юрий Александрович 162.
- „Не напрасно, не случайно...“ стих. митрополита Филарета 5, 47—48, 373.
- Нессельроде, граф Дмитрий Карлович 215.
- Нессельроде, граф Карл Васильевич 61, 292, 294.
- „Не то беда, что ты Поляк...“, эпиграмма Пушкина VIII, 188, 373.
- Неттман, Альфред (Alfred Nettement) 323.
- Нефедьева, Александра Ильинична 201.
- Никитенко, Александр Васильевич 91, 133.
- Николай Михайлович, б. вел. кн. 70.
- Николай I, император 8, 11, 14, 16, 27, 36, 37, 41, 44, 45, 52, 59, 61, 62, 64, 69, 70—75, 78, 79, 81, 82, 88, 89, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 115, 122, 126, 131, 135, 159, 177, 190, 191, 200, 261, 263, 265, 266, 269, 270, 272, 274, 278, 279, 281, 282, 283, 296, 297, 326, 327, 334, 335, 336.
- Ниневия 18, 101, 348.
- „Новая Элоиза“ — см. „La Nouvelle Héloïse“, ром. Ж.-Ж. Руссо.
- Новосильцов, Николай Николаевич 263.
- Новосильцов, Петр Петрович 25, 119, 120.
- „Новый Живописец общества и литературы“ (приложение к „Московскому Телеграфу“) 164.
- Нодье, Шарль (Charles Nodier) 244, 341, 371.

- „Notre Dame de Paris“ („Собор Парижской Богоматери“), роман В. Гюго 21, 23, 112, 113, 116, 117, 167, 179, 222—223.
- „La Nouvelle Héloïse“ („Новая Элоиза“), роман Ж.-Ж. Руссо 244.
- „Nouvelles odes“ („Новые оды“), сборн. стих. В. Гюго 206.
- Нурри, Адольф (Adolphe Nourrit) 321, 322.
- Обер, Даниил (Daniel Auber) 322.
- „Об Истории поэзии Шевырева“, статья Пушкина 356.
- Обнинский, Виктор Петрович 149.
- Обрезков, дипломат 155.
- „Обрученные“ — см. „I Promessi sposi“, роман Манцони.
- О дворянстве, заметки Пушкина 356.
- „Odes“ („Оды“), сборн. стих. В. Гюго 206.
- „Odes et ballades“ („Оды и баллады“), сборн. стих. В. Гюго 206.
- Одесса 60, 96, 144, 254, 260.
- Одибер, Луи (Louis-François-Hilarion Audiber) 239.
- Одибер, Огюст (Auguste Audibert) 239, 240.
- Одилон-Барро — см. Барро, Одилон.
- Одоевский, князь Александр Иванович 268.
- Одоевский, князь Владимир Федорович 162.
- Одье, Антуан (Antoine Odier) 308.
- Озерова, Екатерина Петровна — см. Скарятина.
- Оксман, Юлиан Григорьевич 37, 122, 252.
- „O la maudite compagnie...“, эпиграмма Экушара Лебрена 14, 82, 83, 208.
- Оленина, Анна Алексеевна, по мужу Андро 143.
- Олизар, граф Густав Филиппович 260, 262.
- „О любви“ — см. „De l'Amour“, соч. Стендаля.
- „О Мильтоне и Шатобриановом переводе „Потерянного рая“, статья Пушкина 209, 319.
- „Он между нами жил...“ (Мицкевич), стих. Пушкина 264.
- „On n'est pas seul, on n'est pas deux...“ — см. „O, la maudite compagnie“, эпиграмма Экушара Лебрена.
- „Опасный сосед“, стих. В. Л. Пушкина 66.
- Опочинин, Константин Федорович 29, 118, 132, 133.
- Опочинин, Федор Константинович 133.
- Опочинин, Федор Петрович 133, 149, 150.
- Опочинина, Вера Ивановна, рожд. Скобелева 133.
- Опочинина, Дарья Константиновна — см. Богарнев, графиня.
- Опочинина, Дарья Михайловна, рожд. Голенищева-Кутузова 133.
- „Les Orientales“ („Восточные стихотворения“), соч. В. Гюго 206, 208.
- Орлеанский, герцог — см. Луи-Филипп, король.
- Орлов, граф Алексей Федорович 294.
- Орлов, граф Владимир Григорьевич 155.
- Орлов, Михаил Федорович 64, 103, 259, 353.
- Орлов-Давыдов, граф Владимир Петрович 155.
- „Освобожденный Иерусалим“, поэма Т. Тассо 180, 181.
- Осипова, Прасковья Александровна 144, 287, 360, 365.
- Остен-Сакен, фон-дер-, граф Дмитрий Ерофеевич 278.
- Остервальд, Жан (Jean Osterwald) 348.
- О'Сюлливан де Грасс (O'Sullivan de Grass) 22, 43, 114, 115.
- „От вас узнал я плен Варшавы...“ (к А. О. Россет), стих. Пушкина 284.
- „Отелло“, трагедия Шекспира 210, 224.

- „Отечественные Записки“, журнал 54, 66, 163, 299, 346.
- „Отрывки из писем, мысли и замечания“, статья Пушкина 88.
- „Отрывок из неизданных записок дамы“ — см. „Рославлев“, соч. Пушкина.
- О Французской Революции, статья Пушкина и наброски к ней 253—256, 351.
- О „Юрии Милославском“ М. Н. Загоскина, статья Пушкина 255.
- Павел I, император 60, 97, 102, 134, 147.
- Павлищев, Лев Николаевич 56, 116, 117, 118, 181, 199, 285, 289.
- Павлищев, Николай Иванович 52, 112, 117, 132, 223, 250, 270, 288, 289.
- Павлищева, Ольга Сергеевна, рожд. Пушкина 50, 52, 112, 117, 132, 178, 180, 181, 183, 185, 223, 250, 270, 285, 288, 289.
- Павлов, Николай Филиппович 248.
- Пален, фон-дер-, граф Петр Петрович 285.
- Пальмерстон, лорд Генри (Henri, lord Palmerston) 283.
- „Raillasse, épisode de carnaval“ („Пальяс, эпизод из Карнавала“), роман Э. Бюра де Гюржи 238.
- Панаев, Иван Иванович 223.
- Панчулидзе, Сергей Алексеевич 120.
- „Les Papillotes, scènes de tête, de cœur et d'épigastre“ („Папильотки, очерки ума, сердца и желудка“), соч. Jean-Louis (псевд. Э. Бюра де Гюржи?) 239.
- „Paris au XIX siècle“ („Париж в XIX веке“), сборник физиолог. очерков 239.
- „La Parisienne“ („Парижанка“), песня, соч. Араго 322.
- „La Parisienne“ („Парижанка“), песня, соч. Бланшара 322.
- „La Parisienne“ („Парижанка“), песня, соч. К. Делавина 9, 63, 320—323.
- „Les Parisiennes. Chants de la Révolution de 1830“ („Парижанки. Песни Революции 1830 года“), соч. Адольфа Дюма 323.
- Паскевич-Эриванский, граф, св. князь Варшавский, Иван Федорович 49, 52, 125, 279, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 293, 294.
- Пассек, Татьяна Петровна, рожд. Кучина 74, 75.
- Пасси, Франсуа (François Passy) 341.
- „Певец, издревле меж собою...“ (Графу Г. Ф. Олизару), стих. Пушкина 260.
- „La Paix du ménage“ („Семейный мир“), повесть Бальзака 246, 249.
- „Le Paysan parvenu“ („Крестьянин-выскачка“), роман Мариво 248.
- Пейроне, граф Пьер (Pierre, comte de Peyronnet) 332, 333.
- Пенспре, А. П. (A. P. de Pinspré) 336.
- Пенинский, Иван Степанович 50.
- „Перед гробницею святой...“ („К тени полководца“), стих. Пушкина 25, 26—27, 29, 119, 124, 125—130, 131, 187.
- Переписка Пушкина, изд. Акад. Наук X, 38, 39, 52, 54, 55, 57, 59, 65, 72, 77, 86, 88, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 107, 109, 112, 114, 122, 123, 125, 128, 131, 132, 136, 166, 168, 169, 174, 176, 179, 180, 184, 189, 190, 195, 208, 221, 259, 269, 280, 281, 282, 284, 287, 288, 289, 296, 297, 298, 328, 345, 357, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369.
- Перовский, граф Василий Алексеевич 172, 188.
- Перрен, Максимилиан (Maximilien Perren) 238.
- Перье, Казимир (Casimir Périer) 93, 308, 309, 325, 338, 339.
- Пестель, Павел Иванович 353, 359.
- Петербург 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 47, 48, 49, 54, 63, 65, 69, 99, 102, 107, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 123, 125, 132, 134, 135, 137, 138, 139, 159, 160, 173, 174, 179, 180, 303, 373.

- Пететен, Ансельм (Anselme Petétin) 242, 243.
 „Петр Великий“, стих. Льва С. Пушкина 54.
 Петр I, император 262, 282, 357.
 „Петр Иванович Выжигин“, роман Ф. В. Булгарина 105, 108.
 Петров, Александр Александрович 275.
 „Пиковая Дама“, пов. Пушкина 57, 246.
 „Pinto“ („Пинто“) комедия Лемерсье 210.
 Письма Пушкина, изд. ГИЗ, под ред. Б. Л. Модзалевского 123, 363, 365, 367.
 „Письма Пушкина и к Пушкину, не вошедшие в издание Академии Наук“, под ред. М. А. Цявловского 98, 365, 366, 368.
 Питт, Вильям (William Pitt) 328.
 Пито, Амедей (Amédée Pichot) 349.
 Планш, Гюстав (Gustave Planche) 349.
 Плетнев, Петр Александрович 36, 42, 51, 65, 66, 77, 79, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 95, 100, 182, 197, 257, 269, 281, 333.
 Плетнев, Петр Александрович (внук) 91.
 Плеханов, Георгий Валентинович 255.
 „Plik et Plok. Scènes maritimes“ („Плик и Плок. Морские сцены“), роман Евг. Сю 21, 112, 113, 221, 252.
 Плюшар, Адольф Александрович, издатель 43.
 „Повести Белкина“, соч. Пушкина 177.
 Погодин, Михаил Петрович 38, 59, 64, 67, 70, 71, 72, 73, 95, 99, 120, 208, 217, 263, 277, 332, 349, 355.
 „Под липами“ — см. „Sous les tilleuls“, роман Альф. Карра.
 „La Peau de Chagrin“ („Шаргреневая кожа“), роман Бальзака 217, 246, 247, 248.
 „Поединок при Карле IX“ — см. „Un duel sous Charles IX“, стих. Э. Бюра де Гюржи.
 Покровский, К. 149.
 Полевой, Ксенофонт Алексеевич 67.
 Полевой, Николай Алексеевич 67, 100, 107, 253, 254, 255, 343, 350.
 Полиньяк, князь Жюль (Jules, prince de Polignac) 194, 302, 303, 304, 309, 326, 330, 332, 333, 334, 340, 342, 344, 353, 355.
 „Politique tirée de propres paroles de l'Écriture Sainte“ („Политика, извлеченная из подлинных слов св. Писания“), соч. Боссюэта 349.
 „Политические соображения о современной эпохе“ — см. „Considérations politiques...“, соч. Полиньяка.
 „Полководец“, стих. Пушкина 128, 180, 189, 286.
 Полнер, Тихон Иванович 149.
 Полотняный Завод, имение Гончаровых 59, 60.
 „Полтава“, поэма Пушкина 190.
 Полторацкий, Сергей Дмитриевич 50, 153.
 Польш де Кок — см. Кок, Польш де-.
 Польское восстание I, VI, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 27, 28, 52, 53, 69, 70, 82, 83, 88, 91, 93—94, 99, 100, 101, 102, 104, 108, 111, 112, 136, 165, 167, 178, 179, 182, 194, 257—300, 328, 335, 336, 337, 339, 347, 348, 359, 360.
 Поляков, Александр Сергеевич 201.
 Попов, Михаил Максимович 60.
 „Последний день приговоренного“ — см. „Le dernier jour d'un condamné“, соч. В. Гюго.
 „Последний Шуан, или Бретань в 1800 г.“ — см. „Le Dernier Chouan...“, соч. Бальзака.
 Потемкин, князь Григорий Александрович 135.
 „Потерянный рай“, поэма Дж. Мильтона 209.
 Потоцкий, граф Александр Станиславович 285.
 Потоцкий, граф Артур (Arthur Potocki) 300.
 „Походное ложе, сцены из военной жизни“ — см. „Le Lit de camp...“, соч. Э. Бюра де Гюржи.

- Полдо-ди-Борго, граф Карл Осипович 297, 335, 337.
- Прево, аббат Антуан (Abbé Antoine Prévost) 225, 226.
- Предисловие к „Борису Годунову“, Пушкина 96, 97, 98.
- „Предслав и Добрыня“, повесть К. Н. Батюшкова, с предисловием Пушкина 91.
- „Précis historique de la Révolution Française. Directoire exécutif“ („Исторический очерк Французской Революции. Исполнительная Директория“), соч. Лакретеля 360.
- „Le Prêtre et la Danseuse. Roman des mœurs“ („Священник и танцовщица. Роман нравов“), ром. М. Перрена 238.
- „Preussische Staats-Zeitung“, газета 78.
- „La Prima donna“ („Примадонна“), пов. Ж. Санд 224.
- „La Prima donna et le Garçon boucher“ („Примадонна и подручный-мясник“), роман Э. Бюра де Гюржи III, VII, 30, 134, 223, 224, 227—238, 240, 242.
- „Principes de politique“ — см. „Cours de politique constitutionnelle“, соч. Бенжамена Констана.
- „I Promessi sposi“ („Обрученные“), роман Манцони 30, 134, 135, 250, 251.
- „Le Procès Fieschi devant la cour des Pairs“ („Процесс Физки перед судом Палаты Пэров“), изд. 340.
- Протасова, Екатерина Афанасьевна 264.
- Пти-де-Жюлевиаль Луи (Louis Petit de Juleville) 253.
- „Путешествие из Петербурга в Москву“, соч. А. Н. Радищева 75.
- „Путешествия Антенора“ — см. „Voyages d'Antenor...“, ром. Лантье.
- „Пушкин и его современники“, поврем. издание 38, 39, 52, 56, 59, 67, 83, 112, 117, 118, 129, 131, 132, 133, 174, 184, 195, 201, 223, 250, 262, 270, 332, 338, 365.
- Пушкин, Алексей Михайлович 152.
- Пушкин, Василий Львович 9, 50, 63, 65—68, 152.
- Пушкин, Лев Сергеевич 6, 18, 20, 28, 49, 50—54, 57, 67, 101, 102, 104, 112, 127, 130, 138, 191, 270, 312, 373.
- Пушкин, Сергей Львович 12, 50, 51, 53, 76, 77, 81, 182, 183.
- Пушкина, Елизавета Александровна, рожд. Загряжская 54.
- Пушкина, Надежда Осиповна 50, 81, 178, 180, 181, 182, 183, 185.
- Пушкина, Наталья Николаевна, рожд. Гончарова III, 7, 8, 22, 54, 55, 56, 57, 59, 65, 68, 70, 75, 76, 77, 102, 112, 113, 114, 115, 123, 124, 136, 145, 174, 176, 177, 179, 181, 183, 190, 194, 197, 201, 218, 326, 333, 337, 338, 344, 345.
- Пушкинский Дом III, V, VI, VII, VIII, 37, 39, 49, 50, 53, 81, 87, 89, 118, 122, 131, 137, 159, 174, 179, 181, 183, 251, 263, 299.
- Пушин, Иван Иванович 255.
- Пюираво П.-Ф. Одри (Pierre-François Audri de Puyraveau) 308.
- Рабле, Франсуа (François Rabelais) 247.
- Рабо-Сент-Этьен, Жан-Поль (Jean-Paul Rabaut-Saint-Etienne) 254.
- Рабу, Шарль (Charles Rabou) 246, 374.
- Рагузский, герцог — см. Мармон.
- Радищев, Александр Николаевич 75, 297, 350.
- Раевская, Мария Николаевна — см. Волконская, княгиня.
- Раевские (семейство Н. Н. Раевского-старшего) 51, 259, 260.
- Раевский, Владимир Федосеевич 259.
- Раевский, Николай Николаевич (младший) 53, 96, 97, 98, 99, 328, 345.
- Разговор между А и Б, соч. Пушкина 354, 355, 356.
- Разговор с англичанином, соч. Пушкина 357.
- Раич, Семен Егорович 181, 343.

- Раморино, Джироламо (J. Ramorino) 278, 285.
- Расин, Жан (Jean Racine) 96, 99, 209.
- „La Révolution“, газета 316, 330.
- „La Revue de Paris“, журнал 205, 212, 216, 217, 218, 221, 223, 224, 226, 233, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 312, 315, 325, 343, 348, 349.
- „La Revue des deux Mondes“, журнал 207, 246, 349.
- „La Revue du Midi“, журнал 239.
- „La Revue Encyclopédique“, журнал 211, 212, 242, 243.
- „La Revue Française“, журнал 205, 206, 214, 349.
- „Religion Saint-Simonienne“ („Сен-Симонистская религия“), изд 357.
- Ремюза, граф Франсуа (François, comte de Rémusat) 341, 343.
- Ренуар, Франсуа (François Raynouard) 345.
- Ренье-Детурбе, Ипполит (Hippolite Regnier-Destourbet) 225.
- „Речь о всемирной истории“ — см. „Discours sur...“, соч. Боссюэ.
- Ривароль, Антуан (Antoine Rivarol, dit comte de—) 245, 368.
- Ридигер, граф Федор Васильевич 278, 283.
- Ризнич, Амалия 143.
- Римский-Корсаков, Григорий Александрович 70.
- „Рифма, звучная подруга...“, стих. Пушкина 374.
- Ришелье, кардинал (Armand du Plessis, cardinal, duc de Richelieu) 254.
- Роболи, Татьяна Альфредовна 106.
- Родзевич, Мария Антоновна, рожд. баронесса Дельвиг 81.
- Родос Сафианос, гречанка 123.
- Розен, барон Егор Федорович 98, 99.
- „Romans et contes philosophiques“ („Философические романы и сказки“), соч. Бальзака 246, 249.
- Ронсар, Пьер (Pierre de Ronsard) 207.
- „Рославлев“, роман М. Н. Загоскина 20, 104, 105, 277.
- „Рославлев“, повесть Пушкина 105, 109, 110, 111, 112, 358.
- Россет, Александра Осиповна — см. Смирнова.
- Ростопчина, графиня Евдокия Петровна 163, 166, 172, 203.
- Ротчев, Александр Гаврилович 214.
- Руайе-Коллар, Пьер Поль (Pierre Paul Royer-Collard) 314, 351, 356.
- Руже де Лиль (Rouget de Lisle) 323.
- „Le Rouge et le Noir“ („Красное и Черное“), роман Стендаля 21, 23, 112, 113, 116, 117, 183, 217—221, 226.
- „Руслан и Людмила“, поэма Пушкина 51.
- „Русская правда“, соч. П. И. Пестеля 359.
- „Русская слава“, стих. В. А. Жуковского 288.
- „Русский Инвалид“, газета 294.
- Руссо, Жан-Батист (Jean-Batiste Rousseau) 209.
- Руссо, Жан-Жак (Jean-Jacques Rousseau) 312, 352, 354.
- Саводник, Владимир Федорович 56, 145, 154.
- Саитов, Владимир Иванович Х.
- Сакен — см. Остен-Сакен, граф Д. Е.
- Сакулин, Павел Никитич 223, 248, 350.
- Салтыков, Михаил Александрович 85.
- Салтыкова, София Михайловна — см. Дельвиг, баронесса.
- Сальванди, Нарцисс (Narcisse-Achille de Salvandy) 300.
- Санд, Жорж (George Sand) 217, 224, 240.
- „Les Cents Contes drolatiques“ („Сто шутивных сказок“), соч. Бальзака 217, 246, 247.
- „С.-Петербургские Ведомости“, газета 49, 80, 103, 112, 118, 120, 121, 136.
- „С.-Петербургский Зритель“, журнал 38, 39.
- Сарран-младший, Бернард (Bernard Sarrans-jeune) 316.

- „Светский брак“ — см. „Marriage in High life“, ром. К.-Л. Скотт.
- Свистунов, Алексей Николаевич 24, 117, 118, 119.
- Свистунов, Петр Николаевич 118.
- „Священник и танцовщица“ — см. „Le Prêtre et la Danseuse...“, ром. М. Перрена.
- Себастьяни, граф Франсуа (François, comte Sebastiani) 325, 337, 339.
- Северин, Дмитрий Петрович 65.
- „Северная Пчела“, газета 37, 38, 78, 94, 131, 188, 263, 287, 343.
- „Северные Цветы“, альманах 47, 48, 83, 86, 88, 90, 91, 122.
- Семевский, Василий Иванович 353.
- „Семейный мир“ — см. „La paix du ménage“, рассказ Бальзака.
- Семенов, Василий Николаевич 78, 79.
- Сен-Марк де Жирарден (Saint-Marc de Girardin) 315, 316, 344.
- Сен-Симон, граф Анри (Henri, comte de Saint-Simon) 343, 357.
- „Сен-Симонистская религия“ — см. „Religion Saint-Simonienne“.
- Сент-Бёв, Шарль (Charles Sainte-Beuve) 8, 58, 60, 195, 205, 206, 207, 208, 247, 248, 249, 256, 306, 312, 341, 342.
- Серавский, Польский генерал 278.
- „Séraphita“ („Серафита“), соч. Бальзака 246.
- Сешэ, Альфонс (Alphonse Séché) 218.
- Сиверс, Александр Александрович 103.
- Сийес, граф Эмануэль (Emanuel, comte de Sieyès) 254.
- „La Silhouette“, журнал 239.
- Симон, Луи (Louis Simond) 155.
- Синявский, Н. 37, 42, 91, 95, 131, 137.
- Скаржинский, Польский генерал 278.
- Скарятин, Григорий Яковлевич 103.
- Скарятин, Федор Яковлевич 19, 101, 102—103, 118, 120.
- Скарятин, Яков Федорович 102.
- Скарятин, Екатерина Петровна, рожд. Озерова 103.
- Скарятин, Наталья Григорьевна, рожд. княжна Щербатова 102.
- Скобелев, Иван Никитич 133.
- Скорятин — см. Скарятин, Федор Яковлевич.
- Скотт, Вальтер (Walter Scott) 95, 97, 109, 227, 250, 253, 333.
- Скотт, Каролина-Люси (Caroline Lucy Scott) 168.
- Скржинецкий (Крженецкий), Ян (Skrzyniecki) 278, 279, 283, 285.
- Скриб, Огюстен (Augustin Scribe) 227, 239, 306.
- Слэнин, Иван Васильевич 84.
- Слонов, М. 322.
- Смирнов, Николай Михайлович 62, 163, 170, 174, 180.
- Смирнова, Александра Осиповна, рожд. Россет 95, 112, 144, 145, 155, 159, 160, 162, 163, 172, 181, 182, 183, 221, 257, 284, 285, 286, 296.
- Смирнова, Ольга Николаевна 159.
- Снегирев, Иван Михайлович 67.
- „Собачий пир“ — см. „La Curée“, стих. О. Барбье 315.
- Соболевский, Сергей Александрович 38, 50, 202.
- „Собор Парижской Богоматери“ — см. „Notre Dame de Paris“, роман В. Гюго.
- „Собрание мемуаров, относящихся к Французской Революции“ — см. „Collection des Mémoires...“.
- „Современник“, журнал 72, 73, 88, 95, 105, 109, 128, 129, 215, 251, 252, 286, 340.
- Соколов, Петр Федорович III.
- Соллогуб, граф Владимир Александрович 41, 61, 120, 161, 162, 163, 166, 170, 171, 196, 199, 201, 326.
- Соллогуб, графиня Надежда Львовна 118.
- Соловьева, Маргарита Ивановна 159.
- Соломон, доктор 84.
- Сомов, Орест Михайлович 55, 80, 84, 86, 109, 110, 166, 187, 250.
- „Соображения о главнейших событиях Французской Революции“ — см.

- „*Considérations sur... la Révolution Française*“, соч. г-жи де Сталь.
- „Сорок одна повесть“, изд. Н. И. Надеждина 246, 374.
- Соутей, Роберт (Robert Southey) 216.
- Сочинения Пушкина, под ред. П. В. Анненкова, 1855 г. 42, 129.
- Сочинения Пушкина, изд. Я. А. Исакова, под ред. Г. Н. Геннади, 1859 г. 42.
- Сочинения Пушкина, изд. А. С. Суворина, под ред. П. А. Ефремова 128.
- Сочинения Пушкина, изд. т-ва „Просвещение“, под ред. П. О. Морозова 73, 75, 355.
- Сочинения Пушкина, изд. Академии Наук 96, 97, 98, 350.
- Сочинения Пушкина, изд. Брокгауза-Ефрона, под ред. С. А. Венгерова 75, 99, 125, 223, 285, 296.
- Сочинения Пушкина, изд. ГИЗ'а, под ред. Б. Томашевского и К. Халабаева, Лгр. 1924 и 1926³ 43, 129.
- Сперанский, граф Михаил Михайлович 135, 153, 258.
- Сталь, баронесса Жермена (Germaine, baronne de Staël) 254, 255, 351, 354, 355, 356, 358, 359.
- „Стансы“ — см. „Дар напрасный, дар случайный...“, стих. Пушкина.
- „Станцы“ („В часы забав или праздной скуки...“) стих. Пушкина 48.
- „Старая песня на новый лад“, стих. В. А. Жуковского 130, 287, 291, 292, 293.
- Стендаль, псевд. Анри Бейля (Stendhal — Henri Beyle) 113, 183, 195, 217—219, 221, 226, 245.
- Степанов, Николай Степанович 108.
- Стерд, Лауренс (Lawrence Sterne) 106, 107, 225, 226, 227, 240, 241, 244, 250.
- „Стихотворения А. Пушкина“, часть III-я, 1832 г. 130, 297.
- „Stockholm, Fontainebleau et Rome“ („Стокгольм, Фонтенбло и Рим), трагедия Алекс. Дюма 11, 68, 70, 214.
- Столыпин, Аркадий Алексеевич 258.
- „Сто шутиwych сказок“ — см. „Les Cents Contes drolatiques“, соч. Бальзаки.
- „Странник“, роман А. Ф. Вельтмана 20, 104—107.
- Строганова, графиня 44.
- Строганова, графиня Наталья Викторовна, рожд. графиня Кочубей 143.
- Струйский, Дмитрий Юрьевич (псевд. Трилунный) 124, 286.
- Суворов, князь Александр Аркадьевич 131, 284, 285, 294.
- Суворов, Александр Васильевич, граф Рымникский, св. князь Итальянский 284, 294.
- Суворова, княжна Мария Аркадьевна — см. Голицына, княгиня.
- „*Sous les tilleuls*“ („Под липами“), роман Альф. Кэппа 32, 138, 244, 245.
- Сумле, Фредерик (Frédéric Soulié) 217.
- Сумароков, Александр Петрович 67.
- Сумарокова (по мужу графиня Сумарокова-Эльстон), графиня Елена Сергеевна 158.
- Сумароков-Эльстон, граф Феликс Николаевич — см. Эльстон.
- Сумароков-Эльстон, граф Феликс Феликсович — см. Юсупов, князь.
- „*Scènes de la vie privée*“ („Сцены из частной жизни“), соч. Бальзака 217, 245, 246, 247, 248, 249.
- „Сын Отечества“, журнал 38, 78, 188, 373.
- Сю, Евгений (Eugène Sue) 113, 167, 195, 217, 221, 222.
- Сюлливан — см. О'Сюлливан де Грасс.
- „*Table de Nuit*“ („Ночной столик“), соч. Поля де Мюссе 217, 226, 256.
- Талейран-Перигор, Шарль (Charles de Talleyrand-Périgord) 9, 63, 311, 327, 329.
- „Талия“ („Про девушку идет худая слава...“), стих. И. А. Крылова 42, 44, 45.
- „*Le Temps*“, газета 9, 63, 194, 305, 311, 316, 317, 319, 325, 341.

- Татищев, Дмитрий Павлович 156, 171.
 Татищев, Сергей Спиридонович 94.
 „Тебя пою на томной лире...“, стих. Пушкина 226.
 Тейльс, Варвара Антоновна, рожд. баронесса Дельвиг 81.
 „Телескоп“, журнал 73, 107, 109, 277, 287.
 „Темные сказки“ — см. „Les Contes bruns“, соч. Бальзака и др.
 Тепляков, Виктор Григорьевич 199.
 Тиберж, аббат (Abbé Tiberge), псевд. 225, 234.
 Тизенгаузен, графиня Дарья Федоровна — см. Фикельмон, графиня.
 Тизенгаузен, графиня Екатерина Федоровна III, VII, VIII, IX, 2, 4, 7, 10, 13, 19, 36, 40, 41, 43, 46, 54, 55, 63, 76, 101, 115, 148, 150, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 162, 179, 199, 202.
 Тизенгаузен, граф Федор (Фердинанд) Иванович 147, 148, 149, 150, 151.
 Тиме, автор (Thieme) 207.
 Толстая, графиня Александра Петровна — см. Дельвиг, баронесса.
 Толстой, граф Дмитрий Иванович VII.
 Толстой, граф Лев Николаевич 149.
 Толь, граф Карл Федорович 277.
 Томашевский, Борис Викторович I, V, VI, VII, IX, 60, 64, 65, 70, 77, 78, 83, 91, 98, 102, 113, 115, 117, 119, 134, 138, 168, 256, 276, 361, 371.
 Тревизский, герцог — см. Мортье.
 Третьяк, Иосиф (Józef Tretiak) 262.
 „La Tribune“, газета 315, 316.
 Трилуный — см. Струйский, Д. Ю.
 Тургенев, Александр Иванович 25, 48, 51, 56, 66, 95, 116, 117, 119, 121—123, 155, 158, 166, 172, 201, 255, 259, 264, 268, 287, 289, 290, 340, 342.
 Тургенев, Николай Иванович 51, 122, 255, 259, 289, 290.
 Тынянов, Юрий Николаевич 106.
 „Ты просвещением свой разум осветил...“, стих. Пушкина 297.
 Тьер, Адольф (Louis-Adolphe Thiers) 24, 117, 195, 255, 256, 308, 309, 330, 341, 343, 372.
 Тьерри, Амедей (Amédée Thierry) 253.
 Тьерри, Огюстен (Augustin Thierry) 253.
 Тюрю-Данжен, П. (P. Thureau-Dan-gin) 316.
 Уваров, граф Сергей Семенович 132, 133, 252, 288.
 Устимович, Петр Митрофанович 275.
 Устрялов, Николай Герасимович 300.
 „Утешения“ — см. „Les Consolations“, собр. стих. Сент-Бёва.
 „Утешитель“, стих. неизвестного автора 73, 74.
 Уткин, Николай Иванович 304.
 „Утренняя Заря на 1840 год“, альманах 203.
 „Учение Сен-Симона“ — см. „Doctrine de Saint-Simon“, изд.
 Фаге, Эмиль (Emile Faguet) 207.
 „La Femme de trente ans“ („Женщина в тридцать лет“), соч. Бальзака 183, 246, 247.
 Федоров, Борис Михайлович 38.
 Фести, О. (O. Festy) 306.
 „Le Figaro“, газета 218, 324.
 „Physiologie du Goût“ („Физиология вкуса“), соч. Брийа-Саварена 245.
 „Physiologie du mariage...“ („Физиология брака“), соч. Бальзака 245.
 Фикельмон, графиня Дарья Федоровна, рожд. графиня Тизенгаузен VII, 7, 10, 13, 19, 31, 41, 54, 55, 56—58, 63, 76, 101, 115, 135, 136, 144, 145, 148, 150, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 166, 173, 179, 187, 193, 199, 202, 251, 326.
 Фикельмон, граф Карл-Людвиг 17, 25, 55, 56, 89, 119, 136, 154, 155, 159, 162, 173, 179, 187, 193, 195, 199, 202.
 Филарет (Дроздов), митрополит Московский 5, 47—48, 71, 74, 169, 170, 189, 190, 373.
 „Philippe I, Napoléon II et la Ré-

- publique" („Филипп I, Наполеон II и Республика"), соч. А. П. де Пен-спрэ 336.
- Филипп VII — см. Луи-Филипп.
- Филипп Эгалитэ (Philippe Egalité — Принц Орлеанский) 241, 311, 312.
- „Философические романы и сказки" — см. „Romans et contes philosophiques, соч. Бальзака.
- „Философические сказки" — см. „Les Contes Philosophiques", соч. Бальзака.
- Фирмен-Дидо, Амбруаз (Ambroise Firmin Didot) 369.
- Фирсов, Николай Николаевич 350.
- Фиэски, Джузеппе (Giuseppe Fieschi) 340.
- Флер, маркиз (marquis de Flers) 310.
- Флери, Жан (Jean Fleury) 249.
- Флетчер (Fletcher) 300.
- Фонтоа, Феликс Петрович 103.
- Фон-Фок, Максим Яковлевич 74.
- Форгач, графиня, рожд. графиня Андраши 158.
- Фриель, Клод (Claude Fauriel) 251.
- „France, dis-moi leurs noms..." („Франция, скажи мне их имена..."), стих. К. Делавина 12, 76, 78, 324.
- Фридрих-Вильгельм III, Прусский король 155, 156, 157, 158.
- Фьеве, Жозеф (Joseph Fiévée) 306.
- Хвостов, граф Дмитрий Иванович 287.
- Хитрова, домовладелица 19, 101, 182.
- Хитрово (Хитрова), Аня Михайловна, рожд. Голенищева-Кутузова 153.
- Хитрово (Хитров), Николай Захарович 153.
- Хитрово (Хитров), Николай Федорович 151, 152, 153, 157.
- Хлопицкий, Иосиф (Iozef Chłopicki) 266, 270.
- Хомяков, Алексей Степанович 120, 264.
- Храповицкий, Матвей Евграфович 280, 293.
- Хржановский, Адальберт (Adalbert Chrzpanowski) 278.
- „Христина" („Christine") — см. „Stockholm, Fontainebleau et Rome", траг. А. Дюма.
- „Хромой чорт" — см. „Le Diable boiteux", соч. Э. Бюра де Гюржи.
- „Хроника Карла IX" („Chronique de Charles IX"), соч. П. Мериме 227.
- „Хроника русского в Париже", статья А. И. Тургенева 95.
- Царское Село 22, 24, 25, 26, 28, 29, 35, 90, 102, 107, 109, 112, 113, 114, 116, 117, 119, 123, 125, 127, 130, 131, 132, 197, 253, 284, 296.
- „Царь - Отец", стих. Н. К — ва 74.
- „Цветок на могилу Е. М. Хитровой..." стих. гр. Е. П. Ростопчиной 163, 203.
- „Циклоп" — см. „Язык и ум теряя разом..." стих. Пушкина.
- „Цыганы", поэма Пушкина 360.
- Цявловский, Мстислав Александрович VI, 37, 42, 56, 57, 59, 62, 91, 95, 98, 110, 131, 137, 145, 154, 181, 266, 269, 332, 345, 365.
- Чаадаев, Петр Яковлевич 64, 267, 287, 289, 290, 349, 357.
- Чапкина, Хиония Александровна — см. Дельвиг, баронесса.
- Чернов, И. (I. Tchernoff) 316.
- Чернопятов, Виктор Ильич 91, 90.
- Чичерин, офицер 269.
- „Шагреевая кожа" — см. „La Peau de Chagrin", ром. Бальзака.
- Шаликов, князь Петр Иванович 67, 68, 343.
- Шаль, Филарет (Philarète Chasles) 212, 246, 374.
- Шамбор, граф (comte de Chambord) — см. Бордосский, герцог.
- Шамфор (Nicolas de Chamfort) 245.
- Шантелоз, Жан (Jean-Claude-Valthasar-Victor de Chantelauze) 332.
- Charles X — см. Карл X.

- „La Chartreuse de Parme“ („Картезианский монастырь в Парме“), ром. Стендаля 221.
- „Le Chasseur chassé ou une soirée à Rambouillet...“ („Прогнанный охотник или вечер в Рамбулье“), соч. Ж. Мелье 305.
- Шатобриан, виконт Франсуа-Рене (François-René, vicomte de Chateaubriand) 9, 63, 209, 253, 255, 304, 318, 319, 332, 358, 371.
- Шевалье (Chevalier) III.
- Шевырев, Степан Петрович 263, 296, 356.
- Шекспир 96, 99, 209, 210, 227.
- „Le Chemin le plus court“ („Кратчайшая дорога“), роман Альф. Кэрра 245.
- Шенье, Андрей (André Chénier) 60, 117.
- Шереметев, граф 292, 293.
- Шиллер, Фридрих (Friedrich Schiller) 156.
- Шильдер, Николай Карлович 272, 279, 284.
- Шлегель, Август-Вильгельм (August Wilhelm Schlegel) 100, 251.
- Шляпкин, Илья Александрович 179, 253.
- Шнитцлер, Иоганн-Гейнрих (Jean-Henri Schnitzler) 300.
- Шове (Chauvet), критик 251.
- Шонен, барон де (Auguste-Jean-Marie, baron de Schonen) 308, 310.
- Щеголев, Павел Елисеевич 132, 145, 201, 298, 338, 361.
- Щербатов, князь Алексей Григорьевич 102.
- Щербатова, княжна Наталья Григорьевна — см. Скарятина.
- Щукин, Петр Иванович 118.
- Эдлинг, графиня Роксандра Скарлатовна, рожд. Стурдза 199, 201.
- Эзоп 46.
- Эйхенбаум, Борис Михайлович 106.
- Эльстон (граф Сумароков), Феликс Николаевич 158, 159.
- Энгельгардт, Екатерина Васильевна — см. Литта, графиня.
- „Энеида“, поэма Вергилия 83.
- Эрман, Жан (Jean Hermand) 312.
- Эрминия (Herminie) 50, 180, 181, 183, 186.
- „Hernani, ou l'honneur Castillan“ („Эрнани, или Кастильская честь“) драма В. Гюго 8, 58, 60, 206, 210, 211, 212, 213, 214.
- Этьен, Ш.-Г. (Charles-Guillaume Etienne) 346.
- „Эхо“, стих. Пушкина 91.
- Юзефович, Михаил Владимирович 356.
- „Un grand seigneur...“ план, соч. Пушкина 364.
- „Un duel sous Charles IX“ („Поединок при Карле IX“), стих. Э. Бюра де Гюржи 223.
- „Une bonne fortune“ („Исповедь капуцина“), рассказ Фил. Шаля 246, 374.
- „Une heure trop tard“ („На час слишком поздно“), роман Альф. Кэрра 245.
- „L'Universel“, газета 211.
- „Юрий Милославский“, роман М. Н. Загоскина 105, 107, 255, 344.
- Юрьевич, Семен Алексеевич 130, 131.
- Юсупов, князь Николай Борисович (старший) 164, 192.
- Юсупов, князь Феликс Феликсович, граф Сумароков-Эльстон V, VIII, 40, 154, 158, 159.
- Юсупова, княгиня Зинаида Ивановна VIII.
- Юсупова, княгиня Зинаида Николаевна, графиня Сумарокова-Эльстон, рожд. княжна Юсупова 158.
- „Язык и ум теряя разом...“ („Циклоп“), стих. Пушкина 4, 40—43, 46, 115.

| | |
|--|--------------------------------------|
| Языков, Александр Петрович 289. | Якушкин, Иван Дмитриевич 259. |
| Языков, Николай Михайлович 67, 264. | Ярополец, имение Гончаровых 136. |
| Яковлев, Николай Васильевич 373. | Ярослав (Мудрый), князь Клевский 28, |
| Якушкин, Вячеслав Евгеньевич 109, 344, 345. | 127. |
